

ISSN 0130-7673

НОВОБЫИ
МИИР

3

1988



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 3

Март, 1988 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВЛАДИМИР ТЕНДРЯКОВ — Рассказы. Публикация и подготовка текста Натали Асмоловой	3
ИЗ ПРАХА И СЛЕЗЫ НЕБЕСНОЙ — Сергей Золотусский, Николай Кононов, Ирина Знаменская, Михаил Шелехов, Сергей Гандлевский, Виталий Калашников, Дмитрий Веденяпин, стихи	62
НАТАЛЬЯ СУХАНОВА — Делос, рассказ. Предисловие Виктора Астафьева	69
ИСПОРЧЕННЫЙ КАЛЕЙДОСКОП — Вадим Степанцов, Марина Кулакова, Юрий Арабов, Игорь Иртенев, Полина Иванова, стихи	85
БОРИС ПАСТЕРНАК — Доктор Живаго, роман. Продолжение. Публика- ция, подготовка текста Е. Б. Пастернака и В. М. Борисова	90
АРКАДИЙ ШТЕЙНБЕРГ — Три стихотворения. Подготовка текста и пуб- ликация В. Перельмутера	175
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
ВЛАДИМИР БОГАТЫРЕВ — Доколе свидимся	177
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
В. И ВЕРНАДСКИЙ — «Основую жизни — искание истины». Публикация, предисловие и примечания И. И. Мочалова. Вступительное слово Б. С. Соколова	202
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
И. РОДНЯНСКАЯ — Назад — к Орфею!	234

(См на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	255
В. Камянов. Задача на сложение. Андрей Василевский. Чувство в своем естестве.	
<i>Политика и наука</i>	263
Александр Гангнус. «Он никогда не терял надежды».	
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	
А. КУЗЬМИН — Равимые корни	267
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Ст. Рассадин. — И. Меттер. Будни. Рассказы Повесть. Очерки. Воспоминания. ♦	
А. Александрова. — Воды Клайда, Английские и шотландские народные баллады и песни	270
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

ВЛАДИМИР ТЕНДРЯКОВ

★

РАССКАЗЫ

Пара гнедых

Лето 1929 года... Я подымаю его почти со дна моей памяти. Есть воспоминания, лежащие и глубже, даже в глухих слоях младенчества. Но это случайные следы в незрелом мозгу, капризы неопределившегося бытия.

Например, я отчетливо помню: мать ведет меня за руку, я, наверное, только-только учусь ходить, и земля не держит меня, она коварно неровна — в ямах, буграх, предательских уклонах. Но вот я оторвал от нее взгляд и поднял вверх голову, открыл близкое серенькое небо и недоступный скворечник — мир, существующий помимо меня. Отчетливо помню... Но эта ранняя картина ни с чем не связана. Я не знаю, что было до нее, что после нее, — кратковременная вспышка во мраке.

К 1929 году мне исполнилось пять лет, тут я уже помню все, не клочками, не вспыхивающими звездами, а сплошным потоком... Незабвенный первый пескарь, вытащенный на удочку у моста, сразу же раздвигает мир: вижу сбегающий к реке бурьянистый косогор, черные баньки, покоящиеся в крапиве, избы, сладко пахнущие по утрам свежеиспеченным хлебом, мужиков, тревожно рассуждающих о коммунии...

Подымаю с самого дна моей памяти... Но памяти надежной, за которую я готов нести прямую ответственность. По детским следам иду сейчас, сорок с лишним лет спустя, иду зрелым и весьма искушенным человеком. А потому пусть не удивляет вас трезвая рассудочность моего изложения.

Итак, лето 1929 года.

В воздухе висит нагретая пыль, скрип несмазанных колес, выкрики: «Шевелись, дохлая!» По единственной улице села тащатся груженные возы — навстречу друг другу. В ту и другую сторону везет житейский скарб: полосатые, вожделенно пухлые перины и залежанные, негнувшиеся голстинные матрацы, громоздкие сочленения ткацких станин и неумытые самовары, окованные сумрачные сундуки и нехитро расписанные шкафы, хлопающие на ходу дверками, вылинявшие, затхлые подушки, штабеля подшитых валенок, нагромождения овчины и тряпья, «робячьи» люльки, опростанные и с младенцами, венские стулья — зажиточный шик, сломанные салазки, прялки, голики, бочки, пестери, горшки, лохани... Из темных чердаков, из подпольных голбцев, из забытых камор и памятных потайных мест — все, что копилось поколениями, что лежало без нужды многие десятилетия, даже века, вытащено сейчас наружу, везется навстречу друг другу.

Иногда над горшками и лоханями возвышаются усохший старик или старуха, покорные судьбе, глядящие вперед замороженным взглядом...

Скрипят несмазанные колеса. Село поднято, село переезжает!

Переезжают не все. У дороги, чуть в стороне — разомлевшая на солнце кучка мужиков: топчут пыльную травку дегтярными сапогами, берестовыми ступнями, босыми пятками, потеют, благоухают луком, жадно ощупывают глазами каждый воз и обсуждают.

— Мирошка-то, гляньте, цинково корыто везет.

— А еще в бедняках ходит.

— Цинково корыто — вещь!

— А вон и Пыхтунов едет!

— Ну, у этого-то добра хватает.

— Два самовара у него, а чтой-то не видать их.

— Укрыл, зачем глаза-то мозолить.

— Два самовара — вещь, это не цинково корыто...

Тут же у дороги стоит и мой отец — вместе со всеми и как-то наособицу. На его широкой спине скрещиваются взгляды мужиков. Отец чувствует их, плечи его борцовски опущены, бритая, сизая голова склонена вперед, на загорелой крепкой шее морщинистый шрам — след белогвардейского осколка.

Это он поднял село, вывернул наизнанку, заставил переезжать.

Справедливость... Я родился в воспаленное время и очень рано услышал это слово.

Еще совсем недавно было худо на белом свете — богатые обжирались и бездельничали, бедные голодали и работали. Не было справедливости во всем мире!

За справедливость, за «кто не работает, тот не ест!» поднял народ Ленин. А вместе с ним поднялся мой отец. Вот он стоит и смотрит, как идут возы по улице.

Сейчас богатые мужики переезжают из своих богатых домов в избы бедняков. Бедняки же едут жить на место богатых. Мирошка Богаткин, хоть имеет оцинкованное корыто, но голь, беднота. Мирошка едет занимать пятистенок Пыхтунова Демьяна. А Пыхтунов с семьей и двумя своими самоварами едет в Мирошкину развалюху.

Не было в мире справедливости — она есть! И устанавливает ее здесь в селе мой отец. Устанавливает не по своему желанию, его послала сюда партия. Мы здесь приезжие.

За нашими спинами раздался глуховато-монотонный голос:

— Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны алчущие, ибо они насытятся. Блаженны милостливые, ибо помилованы будут...

Опустив в валенки вечно мерзнущие — даже в такую жару! — ноги, сидит под оконцами избы старый Санко Овин, бубнит ввалившимся, затянутым бородкой, словно паутиной. ртом, глядит вдаль сквозь всех голубенькими размыленными глазками.

— Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими...

И мужики обеспокоились, разом заговорили.

— Блаженны алчущие?.. Выходит, что по-божески нынче забирают.

— А милостливые блаженны, как тут понять?

— Эй, дедко, растолкуй: бог твой за нынешнюю власть али против?

— Все равны перед богом, — пробубнил дед Санко сквозь волосняную паутину.

— Ишь ухиллял, старый черт!

— Нет уж, скажи, Овин: нынешняя-то власть божеское равенство устанавливает али какое?

— Божеское?.. Активисты-то! Сказанул!

— А вот мы спросим. Эй, Федор Васильевич! Товарищ Тенков! Дополни ты нам Овина: божеское у вас равенство али какое?

Мой отец, как всегда, обернулся не сразу. Сначала взвесил — хорош или плох вопрос. А обернувшись, сощурился с невнятной ухмылочкой. Это значит, вопрос понравился, с охотой ответит. При неприятных вопросах он каменел губами и скулами, отвечал глухим нехорошим голосом.

— А вот как понять — все равны, все братья, а кесарю кесарево отдай, не грехи? Вроде так сказано в святом писании.— И отец повел прищуренным глазом на мужиков. Те посапывали со вниманием.— Выходит, равенства держись и царя-кесаря признавай над собой. Неувязочка. Бог-то у Овина вроде меньшевика или левого эсера — одни пузыри о равенстве пускает. Соглашатель.

Бог Санко Овина — это мужицкий бог, тем не менее кто-то из мужиков охотно хохотнул, кто-то прокряхтел, кто-то без убеждения, слабодушно поддакнул:

— Оно, пожалуй...

А отец, запустив руки в карманы, развернув грудь, поглядывал на всех с победной ухмылочкой.

— Именем бога тыщи лет словеса плели, а мы действуем... Вон!.. — Отец кивнул подбородком в сторону дороги.— Поглядите, как выступает. Хорош? Слов нет. А вон этого хорошего без лишних слов с плохим Ваней Акулей поравняли. Не речи о равенстве толкаем, а делом занимаемся.

Все поглядели туда, куда показывал мой отец. По улице двигался высокий воз, две гнедых, небрежно попирая пыль хрупкими ногами, тянули его. Рядом прямо вышагивал человек, рукава полотняной, не по-деревенски белой рубахи засучены, высокие сапоги начищены, шляпа на затылке,— Антон Ильич Коробов.

Он был не бедней Пыхтунова — кулак! Никакого сомнения! Он имел две лошади. Таких коней не было ни в нашем селе, ни в соседних селах, да были ли лучше на всем свете? Лучших и представить нельзя.

Они лоснились так, что казались выкупанными. По спинам и крупам, на выпуклостях, они отливали глубинно тусклым золотом. У них, гладких,— тощие морды с пугливыми ноздрями и крупными, влажными, горячими глазами. У них широкие, бронзово литые крупы, а под ними сухие, до невольного страха тонкие ноги, кажется, вот-вот под тяжестью крупов хрустнут у бабок. На передних ногах одной — белые носки, и даже копыта у нее розовые...

Я тайно и безумно любил этих коней — каждую их лощеную шерстинку, каждое их богоподобное движение, позвякиванье их сбруи, призрачный стук их невесомых копыт на рыси. Я никогда не мог досыта на них наглядеться...

Я временами любил — ничего не мог с собой поделаться! — их хозяина Антона Коробова, когда тот ласкал своих коней, говорил с ними с шутилой небрежностью, за какой взрослые обычно прячут свою нежность к детям. Его смуглое лицо в эти моменты было таким, что хотелось подвернуться под его руку, чтоб осчастливил — погладил по голове.

Я любил его и тогда, когда перед закатом, сквозь золотую пыль лучей низкого солнца он проезжал по селу на своей паре. Всегда это случалось внезапно. Они возникали посреди улицы — громадные, переливисто лоснящиеся, победно сильные, столь одинаково выгнувшие шеи, столь согласованно попирающие землю ногами, что

казалось — бежит не пара зверей, а одно-единственное до ужаса великолепное существо. А позади него, выкинув вперед руки, величаво откачнувшись назад, — он, повелитель, он, бог! Как бы я хотел походить на него! Бога нельзя не любить!

Его любили дети и собаки, да и прочие животные тоже. Рассказывают: однажды он подошел к рассвирепевшему быку, только что разбившему телегу, ранившему лошадей. Подошел, почесал его, как собаку, за ухом, взял его за кольцо в носу и отвел в стойло.

Его не любили взрослые. Не только мой отец, но и мужики, богатые и бедные без разбора: «Тонька Коробов — хват. С ним на палочке не тянись — руки до плеч выдернет, и все с улыбочкой — прощай».

Был он женат на единственной дочери местного купца-богатея Игнашихина и должен был стать его наследником. После революции старик Игнашихин с сумой на плече ушел куда-то на сторону, жить у зятя не стал — неспроста... Антона же Коробова тогда не тронули, даже одно время почтительно величали «культурным хозяином».

Он остановил воз, сунул вожжи за грядку, бросил лошадей прямо на дороге, направился к нам.

А лошади мотали головами, взрывали копытами пыль, им хотелось двигаться, хотелось в подмывающем содружестве и дальше тянуть этот посильный воз, но — умны же! — хозяин отошел, надо ждать... И копытят пыль на дороге.

У Антона Коробова на смуглом лице светлые глаза и светлая, ровно подрубленная бородка. Он был не особо высок ростом, но держался столь прямо, словно все на голову ниже его.

— Здоровы будем, мир честной, — приветствовал он.

— Здоров, коли не шутишь, — отозвался доброхот.

— Выглядываете, кто сколько горшков нажи?

— Чай, любопытно.

— И вам, Федор Васильевич, тоже?.. — Антон Коробов нацелил бородку на моего отца.

— Да, — сухо ответил отец.

— Чужие горшки любопытны?..

— Событие, которое сейчас идет. Иль тебе, Антон, оно любопытным не кажется?

— Может быть, — с готовностью согласился Антон. — Вот только куда любопытное нас развернет?..

— Ко всеобщему равенству.

— М-да-а... Всеобщее, значит. Ты — мне, я — тебе, а вместе мы Бане Акуле равны?

— Не нравится?

— Нет, почему же. Я-то готов, да ты, Федор Васильевич, все сердито подминаешь. Ты наверху, я внизу — равенство.

— Не наш класс в эти подминашки первым играть начал.

Антон Коробов блеснул улыбочкой:

— Ах, вон что! Вам старые ухваточки приспособить не терпится.

Из кучи мужиков кто-то несдержанно выдохнул с радостной откровенностью:

— Гы!..

Они стояли друг против друга — мой отец и Антон Коробов. Мой отец широк, плечист, словно врос в землю расставленными ногами, взгляд его прям и тверд, многие мужики, стоящие сейчас в стороне, не под его взглядом, поеживаются. А Коробов — хоть бы что, задирает перед отцом бородку — легкий, статный, ворот именинно чистой рубахи распахнут на груди, сапоги блестят твердыми голенищами и открытая улыбочка: возьми-ка меня за рубль двадцать, дом отнял, глядишь грозно, а мне — трин-трава!

И кони в стороне гнули шеи, рыли дорогу точеными копытами...

В это время, гремя пустой телегой, подкатил Мирон Богаткин, уже сваливший свое добро вместе с оцинкованным корытом возле нового жилья.

— Тпр-р-у! — Мирон соскочил с телеги, подсмыкнул сползающие с тощего брюха портки.

Он и всегда-то был дерганный — все с рывка да с тычка, а сейчас весь переворошен — глаза в яминах блестят, как вода из колодца, во всклокоченной бороде солома, ворот холщовой рубахи расхлюстан, а тощие черные щиколотки чем-то сбиты до крови.

— Петро, ты тута?

— Тута,— ответил хозяин лошади Черный Петро, всегда пугавший меня улыбкой: и так уж страшен в своей смоляной бороде, а тут еще в этой бороде вдруг вспыхнут крупные зубы.

— Спасибочки за лошадь, Петро.

— Чего быстро управился?

— У меня всех тяжестев — камень под порогом, так я его новому хозяину оставил.

— Не прибедняйся: баба тебе портки в цинковом корыте стирает.

— Сменяем корыто за лошадь, ежели пожадował.

— Гы!..

— Эй, Мирон! Чтой-то ты вроде не в себе?

Мирон скребанул неразгибающейся, очугувеншей от работы пятерней по груди.

— Муторно, братцы!

— Дом новый не хорош?

— Хорош-то хорош, а как ни ступи, пятки жжет.

— Что так?

— Полы крашены... Не привык я по крашеному-то ходить.

— Привыкай, коли власть требует.

— Э-эх! — Мирон снова скребанул по груди.— Вот ежели б мне советска наша власть лошадь помогла огоревать... С лошадью я бы и сам дом поднял, чужого не надо.

— Зачем тебе лошадь, Мирон? — со своей тонкой улыбочкой вступил в разговор Коробов.— Федор Васильевич тебе стального коня обещает — трактор!

Мирон проблестел на Коробова недобрый глазом.

— Стальное-то мне не к рукам. Ногти о стальное-то обломаю. Мне бы обычное — костяное да жилианое, я б с энтим в землю по уши вьелся.

— А не опасно это, по уши-то? А? — Коробов краем глаза ловил выражение моего отца.— Вьешься в землю — зажиточным станешь, чего доброго, второго коня заведешь, дом железом покроешь, тут-то и кончится твоя масленица.

— Уж не завидуешь ли мне, Тонька? — спросил Мирон.

— Гы! — показал в страшной бороде страшные зубы Черный Петро.

— Завидую, брат. Ты тепер в ласке, а я в опаске. Нынче у меня дом отняли, завтра коней, а послезавтра... — Коробов круто, на каблучках повернулся к моему отцу.— А вдруг да не остановитесь, Федор Васильевич?

— На полдороге не остановимся, не мечтай.

— Слышал, Мирон? Потому и готов я сейчас же пролетарием стать.

— Гы!.. — гыкнул Черный Петро.

— Дело нехитрое,— произнес Мирон.— Отдай мне коней. Я пролетарием-то всю жизнь, поднадоело.

— Гы!.. Гы!..

— А ты примешь, ежели отдам? — спросил Коробов.— Не откажешься?

Мирон слотнул слюну, побежал глазом в сторону, в сторону, пока его глаз не уперся в коробовских коней на дороге.

— Попробуй проверь,— сказал он.

— По нынешним временам такие кони ой горячи, Мирон! Шибко они меня припекают. Спроси-ка Федора Васильевича, уж он-то лучше моего тебе растолкует.

— Зачем? — с пренебрежением отозвался мой отец.— Еще товарищ Карл Маркс отмечал: ни один мироед-собственник добровольно не отказывался от своей собственности.

— А кто говорит, что я добровольно от коней отрекаюсь?.. Нужда, Федор Васильевич, заставляет. Я их, лапушек, на руках выносил вместо детей. Дороги они мне...— Антон Коробов положил руку на сердце.— Вот тут лежат, с мясом отрывать придется.

— Сам не оторвешь, классовая жадность пораньше тебя родилась, Антон.

— А ежели смогу?

— Ежели б смог, то в наших рядах давно бы был,— ответил отец. Коробов улыбнулся своей тонкой, скользящей улыбкой.

— А я того и хочу, Федор Васильевич,— в ваших рядах. Хочу вот отдать своих коней, зато чужих брать, дом свой, который бревнышко по бревнышку клал, забыть, чтобы других из домов выселять... К понятию пришел: музыка нынче новая, так по-новому и танцуй.

Отец в ответ улыбнулся презрительно и жестко.

— Лиса в капкан попала — лапу себе отгрызть хочет. Нет, Антон, не примазывайся — разоблачим.

— Разоблачите?.. А что?.. То, что я ваши мысли приму, ваши законы признаю?.. За такое, Федор Васильевич, по голове не бьют, а как раз гладят да приговаривают: досужий мальчик, послушливый — сердце радуется.— Антон Коробов, прямой, остроплечий, задира на отца бородку, светленько ласкал глазами. Отец, широкий, тяжело давящий сапогами пыльную землю, встречал исподлобья этот ласковый взгляд.

Мирон Богаткин слушал их, выбирал негнушимися пальцами из бороды солому, и его рука заметно дрожала, глаза, прятавшиеся в глазницах, теперь выбрались наружу, они были бутылочно-зеленого цвета и беспокойны — перебегали с моего отца на Коробова, с Коробова на отца, а лицо напряжено, морщины на нем стянуты.

Коня же, о которых шла речь, чуть поуспокоились, грызли удила, судорожили атласной кожей, отгоняя мух. И тем наглядней было их недеревенское совершенство, что ближе к нам в обморочной дреме стояла запряженная в раскляустанную телегу лошадь Петрухи Черного — пыльно-шерстистая, с прогнутой обильным брюхом спиной, тупоногая, с громадной понуренной головой, с распущенными губами, облепленными мухами.

Мирон снова через силу слотнул слюну и сказал ссохшимся голосом:

— Слышь, Тонька: чур, я первый!

Коробов повел в его сторону светлым глазом:

— Вынесешь ли. Мирон?

— Мое дело.

— Двоих разом отдаю. Держать-то их в хозяйстве можно только парой. Поодиночке в плугу или на извозе надорвутся.

→ Знамо — тонкая кость.

— Тогда что ж... Считай — заметано.

И Мирон, распахнув зеленые глаза, затравленно заглядывался:

— Чё это?.. Ужель вправду он?.. Чё это, ребята?..

А «ребята» — кучка мужиков-хозяев из «твердой середки», те, что и сами имели коней, но не смели облизываться на «коробовских лебедек», — попритиснулись друг к другу, замерли, раскрыв окосма-

ченные бородами рты, таращили глаза, громко сопели и потели. Только Петруха Черный показал из бороды страшные зубы, изрек:

— Чудно!

— Очнись, простота! Покупают тебя по дешевке,— сердито сказал отец.

— Безопасность себе покупаю, Мирон,— спокойно добавил Коробов.

— Неужль вправду коней отдаешь за это?

— Дешевле-то не получается.

— А ведь я соглашусь, Антон Ильич, любый. Меня — на коней?.. Покупай! Соглашусь!

— Не ты, так другой — кто-то найдется.

— Найдется, паря, найдется. Но и я готов... За твоих коней да хоть душу черту... Готов, Антоша.

— Подумай о чести беднячкой! На дешевку клюешь! — Голос отца был сухой, нехороший.

— О чести?.. О беднячкой?.. — Мирон вывернулся боком, перекосил плечи, выгоревший до рыжины, закопченный до черноты, изрезанный морщинами, в холщовой серой рубаше, в крашенных линялых портах, черные сбитые щиколотки торчат из разношенных берестяных ступешек. — Я, Федор Васильевич, сорок осмой год живу на свете и все выглядываю, как бы из энтой чести выскочить подале... Бедняцкая честь, да катись она, постылая!

Мой отец схватил Мирона за выломленное костистое плечо, сильно тряхнул.

— Проснись, глухота! Ликвидация начинается! Слышал: кулака как класс... Хочешь, чтоб вместе с этим классом и тебя, беспортошного, ликвидировали?

Мирон досадливо освободился от отцовской тяжелой руки, нос его заострился, темное лицо посерело, как его заношенная холщовая рубаша, а глаза травянисто цвели.

— Ты, Федор Васильевич, из мужиков-то, видать, выскочил, не поймешь... Коней бери!.. Ни у отца мово, ни у деда такого случая не было, а я пропущу...

— Дура темная! Он спасается, а ты, баран, под обух лезешь!

— Такие кони... Уж знаю, что задешево не достанутся. Кто б мне в другое-то время таких коней посулил?.. Ты, Федор Васильевич, уже не мужик. Мужики-то, эвон, меня поймут...

Мужики, сбившись в жаркую кучу, дышали и молчали, молчали и глазели, замороженно, жадно, и, похоже, не очень-то понимали.

Мой отец обреченно махнул рукой:

— Баран!

Антон Коробов приподнял мятую шляпу:

— Доброго здоровья, мир честной... Мне пора.

Он двинулся к своим коням молодежато-легкой поступью, прямой, с занесенной вверх бородкой — взведен! Не дойдя до воза, обернулся к Мирону, стоявшему раскорякой:

— Я не шучу, но и ты обдумай, время есть. Федор Васильевич дело говорит. Мне-то все равно кому...

Мирон только негодуяще тряхнул замусоренной бородой.

Коробов не спеша разобрал вожжи, тронул коней с сочным причмоком. А они, легкие, дружно и гибко качнулись, повели дышлом. Воз, тесное нагромождение тучных узлов, расписных сундуков, берестяных коробов, величаво зашпатель, ошинованные колеса беззвучно стали давить в пыли четкие колеи.

— Нынче мужик землей наелся... И лошадей мужик скоро выгонит в леса — живите себе, дичайте. И сам мужик будет наг и дик, на Адама безгрешного похож. Птицы божии не сеют, не жнут — сыты бывают... Сыты и веселы...

Дед Санко Овин вглядывался вдаль, сквозь людей, размыленно-голубым взором, и солнце сияло на его апостольской лысине.

Ему отозвался Петруха Черный:

— Птицы божи... Гы!..

Едва коробовский воз скрылся за бывшим пыхтуновским пятистенком, как раздался радостный выкрик:

— Гляньте-ка: Ваня Акуля едет!

И все сразу встряхнулись, зашевелились, заулыбались, потянулись поближе к дороге.

— Чтой-то лошадей не видать?

— Под шапкой-невидимкой оне.

— Зачем Ване лошади, когда и своих ног у него в хозяйстве много.

— Энти не надсядутся переезжаючи.

По дороге пылило шествие. Впереди — ребягня. Только старший из акуленок был в штанах, на каждом шагу мерцал в прореху голым коленом. Старшего звали странно — Иов, остальных — Анька, Манька, Ганька, Панька. Эти даже ростом мало отличались друг от друга — в рубашках из старой домотканины до колен и ниже, с одинаковыми рябыми головами, стриженными ступеньками бараными ножницами, с одинаковыми ошпаренными солнцем, облезшими носами, как один по-мышинному быстроглазые. Они рысили за Иовом, несли кто что успел ухватить — узелок, кочергу, щербатый заступ. Самому младшему, Паньке, ничего хорошего нести уже не досталось, он нес полено.

За ними в туче пыли с громоздким пестерем за спиной вышагивал сам знаменитый по селу Ваня Акуля. Он в лохматой зимней шапке, но бос, у него сорочье быстроглазое лицо, руки его, длинные, тонкие, как лапы паука-сенокосца, прижимают к паху закопченный чугунок. Ваня Акуля знает, что над ним зубоскалят, потому издалека, на подходе уже начинает выделять паучьими ногами коленца: «Ах ты, сукин сын, камаринский мужик!..»

За ним отрешенно двигается его медлительная, водянистая, неряшливая жена. Она прижимает обеими руками к груди квашню. Квашня обмотана никогда не стиранной завеской-фартуком, по всему видать, переносится на новое место прямо с тестом — священный сосуд, дарующий жизнь.

Нет беднее в селе семьи. Акуленки даже жили не в избе, а в бане, банный полук служил им на ночь вместо полатей — бок к боку свободно уместались все семеро. Но сейчас они перебираются в дом Антона Коробова, один из самых — если не самый! — лучших в селе. Пятистенок под железной крышей, внутри крашенные полы, в отдельной светелке — особая печь-голландка, обложенная белыми, как молоко, гладкими, как лед, плитками.

Пылят акуленки, выплясывает сам Акуля с громадным, но не тяжким пестерем на спине, из которого торчат обкусанные валяные голенища. Акулькина баба прижимает к груди тяжкую квашню. Двигается племя к новой жизни.

Антон же Коробов, что минуту назад откатил на паре гнедых с рискованно качающимся возом — смех и грех! — должен разместиться в акуленьковской баньке с баннным полком вместо полатей и, конечно же, некрашенными полами. Но сколько лет он, Антон Коробов, и его бездетная жена ходили по крашенным полам, жили под железной крышей! Свершилось — идет Ваня Акуля!

И мой отец, борцовски опустив плечи, наблюдает за передвижением акуленьковского племени.

— Мы на горе всем буржуйам мировой пожар раздуем!.. — кричит не доходя Ваня Акуля. — Честной компании — мир и почтеньице!.. Федор Васильичу как вождю нашему и руководителю докладую:

Иван Семенихин, по прозвищу Акуля, задание партии выполняет. Да здравствует братство да равенство! Ур-ра-я!

— Иди, короста! — толкает его квашней жена.

— Ур-ра-я, граждане! Братству да равенству!..

И граждане веселятся.

— Кому-кому, а энтому от братства и равенства прямая польза!

— Верно сейчас дедко Овин сказал о птицах божьих — не сеют, не жнут, а веселы...

— Адам безгрешный, портки б только снять.

— Мы на горе всем буржуйам мировой пожар раздуем!..— Ваня Акуля вскидывает над головой закопченный чугунок.

— Иди, тошнотное! — Качая жидкими телесами, сонная, хмурая, прошествовала мимо жена Акули. Руки ее бережно прижимали к груди заряженную квашню — сосуд жизни.

Антон Коробов со своим возом не остановился возле акуленковской баньки, а проехал из села на станцию. Жена его еще раньше ушла пешком туда же к знакомым. Коробов пропадал три дня, вернулся с пустой телегой, завернул сразу во двор бывшего пыхтуновского дома к новому хозяину Мирону Богаткину.

Мы, мальчишки, битый час торчали у забора, жались к штакетинам, ждали, когда выйдут Коробов с Мироном смотреть коней и бить по рукам.

Битья по рукам не случилось. Из избы неожиданно выскочил Мирон, как всегда в своей несменной длинной холщовой рубаше, как всегда выгоревшие до рыжины волосы встрепаны, двигался сейчас с непривычной юркостью, даже, казалось, стал меньше ростом.

Он скатился с крыльца к лошадям, а на крыльцо вышел Антон Коробов в парусиновой городской куртке с нагрудными карманами, в парусиновом картузе, сбитом на затылок, в своих высоких, по самое колено сапогах с твердыми, словно надутыми голенищами. На его смуглом с пепельной бородкой лице цвел вишневенький румянец, Коробов сосал толстую папиросу и жмурил светлые глаза на Мирона. А тот бегал вокруг лошадей, запинаясь, путался в ремнях — мальчишески усердный и мальчишески неумелый. Только один раз Коробов подал голос:

— Удило-то вынь, лапоть!

Мирон освободил от упряжи коней, с куриным прикудахтыванием: «Родненькие... Красавчики...» — утянул в темные распахнутые ворота сначала одного, потом другого. Кони шли за ним неохотно, вскидывали головами, храпели, пытались оглянуться на стоящего на крыльце хозяина.

— Родненькие... Красавчики... Золотые!..

Последний, тот самый, у которого были белые носки на передних ногах и розовые копыта, коротко и нежно проржал. Антон Коробов выплюнул папиросу и тут же достал вторую, но спички ломались в его руках, никак не мог раздобыть огня.

Мирон долго копался в конюшне, наконец выскочил наружу — юркий серый заяц, — быстро завел створки ворот, навесил замок, защелкнул его и с ключом, запеченным в коричневом кулаке, с землистым лицом, встрепанной бородой и глазами, что цвела вода, двинулся на Коробова.

— Может, возьмешь все-таки деньги? — хрипло спросил он. — Все, что есть, отдам.

Коробов не сразу ответил, усиленно дышал дымом, сказал раздраженно:

— Какие твои деньги...

— Мотри! Станешь просить коней обратно — не выйдет!

— Чего зря воду толочь. Я же тебе бумагу дал. Твое! Владей! Пока владей, скоро отберут.

— Костями лягу.

— Костями... — сплюнул Коробов. — По твоим костям пройдут и хруста не услышат... Прощай. Будет круто, не поминай меня лихом.

— Небось...

Коробов отбросил папиросу, скользяще глянул в Мирона, сказал почти уважительно:

— А ты рискованный... Вот не чаешь, в ком смелость найдешь.

— Вовек не был смелым, — отозвался Мирон.

Тяжело ступая по ступенькам, Коробов спустился с крыльца и на последней споткнулся — из-за дощатых глухих ворот донеслось тоскующее нежное ржание. На холщовом лице Мирона враждебно зеленели глаза, он сжимал в кулаке ключ.

— Слышь, об одном прошу... — хрипло заговорил Коробов, — не бей их за-ради Христа, а лаской, лаской... Я их в жизни ни единова не ударил.

— Мои теперя — лизать буду, уж не сомневайся.

И еще раз прозвучало тоскующее ржание. Антон Коробов держащейся походкой вышел со двора, не обратив на нас, мальчишек, никакого внимания.

Мирон проводил его настороженными рысьими глазами, и его взведенные костлявые плечи обмякли. Он постоял минуту, словно отдыхая, потом встрепенулся, кинулся к стае, прогремел замком, приоткрыв створку, пролез внутрь, закрылся, застучал деревянным засовом, запираясь вместе с конями от нас, от села, от всего мира.

До сих пор у Мирошки Богаткина самой большой ценностью в хозяйстве было оцинкованное корыто.

Оцинкованное корыто — вещь, а коробовским коням никто в селе цены дать не мог.

Презренный металл не осквернил эту небывалую сделку. Наверно, в тот год советский закон еще признавал права за хозяином частной собственности — хочешь, продавай, хочешь, так отдавай, хочешь, съешь с кашей. Умирал, но еще не умер совсем нэп, коллективизация только начиналась, новорожденный лозунг «Ликвидировать кулачество как класс!» еще не воспринимался со всей беспощадной буквальностью. Сумел ли бы через месяц Антон Коробов отделаться от своих коней? И принял ли бы через месяц Мирон Богаткин этот бесценный и злой подарок? Жизнь тогда менялась с каждым днем — что было законно на прошлой неделе, становилось преступным сейчас.

Меня тогда, разумеется, никак не трогали эти вопросы, однако хорошо помню, что почти все село осуждало Мирона:

— С огнем играет... Икнется ему кисло...

За полями, где кончается земля, холм, поросший лесом, походил на заснувшего медведя. Каждый вечер садившееся солнце выжигало на его спине дремучую шерсть.

В последние дни село по вечерам переживало сумасшедший час — висит красная пыль в воздухе, коровы, козы, овцы мечутся по улице, мычание, бляение, остервенелые бабьи голоса:

— Марья! Гони ты мою от себя за-ради Христа!

— Пеструха! Пеструха! Пеструшенька! Сюды, любая, сюды! Мы с тобой нонче здесь живем!

— У-у, недоделанная! Каждый вечер ей вицею постановляю — все на старое воротит!

Возвращающаяся после выпасов скотина никак не может внять, что в селе произошло переселение.

Мужики в этой игре в салки участия не принимают. Они, как всегда, вылезают на крылечки, развязывают кисеты, палят табак. Мой отец тоже утверждает на своем крыльце, тоже вынимает кисет. Я пристраиваюсь у него с одного боку. С другого бока подруливает

кто-то из мужиков, тянется к отцовскому кисету, завязывает разговор:

— Керосину в лавках нету и мыла. Нету спичек. Бабы ловчат, одну спичку вдоль щепают на четыре части...

— Историю на дыбки подымаем, а ты о спичках скулишь!

В тот вечер к отцу неожиданно подошел Антон Коробов в светлой куртке с карманами, в светлом картузе на затылке, со светлой улыбочкой в подстриженной бородке.

— Проститься пришел, Федор Васильевич.

Отец подвинулся:

— Садись.

Над улицей висела красная от заката пыль, бабы гонялись за скотиной, ругались и причитали.

— Радуйся, Федор Васильевич, нету больше зажиточного земледельца Антона Коробова, есть свободный пролетарий.— Свободный пролетарий протянул отцу надорванную пачку аппетитно толстых папирос «Пушка», отец не заметил их, взялся за свой кисет.— Был я у самого председателя РИКа товарища Смолевича Льва Борисовича. У товарища Смолевича забот полон рот. Ему, к примеру, в этом году нужно устроить сиротский приют, или — по-нынешнему — детдом. Вот я все, что нажил,— все, кроме дома, который ты у меня отобрал,— при самом товарище Смолевиче отдал в общество «Друг детей», получил за это членскую книжку друга, значок с образом Ленина во младенческих годах и еще бумагу, в которой черным по белому прописано, что чист, ничего не утаил, скинул, так сказать, с себя бремя частной собственности.

— Ловко.

— Обществу «Друг детей» не понадобилась скотина да справа. Товарищ Смолевич объяснил: молочный и тягловый скот, равно как и сельхозинвентарь, должны остаться в селе, так как вскорости здесь организуется артель. Все в целости, Федор Васильевич: инвентарь, какой был, я оставил при доме, Ваня Акуля теперь над ним хозяин — доглядывайте. Корову женка отвела к бабке Ширяихе, а кони... кони у Мирона.

— Ловко, но и мы ведь не простаки.

— И еще по совету товарища Смолевича Льва Борисовича я написал письмо, в котором все как есть от души объяснил, почему я расстаюсь добровольно с презренной частной собственностью. И смею заметить, товарищ Смолевич Лев Борисович назвал мое письмо «пронзительной силы документ»! Он его посылает в газету и требует немедленного напечатания.

— Та-ак! — протянул мой отец.— Та-ак! Спасибо, что сообщил. Коробов вежливенько улыбнулся своей тонкой улыбочкой:

— Ничего у тебя не получится, Федор Васильевич.

— И на Смолевича найдем управу!

— Товарищ Смолевич — ленинец, Федор Васильевич. Ленин тоже навстречу нашему брату шел — нэп утвердил.

Отец опустил крупную голову, произнес глухо:

— Ох и скользкий ты враг, Антон! Та глиста, которая изнутри точит.

Коробов ласково шурился в висок моему отцу и не отвечал.

Висела над улицей красная пыль, колготились бабы, мычали, коровы, за огородом в бурьяне неистово кричал дергач.

Над уличной неразберихой вознеслось победно-въедливое:

— С-сы дороги!.. Мы на горе всем буржуям!..

По самой середине закатно-красной дороги, приседая на длинных, ломких ногах, размахивая длинными, угловатыми руками — ни дать ни взять поднявшийся торчком паук-великан,— вышагивал Ваня Акуля,

— С-сы дороги! Пр-ролетарий идет! Ги-ге-мон, в душу мать!.. Лохматая шапка напознала на нос, острокостистый, в цыплячем пуху подбородок задран, портки коротки, открывают голени, босые ступни гегемона корявы и растоптанны.

— Нынче я хозяин! Беднея меня нету! Мне нова власть служит!.. Дор-рогу Иван Макарычу!.. Вот она, наша родима нова власть! Федор Васильевич! Товарищ Тенков! Глянь суды — гигемон пришел!

Гегемона качало посреди дороги.

— Новоселье праздную! В честь всех вождей нынче выпил! Да здравствуит!..

— Где деньги взял? — спросил отец.

— Кофик... Конфик-ско-вал!..— Ваня Акуля узрел Коробова.— Мироеду и кровопийцу! Наше вам с заплаточкой!.. От передового класса!..

— Что продал, передовой класс? — напомнил Коробов вопрос отца.

— Не жил-лаю буржуем быть! Брезгаю!..

— Уж не из инвентаря ли что?.. Смотри, Федор Васильевич, растащит он инвентарь, не соберете потом.

— Крышу я продал!.. Жылезю! Я хоть и первый ныне, но простой!.. Все живут под деревянными, а я под жылезной — не жил-лаю!

— Эге! — весело удивился Коробов.— Сколько хоть дали-то?

— Я простой!.. Ставь четверть — бери жылезю!.. Не жил-лаю!..

— Кому? — спросил отец.

— Коней завел! Жылеза захотел! А я презираю!

— Уж не Богаткину ли Мирону?..

— Ему! Жылеза захотел! Презираю!

— Пропал дом,— без особой жалости, пожалуй, даже с торжеством произнес Коробов.

— Не хочу кулацкого! Хочу бедняком! Потому что честь блюду! Потому что... вышли мы все из народу! Дети семьи трудовой!.. А хошь, повеселю партийного человека?.. И ты, мироед-кровопийца, смотри — разрешаю!..

И-их, лапти мои —
Скороходики!..

Ваня Акуля, развесив по сторонам руки-грабли, начал месить черными ногами дорожную пыль.

Все мы вышли из семьи —
Из народика!

И давно уже сбежались мои приятели-ребятишки. И бабы бросили загонять коров, и кой-кто из мужиков, кряхтя, сполз с крылечка, подчалаил поближе.

Рожь в версту, овес с оглоблю
На плечи родился!
Я советску власть люблю,
Не на той женил-си!

— Федор Васильевич кровь свою проливал, чтоб Ванька, кого за назем считали, во главу... Ги-ге-мон! Мы на горе всем буржуям мировой пожар... Тебя, Тонька Коробов, скovyрнули — меня выдвинули! Во как!..

Коробов расхохотался. Мой отец, пряча лицо, глухо, с угрозой произнес в землю:

— Ступай, шут, проспись!

— Иду, Федор Васильевич, иду... Сею мену!.. Но не спать!.. Нет!.. Да здравствует наша родная советска власть!

Он запатался вдоль улицы на подламывающих ногах, развесив длинные руки, неестественно большеголовый от напаянной лохма-

той шапки,— нескладное насекомое. И к накаленно закатным крышам возносился его голос:

— Мы на горе всем буржуям!..

Мой отец сутулил плечи, смотрел в землю. Антон Коробов, ухмыляясь, выуживал из надорванной пачки новую папиросу «Пушка».

Люди, посмеиваясь, расходились. Мои приятели-ребятишки удрали за развеселым Ваней Акулей. Я не тронулся, не хотел бросать своего отца, почему-то мне было его жаль сейчас.

— Ох-хо-хо! И вышла из дыма саранча на землю, и дадена была ей власть, кою имеют скорпионы...— В длинной, до колен, белой рубаше, сам длинный, прямой, бестелесный, но с тяжелым кирпичным черепом, стоял в стороне Санко Овин.— Царем над собою саранча поймела ангела бездны по имени Аваддон... И сказано дале: энто только одно горе, аще два грядет... Ох-хо-хонюшки! Аще два ждите...— Дед Санко постоял, качнулся раз, отдохнул немного, качнулся другой раз, с натугой переставил тяжелый валенок, пошел, опираясь на сучковатую клюку.

Лиловые сумерки обволакивали село.

Коробов первым нарушил молчание:

— «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем...» Когда что-то горит, акулькам весело — уж они, верь, доведут до пепла...

Отец не ответил, сидел словно каменный.

— Товарищ Смолевич поумней тебя будет.

Отец пошевелился и сказал негромко:

— Акулька много не спалит, а вот ежели б тебе волю дать...

— Мне б волю дать, я бы... великую Россию досыта накормил.

— И стал бы царем — на руках носи.

— Могёт быть.

По небу разлилось зеленое половежье, в нем стылым серебряным пузырьком висела блеклая звездочка. Село утомилось, продолжал надрывно кричать дергач — таинственная птица, которую каждый слышит и никто не видит.

Коробов отбросил папиросу и встал:

— Прощай, Федор Васильевич. Мы еще усядемся вместе за красный стол... Хотя... ты прям, как дышло, такие не гнутся, да быстро ломаются. За красным столом я уж, верно, с товарищем Смолевичем посижу.

Коробов легко спрыгнул с крыльца, промаячил в темноте светлым кителем и растаял, но долго еще звучали в тишине прозрачнозвонкие, четкие шажочки. И по сей день я слышу их, и встает перед глазами статная, прямая фигура в летящей походочке — кулак, увильнувший от раскулачивания.

Отец зябко передернул плечами, тяжело поднялся:

— Пойдем в дом, Володька... Холодно что-то.

Шаги стихли. Кричал дергач.

На другой день по селу разносился громкий стук молотка о железо. Мирон Богаткин, босоногий, острозадый, ползал на карачках по крыше дома Антона Коробова и отдирал купленное у Вани Акули железо.

На другой стороне улицы стоял досужий люд, задрав головы на залатанный Миронов зад, судил.

— Неделю как и всего-то цинково корыто у него было.

— Растет репей.

— Прополют, нонче долго ли.

Самого Вани Акули среди досужих не было. Он после вчерашнего веселья отсыпался дома под грохот Миронова молотка. Во дворе на бревнышке, так, чтобы можно было видеть работающего Мирона, сидела серьезная жена Вани Акули, равнодушно лускала тыквенные семечки. Акуленковская ребятня, похожие друг на друга Анька, Манька, Ганька, Панька, тут же толкалась, радовалась — вон

сколько собралось народу возле их дома! Старший, Иов, был диковат, от людей прятался.

Кто-то радостно возвестил:

— Партия сюда идет!

— Сейчас объяснит Мирошке на пальцах.

— Эй, Мирон, гость к тебе — встречай!

Мой отец подошел вплотную к дому, задрал голову и, когда Мирон появился с очередным листом на краю крыши, приказал:

— Слазь, Мирон!

Мирон с грохотом сбросил лист, деловито высморкался, вытер черные пальцы о портки, ответил с достоинством:

— Некогда мне, Федор Васильевич, слазить. Говори уж так.

— Разговор-то крупный, Мирон, и не для всех.

— Чего таиться, чай, не за воровство журить меня собрался. Купленное забираю.

— Детей, дурак, без отца оставишь.

— Жалеешь!

— Жалею.

— Тогда и заступишься.

— Не смогу заступиться. Ни я, ни кто другой.

— Слабак, значит. Ну и не путайся. Я, может, денек первым человеком в селе пожить желаю.

— Сам же недавно кулаков клял, теперь в клятые лезешь.

— Нынче другое звание мне вышло — не нищесброд.

— Дом отыдем, коней отыдем и накажем по закону!

Мирон распрямился на крыше во весь рост, снова презрительно высморкался. Снизу под оттопыренной рубахой был виден его голый тощий живот.

— Отымете?.. Эт пожалте. Только помни, Федор, я убью тебя, когда ты руку к моим коням протянешь. Я не Тонька Коробов, я без хитростей... Ничегошеньки не боюсь.— Мирон повернулся спиной, стал на четвереньки и полез наверх.

В это время из сеней выполз Ваня Акуля, должно быть, проснулся от наступившей после грохота тишины. Без знакомой шапки на голове, с протертым острым темечком, опухший, трупно-зеленый, с затравленно бегающими глазками, он двинулся по двору, мучительно морщась, бережно неся на весу свои дрожащие руки.

— Ми-иро-он! — плачущим, детски слабеньким голоском позвал он.— Миро-он!

— Чего тебе? — недовольно отозвался Мирон с высоты.

— Дай еще на полдиковинки, Мирон.

— Допреж надо было торговаться.

— Ми-ир-он! Жылезо заберу... Полдиковинки, Мироша-а.

Мирон ожесточенно загремел молотком.

Ваня Акуля при каждом ударе вздрагивал опухшими губами и щеками, мучительно морщился, глядел на всех просительно увлажненными глазками. А все смеялись, советовали:

— Лезь на крышу, там ближе к богу.

— За ногу стяни.

— Смерть моя, братцы-ы!..— стонал Ваня.

Вместе со всеми визгливо смеялись над отцом Анька, Манька, Ганька, Панька, а со стороны серьезно и невозмутимо поплеывала тыквенной шелухой жена, наблюдала.

— Федор Васильевич! — Ваня двинулся к моему отцу.— Будь защитником! Ограбил меня Мирошка!.. Я ж ему за дешевку!.. Реквизуй, Федор Васильевич! — Он шел на пригибающихся ногах, тянул к отцу длинные трясущиеся руки. А наверху, под синим небом, гремел железом Мирон.— Фе-е-дор Василь-ич!

Отец резко повернулся и пошел прочь — тугая широкая спина ссутулена, голова пригнута, почему-то мне опять до боли, до крика стало жаль отца.

Ваня Акуля проводил его долгим тоскующим взглядом, потоптался, снова обернулся к людям и вдруг с неожиданной силой и страстью заломил над головой руки:

— Братцы-ы! Смилуйтесь!.. Братцы-ы! Поддиковинки всего... Заставьте изверга миром, войдите в положение!.. Тош-не-хонь-ко! Бра-а-ат-цы!

Все глядели на него и покатывались, стонали от смеха. Анька, Манька, Ганька, Панька плясали, путаясь в длинных рубахах. Даже невозмутимая жена Вани Акули, не переставая выплевывать тыквенную шелуху, раскисала в улыбочке. Смеялся и я.

— Бра-а-т-цы-ы! Тошне-хонь-ко!

В небе победно гремел железом Мирон.

Отец часто стал повторять одну фразу.

Сидел на крыльце вечером, слушал дергача, курил, вдруг встряхивался:

— Что-то тут не продумано.

Читал после обеда газеты, откладывал их, морщил лоб:

— Что-то тут не совсем...

Рассказывал матери об очередном собрании, обрывал себя на полуслове, задумывался:

— Что-то тут у нас...

Антон Коробов исчез из села в тот же вечер, сразу же после разговора с отцом. Он уже не слышал, как Мирон гремел железом на крыше его дома. Никто из наших больше не слышал об Антоне Коробове. Отец не сомневался: «Этот устроится... Что червяк в яблоке».

Во время дождей ободранная крыша коробовского пятистенка пропускала воду, как решето. Ваня Акуля, кляня кулацкие палаты, вместе с ребятишками, верной женой, прихватив квашню — сосуд жизни, перебрался обратно в свою баньку.

Несколько раз Мирон выезжал на своих конях. Гнедые кони по-прежнему лоснились, словно выкупанные, скупно отливали золотом. Мирон был темен лицом, расхлюстан, размахивая концами вожжей, он пролетал со стукотком из конца в конец — черноногий Илья-громовержец на колеснице. Мой отец ему больше не мешал: «Пусть... пока... Придет время, приведем в чувство».

Мирону, конечно, передавали эти слова, и он визгливо кричал: «Зоб вырву! Я нонче человек отчаянный!»

Отцу не довелось приводить в чувство Мирона. Его срочно перевели в другой район на более ответственную работу. Мы уехали из села.

Но уехали недалеко. На конференциях и областных совещаниях отец встречался с работниками старого района. Никто из них не вспоминал о Мироне Богаткине — шла сплошная коллективизация, раскулачивали и ссылали тысячами.

Нет, никому он не вырвал зоб, никого он не испугал, иначе вспомнили бы.

Отобрали ли у Мирона его оцинкованное корыто?..

Коней-то уж отобрали. Они вместе с брюхастой лошадкой Петрухи Черного попали в колхозные конюшни... А какие кони были!

* * *

Позволю себе, когда это будет возможно, напрямую обращаться к документам. Не хочу и не могу давать развернутые обоснования, они отяжелили бы и занукообразили мой литературный труд. Самое большее, на что я способен, — бросить лишь документальную реплику по ходу дела.

Итак, первая документальная реплика.

По данным «Истории КПСС», изданной Госполитиздатом в 1960 году (стр. 441), с начала 1930 по конец 1932 года было выселено 240 757 кулацких семей. Есть основание считать эту цифру сильно заниженной, хотя умиляет ее точность — не 240 тысяч и не 241 тысяча, а именно 240 757, ни больше, ни меньше, извольте верить, старались, считали, не закругляли. К слову сказать, и это уже всепланетный рекорд. Крестьянские семьи из пяти человек не считались большими. Помножив на пять указанное число высланных семейств, получаем более миллиона двухсот тысяч человек. До того времени история еще не знала столь массово грандиозных репрессивных кампаний¹.

Однако неопубликованная инструкция ЦИК и СНК СССР от 4 февраля 1930 года предлагала подвергнуть выселению свыше миллиона кулацких семейств, подразделяя их на три категории.

Первая. Самые непримиримые, совершающие террористические акты, подбивающие на восстания. Таких предположительно было чуть больше 60 тысяч. Инструкция требовала наказывать их вплоть до расстрела, а членов семей высылать в отдаленные районы.

Вторая. Кулаки наиболее богатые, но в терроризме не замеченные — около 150 тысяч хозяйств. Выселять с семьями, и подальше.

Третья. Умеренно богатые кулаки, а значит, и умеренно активные. Нетрудно подсчитать, что к этой категории относилось около 800 тысяч хозяйств. Выселять в места не столь отдаленные — в пределах того района, где проживали, на земли, не занятые колхозами. Следует заметить, что таковых земель — неколхозных — при сплошной коллективизации, увы, не оказалось, были лишь земли необжитые на окраинах нашей великой страны.

Выходит, что высокая инструкция так и не была полностью выполнена? Тогда чем объяснить громкие упреки в перегибах, высказанные самим Сталиным в громогласной статье «Головокружение от успехов»? Их повторяли и другие: например, журнал «Большевик» в 1930 году (№ 6, стр. 20) писал, что в одном из сельсоветов некоего Батуринаского района постановили раскулачить (а значит, и выслать) тридцать четыре хозяйства, при проверке же выяснилось — существует лишь три действительно кулацких семейства. Пример, показывающий, что инструкция выполнялась в десятикратном размере — за счет ареста середняков и бедняков.

Уинстон Черчилль в своей книге «The second world war» («Вторая мировая война») вспоминает о десяти пальцах Сталина, которые тот показал, отвечая ему на вопрос о цене коллективизации. Десять сталинских пальцев могли, видимо, означать десять миллионов раскулаченных — брошенных в тюрьмы, высланных на голодную смерть крестьян разного достатка, мужчин и женщин, стариков и детей.

Историк Р. Медведев, у которого я позаимствовал здесь основные документальные сведения, приводит и свидетельскую картинку поэтапного крестьянского выселения: «Старый член партии Э. М. Ландау встретил в 1930 году в Сибири один из таких этапов. Зимой в сильный мороз большую группу кулаков с семьями перевозили на подводах на 300 километров в глубь области. Дети кричали и плакали от голода. Один из мужиков, не выдержав крика младенца, сосущего пустую грудь матери, выхватил ребенка из рук жены и разбил ему голову о дерево».

Хлеб для собаки

Лето 1933 года.

У прокопченного, крашенного казенной охрой вокзального здания, за вылуценным заборчиком — сквозной березовый скверик. В

¹ По данным специальной проверки комиссии ВЦИК ВКП(б) за 1930—1931 годы, была выселена 381 тысяча кулацких семей («Вопросы истории КПСС», 1975, № 5, стр. 140).

нем прямо на утоптаных дорожках, на корнях, на уцелевшей пыльной травке валялись те, кого уже не считали людьми.

Правда, у каждого в недрах грязного, вшивого тряпья должен храниться — если не утерян — замусоленный документ, удостоверяющий, что предъявитель сего носит такую-то фамилию, имя, отчество, родился там-то, на основании такого-то решения сослан с лишением гражданских прав и конфискацией имущества. Но уже никого не заботило, что он, имярек, лишенец, адмовысланный, не доехал до места, никого не интересовало, что он, имярек, лишенец, нигде не живет, не работает, ничего не ест. Он выпал из числа людей.

Большей частью это раскулаченные мужики из-под Тулы, Воронежа, Курска, Орла, со всей Украины. Вместе с ними в наши северные места прибыло и южное словечко «куркуль».

Куркули даже внешне не походили на людей.

Одни из них — скелеты, обтянутые темной, морщинистой, казалось, шуршащей кожей, скелеты с огромными, кротко горящими глазами.

Другие, наоборот, туго раздуты — вот-вот лопнет посиневшая от натяжения кожа, тела колышутся, ноги похожи на подушки, пристроенные грязные пальцы прячутся за наплывами белой мякоти.

И вели они себя сейчас тоже не как люди.

Кто-то задумчиво грыз кору на березовом стволе и взирал в пространство тлеющими, нечеловечьи широкими глазами.

Кто-то, лежа в пыли, источая от своего полуистлевшего тряпья кислый смрад, брезгливо вытирал пальцы с такой энергией и упрямством, что, казалось, готов был счистить с них и кожу.

Кто-то расплылся на земле студнем, не шевелился, а только клекотал и булькал нутром, словно кипящий титан.

А кто-то уныло запихивал в рот пристанционный мусорок с земли...

Больше всего походили на людей те, кто уже успел помереть. Эти покойно лежали — спали.

Но перед смертью кто-нибудь из кротких, кто тишайше грыз кору, вкушал мусор, вдруг бунтовал — вставал во весь рост, обхватывал лучинными, ломкими руками гладкий, сильный ствол березы, прижимался к нему угловатой щекой, открывал рот, просторно черный, ослепительно зубастый, собирался, наверное, крикнуть испепеляющее проклятие, но вылетал хрип, пузырилась пена. Обдирая кожу на костистой щеке, «бунтарь» сползал вниз по стволу и... затихал насовсем.

Такие и после смерти не походили на людей — по-обезьяньи сжимали деревья.

Взрослые обходили скверик. Только по перрону вдоль низенькой оградки бродил по долгу службы начальник станции в новенькой форменной фуражке с кричаще красным верхом. У него было оплывшее, свинцовое лицо, он глядел себе под ноги и молчал.

Время от времени появлялся милиционер Ваня Душной, степенный парень с застывшей миной — «смотри ты у меня!».

— Никто не выполз? — спрашивал он у начальника станции.

А тот не отвечал, проходил мимо, не подымал головы.

Ваня Душной следил, чтоб куркули не распозались из скверика — ни на перрон, ни на пути.

Мы, мальчишки, в сам скверик тоже не заходили, а наблюдали из-за заборчика. Никакие ужасы не могли задушить нашего зверучьего любопытства. Окаменев от страха, брезгливости, изнемогая от упрямной панической жалости, мы наблюдали за короедками, за вспышками «бунтарей», кончающимися хрипом, пеной, сползанием по стволу вниз.

Начальник станции — «красная шапочка» — однажды повернулся в нашу сторону воспаленно-темным лицом, долго глядел, наконец изрек то ли нам, то ли самому себе, то ли вообще равнодушному небу: — Что же вырастет из таких детей? Любуются смертью. Что за мир станет жить после нас? Что за мир?..

Долго выдержать сквера мы не могли, отрывались от него, глубоко дыша, словно проветривая все закоулки своей отравленной души, бежали в поселок.

Туда, где шла нормальная жизнь, где часто можно было услышать песню:

Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
страна встает со славою
на встречу дня...

Уже взрослым я долгое время удивлялся и гадал: почему я, в общем-то впечатлительный, уязвимый мальчишка, не заболел, не сошел с ума сразу же после того, как впервые увидел куркуля, с пеной и хрипом умирающего у меня на глазах.

Наверное, потому, что ужасы сквера появились не сразу и у меня была возможность как-то попривыкнуть, обмозолиться.

Первое потрясение, куда более сильное, чем от куркульской смерти, я испытал от тихого уличного случая.

Женщина в опрятном и поношенном пальто с бархатным воротничком и столь же опрятным и поношенным лицом на моих глазах поскользнулась и разбила стеклянную банку с молоком, которое купила у перрона на станции. Молоко вылилось в обледеневший нечистый след лошадиного копыта. Женщина опустила перед ним, как перед могилой дочери, придушенно всхлипнула и вдруг вынула из кармана простую обгрызенную деревянную ложку. Она плакала и черпала ложкой молоко из копытной ямки на дороге, плакала и ела, плакала и ела, аккуратно, без жадности, воспитанно.

А я стоял в стороне и — нет, не ревел вместе с ней — боялся, надо мной засмеются прохожие.

Мать давала мне в школу завтрак: два ломтя черного хлеба, густо намазанных клюквенным повидлом. И вот настал день, когда на шумной перемене я вынул свой хлеб и всей кожей ощутил установившуюся вокруг меня тишину. Я растерялся, не посмел тогда предложить ребятам. Однако на следующий день я взял уже не два ломтя, а четыре...

На большой перемене я достал их и, боясь неприятной тишины, которую так трудно нарушить, слишком поспешно и неловко выкрикнул:

— Кто хочет?!

— Мне шматочек,— отозвался Пашка Быков, парень с нашей улицы.

— И мне!.. И мне!.. Мне тоже!..

Со всех сторон тянулись руки, блестели глаза.

— Всем не хватит! — Пашка старался оттолкнуть напиравших, но никто не отступал.

— Мне! Мне! Корочку!..

Я отламывал всем по кусочку.

Наверное, от нетерпения, без злого умысла, кто-то подтолкнул мою руку, хлеб упал, задние, желая увидеть, что же случилось с хлебом, наперли на передних, и несколько ног прошло по кускам, раздавило их.

— Пахорукий! — выругал меня Пашка.

И отошел. За ним все поползли в разные стороны.

На окрашенном повидлом полу лежал растерзанный хлеб. Было такое ощущение, что мы все вгорячах нечаянно убили какое-то животное.

Учительница Ольга Станиславна вошла в класс. По тому, как она отвела глаза, как спросила не сразу, а с еле приметной запинкой, я понял — она голодна тоже.

— Это кто ж такой сытый?

И все те, кого я хотел угостить хлебом, охотно, торжественно, пожалуй, со злорадством объявили:

— Володька Тенков сытый! Он это!..

Я жил в пролетарской стране и хорошо знал, как стыдно быть у нас сытым. Но, к сожалению, я действительно был сыт, мой отец, ответственный служащий, получал ответственный паек. Мать даже плакала белые пироги с капустой и рубленным яйцом!

Ольга Станиславна начала урок.

— В прошлый раз мы проходили правописание...— И замолчала.— В прошлый раз мы...— Она старалась не глядеть на раздавленный хлеб.— Володя Тенков, встань, подбери за собой!

Я покорно встал, не пререкаясь, подобрал хлеб, стер вырванным из тетради листком клюквенное повидло с пола. Весь класс молчал, весь класс дышал над моей головой.

После этого я наотрез отказался брать в школу завтраки.

Вскоре я увидел истощенных людей с громадными кротко-печальными глазами восточных красавиц...

И больных водянкой с раздутыми, гладкими, безликими физиономиями, с голубыми слоновьими ногами...

Истощенных — кожа и кости — у нас стали звать шкилетниками, больных водянкой — слонами.

И вот березовый сквер возле вокзала...

Я кой к чему успел привыкнуть, не сходил с ума.

Не сходил с ума я еще и потому, что знал: те, кто в нашем при вокзальном березнячке умирал среди бела дня, — враги. Это про них недавно великий писатель Горький сказал: «Если враг не сдается, его уничтожают». Они не сдавались. Что ж... попали в березняк.

Вместе с другими ребятами я был свидетелем нечаянного разговора Дыбакова с одним шкилетником.

Дыбаков — первый секретарь партии в нашем районе, высокий, в полувоенном кителе с рублено прямыми плечами, в пенсне на тонком горбатом носу. Ходил он, заложив руки за спину, выгнувшись, выставив грудь, украшенную накладными карманами.

В клубе железнодорожников проходила какая-то районная конференция. Все руководство района во главе с Дыбаковым направлялось в клуб по усыпанной толченым кирпичом дорожке. Мы, ребята, за неимением других зрелищ тоже сопровождали Дыбакова.

Неожиданно он остановился. Поперек дорожки, под его хромовыми сапогами, лежал оборванец — костяк в изношенной, слишком просторной коже. Он лежал на толченом кирпиче, положив коричневый череп на грязные костяшки рук, глядел снизу вверх, как глядят все умирающие с голоду — с кроткой скорбью в неестественно громадных глазах.

Дыбаков переступил с каблука на каблук, хрустнул насыпной дорожкой, хотел было уже обогнуть случайные мощи, как вдруг эти мощи разжали кожистые губы, сверкнули крупными зубами, сипяще и внятно произнесли:

— Поговорим, начальник.

Обвалилась тишина, стало слышно, как далеко за пустырем возле бараков кто-то от безделья тенорит под балалайку:

Хорошо тому живется,
У кого одна нога,—
Сапогов не много надо
И портошина одна.

— Аль боишься меня, начальник?

Из-за спины Дыбакова вынырнул райкомовский работник товарищ Губанов, как всегда с незастегивающимся портфелем под мышкой:

— Мал-чать! Мал-чать!..

Лежащий кротко глядел на него снизу вверх и жутко скалил зубы. Дыбаков движением руки отмахнул в сторону товарища Губанова.

— Поговорим. Спрашивай — отвечу.

— Перед смертью скажи... за что... за что меня?.. Неужель всерьез за то, что две лошади имел? — шелестящий голос.

— За это, — спокойно и холодно ответил Дыбаков.

— И признаешься! Ну-у, зверюга...

— Мал-чать! — подскочил опять товарищ Губанов.

И снова Дыбаков небрежно отмахнул его в сторону.

— Дал бы ты рабочему хлеб за чугуны?

— Что мне ваш чугуны, с кашей есть?

— То-то и оно, а вот колхозу он нужен, колхоз готов за чугуны рабочих кормить. Хотел ты идти в колхоз? Только честно!

— Не хотел.

— Почему?

— Всяк за свою свободушку стоит.

— Да не свободушка причина, а лошади. Лошадей тебе своих жаль. Кормил, холил — и вдруг отдай. Собственности своей жаль! Разве не так?

Доходяга помолчал, помигал скорбно и, казалось, даже готов был согласиться.

— Отыми лошадей, начальник, и остановись. Зачем же еще и живота лишать? — сказал он.

— А ты простишь нам, если мы отыдем? Ты за спиной нож на нас точить не станешь? Честно!

— Кто знает.

— Вот и мы не знаем. Как бы ты с нами поступил, если б чувствовал — мы на тебя нож острый готовим?.. Молчишь?.. Сказать нечего?.. Тогда до свидания.

Дыбаков перешагнул через тощие, как палки, ноги собеседника, двинулся дальше, заложив руки за спину, выставив грудь с накладными карманами. За ним, брезгливо обогнув доходягу, двинулись и остальные.

Он лежал перед нами, мальчишками, — плоский костяк в тряпье, череп на кирпичной крошке, череп, хранящий человеческое выражение покорности, усталости и, пожалуй, задумчивости. Он лежал, а мы осуждающе его разглядывали. Две лошади имел, кровопиец! Ради этих лошадей стал бы точить нож на нас. «Если враг не сдастся...» Здорово же его отделал Дыбаков.

И все-таки было жаль злого врага. Наверное, не только мне. Никто из ребятишек не заплясал над ним, не стал дразнить:

Враг-вражина,
Куркуль-кулачина
Кору жрет,
Вошей бьет,
С куркулихой гуляет —
Ветром шатает.

Я садился дома за стол, тянулся рукой к хлебу, и память разворачивала картины: направленные вдаль, тихо ошалелые глаза, белые зубы, грызущие кору, kloкочущая внутри студенистая туша, разверстый черный рот, хрип, пена... И под горло подкатывала тошнота.

Раньше мать про меня говорила: «На этого не пожалуюсь, что ни поставь — уминает, за ушами трещит». Сейчас она подымала крик:

— Заелись! С жиру беситесь!..

«С жиру бесился» я один, но если мать начинала ругаться, то всегда ругала сразу двоих — меня и брата. Брат был моложе на три года, в свои семь лет умел переживать только за самого себя, а потому ел — «за ушами трещит».

— Беситесь! Супу не хотим, картошки не хотим! Кругом люди черствому сухарю рады-радехоньки. Вам хоть рябчиков подавай.

О рябчиках я только читал стишки: «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй!» Объявить голодовку, вообще отказаться от еды я не мог. Во-первых, не разрешила бы мать. Во-вторых, тошнота тошнотой, картинки картинками, а есть-то мне все-таки хотелось, и вовсе не буржуйских рябчиков. Меня заставляли проглотить первую ложку, а уж дальше шло само собой, я расправлялся с обедом, вставал из-за стола отяжелевший.

Вот тут-то все и начиналось...

Мне думается, совести свойственно чаще просыпаться в теле сытых людей, чем голодных. Голодный вынужден больше думать о себе, о добывании для себя хлеба насущного, само бремя голода понуждает его к эгоизму. У сытого больше возможности оглянуться вокруг, подумать о других. Большей частью из числа сытых выходили идейные борцы с кастовой сытостью — Гракхи всех времен.

Я вставал из-за стола. Не потому ли в привокзальном сквере люди грызут кору, что я съел сейчас слишком много?

Но это же куркули грызут кору! Ты жалеешь?.. «Если враг не сдается, его уничтожают!» А это «уничтожают» вот так, наверное, и должно выглядеть — черепа с глазами, слоновьи ноги, пена из черного рта. Ты просто боишься смотреть правде в глаза.

Отец как-то рассказывал, что в других местах есть деревни, где от голода умерли все жители до единого — взрослые, старики, дети. Даже грудные дети... Про них-то уж никак не скажешь: «Если враг не сдается...»

Я сыт, очень сыт — до отвала. Я съел сейчас столько, что, наверное, пятерым хватило бы спастись от голодной смерти. Не спас пятерых, съел их жизнь. Только чью — врагов или не врагов?..

А кто враг?.. Враг ли тот, кто грызет кору? Он им был — да! — но сейчас ему не до вражды, нет мяса на его костях, нет силы даже в его голосе...

Я съел весь свой обед сам и ни с кем не поделился.

Есть мне приходится по три раза в день.

Как-то под утро я внезапно проснулся. Мне ничего не приснилось, просто взял да открыл глаза, увидел комнату в загадочно-пепельном сумраке, за окном серенький, уютный рассвет.

Далеко на пристанционных путях заносчиво прокричала маневровая «овечка». Ранние сеницы попискивали на старой липе. Скворец-папаша прочитал горло, пробовал петь по-соловьиному — бездарь! С болот на задах нежно, убеждающе закуковала кукушка. «Кукушка! Кукушка! Сколько мне жить?» И она роняет и роняет свое «ку-ку», как серебряные яички.

И все это происходит в удивительно покойных сереньких сумерках, в тесном, притушенном, уютном мире. В нечаянно вырванную у сна минуту я вдруг тихо радуюсь очевиднейшему факту — существует на белом свете некий Володька Тенков, человек десяти лет от роду. Существует — как это прекрасно! «Кукушка! Кукушка! Сколько мне?..» «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!..» Щедра без устали.

В это время далеко, где-то в самом конце нашей улицы загремело. Распарывая сонный поселок, приближалась расхлябанная телега, сминая серебряный голос кукушки, писк синиц, потуги бездарного скворца. Кто это и куда так сердито спешит в такую рань?..

И неожиданно меня ожгло: кто? да ясно! Об этих ранних поездках говорит весь поселок. Комхозовский конюх Абрам едет «соби-

рать падалицу». Каждое утро он въезжает на своей телеге прямо в привокзальный березняк, начинает шевелить лежащих — жив или нет? Живых не трогает, мертвых складывает в телегу, как дровяные чурки.

Гремит расхлябанная телега, будит спящий поселок. Гремит и стихает.

После нее не слышно птиц. Какую-то минуту просто никого и ничего не слышно. Ничего... Но странно — нет и тишины. «Кукушка! Кукушка!..» Ах, не надо! Не все ли равно, сколько лет проживу на свете? Да так ли уж мне хочется долго жить?..

Но словно ливень из-под крыши, обрушились проснувшиеся воробы. Зазвенели ведра, раздались женские голоса, заскрипел ворот колодца.

— Крыши чинить! Дрова пилить! Помойки чистить! Любая работа! — Сильный, с вызовом баритон.

— Крыши чинить! Дрова пилить! Помойки чистить! — повторил мальчишеский альти.

Это тоже высланные куркули — отец и сын. Отец — высокий, костляво-плечистый, бородатый, сурово-важный, сын — жилисто-худенький, веснушчатый, очень серьезный, постарше меня года на два, на три.

Каждый наш день начинается с того, что они громко, в два голоса, почти высокомерно предлагают поселку чистить помойки.

Я не должен есть свои обеды один.

Я обязан с кем-то делиться.

С кем?..

Наверное, с самым, самым голодным, даже если он враг.

Кто — самый?.. Как узнать?

Не трудно. Следует пойти в березовый скверик и протянуть руку с куском хлеба первому же попавшемуся. Ошибиться нельзя, там все — самые, самые, иных нет.

Одному протянуть руку, а других не заметить?.. Одного осчастливить, а десятки обидеть отказом? И это будет воистину смертельная обида. Те, к кому рука не протянется, будут вывезены конюхом Абрамом.

Могут ли обойденные согласиться с тобой?.. Не опасно ли открыто протягивать руку помощи?..

Конечно же, я тогда думал не так, не такими словами, какими пишу сейчас, тридцать шесть лет спустя. Скорей всего я тогда вовсе не думал, а остро чувствовал, как животное, интуитивно угадывающее будущие осложнения. Не разумом, а чутьем тогда я осознал: благородное намерение — разломи пополам свой хлеб насущный, поделись с ближним — можно свершить только тайком от других, только воровски!

Я украдкой, воровски не доел то, что поставила передо мной на стол мать. Я воровски загрузил в свои карманы честно сэкономленные три куска хлеба, завернутый в газету комок пшенной каши величиной с кулак и чистый, совершенный, как кристалл, кусочек сахара-рафинада. Среди бела дня я вышел на воровское дело — на тайную охоту на самого, самого голодного.

Я встретил Пашку Быкова, с которым учился в одном классе, жил на одной улице, дружить не дружил, а враждовать остерегался. Я знал, что Пашка голоден всегда — днем и ночью, до обеда и после обеда. Семья Быковых — семь человек, все семеро живут на рабочие карточки отца, который работает сцепщиком на железной дороге. Но я не поделился с Пашкой хлебом — не самый...

Я встретил скрюченную бабку Обноскову, которая жила тем, что собирала на обочинах дорог, на полях, на опушках леса травки и

корешки, сушила, варила, парила их... Другие такие одинокие старухи все поумирали. Я не поделился с бабкой — еще не самая.

Мимо меня протрусил Борис Исаакович Зильбербрунер в галошках, привязанных веревочками к грязным лодыжкам. Если б я встретил этого Зильбербрунера раньше, то, как знать, возможно, решил — тот самый. Недавно он был одним из шкилетников, торчащих возле столовки, но приноровился делать рыболовные крючки из проволоки, за них платили даже куриными яйцами.

Наконец я налетел на одного из шатающихся по поселку словнов. Широченный, что платяной шкаф, в просторном мужицком махлае цвета пахотной земли, в запорожской, казацкой шапке — грачиное гнездо, с пышными, голубовато-бледными ногами, которые при каждом шаге тряслись, как овсяный кисель, и смогли бы уместиться только каждая в банной лохани.

Может, и он был еще не тот самый... Продолжи я свою охоту, наверное, наскочил бы на более несчастного, но остатки обеда жгли меня сквозь карманы, требовали: делись немедленно!

— Дяденька...

Он остановился, тяжело дыша, нацелил на меня со своей башенной высоты глаза-щелки.

Бледное раздутое лицо вблизи поражало неестественным гигантизмом — какие-то плавающие, словно дряблые ягодицы, щеки, низвергающийся на грудь подбородок, веки, совсем утопившие в себе глаза, широченная, натянута до трупной синевы переносица. На таком лице ничего нельзя прочесть, ни страха, ни надежды, ни растроганности, ни подозрительности, — подушка.

Терзая карман, я неловко стал освобождать первый кусок хлеба.

Разглаженная физиономия дрогнула, туго надутая, с короткими, грязными, негнибающимися пальцами кисть протянулась, взяла кусок нежно, настойчиво, нетерпеливо. Так берет из руки хлеб телефон с теплым носом и мягкими губами.

— Спасибо, хлопчик, — сказал фистулой слон.

Я выложил ему все, что у меня было.

— Завтра... На пустыре... Возле штабелей... Что-нибудь еще... — пообещал я и кинулся прочь с облегченными карманами и облегченной совестью.

Весь день я был счастлив. Внутри, в подреберье, где живет душа, было прохладно и тихо.

На пустыре, возле штабелей... На этот раз я нес восемь кусков хлеба, два ломтика сала, старую консервную банку, набитую тушеной картошкой. Все это я должен был съесть сам и не съел, сэкономил, когда отворачивалась мать.

Я бежал к пустырю вприпрыжку, придерживая обеими руками оттопыривающуюся на животе рубаху. Чья-то тень упала мне под ноги.

— Молодой человек! Молодой человек! Молю! Уделите минутку!..

Ко мне ли обращаются столь почтительно?..

Ко мне.

Поперек дороги стояла женщина в пыльной шляпке, известная всем по прозвищу Отрыжка. Она была не слонихой и не шкилетницей, просто инвалидкой, изуродованной какой-то странной болезнью. Все ее сухое тело неестественно измято, скрючено, вывернуто — плечики перекошены, спина откинута, маленькая птичья голова в замусоленной суконной шляпке с тусклым перышком где-то далеко позади всего тела. Время от времени эта голова делает отчаянное встряхивание, словно хозяйка собирает лихо воскликнуть: «Эх! И

спляшу вам!» Но Отрыжка не плясала, а обычно начинала сильно-сильно подмигивать всей щекой.

Сейчас она подмигивала мне и говорила страстным, слезливым голосом:

— Молодой человек, поглядите на меня! Не стесняйтесь, не стесняйтесь, внимательней!.. Вы когда-нибудь видели обиженное богом существо?.. — Она подмигивала и наступала на меня, я пятился. — Я больна, я беспомощна, но у меня дома сын... Я — мать, я люблю его всей душой, я готова на все, чтоб его накормить... Мы оба забыли вкус хлеба, молодой человек! Маленький кусочек, прошу вас!..

Веселое до жути подмигивание всей щекой, черная рука с грязной тряпочкой, чтоб промокнуть глаза... Откуда она узнала, что у меня под рубахой хлеб? Не сказал же ей слон, который ждет меня на пустыре. Слону выгодно молчать.

— Готова встать перед вами на колени. У вас такое доброе... у вас ангельское лицо!..

Как она узнала о хлебе? Нюхом? Колдовством?.. Я не понимал тогда, что не я один пытался подкормить ссыльных куркулей, что у всех простодушных спасителей было красноречиво воровское, вино-ватое выражение лица.

Устоять перед страстью Отрыжки, перед ее развеселым подмигиванием, перед скомканной грязной тряпицей я не мог. Я отдал весь хлеб с ломтиками сала, оставив вместе с банкой тушеной картошки только один кусок.

— Это я обещал...

Но Отрыжка пожирала сорочьими глазами консервную банку, трясла пыльной шляпкой с перышком, стонала:

— Мы гибнем! Мы гибнем! Я и мой сын — мы гибнем!..

Я отдал ей и картошку. Она засунула банку под кофту, жадно блестя глазом на оставшийся в моей руке последний ломоть хлеба, дернула головой — эх, спляшу! — еще раз подмигнула щекой, пошла прочь, накрененная набок, как тонущая лодка.

Я стоял и разглядывал хлеб в руке. Кусок был мал, завожен в кармане, помят, а ведь я сам позвал — приходи на пустырь, я заставил голодного ждать целые сутки, сейчас я ему поднесу такой вот кусочек. Нет, уж лучше не позориться!..

И я с досады — да и с голода тоже, — не сходя с места, съел хлеб. Он неожиданно был очень вкусен и... ядовит. Целый день после него я чувствовал себя отравленным: как я мог — вырвал изо рта у голодного! Как я мог!..

А утром, выглянув в окно, я похолодел. Под окном у нашей калитки торчал знакомый слон. Он стоял, облаченный в свой необъятный кафтан цвета свежеспаханного поля, сложив жабьи мягкие руки на тучном животе, ветерок шевелил грязный мех на его казацкой шапке, — недвижим и башнеподобен.

Я сразу почувствовал себя гадким лисенком, загнанным в нору собакой. Он может простоять до вечера, может так стоять и завтра и послезавтра, спешить ему некуда, а стояние обещает хлеб.

Я дождался, пока мать ушла из дому, забрался в кухню, отвалил от буханки увесистую горбушку, достал из мешка десяток крупных сырых картофелин и выскочил...

У пахотного кафтана были бездонные карманы, в которых, наверное, могли бы исчезнуть все наши семейные запасы хлеба.

— Сынку, нэ вирь подлой бабе. Немае у нэй нікóго. Ни сына нэма, ни дочки.

Я без него об этом догадывался — Отрыжка обманывала, но попробуй отказать ей, когда стоит перед тобой изломанная, подмигивает щекой и держит в руке грязную тряпицу, чтоб промокнуть глаза.

— Ой, лыхо, сынку, лыхо. Смерть и та грэбуе.. Ой, лыхо, лыхо. — Сипло вздыхая, он медленно отчалил, с натугой волоча пышные ноги по занозистым доскам поселкового тротуара, обширный, как стог, величественный, как обветшалый ветряк.— Ой, лыхо мни, лыхо...

Я повернулся к дому и вздрогнул: передо мной стоял отец, на гладко выбритой голове играет солнечный зайчик, тучновато-плотный, в парусиновой гимнастерке, перехваченной тонким кавказским ремешком с бляшками, лицо не хмурое и глаза не завешаны бровями — спокойное, усталое лицо.

Шагнул на меня, положил на мое плечо тяжелую руку и надолго загляделся куда-то в сторону, наконец спросил:

— Ты дал ему хлеба?

— Дал.

И он снова вглядывался вдаль.

Я люблю своего отца и горжусь им.

О великой революции, о гражданской войне сейчас поют песни и складывают сказки. Это о моем отце поют, о нем складывают сказки!

Он из тех солдат, которые первыми отказались воевать за царя, арестовали своих офицеров.

Он слышал Ленина на Финском вокзале. Он видел его стоящим на броневике, живым — не на памятнике.

Он был в гражданскую комиссаром Четыреста шестнадцатого револька.

У него на шее рубец от колчаковского осколка.

Он получил в награду именные серебряные часы. Их потом украли, но я сам держал их в руках, видел надпись на крышке: «За проявленную храбрость в боях с контрреволюцией»...

Я люблю отца и горжусь им. И всегда боюсь его молчания. Сейчас вот помолчит и скажет: «Я всю жизнь воюю с врагами, а ты их подкармливаешь. Не предатель ли ты, Володька?»

Но он тихо спросил:

— Почему этому? Почему не другому?

— Этот подвернулся...

— Подвернется другой — дашь?

— Н-не знаю. Наверное, дам.

— А хватит ли у нас хлеба накормить всех?

Я молчал и смотрел в землю.

— У страны не хватает на всех-то. Чайной ложкой море не вычерпашь, сынок. — Отец легонько подтолкнул меня в плечо. — Иди играй.

Знакомый слон начал вести со мной молчаливый поединок. Он подходил под наше окно и стоял, стоял, стоял, застывший, неряшливый, лишенный лица. Я старался не глядеть на него, терпел, и... слон выигрывал. Я выскакивал к нему с куском хлеба или холодной картофельной оладьей. Он получал дань и медлительно удалялся.

Однажды, выскочив к нему с хлебом и хвостом трески, выловленным из вчерашней похлебки, я вдруг обнаружил, что под нашим забором на пыльной траве валяется еще один слон, укрытый извоженной, когда-то черной железнодорожной шинелью. Он лишь приподнял на встречу мне нечесаную, в колтунах и болячках голову, прохрипел:

— Ма-а-льчик! По-ми-раю!..

И я увидел, что это правда, отдал ему кусок вареной трески.

На следующее утро под нашим забором лежали еще три шкилетника. Я попадал уже в полную осаду, я теперь не мог уже ничего вынести, чтобы откупиться. Пятерых не подкормишь от своих обедов и завтраков, да и запасов у матери на всех неостанет.

Брат бегал смотреть на гостей, возвращался возбужденно-радостный:

— Еще один шкилетник к Володьке приполз!

Мать ругалась:

— Лежку устроили, словно мы всех богаче. Прикормили паразитов, природы!

Как всегда, она ругала сразу двоих, хотя брат был не виновен ни сном ни духом. Мать ругалась, но выйти и отогнать голодных куркулей не решалась. Молча проходил мимо голодного лежбища и мой отец. Мне он не сказал в упрек ни единого слова.

Мать приказала:

— Вот кувшин — за квасом в столовку сбегай. И быстро мне! Делать нечего, я принял из ее рук стеклянный кувшин.

Сквозь калитку на волю я проскочил беспрепятственно, не вялым слонам и не еле ползающим шкилетникам перехватить меня.

Я долго толкался в столовке-чайной, покупал квас. Квас был настоящий, хлебный — никак не витаминный морс, — потому продавался не каждому, кто захочет, а только по спискам. Но торчи не торчи, а возвращаться надо.

Они меня ждали. Все лежащие сейчас торжественно стояли на ногах. Каскады заплат, медь кожи сквозь прорехи, зловещие оскалы заискивающих улыбок, знойные глаза, безглазые физиономии, тянущиеся ко мне руки, тощие, как птичьи лапы, круглые, как мячи, и надтреснутые, шершавые голоса:

— Хлопчик, хлеба...

— По крошечке...

— Помираю, ма-а-льчик. Перед смертью куснуть...

— Хошь, руку свою съем? Хошь? Хошь?..

Я стоял перед ними и прижимал к груди холодный кувшин с мутным квасом.

— Хле-ебца-а...

— Корочку...

— Хошь, руку свою?..

И вдруг со стороны, энергично тряся пером на шляпке, налетела Отрыжка:

— Молодой человек! Молю! На коленях молю!

Она действительно упала передо мной на колени, заламывая не только руки, но и спину и голову, подмигивая куда-то вверх, в синее небо, господу богу.

И это была уже лишка. У меня потемнело в глазах. Из меня рыдающим галопом вырвался чужой, дикий голос:

— Ухо-ди-те! Уходи-те!! Сволочи! Гады! Кровопийцы!! Уходите!

Отрыжка деловито поднялась, стряхнула мусор с юбки. Остальные, разом потухнув, опустив руки, начали поворачиваться ко мне спинами, расплзаться без спешки, вяло.

А я не мог остановиться, кричал рыдающе:

— Уходи-те!!

С инструментом на плечах подошли работяги — бородатый, степенный отец с конопатым, очень серьезным сыном, который был старше меня только на два года. Сын небрежно двинул подбородком в сторону разбредавших куркулей:

— Шакалы.

Отец важно кивнул в знак согласия, и они оба с откровенным презрением посмотрели на меня, встрепанного, заплаканного, нежно прижимающего к груди кувшин с квасом. Я для них был не жертва, которой нужно сочувствовать, а один из участников шакальской игры.

Они прошли. Отец нес на прямом плече пилу, и та гнулась под солнцем широким полотнищем, выплескивала беззвучные молнии, шаг — и вспышка, шаг — и вспышка.

Наверное, моя истерика была воспринята доходягами как полное излечение от мальчишеской жалости. Никто уже больше не выстаивал возле нашей калитки.

Я излечился?.. Пожалуй. Теперь бы я не вынес куска хлеба слону, стой тот перед моим окном хоть до самой зимы.

Мать ахала и охала — ничего не ем, хуюеу, синячищи под глазами... Она трижды на день устраивала мне пытку:

— Опять уставился в тарелку? Опять не угодила? Ешь! Ешь! На молоке сварена, масла положила, посмей только отвернуться!

Из муки, хранившейся к праздникам, она пекла мне пироги с капустой и рубленным яйцом. Я очень любил эти пироги. Я их ел. Ел и страдал.

Теперь я всегда просыпался перед рассветом, никогда не пропускал стука телеги, которую гнал конюх Абрам к привокзальному скверу.

Гремела утренняя телега...

Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня...

Гремела телега — знамение времени! Телега, спешившая собрать трупы врагов революционного отечества.

Я слушал ее и сознавал: я дурной, неисправимый мальчишка, ничего не могу с собой поделывать — жалею своих врагов!

Как-то вечером мы сидели с отцом дома на крыльчке.

У отца в последнее время было какое-то темное лицо, красные веки, чем-то он напоминал мне начальника станции, гулявшего вдоль вокзального сквера в красной шапке.

Неожиданно внизу, под крыльцом, словно из-под земли выросла собака. У нее были пустынно-тусклые, какие-то непромыто желтые глаза и ненормально взлохмаченная на боках, на спине, серыми клоками шерсть. Она минуту-другую пристально глядела на нас своим пустующим взором и исчезла столь же мгновенно, как и появилась.

— Что это у нее шерсть так растет? — спросил я.

Отец помолчал, нехотя пояснил:

— Выпадает... От голода. Хозяин ее сам, наверное, с голодухи плешивеет.

И меня словно обдало баннным паром. Я, кажется, нашел самое, самое несчастное существо в поселке. Слонов и шкилетников нет-нет да кто-то и пожалеет, пусть даже тайком, стыдясь, про себя, нет-нет да и найдется дурачок вроде меня, который сунет им хлеба. А собака... Даже отец сейчас пожалел не собаку, а ее неизвестного хозяина — «с голодухи плешивеет». Сдохнет собака, и не найдется даже Абрама, который бы ее прибрал.

На следующий день я с утра сидел на крыльце с карманами, набитыми кусками хлеба. Сидел и терпеливо ждал — не появится ли та самая...

Она появилась, как и вчера, внезапно, бесшумно, уставилась на меня пустыми, невымытыми глазами. Я пошевелился, чтоб вынуть хлеб, и она шарахнулась... Но краем глаза успела увидеть вынутый хлеб, застыла, уставилась издали на мои руки — пусто, без выражения.

— Иди... Да иди же. Не бойся.

Она смотрела и не шевелилась, готовая в любую секунду исчезнуть. Она не верила ни ласковому голосу, ни заискивающим улыбкам, ни хлебу в руке. Сколько я ни упрасивал — не подошла, но и не исчезла.

После, получасовой борьбы я наконец бросил хлеб. Не сводя с меня пустых, не пускающих в себя глаз, она боком, боком приблизилась к куску. Прыжок — и... ни куска, ни собаки.

На следующее утро — новая встреча, с теми же пустынными переглядками, с той же несгибаемой недоверчивостью к ласке в голосе, к доброжелательно протянутому хлебу. Кусок был схвачен только тогда, когда был брошен на землю. Второго куска я ей подарить уже не мог.

То же самое и на третье утро, и на четвертое... Мы не пропускали ни одного дня, чтоб не встретиться, но ближе друг другу не стали. Я так и не смог приучить ее брать хлеб из моих рук. Я ни разу не видел в ее желтых, пустых, неглубоких глазах какого-либо выражения — даже собачьего страха, не говоря уже о собачьей умильности и дружеской расположенности.

Похоже, я и тут столкнулся с жертвой времени. Я знал, что некоторые ссыльные питались собаками, подманивали, убивали, разделяли. Наверное, и моя знакомая попадала к ним в руки. Убить ее они не смогли, зато убили в ней навсегда доверчивость к человеку. А мне, похоже, она особенно не доверяла. Воспитанная голодной улицей, могла ли она вообразить себе такого дурака, который готов дать корм просто так, ничего не требуя взамен... даже благодарности.

Да, даже благодарности. Это своего рода плата, а мне вполне было достаточно того, что я кого-то кормлю, поддерживаю чью-то жизнь, значит, и сам имею право есть и жить.

Не облезшего от голода пса кормил я кусками хлеба, а свою совесть.

Не скажу, чтоб моей совести так уж нравилась эта подозрительная пища. Моя совесть продолжала воспаляться, но не столь сильно, не опасно для жизни.

В тот месяц застрелился начальник станции, которому по долгу службы приходилось ходить в красной шапке вдоль вокзального скверика. Он не догадался найти для себя несчастную собачонку, чтоб кормить каждый день, отрывая хлеб от себя.

Документальная реплика.

В самый разгар страшного голода в феврале 1933 года собирается в Москве Первый всесоюзный съезд колхозников-ударников. И на нем Сталин произносит слова, которые на много лет стали крылатыми: «сделаем колхозы большевистскими», «сделаем колхозников — зажиточными».

Самые крайние из западных специалистов считают — на одной лишь Украине умерло тогда от голода шесть миллионов человек. Осторожный Р. Медведев использует данные более объективные: «...вероятно, от 3 до 4 миллионов...» по всей стране.

Но он же, Медведев, взял из ежегодника 1935 года «Сельское хозяйство СССР» (М. 1936, стр. 222) поразительную статистику. Цитирую: «Если из урожая 1928 года было вывезено за границу менее 1 миллиона центнеров зерна, то в 1929 году было вывезено 13, в 1930 году — 48,3, в 1931 году — 51,8, в 1932-м — 18,1 миллиона центнеров. Даже в самом голодном, 1933 году в Западную Европу было вывезено около 10 миллионов центнеров зерна».

«Сделаем всех колхозников зажиточными!»

Параня

Лето 1937 года.

Наш небольшой железнодорожный поселок осоловел от жары, от пыли, от едкого дыма шлаковых куч, выброшенных паровозами.

На площадке перед районной чайной, в просторечии — тошнилвкой, с утра до вечера звучно и бодро кричит со столба радио:

Побеждать мы не устали,
Побеждать мы не устанем!

Краю нашему дал Сталин
Мощь в плечах и силу в стане...

Кричит репродуктор. Скучают у изгрызенной коновязи колхозные лошаденки. Двое парней-шоферов мучают ручкой не желающий заводиться грузовик. Поперек крыльца чайной-тошнилочки сладко спит облепленный мухами самый развеселый человек в поселке — Симаха Бучило.

В нашем сердце это имя,
На устах у всех наш Сталин...

Кричит репродуктор, а под столбом, посреди площади, обычное увеселение — поселковая ребятня окружила дурочку Параню.

— Параня! Параня! Кто твой жених?

— Уд-ди! Уд-ди!.. — гудит Параня и судорожно вертится в хочущем колесе, подставляя то зад, то бок под шипки и тычки.

Муравыния толчая, легкая давка, ликующий визг, привлекающий даже взрослых. Несколько почтенных отцов семейств заинтересованно топчутся возле дурочки, похохатывают, подзуживают:

— Ты, Парасковья, не таись, ты, девка, откройся нам...

— Кто твой жених, Параня?!

Парни из деревень, кого не назовешь ни большими, ни малыми, увальни в смазанных сапогах, с младенчески наивным восторгом на опаленных физиономиях, хозяйева лошадей, дремавших у коновязи, тычут в Параню кнутовищами.

— Парань! Эй!

— Уд-ди!

— Чтой тебя уж и тронуть нельзя, цяця?

— Дык засватана.

— Га! Дай-кось я...

— Уд-ди! Уд-ди!

Мимо — в белых парусиновых брючках и рубашке апаш — идет Андрей Андреевич Молодцов, холостой инкассатор, человек приятной наружности, культурного поведения, прекрасно исполнявший на мандолине «Светит месяц». По виду можно бы уловить — он презирает и осуждает. Можно бы, но трудно. И Андрей Андреевич Молодцов скрывается за углом, никем не понятый.

А баба из деревни с корзиной, увязанной платком, из-под которого высовывается голова петуха с бледным, свалившимся набок гребнем, не вытерпела, проста душа, и осуждения своего не скрывает:

— Ох бессовестники! Ох злыдни! Чем вам, ироды, помешала убогая?

— Тетка, спроси сама, кто жених-то... Никак не добьемся.

— Добром скажет — отстанем.

— Любо же знать...

— Гы-гы-гы!..

— Тьфу! Ошалелые! Креста на вас нет!

— Параня, кто твой?..

Параня ревет сильным сиплым мужским басом и по-детски размазывает черным тощеньким кулаком слезы и слюни.

— Ужо... Ужо... Зорьке Косому скажу, он вас ножиком зарежет...

А Зорька Косой сидит рядом, в тошнилочке, у открытого окна, любитесь на веселье — лицо узкое, бледное, черная челочка ровненько подрублена по самые брови, скрывает лоб, глаза трезвые, скучноватые.

Говорят, что он убил двоих, но сумел открутиться, отсидел только год в тюрьме. Зорька может выскочить на крыльцо, прикрикнуть тенорком: «Эй, вы-и! Шабаш!» И все разойдутся. С Зорькой не шути, он благороден, но не часто. Сегодня сидит, скучновато посматривает.

Параня сипло ревет, трет костистым кулачком лицо, дрожит под мешковиной своим грязным, тощим, перекошенным телом.

— Уд-ди! Уд-ди!

И муравьиная толча вoкpуг нее, и ликующие вопли, и звенящий детский смех, и короткое басовитое похохатывание взрослых...

И величание из репродуктора новым голосом, уже не просто бодрым, а проникновенным:

О Сталине мудром я песню слагаю,
А песня — от сердца, а песня такая...

Параня появилась в поселке года три тому назад и первое время на вопрос «кто твой жених?» простодушно отвечала:

— А сын божий Иисус Христос, вот кто.

С дико запутанной, густой, жесткой, как конская грива, шевелюрой, со щетинистыми, угрожающе угольными бровями, босоногая зимой и летом, в платье, сметанном из клейменого мешка, она сразу же вошла в пейзаж поселка, а имя ее — в незатейливый местный фольклор: «Хитрожоп, как Параня... Форсист, как Параня...»

Ей постоянно приходилось искать заступников. Сначала она провозглашала лишь имена добросердечных поселковых баб:

— Ужо вот Анне Митриевне нажалуюсь... Бабушке Губиной ужо скажу...

Но добрые бабушки не в силах были спасти Параню от ребятни и изнывавших от безделья досужих взрослых, приходилось искать иных защитников:

— Вот Ване Душному скажу...

Ваня Душной, он же Савушкин, — милиционер, надзирающий за порядком, человек серьезный, положительный, с кем даже Зорька Косой считается. Ваня Душной ради порядка раз или два пробовал защищать Параню, но над ним стали смеяться:

— Ты, Иван, того... подходишь... Тебя, слышь, Параня-то женихом величает. Прежде у нее был Иисус Христос, нынче ты на замену. Ты ведь мужчина в соку, а потом — форма, светлые пуговицы. Юродивые светленькое-то любят...

И Ваня Душной стал исчезать с улицы, как только появлялась Параня.

В поселке у всех на языке было имя Дыбакова — наистарший среди районного начальства, даже пешком по улицам не ходил, ездил на единственной в округе легковой машине — тонкоколесом «газике» с брезентовым верхом.

— Дыбакову нажалуюсь — в тюрьму вас засадит.

Но посадили самого Дыбакова, на поверку оказалось — в красных перьях черная птица. И поселковая дурочка Параня выбросила его из числа своих почетных защитников.

— Зорьке Косому... Он вас ножиком...

Зорька Косой туманно смотрит из оконца чайной, не вмешивается — не в том настроении.

— Параня, посватайся за меня...

— Га-га-га!

— Гы-гы-гы!..

— Уморила Параня...

— Уд-ди! Уд-ди!..

Со Сталиным вольно живется на свете:
Как ясное солнце он греет и светит,
Пути пролагает к великой победе,
Чтоб радостней было и взрослым и детям...

— Уд-ди!.. Я вот Сталину... Вот ужо ему... Ужо он вас... врагов народа...

Какой-то мальчонка резанно взвизгнул: «Сталин — жених Парани!» — и получил по шее от протрезвевшего взрослого. Гагакнул один

из парней с кнутом, но сразу же подавился нескромным смешком — сам допер, без доброжелателя.

Все видят его соколиные очи
И в светлые дни и в ненастные ночи.
Он вытер нам слезы, он счастье упрочил...—

кричало с высокого столба радио. Параня дрожала в своем клейменом платье, затравленно озиралась.

— Вот ужо...

Только что была плясавшая, паясничавшая карусель, только что стеной потные, оскаленные мальчишечьи лица, руки, руки со всех сторон, визг и стоны, голоса, голоса, захлебывающиеся, ласковые, вкрадчивые...

И тишина. Лишь тяжелое прерывистое дыхание да радио в небесах:

Он пишет законы векам и народам,
Чтоб мир осветился великим восходом...

Тишина, оглушающая больше, чем крик, визг, бесноватость. Глаза Парани дико косили, один в толпу, другой — куда-то вдоль улицы.

— Вот ужо...— Она пятилась.

Шоферы, крутившие заводную ручку грузовика, бросили возню, распрямились, недоуменно вглядываясь: что же случилось? И Зоренька Косой оперся локотком на подоконник, высунулся из окна.

— Вот ужо... Сталину... Родному и любимому...

Тесный круг разорвался, почтительно расступились перед дурочкой, и та бочком, бочком вышла из плена, остановилась, повела раскосмаченной гривой в одну сторону, в другую, смятенно кося горящими глазами... И вдруг сорвалась мелкой рысью, тряся мешковинным задом, стуча толстыми черными пятками... Споткнулась, упала, мешковина задралась, открыв тощие голубые ляжки. Параня съежилась, ожидая веселой бури, но буря не разразилась, никто не засмеялся...

Тогда она поднялась и, прихрамывая, торопливо ушла.

О Сталине мудром я песню слагаю,
А песня — от сердца, а песня такая...

Наверное, у нее нашлись наставники, так как на следующий день она держалась уже совсем иначе: на копотно-смуглом лице фатоватая озабоченность, глаза блестят истошно и сухо, косят сильнее обычного, походочка мелкая, острым плечом вперед, с каким-то непривычным для нее напорцем.

Увидев прохожего, Параня останавливалась, принималась сучить ногами — черной заскорузлой пяткой скребла расчесанную до болячек голень, глаза на минуту останавливались — провально-темные, с диким разбродом, один направлен в душу, другой далеко в сторону. При первом же звуке сиплого голоса глаза срывались, начинали суетливую беготню.

— Он все видит!.. Он все знает!.. Ужо вас, ужо!.. На мне венец! Жених положил... Родной и любимый... На мне его благость... Ужо вас! Ужо!..

Слова, то сильные, то гортанные, то невнятно жеванные, сыпались, как орехи из рогожи, пузырилась пена в углах синих губ.

— Забижали... Ужо вас... Он все видит... Родной и любимый, на мне венец...

Все сбегалось к ней, сбивались в кучу, слушали словно в летаргии, не шевелясь, испытывая коробящую неловкость, боясь и глядеть в косящие глаза дурочки и отводить взгляд.

— Великий вождь милостивый!.. Слышу! Слышу тебя!.. Иду! Иду!.. Раба твоя возлюбленная...

Любой и каждый много слышал о Сталине, но не такое и не из таких уст. Мороз продирает по коже, когда высочайший из людей, вождь всех народов, гений человечества вдруг становится рядом с косоглазой дурочкой. Мокрый от слюней подбородок, закипевшая пена в углах темных губ, пыльные, никогда не чесанные гривастые волосы, и блуждающие каждый по себе глаза, и перекошенные плечи, и черные, расчесанные до болячек ноги. Сталин — и Параня! Смешно?.. Нет, страшно.

Со всех сторон спешили, чтобы упиться этим преступным страхом. Слушали и молчали. Боже упаси обронить даже не слово, а вздох, дрогнуть хоть бровью. Боже упаси выделиться из остальных. Молчи и слушай, ничего не выражай лицом, кроме каменности.

— Вижу! Вижу! Свет ангельский!.. Свет! Свет! Светоч!.. Вождь и учитель... Венец принимаю!.. Ужо вам! Ужо! — Параня начинала дергаться, пена гуще вскипала в углах вывернутых губ.

Ваня Душной, придерживая кобуру нагана, припечатывая на каблук, подошел, озабоченно сопя, раздвинул плечом сборище, встал перед дурочкой. Та грозила в воздух немывтым кулачком:

— Ужо вам!

— Ты!.. Тоже за агитацию?.. Сматывай, недоделанная, чтоб руки не пачкать! — Развернулся кругом, лицом к народу. — А вы!.. По какому случаю стянулись на митинг? Топаи по домам, покуда я добрый!

Но из толпы подали голос:

— Высоко берешь, Ванька. Не сорвись. Она тут товарища Сталина хвалит, ты ей рот затыкать...

И Ваня Душной осекся, переступил с сапога на сапог.

— Но кто ее уполномочил?.. Что это будет, коль каждая шалава на вождя набросится, пусть даже с хвальбой?..

Посоветил, однако крутых мер не принял, рванул за инструкцией в отделение к товарищу Кнышеву.

Начальник районного отделения милиции Кнышев, человек пожилой, многосемейный, страдавший дамской болезнью мигренью, любил приbedняться: «Мы люди маленькие, высокий замах не для нас. Пьяницу скрутить иль жулика сцапать — вот наш скромный вклад в дело социализма».

Люди с высоким районным замахом вроде Дыбакова, наверное, сейчас уже рубят лес где-то в холодной Сибири, а Кнышев как сидел, так и сидит на своем месте, рассчитывает сидеть и дальше.

Он схватился за голову, когда узнал о том, что поселковая дурочка Параня выдает себя за невесту товарища Сталина. Сразу же позвонил в одно место, в другое, во время разговоров сильно потел, сто раз говорил «виноват», наконец положил трубку и решительно приказал Ване Душному:

— Бери!

И вот через весь поселок Ваня Душной, время от времени прикладываясь коленом к тощему мешковинному заду, провел хнычущую невесту великого вождя всех народов в предварилку.

Параня не первая. Многих за вождя взяли в поселке и в прошлом году и в нынешнем, возмущаться — да боже упаси! — в голову не приходило. Наоборот, Симаха Бучило, после того как забрали Дыбакова, обличал его без присыпу трое суток:

— Он в очках ходил! И в галстук! Простой народ нонче должен властвовать! Тот, что без галстуков!.. Я — за!.. Я за расстрел голосую!..

И голосовал перед прохожими сразу обеими руками.

Симаха Бучило обличал бы и дольше, да Ваня Душной перебил — утащил в милицию на всякий случай, чтоб не докатился до перегибчиков.

Но странно — поселковые массы восприняли вдруг арест Парани

неодобрительно. На улицах начались гадания не слишком потаенные, даже не шелотом, даже порой на базах.

— Она же товарища Сталина хвалила, не Троцкого.

— Зазорно вроде товарищу Сталину-то с ней жениться...

— Что тут зазорного? Прежде всегда ушибленных девок считали — Христовы, мол, невестушки.

— Сравнила, кума, шильце с рыльцем. Одно дело там Христос, другое — сам товарищ Сталин...

— А чего бы не сравнить? Христос богом был, куда уж выше, тыщу лет на него молились.

— Нет, как ни кинь, по-старому или по-новому, а промашечка вышла — хвалила, а ее цап!

— Промашечка? Ой, братцы, не тем пахнет! Не-ет! За любовь к отцу и учителю — в холодную? Не-ет, братцы, тут не промашечка, умысел ищи!

Находились и такие, кто даже Параню брал под сомнение: будь бдителен, враг повсюду, отцу родному не верь, почему нужно оказывать доверие какой-то дурочке?

— А что, ежели она того... замаскированный агент из какой-нибудь Англии?

— Вроде ты не знаешь, из какой такой она державы иностранной...

— Знать-то знаю, но все-таки... Могли и завербовать: притворяйся убоженькой, сообщай тайные сведения...

— Тайные-то сведения не на улицах валяются, они, простота, по учрежденьцам лежат. Вот если б она проникла куда, хоть в контору «Утильсырье», тогда подозревай, слова не скажу.

— Не замечено за Параней — чиста.

И общий возмущенный клич по поселку:

— Так за что ее, братцы, губят? Живая душа как-никак!

Никто другой из арестованных — тот же Дыбаков хотя бы — такой защиты не вызывал: «Живая душа гибнет!»

Шумел поселок, и ходил сторонкой в парусиновых брюках инкассатор Молодцов Андрей Андреевич, человек приятной наружности, культурного поведения — себе на уме...

— Писать надо, писать самому...

— До самого, поди, не долетит — высоконько. Лучше кому следует нужное словечко подпустить...

Нужное словечко было подпущено, и без промашки, кому следует.

Через несколько дней начальнику милиции Кнышеву позвонили:

— Ты, такой-рассякой, свихнулся?!

— Виноват...

— Думаешь, мы все с тобой за компанию отправимся петить в один голос «Солнце всходит и заходит»?

— Виноват, не пойму.

— Нет уж, пой ты, пташечка, мы слушаем...

— Виноват. Узнать позвольте, в чем дело?

— На чью агентуру работаешь, сволочь?

— Виноват!

— Не отвертись. Сигнальчик поступил, что ты, провокатор, за сердечное выражение любви и преданности к товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу людей в холодную сажаешь!..

Кнышев имел слабую голову, подверженную деликатной болезни, но достаточно крепкое сердце — удар снес и понял, что нужно срочно изобличить и обезвредить истинного виновника диверсии, иначе обезвредят его самого.

Он вызвал к себе Ваню Душного. Тот встал у дверей — приземистый, в выгоревшей до невнятного воробьиного цвета гимнастерке, просторный в плечах, ноги в неуклюжей косолапой стоечке, лицо

губастое, простодушно-суровое и готовность на нем: кого, товарищ начальник?..

— А разреши-ка, Савушкин, проверить мне твое личное оружие... Как отдаешь, лапоть?! Как отдаешь?! Начальству оружие вместе с поясом и кобурой подают. Вежливенько!.. Вот так-то!.. Посмотрим, посмотрим... Ты им гвозди вбивал, что ли?

— Не гвозди — замок. У самогонщицы Глашки Плетухиной... Нет, говорит, ключей, и все тут. Пришлось сбить замок.

— А патроны куда использовал?

— Сроду их не бывало. Сами знаете — для красоты носим эти штуки.

— Не в порядке оружие, не в порядке. Спрячем его... — И Кнышев сунул пояс с кобурой в свой письменный стол, а затем — как подменили вдруг человека — с замогильной угрозой: — На чью агентуру работаешь, сволочь?

— Чего?

— На чистых советских людей поклепы возводишь?

— Чего?

— Они сердечно выражают любовь и преданность нашему вождю, а ты, провокатор, за шиворот их да в холодную!

— Да чего?.. Вы ведь сами...

— Сами?! Рассчитываешь, что я с тобой за компанию «Солнце всходит и заходит» петь отправлюсь? Нет, соловушка, пой один!..

Кнышев с рук на руки передал арестованного Ваню Душного дежурному Силину, а сам сел писать сопроводение: «...Обманным путем вынудил дать соглашение на арест... терроризировал простых советских людей... прямая диверсия против Генсека...»

Параню выпустили.

Ее успели накоротко остричь. С грязно-серым, острым, как колун, черепом, угольно-пыльные косматые брови выглядят теперь еще более угрожающими, в знакомой клейменной мешковине — вовсе незнакомая Параня, даже походка изменилась, не просто дерганно вихляющая, а с судорожным прискоком, словно ежеминутно кто-то кричал у нее над ухом. Но прежнее косоглазие и прежняя блуждающая оглядка по сторонам.

Ее успели не только остричь, но, наверное, и допросить. Новый мотив зазвучал в ее несвязных речах... И новые слова:

— Свирженье-покушенье!.. Свирженье-покушенье!.. Ножики точут! Ножи-ножики! На родного и любимого... Вжик! Вжик! Чую! Чую! Свирженье-покушенье!.. Вжик!.. Венец вижу! Кровь на венце!.. Осподи милостивец! Спаси и помилуй!.. Отца нашего и учителя... Свирженье-покушенье!.. О-оспо-ди!..

И жители поселка снова сбегались к Паране со всех сторон, слушали и обмирали от ужаса.

— Острое! Острое!.. Спаси и помилуй отца и учителя!.. Венец вижу! Кровь на венце!..

Толпа, теснясь, сопя, потея, окружала Параню, внимала ей в гробовом молчании.

Но ни начальник милиции Кнышев, ни те из ответственных товарищей, за которыми скромный Кнышев признавал право большого замаха, не успели прийти в беспокойство: сборища же, черт возьми! Незапланированные демонстрации! А потом — речи... Голов не сносить. Никто даже не успел подумать о своих головах, как...

Напротив чайной (а как ни кружи поселком, рано или поздно вернешься сюда, районная тошниковка — центр, местный пуп!) под столом, с которого репродуктор бодро развивал тему «жить стало лучше, жить стало веселей», Параня утомленно бормотала о «венце», «ножах-ножиках», «свирженье-покушенье». Но вдруг она замолчала,

одичавшие глаза разбежались в разные стороны, мокрогубый рот перекосился. Параня вскинула грязный, тонкий, как куриная кость, палец, нацелила его в толпу и завизжала:

— Ви-и-ижу! Ви-и-ижу-у! Во-о-о! Во-о!.. Он! Он! На родного и любимого!.. О-он!.. Свирженье-покушенье!.. О-он! Наскрозь вижу!..

Толпа качнулась, и под тощим пальцем оказался Гена Пестерев, инструктор Осоавиахима, он же преподаватель физкультуры, он же капитан местной футбольной команды, он же баянист Дома культуры. Гена Пестерев, или Генка Девочка, так как имел привычку обращаться ко всем, будь то старухи или старики, парни-одногодки или совсем юная поросль школьников, «девочки»: «Девочки, не лезьте без очереди», «Девочки, а не погонять ли нам мяч...» Высокий, крепкошей, с чубом — льяная волна, выпуклую грудь обтягивает майка-футболка, увешанная значками ГТО, ПВХО, «Ворошиловский стрелок», сейчас он стоял под Параниным пальцем и бледнел.

— О-он!.. На родного и любимого!.. О-он!.. Ножи-ножики!.. Ви-ижу-у!..

— Девочки, что же это? — Гена криво улыбнулся и стал оглядываться, а все разномастные «девочки» пятились от него. С приклеенной улыбкой попятился и Гена.

— О-он!.. — стонуще визжала Параня. — О-о-он! Держи-ите!.. Свирженье-покушенье!.. На родного и любимого!..

Держать Гену Девочку никто не стал, все разбежались от Парани, оставили ее одну под кричащим столбом.

Но поселок сразу же забурился от догадок.

— А уж не учуяла ли чего Параня?

— Да полно вам, в жизнь не поверю. Чтоб Генка Девочка да того... Чтоб это он на самого... Да в жизнь не поверю!

— Ой, что-то ты спасаешь его. Ой, что-то неспроста...

— Да я же не о том... Мне Генка — тьфу! Не сват, не брат — седьмая вода на киселе.

— А спасаешь. Вроде и о бдительности никогда не слышал. Вроде и задачи партии — твоя хата с краю...

— Не партийный я. Могу и ошибаться в чем-то...

— Ишь сиротинушка казанская. Я вот тоже беспартийный, но коммунист. Бдительность чтуй!

Кто-то петухом наскакивал. Кто-то распускал перья, с кого-то сходил холодный пот, и похаживал инкассатор Молодцов мимо разговоров, мимо людей. Наверное, и не он один, попробуй разгляди таких, когда молчат, в глаза не бросаются... не они стране, не страна им. Антиобщественны.

Шумел поселок, судили Генку Девочку, гадали про Параню — треплется ли зря от убогости или же просто-напросто пронциательна? Но на глаза Паране уже не лезли — кто знает, что в тебе разглядит убогая? Судили о ней да поглядывали издалека. С почтением.

А она шаталась по улицам — маленькая, колуном голова, грозные бровищи, просторное платье из мешка, походочка с судорожным прискоком. Какое-то время за ней на почтительном расстоянии держались ребятишки. Не дразнили, нет, просто глазели, но матери и бабки криком, угрозами отзывали их:

— Васька! Пашка! Домой, паценки! Вот я вицей здоровой накормлю...

Дольше других торчали два брата Бочковы да рыжий Санька, сын пьяницы Симахи Бучило, — этих хоть с кашей съешь, родители не почешутся.

Как ни сторонился поселковый народ Парани, но к полудню она нашла-таки кого уличить.

Возле станции стоял ларек, в котором толстая Надька Жданова торговала морсом. Морс этот назывался витаминным, варился артелью инвалидов из еловой и сосновой хвои, но — секрет фирмы! — был

бледно-розового цвета. Пить его просто так никто не осмеливался — им запивали. Надька тут же продавала в розлив водку, теплую на жаре и запашистую не хуже витаминно-хвойного морса. Клин вышибался клином, на стакан водки — стакан морсу, по крайней мере дешева закусочка — всего две копейки. И дела в ларьке шли хорошо, Надька перевыполняла план, считалась лучшей стахановкой среди торговых точек поселка, была поперек себя толще.

Вот к ней-то и притопала Параня.

— Паранюшка, хочешь морсику? — ласково спросила Надька и щедро нацедила в пивную кружку.

Параня дрожащей рукой поднесла ко рту мутно-розовую влагу... и кружка затряслась, витаминный морс расплескался на землю. Пуская пузыри, дергая острой головой, Параня закричала:

— На-аскрозь ви-ижу!.. Я-ад крысиный!.. Свирженье!.. Нареченного моего!.. Отца нашего любимого... Свирженье!..

Надька не Генка Девочка, так просто ее не смутишь, за словом в карман не полезет.

— У-у, недоделанная! — заголосила она. — Невестушка толстопятая! Яд!.. Тоже мне, откуда таких слов набралась? Вот я кружкой тебе по каторжной башке! Яд! Это лечебный-то морс! Его весь поселок пьет да хвалит!..

И пошла, и пошла, и начисто забила Параню. Та в страхе отступила, но недалеко, стояла в стороне, тыкала тощим пальцем, бормотала:

— Ви-ижу! Она... Свирженье-покушенье... Нажалуюсь...

И опять суды да пересуды.

— Ишь ты кого Параня унюхала.

— Давно бы пора толстомясую!

— Яд... А что, очень даже может... Я сам давно замечал: морс-то у нее розовый, а меня почему-то с него зеленым рвет.

Но наутро веселье примерзло. Утром по всему поселку разнеслась весть — Генка Девочка и толстая Надька арестованы. Без промашки те, на кого указала перстом Параня. Значит, неспроста она кричит, значит, вправду насквозь видит — вот тебе и убогая, вот тебе и дурочка, посомневайся-ка в ней теперь, когда солидные органы верят и свою веру делом доказывают.

У каждого появился холодок под сердцем — вроде сам ты свят и чист, но один бог без греха.

Параня шаталась по улицам — черные босые ноги пропахивают пыль, сплюснутое клином темечко жарит солнце, косые глаза гуляют под бровями...

Параня шаталась по улицам, и встречные издали поворачивали обратно, простоволосые матери выскакивали из домов, хватали детишек, тащили с дороги, окна захлопывались, ларьки срочно закрывались: Параня идет!

Но магазины-то не закроешь перед Параней.

Она, бормоча, поднялась в лавку райпотребсоюза. Очередь за перловой крупой сразу же растаяла, покупатели один за другим, прижимаясь к стенке, повыскакивали на крыльцо. Отбежав, остановились кучкой, принялись жадно вслушиваться: что-то там сейчас?..

Обе продавщицы остолбенели при виде дурочки. Та, что постарше, бросилась к ящикам, стала хватать горстями пряники и конфеты:

— Паранюшка, на... Паранюшка, возьми гостинчик...

И Паранюшка взяла, стала грызть черствый пряник, мирно бормоча под нос:

— Венец... Благодать его... Нареченный... Родной и любимый... Светоч...

— Истинно, Паранюшка, истинно! Ты, милая, лучше конфетку поноси — сладкая! Для тебя нам ничего не жалко. Любим мы тебя...

Наконец, подергиваясь под мешковиной, Параня уже направилась к выходу, но тут случайно увидела в руках второй продавщицы, обмершей от страха молоденькой Тоси Филимоновой, огромный нож-хлеборез. Параня взвопила и забилась:

— Но-ож! Нож!.. Во-о! Нож!! Ой, свирженье!! Ой, покушенье!! Нож! На родного!.. Спаси-и!..

Ее крик вырвался на улицу, скучившиеся покупатели, ждавшие этого крика, двинулись было ближе к крыльцу, но тут же шархнулись в разные стороны — на крыльцо выскочила беснующаяся Параня.

Через каких-нибудь полчаса весь поселок уже знал, что указана Филимонова Тося.

Неужели и тут Параня не ошиблась?

А вот завтра узнаем — ошиблась ли, нет ли...

Утром Тося Филимонова была арестована.

Антип Федорович Рыгун, десять лет проработавший продавцом магазина-дежурки, построивший в центре поселка дом на кирпичном фундаменте, да так чисто, что не растратил ни единой государственной копейки, первым вывесил над замком объявление: «Закрывается на переучет!» А уж за ним решили переучитываться и другие магазины..

«Параня идет! Параня идет!» — по улицам шепот, как ветер.

Параня идет! Пустеют улицы.

Известный всему поселку золотарь Никита исполнял свое дело, вез в бочке груз, заполняя воздух производственным ароматом. Впереди показалась Параня, одна на всей улице — походочка бочком, с прискоком, череп — словно колпак, подбитый бровями.... Никита попробовал завернуть лошадь, но та от дрялости была нерасторопна, несла золотаря прямо на Параню. И тогда Никита скатился с бочки, по-куличьи приседая на бегу, рванул по боковой улочке, бросив лошадь, бросив груз... Лошадь с полным грузом подошла под окна чайной-тошниковки и встала, вызвав ложные слухи: «А случаем, Никиту того... не обезвредили?..»

В поселковом скверике проводился пионерский сбор. Старшая вожатая перед строем детишек читала доклад «Лучший друг советских детей».

В скверике появилась Параня, и со старшей пионервожатой сделали судороги, девочки в строю заплакали, все стали разбежаться...

Вечером в Доме культуры сорвался показ кинокартины «Мы из Кронштадта». Параня села отдыхать на клубное крылечко, в кино никто не пошел. Готовы были пойти только братья Бочковы да Санька рыжий, сын Симохи Бучило, но их не пустили: «Даешь билеты!»

Кто она? Чем берет? Почему персту Парани подчиняются даже те, кого до смерти боится сам начальник милиции товарищ Кнышев?

Одни шептали:

— Сам-то, когда в ссылку ехал в Туруханский край, в деревне Бродах задержался, жандармы, видите ли, недоглядели... Вот когда только всплыло. Перед Параней держи под козырек, исполняй что скажет.

Другие возражали:

— Чтоб чрез нас да в Туруханский край — это какой надо крюк делать. Не-ет, просто в Паране дар большой раскрыт, потому органы ее в штат взяли, крупно платят. Мы еще, братцы, увидим Параню в гимнастерочке да ремнях, с петличками, где кубари комсоставские... Параня — тайна сия велика есть, непонятное чудотворство!..

Эту тайну знал начальник милиции Кнышев.

Вовсе не Параня была главным виновником арестов, а... Ваня Душной, сидящий ныне под крепким замком. На него, Ваню Душного (по паспорту — Савушкин Иван Васильевич), завели дело, его обличали

как агента империализма, пробравшегося в ряды советской милиции. А какой агент действует в одиночку? Должны быть сообщники и у Вани Душного. Кто они?..

Вот тут-то легко встать в тупик. Ваню Душного знали все в поселке, стар и мал. Всех забрать просто нельзя. За перегибчики тоже наказывают. Но кого-то взять нужно. И наиболее подозрительных. Кто подозрителен? Не знаешь — прислушайся к массам.

Параня указывала?.. Нет! Поселковая дурочка для бдительных органов не авторитет. Но вот если массы начинают склонять имя того или иного жителя поселка, то на голос масс не реагировать просто преступно. Поэтому чутко прислушивались и... вылавливали. Правда, сами-то массы прислушивались к Паране, и, конечно, это было известно органам, но все, что пропущено через народ, то свято! Народ не ошибается! Кто смеет думать иначе?..

Кнышев знал и хранил, не открывал даже своей жене. Тайна сия велика есть — государственная тайна! Будь бдителен — враг повсюду! Болтун — находка для шпиона!

Параня идет!

Магазины закрыты на переучет или по болезни продавцов. Потроговывать снова начал лишь Антип Рыгун, но с черного хода.

Параня идет!

Однако жители поселка так ловко научились избегать с нею встреч, что аресты прекратились.

Параня идет — прячься!

И все-таки нашелся отчаянный, который не только не стал прятаться от Парани, а пошел ей навстречу.

Симаха Бучило почти каждодневно переживал моменты неужеримого энтузиазма — по поводу и без повода. Энтузиазм этот требовал большого расхода сил, а значит, и длительного отдыха. Места же для отдыха Симаха выбирал крайне неожиданные — поперек крыльца весьма посещаемой тошнилочки, посреди дороги, богатырски раскинувшись в пыли, заставляя объезжать стороной конный и механизированный транспорт, на перроне вокзала, подгадывая ко времени прихода пассажирского поезда. Едва отдохнув, он сразу же начинал готовить себя к новому энтузиастскому взрыву.

Параня идет!..

Все попрытались, остался посреди улицы энтузиаст Симаха, которого покидывало из стороны в сторону. Сперва он безуспешно попытался ловить убежавших.

— Стой! Стой! Куд-ды?!

И тут увидел Параню.

Она шла посередине дороги, как Христос, возвращающийся из пустыни после сорокадневного поста, — спеченное от черноты личико, голова-дынька подставлена под палящее солнце, мешковинное платье-хламидка едва прикрывает усохшее тело.

— Паранюшка! — изумился Симаха Бучило и распахнул объятия. — Паранюшка! Родная душа! — И с раскрытыми объятиями двинулся на нее, не по прямой, а со сложными загибами то на одну сторону, то на другую, но все-таки упрямо приближаясь к цели.

Параня, от которой все в ужасе бежали, Параня, под чьим пальцем исчезали люди, эта Параня попятилась от бесстрашного Симахи.

— Уд-ди! Нажалуюсь!

Но не тут-то было, Симаха Бучило обхватил ее и облобызал в мокрые губы.

— Паранюшка! Люблю! Паранюшка! Уважаю! Преданна! Верна! До самого что ни на есть корня! Гению! Вождю! Светочу!.. Ур-ра-а!..

Он крепко взял за руку Параню, повернулся к отчужденно замкнутым бревенчатым домишкам и закричал:

— Да здравствует Параня, верный и преданный соратник!..

Дома слепо взирали наглухо захлопнутыми окнами.

— Да здравствует великий и мудрый товарищ Сталин!

Симаха потащил Параню по молчавшей, опустевшей улице, время от времени подымая ей руку, как судья на ринге победившему боксеру.

— Да здравствует Параня!

Выдвинутая нижняя челюсть, обросшая медной щетиной,— и плаксивое лицо Парани.

— Да здравствует великий Сталин!

Сжатые руки возносятся над головами.

На пути им повстречался случайно подвернувшийся инкассатор Молодцов, как всегда, в отутюженных парусиновых брючках и рубашке апаш. Он остолбенел, он побледнел, он съежился — один на всей улице, заметая, привяжутся, припутают, невольный свидетель, тут-то и возьмут на заметку, тут-то и заставят говорить. Однако Симаха Бучило и Параня прошли мимо, словно и не было этого Молодцова. Привыкли, что незаметен, неразличим, и есть вроде и нет его — пустое место, человек-невидимка. Прошли мимо...

— Да здравствует Параня!.. Да здравствует великий и мудрый!..

На площади у тошниловки их встретил сумрачный Силин пожилой, толстый милиционер, заменивший обезвреженного Ваню Душного.

— Да здравствует Параня!.. Да здравствует...

Силин схватил Симаху за шиворот, деловито тряхнул:

— Пойдем!..

— Да здравствует великий Сталин!..

— Ид-ди, рвотное! — Силин оторвал Симаху от Парани.

— Да здравствует Параня! Верный и преданный...

Бенц по шее!

— Да здравствует великий Сталин!

Силин поднял кулак, но подумал и не ударил.

— Да здравствует Параня!

Удар!

— Да здравствует Сталин!

Пропуск удара.

— Да здравствует Параня!

Снова удар.

И так, под перемежающиеся удары и патриотические лозунги, ушел из жизни Симаха Бучило, развеселый человек.

Он не раз, сопровождаемый аккомпанементом по шее, уходил в милицию, но всегда быстренько возвращался. Теперь не вернулся, должно быть, попал в число сообщников Вани Душного. Что в общем-то верно — Симаха Бучило и Ваня Душной общались часто и энергично.

Бучило был последней жертвой Парани.

Кончилось все это неожиданно и печально.

Опять все на той же площади перед тошниловкой, под столбом, увенчанным неумолкающим громкоговорителем, Параня наткнулась на Зорьку Косого.

Все боялись Зорьки в поселке, но даже он, Зорька, сворачивал за угол, когда видел Параню. И вот случилось...

Параня, должно быть, вспомнила, что когда-то страшала им: «Ножиком вас зарежет...» Вспомнила про нож и подняла на Зорьку Косого пляшущий грязный палец:

— Во-о!.. Во-о!.. Виж-жу! Виж-ж...

И больше ничего не сказала. Зорька прыгнул, как петух на кошку.

— Заткнись, курва!

Коротко стукнул свинчаткой по острому стриженному темени.

Параня не вскрикнула, она только закружилась, развеивая вокруг тощих расчесанных ног клейменый подол. И упала плашмя, ударилась плоским затылком об утоптанную землю, из-под изумленных бровей глаза уставились вверх на столб, на репродуктор.

А бодрствующий репродуктор на этот раз настойчиво славил Человека, не избранного, не гения из гениев, не великого среди малых, а просто Человека:

«Я вижу его гордое чело и смелые, глубокие глаза, а в них — лучи бесстрашной, мощной Мысли, той Мысли, что постигла чудесную гармонию вселенной, той величавой силы, которая в моменты утомленья творит богов, в эпохи бодрости их низвергает...»

Словно из-под земли, из-за углов, из калиточек стали выползать люди. Помятенские, замороженно притихшие, испуганные и сторающие от любопытства, они окружили Параню.

Та лежала, раскинув тонкие руки, бестелесно плоская, хрупкая — уже готовые мощи с невинным лицом девочки и старухи. Бросались в глаза огромные ступни ног, разбитые вширь, с коряво торчавшими изувеченными пальцами, с чугунно твердыми подошвами. Ноги, не знавшие обуви ни зимой, ни летом. Натруженные ноги исполина, носившие по грешной земле истощенное тельце нищенки. И щетинистые брови, изумленно вскинутые, и мутнеющий взгляд, нацеленный на репродуктор на синем небе.

А репродуктор славил с высоты неба:

«Вооруженный только силой Мысли, которая то молнии подобна, то холодно-спокойна, точно меч, идет свободный, гордый Человек...»

Зорька Косой пришел в себя и рванул на груди рубаху:

— Граждани-и! За чи-то она меня? Чи-то ей сделал Зорька Косой? Граждани-и! Будьте свидетелями-и!..

Граждане молчали и глядели не на Косого, а на чугунные исполнинские ступни ног.

Зорька рванул на груди рубаху, а репродуктор перекрывал его рыдающий голос, внашал великое:

«Так шествует мятежный Человек сквозь жуткий мрак загадок бытия — вперед и выше, все — вперед и выше!»

В стороне же, на отдалении, стоял инкассатор Молодцов и плакал. Оплакивал Параню? Да нет. Молодцов — культурная личность — умел ценить высокое слово, да еще вовремя сказанное. А как нельзя более кстати напоминал репродуктор о мятежном Человеке, идущем вперед и выше. Плакал Молодцов тайком, не умел иначе. И, конечно же, слез его никто не заметил.

Зорьку Косого судили. На вопрос: «Что заставило вас совершить убийство?» — он отвечал:

— Да как же, граждане судьбы, она ж меня по крайней умственной отсталости под статью пятьдесят восемь подвести могла, во враги бы народа Зорьку Косого записали! Никак не согласен! Уж лучше смертоубийство — статья сто тридцать шесть, милое дело...

За чистосердечное признание к нему снизошли — судили по статье сто тридцать шесть как убийцу, а не как презренного врага народа.

Документальная реплика.

Повально знаменитое в свое время фото — Сталин с девочкой в матроске. Подпись под ним: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»

Имя этой девочки — Г е л я, дочь наркома земледелия Бурят-Монгольской АССР Ардана Ангадыковича М а р к и з о в а.

27 января 1936 года в Кремле происходил прием руководителями партии и правительства трудящихся Бурят-Монгольской АССР. Деле-

гацию из шестидесяти семи человек возглавляли секретарь Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) М. Н. Ербанов, председатель Совнаркома Бурят-Монголии Д. Д. Доржиев, председатель ЦИК республики И. Д. Дампилон. Присутствовал, разумеется, и отец Гели.

Во время торжественного заседания шестилетняя Геля поднесла букет цветов Сталину, и тот взял ее на руки. Этот момент и был запечатлен на снимках, облетевших всю страну, ставших плакатом.

— Что ты хочешь получить в подарок — часы или патефон? — спросил Сталин.

— И часы и патефон, — ответила Геля.

Действительно на следующий день она получила золотые часы и патефон с набором пластинок. На том и на другом подарке было выгравировано: «Геле Маркизовой от вождя народов И. В. Сталина».

Отца Гели среди других наградили орденом Трудового Красного Знамени.

Вскоре его арестовали и расстреляли вместе с Ербановым, Доржиевым и другими. Мать Гели сразу же после этого погибла при невыясненных обстоятельствах — на ночном дежурстве в городской больнице, где она работала врачом.

Геля осталась сиротой, долго жила в нищете и безвестности, хранила подарки Сталина.

Донна Анна

Лето 1942 года.

На небе чахнет смуглый закат, через всю сумеречную степь потянуло ветерком, по-ночному свежим и настойчиво горьким, полынным. Где-то на краю земли, под самым закатом — веселье, что треск горящего хвороста, выстрелы.

В одном месте, под закатом, перестрелка гуще, время от времени в той стороне слышатся удары, словно кто-то бьет черствую степь тупой киркой, — рвутся снаряды. Там, напротив одинокой птицефермы, окопалась пятая рота лейтенанта Мохнатова.

Чахнет закат, наливаются сумерки, война впадает в полудрему. При зыбком затишье во всех уголках фронтовой степи начинается движение, делаются дела и делишки, которым мешал дневной свет. Гудят тягачи, какие-то батареи перебираются на новые позиции. По степи без дорог расползаются машины с потушенными фарами, оцупью везут боеприпасы. Полевые кухни, начиненные неизменной пшеничной сечкой, подъезжают к самым окопам, куда днем можно пробраться только ползком.

Не для дневного света, видать, и это дело, хотя и называется оно — показательное. Нас вызвали сюда из всех подразделений — рядовых, сержантов, даже из среднего состава.

Мы сидим на щетинистом, прогретом за день склоне пологой балки, свежий, горьковатый ветерок обдувает нас.

Внизу остановилась крытая машина, из нее один за другим выскочили несколько солдат, плотно сбитых, стремительных, в твердых тыловых фуражках, похожих друг на друга и совсем не похожих на нас, вялых, грязных окопников. Они деловито помогли вылезти серенькому, расхлюстанному — гимнастерка распояской, ботинки без обмоток — солдатику.

Этот солдатик, смахивающий на помятого собакой перепела, — главное «показательное» лицо. Для него в десяти шагах от остановившейся машины на дне балки уже приготовлен неуставный окопчик с пыльно-глинистым бруствером — могила.

Командир, такой же плотный и стремительный, как и его подчиненные, стянутый туго портупейными ремнями, вполголоса, но энергично отдавал приказы, солдаты в фуражках действовали... И чело-

век-перепел оказался на краю могилы в натальной рубахе с расхлястанным воротом, в кальсонах со спадающей мотней. Сами же солдаты выстроились напротив в короткую шеренгу, развернув плечи, приставив к ноге винтовки.

И тут появился полный, вяловатый мужчина в комсоставском обмундировании, но с гражданской осаночкой. Он вынул из планшета бумагу, нашел нужный разворот, чтоб быть повернутым и к нам, зрителям, и к осужденному и чтоб тускнеющий закат бросал свет на лист...

Мы уже всё знали, даже больше, чем написано в его бумаге. Тот, кто сейчас стоял в исподнем спиной к могиле, был некто Иван Кислов, повозочный из хозтранспортной роты. В наряде на кухне он рубил мясо и отрубил себе указательный палец на правой руке.

Это случилось еще ранней весной, на формировке. Теперь уже разгар лета, наш полк неделю назад занял здесь, посреди степей, оборону. За два первых дня мы потеряли половину необстрелянного состава, но остановили рвущегося к Дону немца. Кажется, остановили...

А за нами сюда, на фронт, везли, оказывается, этого Кислова... Для показательности.

— Именем Союза Советских Социалистических Республик военный трибунал!..

Уличенный в умышленном членовредительстве Кислов стоит внизу в просторных казенных кальсонах, в сумерках не разглядишь выражение его лица.

А вчера утром у меня было два друга — Славка Колтунов и Сафа Шакиров, бойкий, звонкий, маленький, что подросток, башкирец. Вчера утром мы втроем хлебали сечку из одного котелка. Славку убило наповал на линии, а Сафу всего часа два тому назад я отправил на грузовике в санбат — пулевое в живот, тоже неизвестно, выживет ли.

— ...следствием установлено, что четырнадцатого марта тысяча девятьсот сорок второго года рядовой Кислов Иван Васильевич, находясь в очередном наряде на кухне...

Чахнет закат. Стоят с отработанной выправочкой парни в фуражках, маячит напротив них нелепая домашне-постельная фигура. Могила приготовлена за ее спиной.

А Славка Колтунов, наверное, и сейчас лежит где-то посреди степи, некому выкопать для него могилу.

То, что через минуту на моих глазах пятеро вооруженных парней убьют шестого, растелешенного и безоружного, меня не волнует. Еще одна смерть. А сколько я понавидался их за эту неделю! С Иваном Кисловым из хозтранспортной роты я никогда не ел из одного котелка. Довезли ли живым Сафу Шакирова до санбата, спасут ли его врачи?..

— Зачем показывают нам этого ублюдка?..— Вопрос сердитым шепотом. Рядом со мной сидит командир химвзвода младший лейтенант Галчевский.

Мы познакомились по пути на фронт в эшелоне. Я дежурил у телефона в штабной теплушке. Была ночь, высокое полковое начальство, получив извещение, что до утра не тронемся, ушло спать. Возле денежного ящика сопел и переминался часовой. За шатким столиком при свете коптилки сидел дежурный из комсостава — юнец с белой девичьей шеей, курсантской стриженной головой, на тусклых полевых петлицах по рубиновой капле лейтенантских кубариков. Он писал что-то, углубленно и взволнованно, должно быть, письма домой, часто отрывался, пожирающе глядел широко распахнутыми глазами на огонек коптилки, снова ожесточенно набрасывался на бумагу, и перо его шурило в тишине, словно стая взбесившихся тараканов.

Я валялся прямо на полу, на раскинутой плащ-палатке, возле телефона, время от времени испускал в пространство дендрологический речитатив:

— «Акация!»! «Акация»!.. Я — «Дуб»!.. «Клен»! «Клен»!.. «Рябина»!.. «Пихта»! «Пихта»!.. Уснул, дерево?.. Я — «Дуб». Проверочка.

Дверь вагона-теплушки была приотворена, в шель глядела ночь. Влажная сырая темень плотна, хоть протяни руку и пощупай. Где-то в ней прячутся дома с занавесками на окнах. Там люди по утрам собираются на работу, там переживают заботы — раздобыть сена коворе, купить дров... Выскочи сейчас из вагона в ночь, и, наверное, за каких-нибудь десять минут добежишь до такого рая с занавесками на окнах. Десять минут — как близко! И недосыгаемо! Для меня сейчас ближе неведомый, лежащий за сотни километров отсюда фронт. Стоит ночь над землей, и щемяще хочется не поймешь чего: или простенького — пройтись босиком по чисто вымытому домашнему полу, или невероятного, невиданно красивого... Чего-то такого, перед которым даже война померкнет.

Мне пришло время произнести свое заклинание: «„Акация”! „Акация”!..» Но вместо этого я с вызовом продекламировал:

В час рассвета холодно и странно,
В час рассвета — ночь мутна.
Дева Света! Где ты, донна Анна?
Анна! Анна! — Тишина.

И грохнул откинутый стул, и огонек коптилки захлебнулся, впустил на секунду ночь в теплушку. Часовой у денежного ящика вытянулся, замер по стойке «смирно», а младший лейтенант, вскочив за столом, глядел на меня провально темными глазами.

— Вы!.. Вы!.. Вы любите Блока?.. — задохнувшись.

Я любил, что знал, а знал что-то из Блока, что-то из Есенина из Маяковского, любил Григория Мелехова и деда Шукаря, д'Артаньяна с друзьями и несравненного Шерлока Холмса. Младший же лейтенант кой-кого испепеляюще ненавидел, например Есенина:

— Мещанин! Люмпен! Кабацкая душа! Быть нытиком во время революции!

Но он также любил и Блока, и Дюма, и Конан Дойла. А особенно любил кино — не комедии, а революционные и военные фильмы. Он бредил сценой расстрела моряков из «Мы из Кронштадта». Подавшись на меня всем телом, он с дрожью говорил:

— Вот бы так умереть — чтоб в глаза врагу, чтоб смеяться над ним!.. — Лицо узкое, с мелкими чертами и тонкие губы в капризном изломе.

К кино я относился сдержанно, к военным картинам тем более. Войны хватало с избытком и без кинокартин. И умирать я не хотел, пусть красиво, пусть героически глядя в глаза врагу. Впрочем, я стыдился признаться в этом даже самому себе.

«Дева Света! Где ты, донна Анна?..» Солдаты говорили о бабах. О бабах и о жратве — извечные, неиссякаемые темы. О жратве, пожалуй, говорили чаще, так как наши военные пайки были скудны, а старшины и повара без зазрения совести еще рвали от них, мы всегда были голодны, тут, право, не до баб.

Дева Света! Где ты, донна Анна?
Анна! Анна! — Тишина.

Мы наткнулись друг на друга, и он чуть ли не каждый день стал появляться перед нашим вагоном, вызывал меня, чтоб перебраться парой слов. Он разыскивал меня, когда я дежурил по ночам у телефона, просиживал часами, если все вокруг спали, рассказывал мне о своей маме:

— Более святого человека, поверь, на земле нет...

И зрачки его дышали, и губы его мученически изгибались, и я вместе с ним, страдая, любил его удивительную маму... А потом долго изнемогал от воспоминаний — о доме, о своей матери, об отце, который раньше меня ушел на фронт. Вот уже скоро год, как от отца пришло последнее письмо: «Подо мной убило лошадь. Жаль ее, свыкся... Видел воздушный бой...» Мой отец прошел через две большие войны — первую мировую и гражданскую, — но воздушный бой видел впервые в жизни.

Я не знал — благодарить ли мне Галчевского за эти воспоминания или проклинать его.

— Ради бога, зови меня просто Яриком, как звали дома...

Я был младшим сержантом, он — младшим лейтенантом, в армейском субординационном здании находился на целый этаж выше меня. Я постоянно чувствовал себя перед ним виноватым — не умею ответить ему тем же. Я напряженно следил за собой, чтоб не оступиться, не совершить нечаянно такое, что может не понравиться моему другу. И почему-то пугал меня капризный излом его губ.

Всю эту неделю, которую мы на фронте, я с ним не встречался. За эту неделю я пережил больше, чем за всю свою предыдущую жизнь.

Он увидел меня здесь, сел рядом, долговязый, тощий, с трогательной детской шеей.

— Зачем показывают этого ублюдка?.. Чтоб напугать нас?! Нас?.. Смертью?.. Смешно! — И мученический изгиб тонких губ. Кажется, и он хлебнул лиха за эту неделю...

Довезли ли живым Сафу Шакирова до санбата, спасут ли там его?..

Раздалась короткая резкая команда:

— Товсь!!

Приезжие парни в необмято-новеньких фуражках вскинули свои винтовки.

В невнятной темной степи стоял перед ними одинокий раздетый человек. Уже не солдат, да и человеком-то ему оставалось быть какую-нибудь секунду...

Гудели в глубине темной степи моторы тягачей. Весело потрескивали на окраине выстрелы. Тянул упрямый ветерок.

Нет, все-таки эта смерть отличается от тех, какие я успел увидеть в эти дни.

— Па-а-а и-из-мен-ни-ку ро-одины-ы!.. — запел командир бравых ребят.

Гудели тягачи, и я слышал, как бьется в груди мое сердце.

— Ог-гонь!!

Я ждал карающий гром, но клочковатый, недружный залп прозвучал невнушительно. Трепыхнулись сумерки от огня, вырвавшись из пяти стволов. Мутно белеющая фигура какое-то время стояла в недоумении, достаточно долго, чтоб успеть почувствовать целую цепь переживаний — сперва мысль: «А ведь промахнулись!» — потом бездумное облегчение, наконец надежда: «Вдруг да холостыми, попугали, теперь помилуют...» — и даже стремительно вызревала вера в это, но не успела вызреть... Окутанный сумерками человек в белье качнулся и повалился вперед, в сторону солдат, еще не опустивших свои винтовки.

Тебя позвали смотреть на спектакль. И стреляли пятеро с десяти шагов, считай, что в упор, — промахнуться трудно.

По привычке пригибаясь, бежал к расстрелянному наш санинструктор с сумкой, чтоб освидетельствовать — дело сделано на совесть.

Зрители подымались. Кто-то усердно работал «катюшей», бил кре-

салом, чтоб запалить сигарку. Кто-то в тишине сказал в пространство громко и выразительно:

— Наше дело правое — враг будет разбит, победа будет за нами!

Галчевский дернулся от этих слов, но сразу же обмяк, процедил сквозь зубы:

— Шуточка идиота.

— Пошли,— сказал я.

Чего доброго, Ярик еще наскочит на шутника, примется его воспитывать.

Внизу, на дне балки, сгущались сумерки и бормотала машина. Слышалось застенчивое позвякивание двух лопат...

Я опять вспомнил, что где-то посреди степи сейчас валяется Славка Колтунов, некому его похоронить.

Хлопнула дверка кабины, проскрежетали шестерни коробки передач, мотор забасил, машина развернулась.

Позвякивали лопаты. Трудился кто-то из наших, приезжие занимались только чистой работой.

Там, где было смуглое зарево, небо светилось сейчас пепельным, скучным до безнадежности светом. И по пепельной промоине скапывал огонек осветительной ракеты, как светлая дождевая капля по мутному окну... Это над ротой лейтенанта Мохнатова...

Ярик Галчевский шагал рядом со мной и кипел:

— Отмочил какой-то стервец, нашел время: «Наше дело правое». Но и судейские крючки хороши тоже... Собрали, мол, глядите, в случае чего и вас... Бойся нас пуще немца. Тьфу! Страшны фронтовику эти тыловые красавцы с дудками...

Галчевский кипел, а я слушал его краем уха и вертел в голове святую для меня фразу... Раз дело правое, то враг будет разбит. Враг не прав, мы правы. Раз мы правы — значит, сильны. Правда в конце концов всегда торжествует...

— Я, знаешь, хочу навсегда расстаться с химзводом. Ни пава, ни ворона, каждой дыре затычка. Есть же наччим полка, зачем еще командир химзвода?..

Над участком мохнатовской роты снова выползла ракета, на этот раз — зеленый переливчатый кристалл.

Мне не нравится кипящий сейчас без нужды Ярик Галчевский, мне не нравятся те ребята в парадных фуражках, что умело расправились с повозочным из хозроты Иваном Кисловым, и уж, конечно, сам Иван Кислов — гори все, я спрячусь! — нравится мне не может... Но, кажется, больше всех не нравлюсь себе я сам. В простом сейчас заблудился, в трех соснах: «Наше дело правое — враг будет разбит, победа будет за нами». Очевидно же! Правда всегда побеждает, а вот поди ж ты, враг — неправедный — подошел к самому Дону...

— Возьму стрелковый взвод! Ванька-взводный — позвоню, мелкая косточка в становой хребте армии, на котором все держится!..

Бесплотным зверем бесшумно проскакало мимо нас перекатиполо — клубок колючек, умчалось в темень, в уютную бесконечность степной равнины.

Но бесконечность степи обманчива, через какой-нибудь десяток-другой шагов эта степь круто ринется вниз из-под наших ног в гущу колючих кустов, растущих вдоль каменистого русла высохшего ручья. Здесь в зарослях дикого терновника прячется несколько землянок — штаб нашего полка. У меня землянки нет, есть окоп, длинная земляная щель, там беспризорно валяются два вещмешка — мой и Славки Колтунова. Был еще третий — Сафы Шакирова, но я его отправил вместе с хозяином в медсанбат. Этот окоп — мой дом. Сейчас доберусь до него, втиснусь в его каменно-твердые глинистые стены, завернусь в плащ-палатку и... провалюсь.

У меня теперь не осталось иного счастья в жизни — только лишь сон.

— «Клевер»! «Клевер»!

«Клевер» не отвечает. Где-то в прокаленной степи перебита тонкая нитка кабеля... Нет этого, я сплю.

Нечисто сладковатый, жирный запах, в примятой полыни валяются липко-черные трупы, победно гудят над ними тучи откормленных мух... Нет этого, я сплю.

Нет не вернувшегося с линии Славки Колтунова... Нет потного лица Сафы, его раскосых, блестяще-черных, с каким-то беспомощным птичьим страданием глаз... Нет! Нет! Я сплю.

Пока я сплю, нет войны.

Жаль, что спать мне выпадает в последнее время всего по два, по три часа в сутки.

И жаль еще, что сплю теперь обморочно, без всяких снов. Увидеть во сне хотя бы задернутое ветхой занавесочкой оконце нашего дома, за ним розовый рассвет с петушиным надсадным криком... Или ныряющий среди распластанных кувшиночных листьев поплавок, в радуге брызг вырванный из воды золотой неистовый окунь... Или склонившееся лицо матери, ее негромкий голос: «Вставай, Володька, в школу опоздаешь».

Не надо, мама, не буди! Как только кончится сон, начнется снова война.

Ночь над степью, далекая перестрелка. Я еще не добрался до своего окопа, я еще не сплю, но я уже чувствую себя счастливым. Благословенна природа, наградившая нас, живых, способностью на время забывать о жизни.

Но уснуть в этот раз не удалось.

В овраге, хрустя сапогами по каленому камешнику сухого русла, толпилось много солдат, охомутанных шинельными скатками, с вещмешками, с винтовками, в касках — в полном боевом. На меня с ходу налетел командир роты связи:

— Младший сержант Тенков! В распоряжение командира второго батальона! Не-мед-лен-но! Приказ начальника связи!..

Все ясно. Каждый день наши роты несут потери. Каждую ночь в стрелковые роты уходят нестроевики — обозники, помощники поваров, тыловые интендантские придурки. Даже взвод пешей разведки — аристократы полка, мастера ночных вылазок — занял нынче оборону, как простые автоматчики.

И в ротах всегда не хватает связистов. Чем сильнее огонь, тем чаще рвется связь. Я же — радист без рации, телефонист-катушечник — на подхвате.

Спускаюсь в свой окоп, чтоб забрать вещмешок и скатку. Окоп, куда я возвращался каждую ночь, который считал своим домом... Где-то в другом окопе мне, быть может, удастся перехватить часок до рассвета. То ли удастся, то ли нет.

— Тенков! Володя!..

Меня ищет Ярик Галчевский. Эге! И он тоже — в каске, в плащ-палатке, с вещмешком.

— Нас вместе... В роту Мохнатова! — возбужденно объявляет он мне.

Что ж, я готов.

Степь, ржаво-бурая, прокаленная, ленивенько ползет вверх к истошно синему небу. На гребне под небом даже невооруженным глазом улавливается шероховатая кромка их окопов. За гребнем — птипеферма. Должно быть, это маленький хуторок, несколько саманных, побеленных известкой домов и мутный, с истоптанными грязными

берегами ставок. Должно быть... Эту птицеферму никто из наших в глаза не видел, зато каждый о ней слышал.

Птицеферма — самое высокое место в плоской степи.

Через птицеферму немцу легче всего подтянуть к нам вплотную свои танки и мотопехоту.

Птицеферма — трамплин, с которого немцу удобно свалиться на наши головы.

Рота Мохнатова занимала оборону напротив птицефермы. Имя лейтенанта Мохнатова в полку у всех на языке — от командира полка до последнего повозочного в обозе.

Я представлял его себе: дюжий мужчина с окопной небритой физиономией, с длинными руками, болтающимися у колен, — нечто гориллообразное! Мох-на-тов — одна фамилия чего стоит!

От общей траншеи, в которой можно ходить не сгибаясь, на шаг-другой вперед к противнику пробит тесный тупичок. В нем — земляная приступочка-наседстик. Это наблюдательный пункт ротного командира. Тут восседает, упиравшись пыльным сапожком в стенку, парнишка в выгоревшей до холщовой белизны гимнастерке. У него матово-смуглое, с мягким овалом, грязное лицо, сухая мочальная прядка из-под пилотки и сипловатый, задиристый, порой даже дающий петуха голос.

— Телефонист! — кричит он с несолидной агрессивностью. — Разыщи мне по проводам эту сволочь мордатую!..

«Сволочь мордатая» — ротный старшина, доставивший ночью слишком мало воды на позицию. Мохнатов угрожает упечь старшину в стрелковый взвод.

Над пыльной пилоткой ротного командира клокочет прозрачный, наливающийся зноем воздух — шуршат, шепелявят летящие через нас тяжелые снаряды, ноют, стенают пули, плетется злое шепот заблудившихся осколков. Внизу же, под ротным, на уровне его давно не чищенных сапожек, в тесноте прохладной траншеи идет деловитая и суматошная жизнь переднего края. Сутуловатой рысцой бегают связной Мохнатова, уже известный мне Вася Зяблик. Возле самых сапожек почтительно стоит зачуханный солдатик — пряжка брезентового ремня на боку, гимнастерка в пятнах машинного масла, свисающие штаны, неподтянутые обмотки и неделю — с самого начала нашей фронтальной жизни — не мытое, не бритое, полосатое лицо. Это Гаврилов, лучший пулеметчик в роте, а может, и во всем полку, мастерски давит из своего «максимки» огневые точки противника. Именно он сейчас вызвал гнев Мохнатова на старшину, сообщив, что скоро будет нечего заливать в кожух пулемета. Рядом с ним командир левоблангового взвода Дежкин, пожилой старший сержант грустно-бухгалтерского вида. Он вот уже без малого полчаса терпеливо выпрашивает у Мохнатова пулеметный расчет Гаврилова: «Уж больно стрекунов развелось напротив нас, попугать надо...» А Мохнатов не говорит ни да, ни нет, дипломатически, с излишней горячностью сволочит старшину:

— Брюхо в обозе нажрал! Морда солдатской задницы толще! При ясном солнышке и не увидишь красавца!..

— Санинструктора!.. Где санинструктор?..

По траншее ведут раненого. Он гол по пояс, правое плечо неуклюже замотано слепяще-белыми бинтами, на выступающих ребрах, по синюшной коже черные проточины засохшей крови. Один солдат теснится сзади раненого, придерживает его из-за спины за здоровый локоть. Второй, рослый, громогласный, выступает вперед, решительно, словно перед дракой, машет руками, взывает к санинструктору.

Мохнатов круто повернулся к ним на своем насесте:

— Пач-чему вдвоем? Пач-чему не всем взводом снялись?! Дежкин! Эт-та твои красавцы?

Но Дежкин ответить не успевает. Лейтенант Мохнатов валится на голову почтительно стоящего под ним пулеметчика Гаврилова. Траншея содрогается от взрыва, со стенок течет песок, с безоблачного неба на секунду падает тень.

Считается, нас не обстреливают, когда каска, положенная на бруствер, не падает со звоном обратно в окоп. Но даже и в такие тихие минуты не высовывайся без нужды — «запорошит глаза».

Обычно каска падает в течение всего дня. Но иногда бруствер просто метелит от свинца и стали, траншею лихорадит от взрывов, тут уж каска падает — не успеваешь досчитать до десяти.

— «Клевер»! «Клевер»! Как слышишь, «Клевер»?..

У меня остался тот же абонент, только вчера я ему кричал сверху вниз, из штаба полка: «„Клевер“! „Клевер“!» Теперь кричу снизу, из роты. И как бы ни стреляли, как бы ни тряслась земля от взрывов, какая бы осколочная метель ни гуляла по брустверу, но если «Клевер» нас слышит, все прекрасно, живем — не продувает, от обстрела даже уютней. В земле как у Христа за пазухой, попробуй-ка достань!

Но вот...

— «Клевер»! «Клевер»!..

Тупая немота в трубке.

И я толкаю своего напарника, еще не проснувшегося сую трубку в руку:

— Держи. Я «гулять» пошел.

Днем «гуляем» строго по очереди. При прошлом обрыве «гулял» мой напарник. В более спокойное время... Сейчас — падает каска... Через край окопа ныряй, как в прорубь.

Тянется в степь тонкая нитка кабеля. Над спиной, над твоей открытой, незащищенной спиной, над самым затылком гуляет многоголосая смерть.

Несложен язык ревящейся смерти. Его начинаешь постигать в первые же часы на фронте.

Нежно и тоскующе поют пули, растворяясь в толще воздуха. Не обращай на них внимания — пустышки. Если же пуля взвизгнет коротко и свирепо, обдаст кожу лица колючими брызгами земли — значит, бьют прицельно, значит, вторая или третья пуля может быть твоей, отрывайся от заклятого места и беги. Но не на ногах, а на спине, на животе катись по степи — небо, полынь, небо, полынь! — пока пули вновь успокаивающе не зануют в вышине.

Сухо шуршит и пришептывает осколок, тычется где-то совсем рядом, пошарь — найдешь. Тоже не страшен. Он долго блуждал в синеве, потерял свою убийную силу. Может ударить, даже ранить, но не смертельно.

Давящий душу вой, вой, сверлящий мозг... И нет ничего страшнее на войне, когда этот вой обрубается. Краткий миг оглушительной тишины. Многие после этой тишины уже ничего никогда не слышали. Но и тот еще не фронтовик, кто не коченел от нее неоднократно.

Кабель тянется через степь... Никого вокруг, далеко люди, если ранит — далека помощь. В самые опасные для себя минуты телефонист-катушечник воюет в одиночку.

Кабель тянется через степь... Стоп! Не тянется! Вот обрыв!.. Взрывом разбросало концы кабеля...

— «Клевер»! «Клевер»!..

Нет «Клевера»... Сейчас будет. Отыскать отброшенный конец, срastить — минутное дело. Иногда, правда, осколки рвут кабель в клочья, но все равно невелик труд стянуть и срastить. Велик путь — туда и обратно.

В окопе встречает тебя взгляд напарника, в нем уважение и благодарность. Пусть он сам проделывает не раз на дне такие же

путешествия, но все равно сейчас благоговеет передо мной, человеком, блуждающим возле того света.

Мы вдвоем обслуживаем деревянный, обшарпанный ящичек с трубкой. О своем напарнике я знаю только, что он сибиряк и что у него странная фамилия — Небаба.

Но сколько раз под затяжным обстрелом я ждал его с тоскливым напряжением! Сколько раз я радовался его возвращению и видел в его глазах точно такую же радость. Он мне родной брат, я ему — тоже, не сомневаюсь. Но что он за человек? Что любит, а что не переносит? Женат или холост, весельчак по характеру или нытик?.. Не знаю даже, молод он или не очень. Под слоем окопной грязи мы все выглядим стариками.

Мы живем тесно и живем по очереди. Один из нас дежурит, другой непременно спит в это время, один выскакивает под огонь на линию, другой остается у телефонной трубки. Встречаемся мы лишь среди ночи, когда приходят полевые кухни, за котелком горячей пшенной сечки. В эти короткие минуты мы говорим не о себе — о деле и о посторонних.

— В первом взводе опять двоих ранило... Аппарат у нас что-то барахлит, должно быть, батареей сели.

— Заземление погляди — окислилось...

Близкие и далекие, братски спаянные и совсем незнакомые.

Я описываю это подробно, словно проходила неделя за неделей нашего сидения в ротной траншее. Нет, прошло всего двое суток, тягостно бесконечных, как ожидание, утомительно кошмарных, как сама война, однообразных, как любые будни.

На исходе вторых суток я услышал оживление на линии.

До меня, «Василька», прорвался с далекого «Колоса» самоличный бас ноль первого, командира полка по нашему коду. Потом поминутно стали требовать от «Клевера»: «Срочно к телефону Улыбочкина... Пошлите связного к Улыбочкину... Кого-нибудь из хозяйства Улыбочкина...» Я знал весь полковой и батальонный начсостав и по фамилиям и по номерам. Улыбочкина среди них не наблюдалось. Наконец в нашей растительной семье появилась новая сестрица — «Крапива». И эта «Крапива» с ходу начала заботиться об «угольках к самовару». Я понял — к нашему батальону придали минометную батарею.

Ночью явился сам командир батальона капитан Пухначев, влез в землянку к Мохнатову, через минуту выскочил оттуда Вася Зяблик. Над изрытой степью, над окопами захоронили в тихой ночи голоса:

— Дежкина к лейтенанту!.. Старшего сержанта Дежкина!.. Младшего лейтенанта Галчевского к командиру роты!..

Мохнатов созывал к себе взводных.

Рядом, шагах в десяти, наш пулеметчик, должно быть Гаврилов, отбил оглушительную очередь: не сплю, поглядываю! С той стороны ответили. Я сидел на дне траншеи, но отчетливо представлял себе, как стороной над темной степью проплывают трассирующие пули.

— Это ты, Володя?.. — Надо мной склонился Галчевский. Его лицо тонуло в глубокой каске, серел в сумерках острый подбородок, на тонкой шее неуклюже висел тяжелый ППД — только что с инструктора. — Приказ: завтра взять птицеферму, — сказал он, опускаясь рядом. — Капитан Пухначев только что Мохнатову принес.

Я кивнул — мол, давно догадывался, для меня, телефониста, это не новость.

— Мохнатов сомневается, говорит, у нас кишка тонка.

— Мохнатов знает,— ответил я уклончиво.

— Он все-таки малOVER.

Снова оглушительно побила рядом пулеметная очередь, и снова с той стороны нам ответили. Шла обычная ночная вялая перестрелка. Раз такая перестрелка идет, значит, на фронте затишье. Можно вылезти из окопа, распрямиться во весь рост, встретить кухню, получить свою порцию похлебки, поверить и тихо порадоваться — будешь жить по крайней мере до утра.

От Галчевского в эту тихую минуту исходила какая-то тревожная наэлектризованность, он крутил каской, передергивал плечами и наконец начал говорить захлебывающимся, галопирующим голосом:

— Мы привыкаем к покорности! Мы каждый божий день учимся одному — бессилию! Воеет снаряд, летит в твою сторону — останови! Нет, бессилеи! Падай, рабOLEпствуй! А наша жизнь на передовой?.. Не смей выскочить даже по нужде, сиди, как подневольный арестант, в яме, выкопанной твоими руками... Погребены заживо, покорны, смиРНехоньки! Как я хочу... Как я хочу показать им!..— Галчевский дернул каской в сторону немца.— Черт возьми, показать, как я могу не-на-ви-деть!..— И вдруг продекламировал:

Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!

На дне окопа этот книжный пафос звучал фальшиво, Ярик Галчевский и сам, видно, почувствовал:

— Ах, ерунда! Кривляние от скуки. Он всю жизнь ел на серебре... Не ерунда одно!.. Ходить прямо, а не ползать на брюхе. Зачем они приехали к нам? Зачем они меня выдернули из дома, не дали учиться дальше? Зачем заставляют волноваться мою мать? У моей мамы очень больное сердце... Не-на-ви-жу!

— Тебе надо отдохнуть, Ярик.

Он недоуменно поднялся, постоял молча секунду и произнес, спотыкаясь, с глухой дрожью:

— Ты сказал мамини слова... Точь-в-точь... Даже с маминой интонацией...

— «Василек»! «Василек»! — донеслось в трубку.

— Я — «Василек»!..

— Как самочувствие, «Василек»?

— Пока нормальное. Послезавтра спроси.

Дежурный-коммутаторщик при штабе полка сочувственно рассмелся. Переживу ли я свое завтра — бог весть.

— Я пошел...— Ярик полез из траншеи. Наверху он остановился.— Просили известить каждого солдата: будет общая атака по красной ракете. Мохнатов ракету кидает...

Я опять лишь кивнул в ответ.

— Если я упаду в этой атаке, то упаду головой вперед. Потому что не-на-ви-жу!

— Лучше не падай.

— Мне себя не жаль. Мне маму жаль.— И пошел легкими, какими-то путанными шажками.

Прогремела пулеметная очередь, грозная и равнодушная. Послушно ответил ей с той стороны немец-пулеметчик. Все в порядке, на нашем участке тихо.

А у Ярика сегодня даже походка непривычная, карусельная, как у пьяного.

Из степи донеслись скрип и позвякивание. По траншее из конца в конец полетели негромкие, приподнятые, почти ликующие слова: «Кухня!.. Кухня пришла!..»

- «Василек»! «Василек»!..
- Я — «Василек»!
- Двадцать девятого к телефону!
- Его нет, он впереди.

Двадцать девятый — лейтенант Мохнатов — сидит, как всегда, на своем командирском насестике, в пяти шагах от меня, чумазый мальчик с мочальной челкой из-под пилотки. Он прилип к биноклю, у него из кармана галифе торчит неуклюжая ручка средневекового пистолета — ракетница, заряженная красной ракетой.

Я решительно вру в трубку, что двадцать девятого нет на КП. Мохнатов слышит, не отрывается от бинокля.

Утром загудел, зашепелявил над нашими головами невидимый поток снарядов. За гребнем, где находилась птицеферма, раздались подвально-глухие удары. Позади нас, совсем рядом заквакали минометы новоявленного хозяйства Улыбочкина — «Крапивы» в телефонном обиходе. Немцы ответили: артиллерия через наши головы — по нашим тылам, из минометов и пулеметов — в нас. Каска падала усердней, чем всегда.

Вот тогда-то и началось единоборство лейтенанта Мохнатова с тыловым начальством.

— «Василек»! «Василек»! Двадцать девятого срочно!

И я послушно протягивал трубку:

— Вас срочно, товарищ лейтенант.

Он нехотя слезал со своего наблюдательного насестика, начал разговор скучным голосом с шестнадцатым — комбатом Пухначевым:

— Никак невозможно, шестнадцатый... Убийство будет, наступления нет. У своих же окопов ляжем... Под арест?.. Пожалуйста, товарищ шестнадцатый. Приезжай и арестуй, милости прошу. Не откладывай в долгий ящик.— И он небрежно совал мне трубку, фыр-кал: — Меня нет. Во взвод ушел.

Наконец в трубке зарокотал начальственный бас ноль первого:

— Быс-стра-а! Ис-с-пад земли!..

Сам командир полка! На этот раз Мохнатов не отмахнулся биноклем, сполз ленивенько, подошел вразвалочку, но голосом отвечал бодрым, по-уставному:

— Есть, товарищ ноль первый!.. Есть!.. Есть!.. Попробуем... Приложим все силы...

Прежде чем вернуть мне трубку, он склонился к моему лицу. И я впервые увидел в упор его глаза: прозрачные, с мелким игольчатым зрачком, набрякшие, окопно-грязные, старческие подглазницы. Родниковые глаза! Сколько раз они близко видели смерть — свою и чужую? Сколько раз они так вот холодно смотрели сквозь прорезь — чистые глаза, опасно пустые?

— Слушай, кукушечка,— процедил мне в лицо Мохнатов,— я недогадливых не люблю.

И я после этого постарался быть догадливым.

— «Василек»! Приказы не исполняешь! Расстрела захотел, твою мать? Где двадцать девятый?..

— Послали за ним уже трех человек. Не могут пробиться — большой обстрел.

Лейтенант Мохнатов сидит, упиравсь пыльным сапожком в глинистую стенку окопа, остороженько выглядывает. Средневековая ручка пистолета, заряженного красной ракетой, торчит из кармана,

но никто уже из спящих мимо солдат не ощупывает ее косым, значительным взглядом. Даже на фронте не всякое-то заряженное ружье стреляет.

— «Василек»! Немедленно тяните линию вперед! «Василек»! Приказ быть возле Мохнатова! Ни на шаг не отставать!.. «Василек», повторите приказание!..

— Есть тянуть линию вперед! Есть быть возле двадцать девятого!..— Я повторяю нарочито громко и вопросительно смотрю в затылок лейтенанта.

Тот небрежно через плечо мне советует:

— Да выдерни ты к едрене матери заземление.

Мохнатов втягивает меня в опасную игру. Оборвать своими руками налаженную связь в самый разгар боя... Ежели высокое начальство это узнает, даже не трибунал, а расстрел на месте, как за прямую диверсию. Но высокое начальство далеко, а Мохнатов близко.

— «Клевер»! «Клевер»! — сообщаю я.— Отключаюсь.

— Только быстренько, «Василек». Только быстренько...

Я выдернул всажженный в землю винтовочный штык, служивший заземлением, положил онемевшую и оглохшую трубку. Исправна линия, исправен аппарат, а связи нет, и со стороны сочувственно смотрит на меня мой напарник Небаба. Ему везет, а у меня даже дежурства несчастливые.

Глаза Небабы сорвались с моего лица, настороженно округлились. Я оглянулся. За моей спиной стоял младший лейтенант Галчевский. Он весь как-то жестко выпрямлен, стальной козырек каски низко надвинут на глаза, затянутый ремешком острый подбородок вздернут, взгляд из-под каски нацелен в спину Мохнатова. И свой тяжелый ППД он держит в руке возле белесого кирзового голенища стволом вниз.

Ярик Галчевский перешагнул через мои вытянутые ноги, произнес:

— Лейтенант Мохнатов!..

Подбородок вздернут, узкие плечи расправлены, каблуки сдвинуты, руки по швам, кажется, закончит свое обращение по-уставному: «По вашему приказанию явился!» Только вот автомат в руке — стволом вниз.

— Вы срываете наступление, лейтенант Мохнатов!

Мохнатов молча уставился на Галчевского. Сейчас Ярик видит вблизи его глаза. Чистые глаза, опасно пустые!

— Вы не подчиняетесь приказам командования, лейтенант Мохнатов!

— Иди, дурак, в свой взвод,— устало, без злобы, как-то слишком по-взрослому произнес Мохнатов.

— Ради спасения своей шкуры вы...

— Младший лейтенант! Смир-рна!!!

Спина Галчевского, без того натянутая, вздрогнула.

— Кру-ру-гом!!!

С птичьим горловым клекотом выкрик в ответ:

— Вы трус, лейтенант Мохнатов! Я вас презираю!

Локоть Мохнатова медленно, медленно отходит назад, кисть руки ползет по ремню к кобуре.

— Вы подлый трус! Вы шкурник! Вы изменник родины, Мохнатов!..

Синевою неба блеснул вороненый ствол пистолета в руке Мохнатова.

Галчевский передернулся, рванул автомат. Его узкую тощую спину лихорадило — грохот короткой очереди, запоздалый звон выплюнутой гильзы.

Мохнатов соскользнул со своего наседа, с неестественно серьезным и строгим выражением в широко распахнутых светлых глазах сделал шаг вперед и словно сломался, упал на колени, боднул головой глинистое крошево под кирзовыми сапогами Галчевского.

И тут я увидел связанного Васю Зяблика, только что подбежавшего своей сутуловатой трусцой из глубины траншеи. Деревенское губастое лицо парня было сейчас каким-то непривычно чеканным, в глазах появилась мохнатовская родниковая пустота. Вася Зяблик спускал с плеча свой автомат.

Галчевский рывком нагнулся к Мохнатову и так же порывисто разогнулся, вскинул над каской широкоствольный пистолет-ракетницу.

А Вася Зяблик подымал на него автомат...

Галчевский выстрелил, вышлеснулся тугой, перекрученный дым, в синеве неба повисла марганцево-прозрачная капля.

— Р-р-ро-та!! — закричал Галчевский рыдающе и, весь перекрутившись, выбросился наверх.

Вася Зяблик держал автомат на весу...

Подавились работавшие на флангах пулеметы, замерли окопы.

— Р-р-ро-та!!

Галчевский стоял на бруствере немислимо долговязый — огромные кирзовые сапожищи рядом, дотянись рукой, а маленькая голова, упрятанная в каску, далеко в поднебесье. А еще дальше — в засасывающей синеве — вишневая переливчатая капля.

А из траншеи заворожено следил за ним Вася Зяблик с автоматом наизготовку, с чужим вдохновенным лицом.

— Слу-уша-ай мою команду! За-а р-ро-оди-ну! За-а Ста-али-и...

До поднебесья долговязая, нескладная фигура качнулась и исчезла.

— Ур-ра-а!!!

Не слухом, а всем телом, кожей, костями я ощутил через землю суету окопов — шевеление, сопение солдат, лезущих вверх из земли к небу.

— Р-ра-а-а!!

Вася Зяблик вдруг засуетился, губастое лицо сразу же утратило опасную чеканность, стало просто озабоченным. Он торопливо выскочил на бруствер, на какой-то миг закрыл от меня полнеба, сутуловатый, устремленный вперед, непривычно могучий... И словно провалился сквозь землю.

— Р-ра-а-а!!

Тускло-серая, ржавая степь, покатаая, словно школьная парта. В ее неторопливом, упрямом устремлении к небу есть что-то щемяще жалкое, обожженная, неопрятная, тянется к непорочно чистому, недоступно высокому — нищета, мечтающая о величии.

Наверное, потому, что сама степь слишком уж велика и просторна, люди в ее бесконечности кажутся слишком вялыми, не спешат, устало бредут к синему небу. Бредут и подбадривают себя на-тужным, неуверенным криком:

— Р-раааа-а!

Среди паломников, бредущих к синему небу, возник грязно-желтый ватный ком...

— А-аааа!..— И смолкло.

Тугой взрыв мягко ударил мне в лицо. Ватный ком распался, поплыл над рыжей, тусклой землей, задевая рассыпанных людей нечистой дымной бородой. Далекое небо, перекрывающее неопрятную степь, в нескольких местах треснуло, из него полилось: тррат-тата-та-та! В степи началось кружение, столь же дремотно-вялое, бестолковое... Еще взрыв, еще! Грязно-серые бороды...

И колыхнулся окоп, и вспучилась дыбом земля, закрыла от меня степь, людей, дымчатые бороды. Траншеею залихорадило. Седой дым, жирный дым, живой, свивающийся, пухнувший, и сквозь него острыми потоками текущая вверх земля. Солнце начало играть в прятки — то скрывалось в дыму, то весело выглядывало. Тягуче запели вокруг осколки. Черствый град глинистых комьев забарабанил по брустверу, по пыльным кустикам жалкой полыни, по моим плечам...

Меня тянули сзади за ногу:

— Младший сержант!.. Младший!..

На землистом лице Небабы распахнутые, выбеленные небом глаза. Только на дне траншеи я осознал, что случилось: немецкая артиллерия перекрыла путь тем, кто пытался бежать обратно. Стена напичканного осколками дыма, стена вздыбленной земли — не пробьешься!..

А солнце играло в прятки, то светило, то скрывалось.

Комья земли еще продолжали падать — редкий, усталый град со знойного безоблачного неба. В воздухе раздался то ли назойливый звон, то ли вкрадчивый свист. Я не сразу понял, что это звенит у меня в ушах. От тишины.

Вспомнил о телефоне — заземление-то выдернуто! Всадил привязанный к проводу ржавый штык.

— «Клевер»! «Клевер»!

Немота, незримое четвертое измерение, где помещались «Клевер», «Колос», «Лютик», «Ландыш», исчезло — глухая стенка.

И Небаба деловито натянул на голову каску. Он всегда надевал каску, прежде чем выбраться из окопа на линию. Его очередь «гулять».

Мелькнули надо мной в небе ботинки с обмотками. В ушах серебряный тонкий звон, тоскуют летящие в высоте пули, где-то ухнул взрыв, сухой, трескучий, — значит, мина, не снаряд. Тишина. Боже мой, какая тишина!

Только тут я вдруг осознал, что я один... Совсем один во всех окопах. Минут десять тому назад здесь было сто с лишним человек, может, даже двести... Лежат в степи, далеко от меня. Один на все окопы, один перед лицом немцев. Я — маленький, слабый, еще никогда ни в кого не выстреливший, никого не убивший, умеющий лишь сматывать и разматывать катушки с кабелем, кричать в телефонную трубку. И до чего это странно, что я, мирный и слабый, — один перед грозным противником, запугавшим всю незнакому мне Европу. Я даже не испытывал от этого ужаса, только коченеющую, мертвящую тоску. Один...

Есть еще рядом он... Я успел забыть о нем. Он лежит в своем командирском тупичке, на дне, скрючившись, подтянув под живот колени, уткнувшись спутанными волосами в землю, правая рука естественно выломлена, на боку зияет расстегнутая кобура, а вороненый пистолет валяется сзади, возле его нечищенных сапог. Так давно он упал под автоматной очередью, что я уже успел забыть о его смерти.

Тишина. Звон серебряных колокольчиков, кожей ощущаю тянущиеся во все стороны пустые, бессмысленные, мертвые ямы.

— «Клевер»! «Клевер»!..

Молчит «Клевер», нет надежды избавиться от одиночества. И я люто позавидовал Небабе. Опять ему повезло! Он тоже один, но не в пустых окопах — в привычной обстановке. Телефонист, выскокивший на неисправную линию, всегда один на один с войной. Нормально.

И раздался звук шагов, шорох одежды. Я ужаленно обернулся: расплзшаяся пилотка, пряжка брезентового ремня на боку, полоса-

тое от грязи лицо, утомленное и бесконечно унылое,— пулеметчик Гаврилов.

Господи! Какой он родной!

Я не могу прийти в себя, а он скребет небритую щеку, морщится, буднично спрашивает:

— Может, нам всем в одно место стянуться?

— Ты... Ты не ходил в атаку?

Гаврилов поглядел на меня с тусклым удивлением, скривил спеченные губы.

— А ты?

— Я ж привязан... к телефону.

— А я к станковому... С «максимкой» не побежишь... А ручные пулеметчики — те все...— Гаврилов горестно высморкался.— На левом фланге у Дежкина тоже станковый пулемет. Как и мы — два человека.

Как мало надо для счастья. Я не один — и я ликую, в душе, радуется.

— От всей роты — пятеро...

— Шестеро,— бодро поправляю я.— Небаба мой выскочил на порыв.

— Прощупай давай, может, он уже того...

— «Клевер»! «Клевер»! Нету. А что-то долго. Далеко, видно, обрыв.

Гаврилов уселся возле меня, но сразу же поспешно встал, перешел на другое место. Он увидел в тупичке лейтенанта Мохнатова, бодающего простоволосой головой землю.

— У меня Петька Губин, второй номер, тоже с ума помаленьку сходит. Молитвы вслух читает: «Спаси, господи, люди твоя...» А может, все люди на земле сбесились, Петька-то из нас самый нормальный? — Гаврилов помолчал, подолбил каблуком ямку.— «Спаси, господи, люди твоя...» А из пулемета играет. Там тоже ведь не чурки, падают.— Снова помолчал и с тоскливым, злым убеждением закончил: — Смирным жить на земле нельзя!

В стороне в траншею посыпалась земля, донесся влажный всхлип, и кто-то черный, взлохмаченный бескостно свалился вниз, дернулся, поерзал и затих. Доносилось только тяжелое, со всхлипами дыхание.

Гаврилов медленно-медленно поднялся, вздохнул:

— Оттуда.

Поднялся и я.

Он натужно, со всхлипами дышал, лопатки двигались под бурой гимнастеркой, немолодая, в морщинах коричневая шея.

— Эй, милоч, ты ранен? — спросил Гаврилов.

Гость от туда с усилием пошевелился, сел — черное лицо, яркие, почти обжигающие белки глаз, синие бескровные губы. Разлепив губы, сказал с влажным хрипом:

— Не знаю.

— Кто еще остался там живой?

— Не знаю.

— Может, ранен кто — вытащить?

— Не знаю.

Однако мучительно задумался, на пятнистом лбу проступила тугая вена, заговорил:

— Взводного нашего видел... Дежкина... Ползет, а ног-то нету. Ползет, а в лице-то ни кровиночки... Дайте пить, братцы.

Но тут я увидел еще одного — вынырнул в глубине траншеи из за поворота, захромал к нам. По сутуловатой осаночке узнал — Вася Зяблик. Он вел себя очень странно — пробежит с прихрамыванием пять шагов и, судорожно барахтаясь, вылезает наверх, вглядывается

куда-то вдаль, спрыгивает вниз, а через пять шагов снова лезет... Весь какой-то скомканный, перекошенный, штанина брюк разорвана, без каски, без автомата, недоуменно торчат уши на пыльной плюшевой голове.

— Это ж он, сволочь! Это ж — он! — заговорил изумленным речитативом. — Жив, сука!

И тут же полез наверх, вытянул шею, раскрыл рот, насторожил торчащие уши.

— Так и есть! Он!.. Идет себе... Смотрите! Смотрите! Он!..

И мы с Гавриловым тоже полезли вверх.

Степь. Она все та же, тусклая, ржавая, пустынная, устремленная к небу. Она нисколько не изменилась. Отсюда не видно на ней воронок, не видно и трупов.

По этой запредельной степи шел одинокий человек... во весь рост. По нему стреляли, видно было — то там, то тут пылили очереди. Он не пригибался, вышагивал какой-то путаной, неровной карусельной походкой, нескладно долговязый, очень мне знакомый.

— Жи-ив! Надо же — жив!.. Всех на смерть, а сам — жив! — изумлялся Вася Зяблик лязгающей скороговорочкой.

— Заговорен он, что ли? — спросил Гаврилов.

— Дерьмо не тонет... Но ничего, ничего! Немцы не шлепнут, я его... За милую душу... Небось...

— Брось, парень, не кипятись. Покипятился вон — и роты как не бывало.

— Он лейтенанта шлепнул! За лейтенанта я его... Небось...

— Жив останется — для него же хуже.

Перед нашим бруствером, жгуче всхлипывая, срубая кустики полыни, заплясали пули. Мы дружно скатились на дно траншеи. Это приближался младший лейтенант Галчевский, нес с собой огонь.

Он неожиданно вырос над нами, маленькая голова в просторной каске где-то в поднебесье. Визжали пули, с треском, в лохмотья рвали воздух, а он маячил, перерезая весь голубой мир, смотрел на нас, прячущихся под землю, отрешенно и грустно. Серенькое костлявое лицо в глубине недоступной вселенной казалось значительным, как лицо бога. Затем он согнулся и бережно сел на край траншеи, спустил к нам свои кирзовые сапоги.

Мы стояли по обе стороны его свесившихся сапог и тупо таращились вверх.

— Вот я... — сказал он и вдруг закричал рыдающе, тем же голосом, каким звал роту в атаку: — Убейте меня! Убейте его!.. Кто ставил «Если завтра война»!.. Убейте его!!

Мы замороженно глядели снизу вверх, ничего не понимали, а он сидел, свесив к нам сапоги, рыдающе вопил:

— Уб-бей-те!!

Вася Зяблик схватил его за сапог, рванул вниз:

— Будя!..

— «Клевер»! «Клевер»!.. — склонился я над телефоном.

Немота. Я положил трубку и полез наверх.

Небаба лежал всего в десяти шагах от траншеи, зарывшись лицом в пыльную полынь, отбросив левую руку на провод, пересекавший степь. Чуть дальше на спеченной земле была разбрызгана воронка — колючая, корявая звезда, воронка мины, не снаряда.

Ему везло... Братски близкий мне человек и совсем незнакомый. Познакомиться не успели...

Это было началом нашего отступления. До Волги, до Сталинграда...

Я видел переправу через Дон: горящие под берегом автомашины, занесенные приклады, оскаленные небритые физиономии, жесто-

ченный мат, выстрелы, падающие в мутную воду трупы — и ранёные, лежащие на носилках, забытые всеми, никого не зовущие, не стонущие, обреченно молчаливые. Раненые люди молчали, а раненые лошади кричали жуткими, истеричными, почти женскими голосами.

Я видел на той стороне Дона полковников без полков в замызганных солдатских гимнастерках, в рваных ботинках с обмотками, видел майоров и капитанов в одних кальсонах. Возле нас какое-то время толкался молодец и вовсе в чем мать родила. Из жалости ему дали старую плащ-палатку. Он хватал за рукав наше начальство, со слезами уверял, что является личным адъютантом генерала Косматенко, умолял связаться со штабом армии. Никто из наших не имел представления ни о генерале Косматенко, ни о том, где сейчас штаб армии. И над вынырнувшим из мутной донской водицы адъютантом все смеялись с жестоким презрением, какое могут испытывать только одетые люди к голому. У нагого адъютанта из-под рваной плащ-палатки торчали легкие мускулистые ноги спортсмена...

«Наше дело правое...» Чудовицно неправый враг подошел вплотную к тихому Дону. И как жалко выглядели мы, правые. Обнаженная правота, облаченная в кальсоны...

Да всегда ли силен тот, кто прав? А может, наоборот? Правый всегда слабее, он чем-то ограничивает себя — не бей со спины, не подставляй недозволенную подножку, не трогай лежачего. Неправый не знает этих обессиливающих помех. Но тогда мир завоюют мрачные негодяи. Те, кто обижает, кто насилует, кто обманывает. Жестокость станет доблестью, доброта — пороком. Стоит ли жить в таком безобразном мире? Мир, оказывается, не разумен, справедливость не всесильна, жизнь не драгоценна, а святой лозунг «Наше дело правое, враг будет разбит...» — ненужная фраза.

Но даже общее пожарище не выжгло тогда из моей памяти Ярика Галчевского. Минутами я видел его сидящим на бруствере и внутренне содрогался от его крика: «Убейте его!»

Кого?.. Да того, кто ставил «Если завтра война». Странно.

Дева Света! Где ты, донна Анна?..

Ярик любил стихи, еще больше любил кинофильмы. Он знал по именам всех известных и малоизвестных актеров. «Если завтра война»... До войны был такой фильм. «Если завтра...» Война сейчас, война идет, враг на том берегу Дона. «Дева Света! Где ты, донна Анна?» «Убейте его!»

В те дни, оказывается, не я один помнил о Галчевском, кой-кто еще...

Над степью выполз чумацкий месяц — ясный и щербатый. Солдаты спали прямо на ходу, во сне налетали друг на друга, даже не ругались, не было сил.

Пятый день блуждал по степи наш сильно поредевший полк, спали по два часа в сутки, пытались набрести на какой-то таинственный Пункт Сбора. Этот Пункт каждый раз, как мы приближались к нему, оказывался перемещенным в другое место, глубже в тыл, подале от накатывающегося противника. Береженого, конечно, бог бережет, а солдату накладно.

Выполз месяц, значит, скоро разрешат привал — самый большой, ночной. И действительно головной отряд свернул с пыльного тракта. Обгоняя нас, прыгая по неровностям, прокатила крытая машина.

Мутная при свете луны, отдыхающая степь. Где-то далеко-далеко раскаты. Далеко-далеко, чуть слышна война. Но все-таки слышна, хотя мы, колеся, и уходим от нее, спешим, выматываемся, спим только по два часа в сутки.

Нас подвели к остановившейся посреди степи машине, как могли, выстроили в шеренги, почему-то не разрешили садиться.

Майор Саночкин, заместитель комполка по строевой, досадовал и покрикивал на людей возле машины:

— Давайте, но только быстрее! Быстрее, ради бога! Люди устали!

И тут вывели его... Под жидкий свет луны, к отупевшему от усталости полку...

— Только, ради бога, не тяните резину!

Не было расторопных ребят в твердых тыловых фуражках. Из гущи спутавшихся рядов вытащили шестерых солдат из комендантского взвода, таких же, как и все мы, шатающихся от усталости.

Шестеро солдат, слепо толкаясь, выстроились напротив него. Он высоко держал на тонкой шее маленькую обкатанную голову, был в гимнастерке распяской, в комсоставских синих галифе, но босиком. За ним зыбко лежала мутно-лунная, безбрежная степь.

— Побейте же, прошу вас!

Шестеро парней из комендантского взвода знали — пусть не близко, со стороны — командира химвзвода младшего лейтенанта Галчевского. Теперь уже не младшего лейтенанта, и человеком ему оставалось быть считанные минуты.

Не было расторопных, знающих свое дело ребят. Его не раздели до белья, ему не выкопали даже могилы.

Выступило вперед сразу двое. Один из них осветил бумагу фонариком, другой принялся торжественно читать:

— Именем Союза Советских Социалистических Республик военный трибунал... в составе...

Почему-то эти торжественные слова вносили в душу успокоение. Оказывается, и в бредовой неразберихе отступления кой-где сохранился порядок, кой-кто не забывал о своих обязанностях — жива какая-то дисциплина, жива армия.

— ...р-рас-смотрел дело по обвинению Галчевского Ярослава Сергеевича, военнослужащего, младшего лейтенанта, тысяча девятьсот двадцать второго года рождения...

Смутная в лунном рассеянном свете степь за его спиной. В полночь настоящий воздух просочился божественно прекрасный запах разваренной свиной тушенки, подправленной дымком.

Сегодня днем на тракте наши задержали какие-то интендантские машины, потому сейчас и пахнет у нас давно забытой свиной тушенкой. Удивительный запах, он гонит прочь усталость, зовет к жизни. Повар комендантского взвода знаменитый Митька Калачев при отступлении оставил на той стороне Дона свою полевую кухню, но — ловок, бестия! — обзавелся баннным котелком, умудряется в нем варить даже на ходу, не очень запаздывает с раздачей.

— ...При-говорил!.. Галчевского!.. Ярослава Сергеевича!.. — И умолк, его товарищ погасил фонарик.

Луна висела над необъятной степью, обессиленной, отдыхающей, и далеко-далеко погромыживала чуть слышная война. Он стоял под луной, вытянув тонкую шею, тербя балахон гимнастерки.

А у организаторов произошла заминка, они топтались и шушукались.

— Кончайте! Что ж вы?.. — снова взъелся на них майор Саночкин.

— Скомандуйте вашим бойцам...

— Нет уж, увольте. Это ваше дело. И только побыстрее, побыстрее, солдаты падают от усталости!

И тогда тот, кто читал приговор, тяжело шагнул вперед, закричал дребезжащим, нестроевым, некомандирским голосом:

— По врагу нашей род-ди-ны!..

Солдаты, не получившие привычной команды взять наизготовку, нескладно, растерянно, вразброд вскинули винтовки.

И тут Галчевский вытянулся, напрягся, и заплескался в лунной степи его звенящий голос:

— Я не враг! Мне врали! Я верил! Я не враг! Да здравствует...

— Пли!!

У одного из стрелявших в стволе была заложена трассирующая пуля. Она плеснула огненным полотнищем, прошла сквозь узкую, бесплотную грудь Галчевского, полыхнула за его спиной.

Он упал на жесткую полынь, голубую при лунном свете траву.

У его мамы больное сердце...

В воздухе пахло разваренной тушенкой. Запах, обещающий жизнь.

На другой день мы вошли на станцию Садовая, окраину Сталинграда, еще оживленного, еще не разрушенного, не спаленного города. Мы защищали его. В этом городе враг был разбит. Наше дело правое, победа оказалась за нами...

Декабрь 1969 — март 1971.

Публикация и подготовка текста НАТАЛЬИ АСМОЛОВОЙ.



ИЗ ПРАХА И СЛЕЗЫ НЕБЕСНОЙ



СЕРГЕЙ ЗОЛОТУССКИЙ

Техник по эксплуатации зданий

Как черны чердаки и зловещи во тьме перекрытья!
Слуховое окно цедит режущий бритвенный свет,
Спертый воздух забвенья венчает людскую обитель
(Впрочем, так и в подвале — начала веселого нет).

Регулярный осмотр к философским ведет размышленьям:
Смотришь сверху — внизу бестолково клубится народ,
А на трассе центральной летит голубое свечение,
Постовой на углу, круто выгнувшись, честь отдает.

Геометрия крыш — бесконечные гребни и скаты,
А подальше взглянуть — словно ход океанских валов,
Допотопные спины глухих бастионов тридцатых,
Триумфальная готика пятидесятих годов.

Хорошо постоять на краю, как античной фигуре,
Под ногой ощутить твердо дно — девятнадцатый век,
И спокойно глядеть сквозь грядущие штили и бури,
И уверенно ждать, что покажется Ноев ковчег.

Председатель домкома

Председатель домкома упрямо приходит в... ноль-ноль,
Хоть и пусто еще в отведенном ему помещенье,
С дряблой кожаной папкой в руках
Он стоит в офицерском плаще
И фантомную чувствует боль
По былым временам и по тем дорогим ощущениям:
По свистящему шепоту — шепоту камня в праще...

Где понурые головы, где просители жалкие те?
Если кто и придет: «А у нас потолок протекает!»
— Протекает? Ну-ну... — говорит. — А живете-то как?
— Как живем? В духоте... в тесноте... —
Он внимательно слушает, чуть головою кивает.
— Да, увь, — говорит, — такой нынче всюду бардак!

А за толстою линзою старых тяжелых очков
Глаз огромный колышется — под микроскопом амеба...
(А всевидящим оком его за глаза называли!)
И сейчас еще держит в железной узде старичков —
Домовой комитет, — будут помнить до гроба!
Ведь недаром его выбирали...

А проситель увлекся и громко все хаает подряд:
И торговую сеть, и работу свою на заводе...
По столу председателя пальцы легонько стучат
(Вязкий ритм пробегающих лапок, паучий тамтам...)
«Распустили! — он думает.— Страха не стало в народе,
Эх, какую же баню тебе я устроил бы т а м!»

Председателя тело обмякло — на студень похоже,
Скучно рот опустился, и слабо махнул он рукой:
— Заявленье пишите на имя начальника ДЭЗа...—
Но кому он и что он доложит?
Председатель домкома, а власти почти никакой...
Потолок протекает... А крышу чинить кто полезет?
Уж, конечно, не он, не его комитет домовый.

НИКОЛАЙ КОНОНОВ

* * *

Вечно кипит вода в бачке для срочных незатейливых нужд
устоявшегося хозяйства. За потным стеклом слабыми, молочными
маленькими шажками движутся сумерки, словно пьяный муж
тети Маруси с друзьями своими парнокопытными, хордовыми,
беспозвоночными.

Вот сейчас начнется перепалка, бегство с препятствиями, сумбур
вокруг сковородок, деньги придут занимать. Румянец томительный
у полнокровных нарядных толстух, и отлажен мужской перекур,
как токарный станок,— только фразы мелькают спиралями, стружками,
нитями.

Словно силосные башни среди радостно-бестолковых тихих овец —
бутылки красного вина рядом с какими-то там салатами, винегретами.
О, как радостно начинать — за какими горами финал, апофеоз, конец,
мордобитие, ругань! А пока: хохот, чоканье, угощают всех сигаретами.

Все это после узнал, а сейчас меня бабушка от них уведет, уведет.
Как взволнован суетой и ласковыми понятными вопросами!
Царские газовые конфорки, свист огня, снег синеватый идет,
завтра в школу не надо за сутробами, за дверьми, за торосами.

Эта легкая накипь дежурного сна, тяжесть всех одеял, снегопад,
эта ночь так по-детски сопит, работает напильниками, пилками.
О, тяжелый густой алебастр! О, беспамятство! В сорок ватт
тлеет лампочка. За стеной опрокинули стул, катают пустыми
бутылками.

ЧП

Вот так и вмазала Ирина Георгиевна Елене Глебовне
Прямо в лоб, вот так и не побоялась мненья коллектива
И тем паче администрации. Звезды посыпались, и небо где —
Третий день, бедная, не видит, посинела, как слива.

Вот так и не побоялась — прямо в тесной тренерской
В лоб дать, так как не поделили нагрузку
(Серьезный, знаете ли, мотив). Жужжат все день-деньской,
На два лагеря разделились, мосток сожгли узкий.

Ух, как они, представляю, пыхтели, сплетались, словно кустарники —
Ветками трещали, багровели, будто рябины,

А потом бледнели, таблеточки — шарики карликовые
Нитроглицерина — глотали, Персефона и Прозерпина,

Сестры аэробики... За теми бледными, заснеженными
Облаками ночными и не разобрать. Вот — и следа не осталось
У Елены Глебовны от травмы. С каникулами нежными
Заживет все морозными, вся боль, вся усталость.

ИРИНА ЗНАМЕНСКАЯ

* * *

На нивах шум работ умолк...
С неделю отмывают длани
Филолог, техник,
Точно в полк —
На время сданные в крестьяне...

Землею пахнет из щелей
Асфальтовых, садов раскисших,
От самолетов, кораблей,
С высот — от неких целей высших,

Где сам Илья-пророк кует
Для колеса последний шкворень...
Усталость ногу не дает
Из глины вытянуть, как корень.

Землей замаран каждый лист,
И дождь — косой или отвесный,
И слеплен всяк идеалист
Из праха и слезы небесной.

МИХАИЛ ШЕЛЕХОВ

История любви

Он в атаку пошел, он не знал ничего,
А попал под обстрел, как на чай к сатане...
Персонально из пушки стреляли в него,
Видно, очень понравился той стороне.

Как собрали его — по кускам, по частям —
И снесли в медсанбат, он на ладан дышал!
Но сестрицу увидел хорошую там
И, буквально в могиле, к ней клеиться стал.

— У меня организм, — он кричал, — пулемет!
Я тебя уведу, я тебя украду!
Мы с тобою закатим такой Новый год,
Никаким проституткам не снилось в аду...

И сказала ему медсестра по культуям,
Что поскольку снарядом его разнесло,
Надо резать и душу доверить врачам.
Если бог не спасет, так спасет — ремесло.

Он шептал неприличные байки сестре
И бессильной рукой за колено хватал...
И никак его смерть не брала на заре,
И никак хлороформ его душу не брал.

Как гвоздями Христа, так ремнями его
 Прикрутили, распяли на паре досок!
 И, как смертнику, чтобы не знал ничего,
 Нацепили на голову грязный мешок.

И пока его резали — все, кто хотел,—
 И кидали в ведро его бедную плоть,
 Он зубами прогрыз свой мешок и — глядел!
 Но сестру заслонял от солдата господь.

— Отойди! — он хрипел и таращил белок.
 И господь отходил. И на место его
 Приходил сатана, чтобы парень не мог
 Медсестру соблазнить и не знал ничего.

Заорал он:

— Снимите свой драный мешок!
 Не хватало ослепнуть по вашей вине...—
 Но хирург запихнул в него десять кишок
 И поставил скобы на дырявой спине.

Поломали пилу, хлороформ извели,
 Кровь текла из него, как вода — в решето.
 Медицинские братья на двор сволокли
 Две ноги, две руки и еще кое-что.

Он в мешке поседел, он на свет поглядел
 И увидел сестру и ее красоту.
 — Приходи ко мне вечером! — он прохрипел.—
 Я тебя уведу, я тебя украду!

И когда уходил навсегда поутру,
 Как младенец в пеленки, завернут в бинты,
 Он увел за собой полковую сестру
 По причине великой ее красоты...

СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ

* * *

Что-нибудь о тюрьме и разлуке
 Со слезою и пеной у рта.
 Кострома ли, Великие Луки,
 Но в застоле в чести Воркута.
 Это песни о том, как по справке
 Сын седым воротился домой.
 Пил у Нинки и плакал у Клавки —
 Ах ты Господи Боже ты мой!

Наша станция как на ладони.
 Шепелявит свое водосток.
 О разлуке поют на перроне.
 Хулиганов везут на восток.
 День-деньской колесят по отчизне
 Люди, хлеб, стратегический груз.
 Что-нибудь о загубленной жизни —
 У меня невзыскательный вкус.

Выйди осенью в чистое поле,
 Ветром родины лоб остуди.

Жаркой розой глоток алкоголя
 Разворачивается в груди.
 Кружит ночь из семейства вороньих.
 Расстояния свищут в кулак.
 Для отечества нет посторонних,
 Нет, и все тут,— и дышится так,

Будто пасмурным утром проснулся —
 Загremели, баланду внесли,—
 От дурацких надежд отмахнулся,
 И в исподнем ведут, а вдали —
 Пруд, покрытый гусиною кожей,
 Семафор через силу горит,
 Сеет дождь, и небритый прохожий
 Сам с собой на ходу говорит.

Поездка: автобус, безбожно кренясь,
 Пылит большаком, не езда, а мученье.
 Откуда? Куда он? На Верхнюю Грязь?
 Из Лога? В Кресты? — не имеет значенья.
 Попутчики: дядя с двуручной пилой,
 Две тетки, подросток с улыбкой осторожной,
 Изрядно поддавши мужик пожилой
 И в меру поддавши рабочий дорожный.
 Кто спит, кто с похмелья, кто навеселе.
 В проеме окна поднебесное поле.
 Здесь все — вплоть до Гундаревой на стекле —
 Смесь яви и сна и знакомо до боли.
 Встречь ветру прохожая тащит ведро
 Брусники и всякую всячину в торбе.
 Есть сходство с известной картиной Коро,
 Но больше знакомых деталей и скорби.
 Все это, родное само по себе,
 Тем втрое родней, что озвучено соло
 На третьей обещанной грозной трубе,
 Той самой... И снова деревни и села.
 И надо б, как сказано, в горы бежать,
 Коль скоро вода от польни прогоркла.
 Но наша округа — бескрайняя гладь,
 На сутки пути ни холма, ни пригорка.

Матери.

Далеко от соленых степей саранчи,
 В глухомани, где водятся серые волки,
 Вероятно, поныне стоят Баскачи —
 Шесть разрозненных изб огородами к Волге.

Лето выдалось скверным на редкость. Дожди
 Зарядили. Баркасы на привязи мокли.
 Для чего эта малость видна посреди
 Прочей памяти, словно сквозь стекла бинокля?

Для чего мне на грубую память пришло
 Пасторальное детство в голубенькой майке?

Сколько, Господи, разной воды утекло
С изначальной поры коммунальной Можайки!

Все, что с нами случилось, случится опять:
Среди ночи глаза наудачу зажмурю —
Мне исполнится год, а тебе двадцать пять.
Фейерверк сизарей растворится в лазури.

Я найду тебя в комнате, зыбкой от слез,
Где стоял КВН, недоносок прогресса,
Где глядела на нас из-под ливня волос
С репродукции старой святая Инесса.

Я застаю тебя за каким-то шитьем.
Под косящим лучом засверкает иглока.
Помнишь, нам довелось прозябать вчетвером
В деревушке с названьем татарского толка?

КВНовой линзы волшебный кристалл
Синевою нальется. Покажется Волга.
«Ты и впрямь не устала? И я не устал.
Ну, пошли понемногу, отсюда недолго».

ВИТАЛИЙ КАЛАШНИКОВ

* * *

Здесь, под высоким небом Танаиса,
Я ехал в Крым, расстроен и рассеян,
На поиски случайной синекуры.
И у друзей на день остановился,
И... дом купил, и огород засеял,
И на подворье запестрели куры.

Здесь, под спокойным небом Танаиса,
Я перестал жить чувством и моментом:
Я больше нигде не порывался,
Я больше никогда не торопился,
Возился с глиной, камнем и цементом
И на зиму заготавливал запасы.

Здесь, под античным небом Танаиса,
Зимой гостили у меня Гораций,
Гомер, Овидий, Геродот, а летом
Родные и приятели: актрисы,
Писатели каких-то диссертаций,
Изгнанники, скитальцы и поэты.

Здесь, под огромным небом Танаиса,
Сначала долго, нестерпимо долго
Терпел я недороды, но в награду
Однажды все рассады принялись, и...
Взошли Любовь, Россия, чувство Долга
И, наконец, Душа, которой рады.

Здесь, под бездонным небом Танаиса,
Перед собой я больше не виновен
В том, что люблю мышление и свободу:
Вот дом, в котором я родился,
Вот кладбище, где буду похоронен, —
Всего минут пятнадцать ходу.

ДМИТРИЙ ВЕДЕНЯПИН

В автобусе

У каждого своя посмертная судьба.
 Автобус, как стрела, летит по перелескам.
 Прозрачные лучи скользят по занавескам,
 Как крестики стрекоз по рыболовным лескам.

У каждого своя посмертная судьба:
 У этой девушки, откинувшей со лба
 Прядь солнечных волос, у этого ребенка,
 У этой женщины... За рамкою окна,
 Шурша, колышется живая тишина,
 Задернувшая все как бы тончайшей пленкой.

Все связано со всем; и уж, конечно, то,
 Что мы увидим там,— с тем, что открылось в этом
 Упругом и сквозном, прохладном и прогремом,
 Увяжем в темноте, преодоленной светом,

Движение времени на «взлетной полосе»,
 Где каждый человек — посмертный авиатор...
 «Икарус», как стрела, несется по шоссе;
 Как эхо тишины, стрекочет вентилятор.

* * *

Можно фальшиво страдать, машинально молиться;
 Можно подделать деньги, картину, голос, лицо;
 Нелюбимую можно назвать любимой,—
 Но нельзя притвориться,
 Что мяч опустился в кольцо,
 Если он пролетел мимо.

Можно формально работать, случайно жениться;
 Утверждать, что высокое — мнимо, низкое — высоко;
 Приравнять бессмыслицу к смыслу, хаос — к порядку,—
 Но нельзя притвориться,
 Что пуля, попавшая в «молоко»,
 Попала в десятку.

Можно быть самозванным царем, самочинным провидцем;
 Номинальным ученым без знаний, призванья и прав;
 Представляться счастливым, уверенным, мудрым, богатым,—
 Но нельзя притвориться,
 Что ты чемпион, прибежав
 Семьдесят пятым.



НАТАЛЬЯ СУХАНОВА

★

ДЕЛОС

Рассказ

Иногда, а с возрастом, когда читать удается все меньше и меньше, охватывая: горькое бессилие и отчаяние, что необъятного не обоймешь. Читая периодику, текучку, безграмотные рукописи настырных графоманов и — в «обязательном чтении» — очень грамотных направителей культуры, пропускаешь истинно талантливое, серьезное, близкое по духу и по работе в текущей литературе.

У Натальи Сухановой десять книг, а я вот впервые читал ее, и читал с большим интересом, а порой и с наслаждением, особенно рассказы. Ее «Делос» шибко мне лег на душу и по глубине своей, и по мужеству, и по целомудренности какой-то, вовсе не бабьей. Это рассказ тонкий, человечный и суровый в своей неотмолимой святой простоте, во всяком случае я давно не читал ничего подобного.

— Виктор АСТАФЬЕВ.

Сегодня утром в троллейбусе пел ребенок. Не Робертино Лоретти. И не «Санта Лючию». Так, что-то такое: ля-ля-ля,— задумчиво и деловито. Было совсем еще рано. Все были сонные. Поэтому никто ему не внимал, не приставал с дурацкими взрослыми разговорами. Мать сонно молчала, не слыша его, да и сам он едва ли слышал, едва ли сознавал себя. Он пел и, умолкая на мгновение, пальцем и дыханием проделывал дорожки и ямки в мохнатом инее морозного стекла. Он пел, голубое и желтое расплывалось в его прищуренных глазах — голубой рассвет и желтые фонари, в инее вспыхивали острые искорки. Люди, покачиваясь, дремали. И только чистое «ля-ля-ля» веяло над всеми нами.

Это утреннее впечатление разбудило во мне горечь. Горечь, досаду, злость? На что, на кого? На себя? «Ты взвешен на весах и найден слишком легким». Было дано — и не осуществилось. Сквозь пальцы ушло. Было явлено. И ушло, не стало.

Боль была мгновенной и отпустила. Осталась грусть. Просто грусть, в которую может обратиться все на свете, потерявшее остроту.

...Случай давно уже разобран с коллегами. Криминала, как говорится, нет. Напротив. Ну, ассистент замешкался малость. Даже с космонавтами случается. Лучше бы я, однако, вместо него поставил нашу Марию Ивановну с ее средним медицинским образованием и больными отекающими ногами. Но я не господь бог, чтобы все предвидеть. Да и как выразить недоверие к равному мне по возрасту и опыту коллеге? И один ли он виноват? Где мера каждого в совместной вине? Возможно, мы на день-два запоздали с операцией. Или, напротив, поторопились. Впрочем, какое «поторопились» — едва-едва успели. Хирург на сложную операцию идет, как у древних полководец на битву, вызывая ко всем богам и прислушиваясь к их голосу в себе. Я же в ту пору плохо чуял эти смутные голоса. Еще и то сошло, что был я уже новоспеченным заведующим в старом роддоме. Уговорили, и я согласился. Конечно, проводил и консультации, и операции, и на сложные роды меня звали. Но это уже не главное было. Главным были стены, потолки, крыша, операционные, туалеты. Стены мокли. Трубы то забились, то текли. Младенцы болели — антисептики оказывались бессильны, и легче было менять заведующих, чем крыши, стены и трубы. Каждый день что-нибудь отказывало: водопровод, канализация, элект-

ропроводка. Ходил в горздрав, в исполком, в горком — уши затыкали: «Вы что, смеетесь? Только что был ремонт! Капитальный! Увольняйте кого хотите! Берите кого сочтете нужным! Но не ремонт!»

Никого не уволил. Вызвал сестру-хозяйку и велел завести аварийный журнал. Потолще. Ежесуточный.

«22 марта — забит и не работает унитаз на первом этаже».

«23 марта — потекла канализационная труба в операционной».

«24 марта — не работает унитаз на втором этаже».

«25 марта — короткое замыкание на первом этаже».

Две общих тетради в коленкорových обложках такого вот содержания положил я через несколько месяцев на стол секретаря горкома партии. И получил и освоил настоящий капитальный ремонт. И новейшее оборудование выбил.

Но это после. А тогда в самом разгаре были бои местного и стратегического значения.

И обычных забот никто с меня не снимал. Каждый день ровно в восемь—пятиминутка. До этого — ля-ля: «разделили с сыном квартиру», «он мне сказал», «я ему сказала», «выгнала мужа», колготки, дети, пьянка, базар, мясо. А в столе приемничек, чуть слышный. Но едва начнет пикать восемь, вкручиваю на полную громкость. Тогда уж, кто не успел, бегут, на ходу завязывая тесемки, — только бы ногу поставить в дверь. И — оперативка, которая, конечно, ни в какие пять минут не укладывается, хотя лишних слов не тратят. Докладывает дежурный: столько-то поступило, столько-то родили, столько-то в родах. Докладывает старшая детского отделения: столько-то младенцев, синел — не синел ребенок, как брал грудь, как часто марался, какая попка, какой пупок.

И дальше на полный ход.

— Антон Аполлинарьевич, посмотрите, пожалуйста, мамочку — кровит.

— Антон Аполлинарьевич, у Дягилевой положение плода поперечное. Схватки слабые.

С Дягилевой, значит, надо решать. Первая беременность, ребенок доношенный, вот только лежит не так.

— Нина Андреевна, — говорю я Дягилевой, когда она, морщась от боли, входит в кабинет, — Нина Андреевна, послушайте меня внимательно. Ребенок у вас не головкой вниз лежит, как положено ему, и даже не задиком, а боком. Вам самой едва ли удастся его родить.

Двадцатилетняя Нина Андреевна напряженно смотрит мне в лицо.

— Есть две возможности, — продолжаю я четко и медленно. — Первая: делать операцию, кесарево сечение, при этом мы спасаем и ребенка и вас. И вторая: идти на самостоятельные роды, в этом случае, всего вероятнее, ребенка мы потеряем.

— Операция... кесарево сечение... опасная? — спрашивает Дягилева.

— Операция есть операция. Не такая уж редкая. Но после нее в течение лет трех нельзя беременеть.

— Я сама не смогу разродиться?

— Вернее всего, нет. Остается, конечно, шанс, что ребенок успеет повернуться правильно. Но шанс очень маленький.

Дягилева переводит встревоженные глаза с одного лица на другое, но сейчас ей никто не поможет.

— Ребенка разрежут?

— Да, если не сможете родить. Но вы же еще совсем молоды. У вас еще будут другие дети.

— С мужем можно посоветоваться?

— И можно и нужно, Нина Андреевна.

Вызываем мужа. В преддродовой кто-то уже кричит в голос. Крик переходит в натужный вой — скоро роды.

Разговор с мужем Дягилевой — сначала отдельно от нее. Парень испуган, и все-таки он очень здоровый, очень благополучный. Ловлю себя на мысли, что начинаю смотреть на мужчин глазами рожающих женщин. Объясняю ему ситуацию.

— Сама родить не сможет?

— Вот дверь,— говорю я ему.— А вот шкаф. Если шкаф развернуть к двери вот так, он пройдет. А если этой стороной... Но здесь комната — в ней можно развернуть шкаф. А там тесный мускулистый мешок.

— Развернуть не можете?

— Будем пытаться, но вероятность очень мала.

— А сам ребенок не развернется?

— При сильной родовой деятельности иногда это случается. Но у вашей жены схватки реденькие и слабые. Так что очень мало надежды.

— Операция опасная?

Ну, и так далее. Растерян, мнет шапку.

— Сейчас подойдет жена,— говорю я ему.— Посоветуйтесь, подумайте.

— Она может ходить?

— Может.

Они так и не сели, хотя я пригласил их располагаться удобнее. Она стоит на вyalых ногах, сутулясь — в шлепанцах, в халате, из-под которого видна длинная желтоватая дезинфицированная сорочка.

— Ну что делать? — спрашивает она.

— Не зна-аю. Как хочешь, Нина. Как лучше. Доктор говорит, операция не очень опасная.

Покачав головой, она объясняет ему, как несмышлennyшу:

— Потом три года остерегаться надо. Нельзя беременеть. Абортов нельзя.

— Не знаю,— снова бормочет он. И ко мне: — Доктор, а если без операции?..

— Конечно,— заканчиваю за него я.— Она еще молодая, у вас всего вероятнее еще будут дети.

Звонят из исполкома — приглашают на совещание. Объясняю, что не смогу.

— Ну, решили? — спрашиваю, положив трубку.

Он молчит, смотрит на нее.

— Не нужно операции,— говорит она.

— Хорошо подумали? Потому что сейчас вам, голубушка, не очень больно, а потом станет больно по-настоящему, вы скажете: хочу операцию,— а уже поздно.

Оба молчат: он смотрит на нее, она — в пол.

— Не надо операции,— говорит она так же бесцветно, как в первый раз.

— Ну, что же,— говорю я как бы с облегчением.— Нянечка, скажите Алле Борисовне, что она может идти домой, операции не будет. И вы,— говорю я мужу Дягилевой,— тоже ступайте. Не волнуйтесь, будем делать все, что требуется.

Глядя вслед Дягилевой — она осторожно ступает, поддерживая обеими руками живот,— думаю я о другой двадцатилетней, которая ровно сутки назад на этом же месте рыдала, умоляя спасти ее ребенка. Спасти от аборта. Студентка, безмужняя — мать и отец уговорили девочку на аборт, а она, уже из операционной, сбежала ко мне. Сложное положение — конечно, помогу, объясню родителям, но ведь и сама-то ребенок, еще и самостоятельно не жила, первая любовь, и вот тебе пожалуйста, такие-то чаще всего и страдают. Я успокаивал: никто не имеет права принудить ее, но подумала ли она хорошо? Ребенка-то, по сути дела, еще и нет — так, зародыш бесчувственный, она еще, даст бог, народит кучу детей. Девочка судорожно мотала голо-

вой: «Не могу! Не хочу! Соврите что-нибудь родителям, скажите — нельзя. Пусть оставят ребенка». И я загорелся. Я — только она заговорила — уже загорелся. Почти всегда готов я броситься на выручку к еще не родившемуся. А уж если она и сама...

Вызвал родителей, растолковал: понуждение к аборту карается по всей строгости закона. И запрятал ее у себя под каким-то предлогом. Ее и будущего ребенка.

Вон коляску с этими живыми батончиками повезли на кормление — сладкое кряхтение, хныканье. А ведь вернее всего правы не мы со студенткой, а разумная Дягилева. Намучится моя студентка со своим безотцовщиной, потом заберут ребенка к себе ее родители, будут любить его еще и больше, чем дочь, но не заменят ему молодых папу и маму. А Дягилева, трезво отбирая из своих беременностей ей удобные, и мужа сохранит и родит пару здоровых крепких детей, все отдаст им и думать забудет об этом уже доношенном, уже жившем. Что ж, не так зародился, не судьба.

Да, это было именно в тот день, когда Дягилева отказалась от кесарева. Потому что именно о ней думал я, именно о ней зашел у нас разговор с Аллой Борисовной, заглянувшей попрощаться после дежурства.

— Что, отказалась Дягилева? — В голосе Аллы Борисовны было легкое любопытство, легкое удивление, та же мысль, что у меня: все-таки уже доношенный. Любопытство, удивление — да. Но не осуждение. Каким дилетантом, однако, чувствую я себя порой рядом с этими женщинами, которые столько раз в жизни трезво, без лишних сложностей и воображения решают вопрос вопросов: быть или не быть человеку. А я как ребенок, которому дай именно эт у игрушку, и сейчас, сию минуту. И отчаяние, когда — нет! не сейчас! потом! — остро, как в первый раз. Ничего не знаю прекраснее беременной женщины! Никогда — ни в транспорте, ни на улице — не спутаю просто полную женщину с беременной: какая особая прелесть уже испорченного пятнами и усталостью лица, какая идеальная — космическая! — округлость отяжеленного новой жизнью живота! Нет ровнее, округлее чуда! Сын божий тоже лежал, обхватив себя руками и ножками, вниз головой, в невесомости материнских вод. Мир в мире, и женщина вся вокруг этой расширяющейся в ней вселенной — спина откинута, чтобы нести ее, ноги — уставшие, набухшие, лицо обращено душою внутрь. Ничего не знаю унизительней обязанности помочь женщине избавиться от ребенка! Но разве только я? Сколько раз ругал я персонал за неприязнь к абортничкам. Ведь каждая из наших работниц хоть раз решалась на это же. И вот все равно...

Алла Борисовна сладко зевнула.

— Пойду отсыпаться. — И уже выходя: — Антон Аполлинарьевич, еще не смотрели вчерашних поступивших? Григорьева. Что-то не очень понятно с ней.

И ушла.

Женщина в предродовой так кричала, что даже опытная Мария Ивановна беспокоилась. Посмотрели — все нормально. Еще одно, другое.

Сверх всего этого спешного я еще и о Дягилевой, надо признаться, помнил. Не без досады. Неужто не жаль ребенка? Неужто так уж уверена: не этот, так другой? А если другого не будет? А этот — этот-то уже есть. Ах, как мы расточительны с чудом жизни! И при этом, увы, она права. Преследуемая кенгуру выбрасывает из сумки детеныша — ни матери, ни детенышу вместе спасения нет, одна же она спасется, родит других кенгурят — вид продолжится, фамилия кенгуриная не пропадет. Простой статистический расчет. Кабаниха, прежде чем перейти с выводком открытое место, выгалкивает одного детеныша вперед, так сказать, на разведку, — лучше один погибнет, чем все осталь-

ные и она. Ни кенгуру, ни кабаниха не думают — в них «думают» поколения выживших. Тех, что поступали иначе, давно уже нет. Женщина, обожающая рожденных, о нерожденных даже не вспоминает. «Всех не родишь», — говорят женщины. И даже осуждают многодетных, которым «лишь бы родить, а растут пусть сами, как трава. Всех не родишь — рожденным бы дать ума». Сентиментальность можно сохранить, только закрывая глаза на добрую половину того, что делается в жизни. Как у меня в роддоме беспутная Дудариха давила пригугльного ребенка ногами — прямо в родах, когда, кажется, уже бы только родить. Литература о таком не упоминает. Очень приятное дело — литература: если материнство, то обязательно святое, если жестокость — то уж исчадие ада. А роды, беременность — о них и вообще писать неприлично: у мужчин, пожалуй, так и страсть притупиться может. Мы предпочитаем знать женщину в страсти, а не в работе вынашивания и родов. Да и саму страсть порой умудряемся отделить от «чистой», «возвышенной» любви. Наш мужской разум подсказывает нам, что роды не тема для литературы. Но именно женщины вот в этих родзалах платят за разум. Ах, ты хочешь, дочеловек, подняться на ноги, посмотреть вокруг и вверх? Ты хочешь мыслить? Ну что ж, за это заплатят твои матери, жены и дочери. Не зря в библейской легенде именно женщина выбрала плод познания — кто платит, тому и выбирать. Кто выбирает, тому и платить. Именно родящая расплачивается за прямохождение и большой мозг. За равенство богам — муки в родах.

Вот молоденькая женщина на родовом столе. Сумасшедшие глаза. Тонкая нога, поставленная на приступку, дрожит. Жалкие ноги — не такие они в любви. Дрожит большой рот. Дрожит все лицо. Дрожит рука. Рядом группа студентов. Девушки неподвижны, ребята активно сострадательны, глаза их над масками сочувственны.

— Ну, Леночка, — шепчет кто-то из них, — ну, Леночка, еще, еще туешься.

Точно такие — сколько лет тому назад? — мы с Юркой Борисовым пришли на практику в роддом. Я тогда студентом двух институтов был: во-первых, двойной набор хлебных и жировых карточек, во-вторых, и там и там мне нравилось учиться, а кем я хочу быть, все не мог решить. Но уже надо было определяться — черчение забирало так много времени, что нужно было выбирать. Я уже хотел распрощаться с медицинским и остановиться на техническом. Юркина подружка отговаривала: «Ты что, Тоша? Будешь ты врачом где-нибудь в Сочи. Белый халат, белый колпак. Вышел утром — солнышко светит, море. Как, спросишь, самочувствие? Отдыхаем, скажут. Ну, продолжайте, скажешь им ты. А инженер? Лязг, скрежет, пыль, грязь! Подумай, Тоша!» Я и думал. Но пока решался, подошла наша очередь идти в роддом. До этого ведь только на картинках видели. Да и на картинках то ошарашивало. А тут такое! Куда там — лязг, скрежет, пыль, грязь! Тут иной студент, а то и студенточка еле-еле по стенке выберутся и сидят где-нибудь прямо на полу в коридоре, и кто-нибудь им нашатырь под нос сует. Или их уже рвет в туалете. Юрка как раз таким оказался. Потом он уже только сзади стоял или куда пошлют бегал. А я зацепился. И практика прошла — я все там. Стали мне поручать сначала первичный осмотр, потом роды неосложненные принять, потом шов наложить. И ночами дежурил. Где-нибудь на топчанчике прикору: «Если будет рожать, разбудите...»

— Леночка! Леночка, — болеют студенты, — ну, еще, еще!

— Что-то не нравится мне сердцебиение, Антон Аполлинарьевич, — беспокоится Мария Ивановна, — послушайте.

В самом деле, тона глуховаты — пережата пуповина или отслаивается детское место?

— Ой, как больно, а вы еще жмете, — стонет Леночка.

— Лена, внимательно слушайте. Как наступает потуга, дуйтесь,

работайте, на четыре раза, поняли? Так. Переведите дух, но не рывком, и сразу еще. Так, так, так, давайте, давайте, давайте! Все? Прогресс потуга? Когда прошла, не дуйтесь, берите маску, дышите, давайте, давайте ребенку воздух. Ну! Ну! Пошло, пошло, пошло, пошло!

Студент, держась за острое ее колено:

— Давай-давай, Леночка! Уже скоро, давай-давай!

Проступает сизый гребень — ребенок на выходе. Но все, потуга кончилась, головка отходит. Ждать больше нельзя, можем потерять ребенка. Снова потуга. Разреза Лена не замечает. Стетоскоп на животе был ей болезнен, разреза она не слышит. Синяя головка в петле пуповины снаружи. Тельце, однако, еще внутри.

— Скорей! Скорей! — стонут студенты. — Леночка, еще, еще!

Бледная ручка, тельце. Мария Ивановна уже отсасывает трубкой слизь. Брызгает холодной водой на грудь. Зажимая рукой личико, массирует щипками. Слабо пищит вдруг ребенок — ожил! Студенты все так же неподвижны. Студенты радостно хохочут:

— Жив мужичок! Хороший мужик! Ишь, понимает!

— А теперь слушайте, Лена, роды еще не кончены...

Пока Мария Ивановна на детском столике обихаживает мужичка, я дежурю возле Лены. На всякий случай. Уж очень много нынче делают аборт, даже и совсем юные, даже и не рожавшие ни разу. Аборт редко проходит бесследно. Кровотечения при родах все чаще. А началось кровотечение — тогда счет идет на секунды.

Все обошлось.

Уже выходя, посетовал Марии Ивановне:

— А вот отсасываете зря. Мало ли чего подхватить можно, не о Леночке будь сказано.

Мария Ивановна знает, о чем я. Да только ей некогда. Когда спасает ребенка, не до себя.

И вот уже выйдя из родильного зала, я вспомнил то, что все время было и не отпускало. Ах да, Григорьева Екатерина Семеновна. Тридцать три года. Брак с двадцати двух. «Мастер чистоты» двух пятиэтажек в микрорайоне, то есть уборщица лестниц, площадок, подъездов. Две доношенные беременности с нормальными родами. Три аборта. Все среднестатистическое. А с этой беременностью — странности. Когда было восемнадцать недель, на работе прихватили сильные боли. Забрали тогда в больницу, но никакой патологии не обнаружили, с тем и выписали. Месяца через два с половиной боли повторились, ее опять госпитализировали, патологии не обнаружили, немного подержали и выпустили донашивать. Наконец уже сейчас, на последнем месяце беременности, опять с болями, с отекаемым диагнозом «угрожающие преждевременные роды» определили к нам.

В палате я с порога заметил новенькую, но подошел к ней не сразу, других посмотрел. Как всегда при обходе, в палате стояла уважительная тишина. Новенькая тихонько улыбалась, глядя на меня, как бы узнавая и радуясь мне. Приятная зрелая женщина, светловолосая, не крашенная. Небольшие светлые глаза, рот крупноват, но лицо хорошее, спокойное, приветливое. И вроде и в самом деле знакома.

Подхожу наконец к ней.

— Какие жалобы... — спрашиваю я у нее, добавляя с раздумчивой медлительностью, — Екатерина Семеновна? — Как будто само произнесение ее имени что-то проясняет для меня. Я даже еще раз добавлю (врачебные штучки!): — Е-ка-те-рина Се-меновна...

Она удовлетворенно улыбается, словно это как раз то, что нужно, — думать о ней и об ее имени совокупно. Но мыслей моих не перебивает, даже и отвечает не сразу:

— Жалобы? Не жалуясь я сейчас ни на что... Лежу вот.

— А что было, Екатерина Семеновна?

— Схватило. Боли. Думала, рожаю.

— Как же так? — бубню я ласково, но рассеянно. — Как это вдруг — рожать? Не время еще. Два раза рожали, все молодцом, и вдруг такая история.

Она улыбается еще шире, еще радостнее, хочет что-то сказать, но опять не говорит.

Осматриваю Катю. Все части плода прощупываются, прощупывается головка, прослушивается сердцебиение, все вроде как надо. И я ухожу, не понимая, как и те, до меня, что же тут такое. Что-то беспокоит меня неосознанно, не дает покоя, но я не знаю, что это.

Весь остальной день я рассеян, насколько позволяют дела. И раздражен. На практиканта в несвежем халате наорал, потом ходил к нему извинялся.

В час, когда не было ни осмотров, ни родов, ни журнала поломок, ни обеденного меню, ни звонков по телефону, за чашкой кофе я припомнил Григорьеву. Вот почему мне ее лицо показалось знакомым — не здесь, не в этом роддоме, а в том моем прежнем она рожала лет шесть тому назад...

Прибежала тогда сердитая акушерка:

— Антон Аполлинарьевич, поступила женщина, необследованная, без карты, куда помещать?

Я подошел, когда акушерка заполняла историю родов, а лаборантка брала на анализ кровь. Григорьева отвечала на вопросы акушерки с тем отсутствующим, туповатым лицом, какое бывает почти у всех женщин в схватках. Едва лаборантка ее отпустила, принялась наша необследованная крупными тяжелыми шагами метаться меж кроватей, упираясь в поясницу то одним, то другим кулаком. Акушерка по два раза переспрашивала. Иногда Григорьева прерывала ответ — сжимала железную спинку кровати, висла на ней. И снова — бег. По ее ответам получалось, что у нее всего семь месяцев беременности. Я с сомнением посмотрел на огромный живот, Сейчас выговаривать за роды явочным порядком было бесполезно, но возмущенная акушерка не удержалась:

— Все-таки в двадцатом веке живем — как же так можно легко-мысленно?

Григорьева не ответила.

Уже в дверях услышал я позади себя хриплый стон и стук. С выдохом-выкриком женщина упала на колени, сжимая прутья кровати. Хлынули воды.

Элины, кстати сказать, о родах писали:

Только ступила на Делос Илифия, помощь родильниц,—
Схватки тотчас начались, и родить собралась богиня.
Пальму руками она охватила, колени уперла
В мягкий ковер луговой. И под нею земля улыбнулась.
Мальчик же выскочил на свет...

Роддомам названий не дают. А я бы назвал какой-нибудь роддом «Делос». В память об элинах, писавших о родах. В память о плавучем острове Делосе, который вопреки запрету Геры дал приют рожающей Лето. В память о прекрасной двойне, рожденной здесь: Аполлоне и Артемиде. Радостный Феб-Аполлон, покровитель искусств, но он же целитель и прорицатель. Богиня охоты девственница Артемиде, и тоже, верно, в память о матери, — покровительница рожениц. Очень люблю я этих двойнят с их матерью Лето.

Вспомнил я Григорьеву и после родов, в палате для родивших. Разглаженное, спокойное, свежее лицо. Круглая шея, налитая грудь с широким темным соском.

— Какой же вес у мальчика? — поинтересовался я. — Ого! Это как же так: недоношенный — и такой вес?

— Почему недоношенный? — ласково удивилась она.

— По вашим словам, голубушка.

— Разве я так сказала? Ну это я от боли попутала. Тут не то что сроки — как зовут, забудешь.

— Такое-то славное имя забыть? Екатерина Семеновна! — Помню, сказал я тогда, беспричинно и радостно улыбаясь. Вот, конечно, почему на мое сегодняшнее задумчивое «Екатерина Семеновна» она понимающе улыбнулась. А ведь я только сейчас вспомнил. Я тогда прочел им в палате о Лето:

Спеть ли, как смертных утеха, Лето, тебя на свет родила,
К Кинфской горе прислонясь, на утесистом острове бедном
Делосе, всюду водою омытом? Свистящие ветры
На берег гнали с обеих сторон почерневшие волны...

В палате было семь человек, женщины оживились, расспрашивали, что это за стихи, что за богиня, что за остров, спрашивали, почему же это: то утесистый остров бедный, а то вдруг уже бескрайний? И кого родила богиня? И даже о моем отчестве — Аполлинарьевич. В их вопросах было и любопытство и легкий подхалимаж. Только Катя ни о чем не спрашивала, но розовела от смущения и удовольствия. Ведь это она «колени уперла», пусть не в «мягкий ковер луговой», а в линолеум, мытый-перемытый хлоркой.

В этот вечер я дежурил. Сорок минут до утренней оперативки и вот эти вечерние один-два неторопливых часа — мое любимое время. Не отвлекаясь, все вспомнишь, продумаешь.

Закончив разметку кое-каких неотложных дел, я вызвал в смотровой кабинет Екатерину Семеновну. Опять кто-то кричал, но это у нас привычный фон. Прямо в коридоре, у дверей кабинета уговаривала Марию Ивановну какая-то нетерпеливая:

— Миленькая, вы обо мне не забыли?

— Да как забыть!

— Ой, больно же как!

— Ну что делать, если не пришло еще твое время. Родишь — больно уже не будет.

— Ой, а может, что-то можно?

— Деточка, не я — природа распоряжается, когда кому родить.

— Я же с ума сойду.

— Ох, милая, никто еще с ума не сходил.

— А может, мне пора? Может, на стол идти?

— Рано еще.

— Ой, подходит-подходит.

Катя тоже слушала — задумчиво, видимо, вспоминая свои роды.

— Ну-с,— сказал я,— поговорим, Екатерина Семеновна?

Я расспрашивал ее, не столько проверяя анамнез, сколько снимая с нее напряжение и волнение от вызова в кабинет. Как мальчики, спрашивал я ее, чем болела, сколько аборт, все ли в больнице делала. Вспомнил я и о нашем первом знакомстве, когда пришла она рожать необследованная. И она рассказала, как это случилось, рассказала, что называется, «аб ово», от яйца, целиком, потому что женщине, замечал я часто, иначе и рассказывать трудно, так все в женской жизни связано: мужья и дети, работа и аборт, беременности и быт.

— Я первого, Диму, без мужа родила,— вспоминала она.— Муж — в армию, а я забеременела как раз. Все мне твердили: не рожай, Андрей же и младше тебя, еще вернется ли к тебе из армии, а ты обузу на себя навесишь, всю жизнь жалеть будешь. Я уж потом от всех бегала, не могла, когда со мной об этом говорят. Я сама без матери росла, хлебнула всякого. А тут же я есть, мать, здоровая, живая, как же я сама его?.. В общем, родила. Ну, трудно, конечно, все сама, все с ним — и в очередь и на базар. А вернулся из армии Андрей — тут уж не убереглась как-то. Он ведь уходил — я совсем как не женщина бы-

ла. Только что забеременела, а так ничего не чувствовала. Глупая. Куда уж дальше, ведь рожать, рожать Димку шла, а мне все любопытно, как же это — рожать? Ни страха, ни знания никакого не было. Вот носила-носила, а теперь вдруг рожать — как это? Схваток еще не было, воды только пошли, так я и то не поняла, что это со мной, хозяйка мне сказала: началось, езжай в роддом. А мне не верилось. Сейчас, думаю, меня назад отправят, еще и отругают: чего пришла, тебе же через неделю написано? Ну, приняли меня, все как положено. И вроде забыли. Мне и это в диковинку. Если я правильно пришла, то почему же мною не занимаются? Хожу и удивляюсь: всем больно, а мне нет. Даже стыдно как-то. А и — скажу уж! — еще и смешно. А потом сделали укол, прихватило меня — я бежать хотела. Думала, что мне уколами такие боли сотворили. А ведь не маленькая — двадцать два года, и такая-то дуреха была. Да разве только в родах? В семейной жизни так еще больше. Кто бы мне что объяснил? Без мамы росла. А говорить на такие темы совестилась, даже отвращение какое-то было у меня к разговорам этим. Я и не гуляла до Андрея моего. И годы мои мне как-то не подходили, все, бывало, говорили: в каком классе учишься, девочка? Это сейчас я раздалась. Ну, воточки. Вернулся мой Андрей, а я уже не девочка. Как яблоко зимнее, отдельно от ветки дозрела, в одинокой своей кровати с дитем под рукой. Не успели поберечься — забеременела. А рожать ли, сомневалась я. Мало того что голь голью — ни пальто зимнего, ни платья приличного, ни шкафа, так еще после армии пить очень стал Андрей на работе. Он мастер по дереву — шабашек много. Себе шкаф сделать некогда, а пить есть на что. И приносили его, и привозили, и сама в милиции его находила. Думала, не сживемся, не дотерплю, уйду от него, так уж легче с одним-то ребенком, чем с двумя! Пока думала да сомневалась, вроде уже поздно законный аборт делать. Ну, я объяснила, умолила, выхлопотала разрешение. Уже и в больницу пришла. А ребенок возьми и шевельнись. И не смогла я. Сбежала из больницы. Уже живой ведь, сердечко забилося. Будь уж что будет. Ну, потом-то и Андрей опомнился, а брат его сюда на работу позвал. С жильем помог. Я Артемку носила, а в консультацию никуда не ходила. Все боялась, что меня оттуда, из прежнего города, разыскивать станут — как это мне направление на аборт дали, а я самовольно ушла, сначала просила-плакала, а потом сбежала? Милиции и то боялась. Ну я же говорю, дурочка! Схватки начались, а я Андрею: «Подожди еще, пусть сильнее прихватит». До последнего дождала. Вот и пришла уже на самой последней минуте.

Все это я не просто слушал, а к теперешней ситуации примеривал: «Вон до самой последней минуты терпела, перемогалась. Что же сейчас бы вдруг раскапризничалась? Не-ет, были у нее боли и в первый раз, в восемнадцать недель, и во второй раз, да и сейчас. Были — и что? Откуда? Почему?»

— Вон оно как! — говорил я между тем. — Значит, запугали себя, думали, на вас уже всеосознанный розыск объявлен. Ну, а сейчас не пытались избавиться от ребенка, прервать беременность? Это ведь теперь редкость — третий ребенок. Муж-то не пьет?

— Нет. Но вначале-то Андрей не хотел, честно сказать. Не то даже, что тяжело. Оно, конечно, нелегко. Но ведь не так же тяжело, как раньше было. А что стыдно! «Мы же не кролики, — говорит, — чтобы рожать и рожать».

— Неправильно он говорит.

— Не знаю, доктор. Может, и правильно. Только я очень аборт переживаю. — И на круглом ее лице с пятнами беременности даже брови светлые свелись, и все лицо как-то отяжелело.

— А что ж, страшно? — спросил я почти рассеянно.

— Да и страшно, конечно.

— Разве аборт тяжелее родов?

— Да нет, конечно. Тяжельше родов, наверное, ничего нет. Может, разве пытки. Так это пытка и есть. Под пыткой рождаешь. Но уж роды — это как-то естественно. Природно.

Подобное я уже слышал от женщин не раз: на аборт страшнее решиться, чем на роды, родов боишься, но как-то по-другому.

— Не то что так уж страшны аборт, — задумчиво продолжала Катя, — всего-то и потерпеть сколько-то там минут. А больше, что глупая я.

— Екатерина Семеновна, что это вы себя — глупой да глупой?

— Ну, видно, так оно и есть, доктор. Мне и Андрей говорит: «Ты у меня со странностями». Вот, скажем, другие женщины абортных детей за детей не считают. А я их среди своих детей числю.

— Это что же еще? — Я даже отвлекся от своих мыслей, а то ведь уже хотел прервать ее и начать осмотр.

— Дурость, дурость! Я и сама знаю. Ну да уж вам скажу. Никому не говорю, а вам скажу. Снятся мне они, доктор. Не все время, конечно. А перед абортом обязательно ребенок приснится. И после.

— Эка вы нервная!

— Да вроде и нет. А снятся. Первый приснился, будто я в зеркало гляжу, а сзади, из-за спины моей — лицо в зеркале, не резко, а как в тени. Свое ясно видела, только на себя я не глядела. А из-за спины — его, сына моего, лицо. Не детское уже. И я вроде знаю, что это каким бы он стал, если бы я... И — скажу уж и это вам: из всех моих детей это был лучший. Я знаю. А потом зеркало, что ли, замутилось. Или отодвинулось оно, лицо.

— Ну это мистика, милая.

— А двух других, нерожденных моих, за руку на зеленый луг свела. На один и тот же. Перед самым абортом приснятся. А как сделаю, последний раз покажутся. Уже взрослые, какими бы стали... А потом пропадут.

— Нервы это, Катенька. Внушаете себе. Поверьте мне, Катюша, дети рождаются не с точным планом, какими станут. От многого зависит, какими они вырастут. Даже внешность может быть или такой, или другой. От многого-многого зависит.

— Оттого, может, и вижу смутно.

— Бросьте, Екатерина Семеновна, забудьте.

— Да я и не вспоминаю часто. А только когда вот придет.

— А сейчас? — задал я почему-то дурацкий вопрос.

— Плохие сны, доктор.

— Ай-яй-яй, опять сны. Давайте-ка мы лучше посмотрим, послушаем твоего ребеночка.

И только взялся за стетоскоп, забыл и Катю и неуверенность свою. Опять я слышал сердцебиение плода, и даже очень хорошо. И головка и части плода — все прощупывалось. Но вдруг как-то явственно стало — не слишком ли близко, прямо под рукою плод? И тут же пот прошиб: господи, да не внематочная ли это доношенная беременность?!

Но ведь чепуха, не может этого быть, абсолютно не может! Не может быть, потому что не может, никак не может этого быть! Доношенная внематочная! В пустыне может ли вырасти райское дерево? На камне, в магне, на астероиде, в огне термоядерном? Нет, конечно. Со времен Гиппократа родилось — сколько? — пусть десять миллиардов людей, пусть двадцать, если желаете! И вот за всю эту миллиардную историю, за все эти неисчислимые рождения каждый случай доношенной внематочной беременности наперечет — как невероятное происшествие, как величайшая редкость.

Когда мы, тогда еще салаги-студенты, спрашивали нашего профессора, почтенного Арама Хачатуровича, как часто случается доношенная внематочная, он говорил:

— Да, дорогие мои, в принципе — я говорю, в принципе! — такое

случается. Слу-ча-ется случиться! Потому что нет ничего, что не могло бы случиться. Уж если случились мы с вами, дорогие мои. Если случились жизнь и человечество. Так вот, случается, да. Но случается, скажем так: редко. Это большая редкость. Это чрезвычайная редкость. Боюсь вас разочаровать, но это случается столь редко, что практически — я говорю, практически — исключается. Считайте, что этого не бывает. Как в том анекдоте: «Бывает, бывает... такая никогда не бывает».

Очень ясно я вспомнил Арама Хачатуровича: и его слова, и сумрачные глаза, и мягкий веселый голос, и лицо с резкими, сильными чертами, и усталость, и печаль, которые проступали сквозь его восточную любезность и шутовство.

Недавно посмотрел я в зеркало и даже испугался — из зеркала на меня смотрел не я, а старик Арам Хачатурович, которого давно на свете нет. Никогда не думал, что я, полуполяк-полурусский, когда-нибудь стану похож на этого армянина. Или это не индивидуальные черты, а профессия и возраст? Он казался нам стариком, но ведь был, наверное, не старше меня теперешнего.

Все это я сразу вспомнил — самым верхним, безотчетным сознанием. А то, что шло гуще и ниже, полихорадив, выдало на-гора признаки внематочной беременности. И ведь никогда мне не нужно это было раньше и вряд ли когда-нибудь должно было понадобиться. Но, верно, готово наше сознание даже к самому невероятному!

Вспомнил я среди прочего один — из вернейших — признак: если внематочная доношенная беременность, должна прощупываться рядом с плодом, рядом с ребенком выпуклость — купол матки. И вот был, был ведь этот купол рядом с ребенком!

Все сходилось, все было так. Но курам же на смех: именно в моей практике какой-то там наперечет на памяти человечества случай доношенной внематочной!

Теперь уже я с пристрастием допрашивал: как было с абортными и после абортов? Ага, последний аборт сопровождался нарушением цикла, анемией. Видно, выскребли подчистую, как смывают, пускают по ветру с полей гумус, так что и корней пустить некуда. «И была земля безвидна и пуста, и тьма над бездной». И после этого, третьего, аборта долго не беременела. До вот этого раза. Даже и довольна была. Только вот девочку хотелось.

— Голова кружилась во время тех приступов, Екатерина Семеновна?

— Уж и не знаю. Дурно мне было, вроде как и проваливалась я в бесчувствие. Кружилась, да.

И опять смотрю, и опять думаю, и вопросы за вопросами.

Но уже знаю. Уже почти не остается сомнений.

В ту ночь мне позвонил Юрка Борисов. Изредка мы перезваниваемся. А тут близился праздник, жены уже созвонились.

— Постой, постой! — напористо говорил Юрка. — Подожди, ничего не случится с твоими роженицами, если ты уделишь пару минут старому другу. Ну что, что там у вас: разрыв свода, что ли?

Хохмач-самоучка, ему всегда кажется, что это профессиональный шик — грубоватая шутка с анатомическими подробностями. Человечек он, в общем-то, мягкий, тем больше ему нравятся жесткие анекдоты.

Чудак выскакивает на бруствер окопа и кричит заполошно: «Что вы делаете? Куда вы стреляете? Здесь же люди!» В анекдотах так много чудачков, не понимающих, что такое жизнь. Детей гонят в газовую камеру. Мальчик несет, прижимая к себе, котенка. Полицай — другому полицая: «Побачь! Вот же садюга! Такой малой, а вже садюга: котенка у камеру!» А еще любимые Юркины шуточки, тоже с

медицинским уклоном... Ругнулся вдруг: «Зародыш тебе под язык!» И я перестал его слышать.

Чего только не толклось, не проносилось, не возникало и вытеснялось в моей голове.

Слон Хортон, насживающий птичье яйцо под солнцем и снегом, под дождем, под градом, под смех и улюлюканье. И только на смешку не смог он превозмочь — слез с дерева и побрел прочь.

Но тут
разломилась совсем скорлупа —
и замерли Мейзи,
и слон,
и толпа...
Ведь то, что на свет из нее вылетало,
приветливо хоботом длинным мотало!

И — как это?

...У слона просветлело лицо,
он крикнул:
— Мое дорогое яйцо!

Точно, только в такие минуты наши клыкастые, ушастые морды и становятся лицами!

Слон Хортон промелькнул со своим просветленным лицом, как и альфа-частица, что однажды в миллиарды лет проскакивает сквозь непререкаемую стену ядерных сил. Один только раз в миллиарды лет, как один только раз в миллиарды миллиардов лет вопреки величайшей механической инерции, уравнивающей все до ничтожества смерти,— возникает жизнь. Возникает и в великом своем детском негативизме говорит каждый раз «да», когда эти законы говорят «нет»,— и «нет», когда законы говорят «да». И говорит до тех пор, пока ее «нет» и «да» сами вырастают в законы. Вот и все — тем и жива природа, что ее законы могут делать такие сальто, что превращаются в свою противоположность, и никакой тебе обреченности, а просто, как сказал бы Ежи Лец: «Умей превратить свою камеру в кабину космолета».

Мелькнула восторженная мысль, что между «редко» и «никогда» а-громадная разница! И хоть явно где-то я уже это читал, но что мне было за дело! Жизнь свободу свою тоже строит из того, что дано. «Сам бог бы не создал ничего, не будь у него матерьяльца». Чего только не выстроишь из того, что есть! Только бы было!

И об «антропном принципе» я плохой читатель. Что бы я ни читал, все сопоставляю со своей профессией, все перевожу на беременности и роды. Это я у сына в каких-то его научно-популярных книжках вычитал про альфа-частицу, которая однажды в миллиарды лет умудряется так искривиться, что проходит сквозь непроходимое. Войстину прав Лукреций: не прямизна, а кривизна — свобода мира! И представлялась мне альфа-частица младенческой головкой, которой надо пройти сквозь то, что уже ее самой,— и тогда кости черепа заходят друг за друга, и сизым гребнем идет сплюснутая головка там, где проход ей как бы и запрещен.

И про «тонкую подстройку» независимых структурных единиц вселенной читал я в другой какой-то книжке, снятой с полки в комнате сына: что, возможно, только и есть одна такая вселенная, в которой осуществимы жизнь и разум, как в нашей Солнечной системе, возможно, только на Земле и существуют они. И думал я с тревогой: хорошо, конечно, коли некий бог, или счастливое совпадение, или самоорганизация подогнали одно к другому. Но вот что-то испортило здоровую землю, здоровую женщину: химикаты ли, аборт ли, вирусный грипп, выветривание, сквозняки на лестничных площадках, муж ли какую-нибудь сразу подкинул, йодом ли дала себя ошпарить знахарке,— и обиженная земля и не очень-то сберегаемая женщина

стали бесплодны. И все-таки жизнь воскресла, затеплилась — хрупкая, ненадежная жизнь. Трех отвела ты, Катенька, на цветущий луг, а этого решила доносить, а оно, дитячко-то твое, совсем не там укоренилось, того и гляди само погибнет и тебя погубит...

Да, вот оно, случилось чудо, и почему мне, именно мне, на меня возложено спасти несвоеместное дитя? Но кому же и отвечать как не тому, кто дозрел до вопроса? Будто заранее было задумано: кто спросит, тому и отвечать. Да ведь кому же и отвечать как не тому, кто угадал, где и что зародилось и готово погибнуть? И у слона Хортона становилось вдруг лицо Арама Хачатуровича, с темными, не то трагическими, не то усталыми, не то просто сгустившимися к старости глазами, и этому лицу не мешал горбоносый хобот. И голос у слона Хортона был учтивый и хриловато-низкий. Вообще слон Хортон был темнокож и трагичен, как негр-саксофонист, и хобот был у него, как саксофон, изогнут...

Когда, измученный, заглянул я в палату Кати, она тихо спала на боку, и рядом с нею и в ней спал ее ребенок, которому уж точно не судьба была бы появиться. Спало ее дитя и ее возможная гибель, спали мать и дитя, слитые любовью, решением и случаем.

В кратчайшие сроки собрал я консилиум — подтвердить или опровергнуть мой диагноз. Доложил. Вызвали Катю, посмотрели. Написал я: «Внематочная доношенная беременность». По таким-то, таким-то данным. Спрашиваю:

— Ну что, коллеги, уважаемые доктора, согласны?

— Да что же, пожалуй,— говорят коллеги.

— Так подпишите.

Мнутся. Не верится им все-таки. Позора на весь город — что город, на всю страну! — боятся. Смеху потом, если ошиблись, на долгие годы: «Как это вы там, в своей тмутаракани, установили доношенную внематочную беременность!» И сколько потом ни отбивайся — мол, был у нас чудак такой, Антон Аполлинарьевич, самому пригрезилось, и нас, дураков, убедил,— ан все равно позор. Но и прогноз-то какой — если действительно внематочная, промедление не то что смерти подобно, а и есть смерть. Мнутся.

— Ну, доводы против имеются? Что можете предположить другое? Кто думаете? Предлагайте свой диагноз.

Молчат. Повздыхав, один за другим все же подписывают и уходят несколько поспешно — о чем теперь говорить? Теперь, пока не вскрыешь, ничего не узнаешь.

Да и мне уже не до разговоров. Теперь я уже и рад бы, чтобы ошибкой это оказалось. Ведь если не ошиблись, если и в самом деле доношенная внематочная — в какую сторону ни кинься, какую ни избери дорогу, всюду ждут катастрофы. Все-все предусмотреть, и не опоздать, и не заблуждаться вперед. Так уж всегда с чудом — потребны немислимые предусмотрительность и работа.

Испросил разрешения оперировать во второй гинекологической больнице — там аппаратура лучше: принудительное дыхание, наркозный аппарат, все, что достигнуто нового в технике родовспоможения на самый крайний случай. И чтобы оперировал я сам.

Полную хирургическую бригаду мне дали. Ассистировал главный врач этой больницы. Анестезиолога перwokлассного отрядили.

Начали. Заснула Катя, отключилась от мира. Вроде только экраны от нее и остались — кривые пульса, дыхания. И тело, несущее ребенка.

Мой ассистент, вижу, делает все, что нужно, а не верит. Но до того ли мне — верит, не верит, лишь бы делал все как надо. Идем сантиметр за сантиметром. Мы же не знаем, что ждет нас. Только догадываться можем. Последний разрез, осторожный — и вот она, матка, а рядом — рядом, не в ней! — живой ребенок. И стенка, прикрывающая его, как папиросная бумага. И воды — прямо в полости.

Господи боже мой, да легче было жизни возникнуть на Марсе, Венере, астероиде каком-нибудь каменистом, чем этому ребенку развиться в брюшной полости. И вот она была, жила, существовала. Девочка. Это сейчас удивление, изумление. Задним числом. А тогда только тюкнуло: да, угадал. И, вынув плод, перерезали пуповину и в руки — второму ассистенту. И сестричка вытерла пот у меня. Потому что перед нами страх божий, сама Катина смерть — плацента лежит на кишках, срослась с ними. Оторвать ее — и тотчас десятки сосудов, питающих ее, зафонтианируют одновременно, перевязать их в секунды невозможно, и все — гибель Екатерине Семеновне. Оставить куски плаценты, надеясь на постепенное рассасывание? — тоже великий риск.

— Что будем делать, коллеги?

Оставили. Лечили.

Прошли недели, прежде чем я успокоился за жизнь Кати.

Все это время я почти не вспоминал о девочке, которую проворонил нерасторопный ассистент. Винить его не имел особого права — минута замешательства, не сумел мгновенно прочистить дыхательные пути, а ребенок слаб, на последнем пределе, еще не дышит, а уже перерезана питающая пуповина. Тут мгновенье, замешка — и конечно.

И все же — сказать ли, — заведев его в городе, я сворачивал в сторону, не мог видеть. Обходил — и забывал. Пока что.

Но вот за Катю я успокоился, и тут-то обрушилось на меня: могли, могли спасти, не спасли! Я не спас! Такою тоской, такою болью обрушилось. Места себе не находил. Метался. Даже у психиатра побывал.

— Вы переработали, переутомились, Антон Аполлинарьевич, — сказал он мне с профессиональными мягкостью и доброжелательством. — Вам не в чем себя упрекнуть, дорогой. Это у вас нервное истощение, депрессия. Давайте-ка попробуем мякенькие антидепрессанты.

Антидепрессанты я выкинул. И, видимо, не прав был. Потому что как раз в эти дни случилась моя безобразная выходка, ссора с Юркой Борисовым. Такой вечер отдыхающим людям испортил — шашлыки, сухое вино на лоне самой что ни на есть природы. Он-то ведь с самыми добрыми намерениями — за честь друга болея: чего это я до сих пор статью о нашем случае доношенной беременности не написал, рас-поз-нанной доношенной, смелый, блестяще подтвердившийся диагноз, редкий случай, спасенная женщина!

— Ребенок погиб, — объяснил я.

Никто и ухом не повел.

— Девочка погибла, — объяснил я.

Все немного уже опьянели, были полны благожелательности, поэтому в несколько голосов:

— Ты в этом виноват?!

— Ты отвечал за ребенка?!

Как дирижер, снижающий звук, Юрка сделал жест, утишающий споры. Он имел сказать существенное — что смертность ребенка при доношенной внематочной составляет до восьмидесяти пяти процентов.

— И смертность матери, кстати сказать, ты это знаешь, Антон, тоже немалая, тем более как в этом случае — плацента на кишках!

Что было ему объяснять? Что я не с процентами, а с Екатериной Семеновной и ее ребенком имел дело? Что не проценты сожрали ребенка, а нерасторопный ассистент?

— И наконец, — сказал Борисов с торжеством эрудита, — учти, старик, пятьдесят процентов внематочных детей рождаются не-пол-но-цен-

ными. Так что евгеника — а это, старик, не глупость и не лженаука, поверь трезвому моему уму — вообще бы считала сохранение плода, зародившегося и возросшего в столь неблагоприятных условиях, нерацио-нальным!

Я и тут еще сдержался. Это кому же оценивать, быть ребенку или не быть? Ах, мыслящие решают? Одни делают, другие мыслят и решают? Одни принимают жизнь — в слизи, в крови, в муках, а другие, значит, решают, быть ей или не быть? А с человечеством — как? Что решим с человечеством? Сколько жестокости, глупости, вплоть до пыток и унижения себе подобных, на счету у человека и человечества — так что ж, уничтожить его? Отслоим-ка его от Земли, лишим питания и воздуха, выскребем Землю до каменистой мантии, а потом, спустя миллиарды лет, нарастет авось новый гумус, и, как знать, может, следующее человечество окажется удачнее? Пространств у нас много, и планет, и звезд, и вселенных, евгеника — не дура, благоразумие — не постяк.

Но это и все, что мог я сказать. Не было, не было у меня железных доводов, не было и нет...

Борисов продолжал что-то вещать пространно и самодовольно. И тогда я выругался, безнадежно и грязно, и ушел от них от всех, слышал, что они ищут меня, но не хотел никого видеть. Одно я знал наверняка: слон Хортон раздавил хрупкое птичье яйцо. Раздавил. И был кругом позорен и не прав.

Дягилева, кстати сказать, родила, сама родила здорового крепкого ребенка. Схватки стали сильными, и ребенок развернулся правильно. И упрекать следовало уже не ее, а меня — за тайное раздражение и торопливость. Женщины в таких случаях говорят: судьба. Или же: не судьба. Очень удобно: не надо напрягаться, мучиться и испытывать чувство вины. Ребенок родился — и все тут. Интуиция? Случай? Лежал поперек — развернулся как надо.

А студентка, которую, поглощенный Катей, выпустил я из-под ревнивой опеки, все-таки дала любящим родителям отвести себя на аборт уже в другую больницу — видимо, и это было правильно.

Я совсем ушел в хозяйственные дела. И хоть консультировал по-прежнему, но как-то больше вслушивался в мнения других.

В журнал я так и не написал. Написали мои ассистенты — в том числе и тот, проворонивший девочку. Ребенка он проворонил, но, оказалось, обладал даром слова и большими познаниями в теории повивального дела. Научный журнал, правда, все его красоты выкинул, оставил голую информацию, и так оно звучало даже достойней.

Однажды в вечерние часы моего дежурства зашла ко мне коллега из другой больницы, сделавшая у нас в тот день аборт. Ну, то да се, слово за слово. Посетовала она на соседку в палате, немолодую женщину, мать уже взрослых детей, терпеливую жену давно равнодушного мужа. Поздняя ее беременность у всей семьи вызвала неловкость и раздражение. И вот женщина послушно пошла на аборт — да и кто, в самом деле, рождает в ее возрасте, в пятьдесят-то лет? В короткое утро перед абортom женщины и познакомиться не успевают — не до того. Ее и не заметили: немолодая, тихая, молчаливая. А после аборта начала эта женщина плакать: сначала тихо, скрываясь, а потом уже чуть не в голос, с причитаниями.

— И скажите ж, целый день! — удивлялась моя коллега. — Мука мученическая! Уж и валерьянку ей давали. Часа на два умолкла и снова. Душу чертова бабка вынимает, — говорила моя коллега, сама немногим моложе этой бабки. — И «бедное ты мое дитяtko», и «нерожденный мой», и «нежданый», и «подаренный», и «прости меня, мать свою глупую!» Такие цветочки лазоревые разводит, думала, так уж и не говорят. Он ведь, выводит, моим утешением и радостью был бы, никому я не нужная — так, убрать, подать, принести, целыми

днями одна, телевизор да я, два дурака старых, не нужны — выключат. И «руки-то на себя наложу», и «повешусь», и «зачем я кому нужна!». Климактерический психоз, честное слово!

Сходил я попозже в палату к этой бедной женщине — у нее тоже были глаза Арама Хачатуровича, как у меня в моей ранней старости. Поговорил я с ней, как умел: что куда уж нам в этом возрасте детей рожать, у ребеночка и пальчиков могло не оказаться или еще чего похуже, всему свое время, всему свое место, теперь уж о внуках нужно думать. Оказалось, и внучку ей не доверяют — малограмотная же, еще ребенок не так говорить станет, не теми словами. «Цветики лазоревые», — вспомнил я.

Но что же делать, не то говорил, не то думал я, старость вообще невеселое время — сколько бы ни побеждал, когда-то ты должен потерпеть поражение, потому что это закон: смерть, и механика, и трение, которые гасят порыв. Я ведь тоже не тот, что был когда-то. В Казахстане однажды вызов на срочный случай, женщина разродиться не может, а шофер ушел прогуляться. Ждать не могу, вскочил в машину, включил, погнал, догнал шофера, посадил. Гоню — навстречу большая машина, а у нас карета «скорой помощи», я не догадался остановить или притормозить, а дунул вбок под распорку столба. Шофер взмолился: «Антон Полинарыйч, дайте, ради бога, сам поведу». Подкатили, бегом помылся и — где тут ребенок? — за ножку, и вытащил. Энергичный, и никаких страхов. И все получалось. Тогда бы, наверное, меня хватало спасти обоих: Катю и девочку.

Так вот поговорили мы. Проняла эта женщина меня до самых печенок — общей нашей обреченностью на старость и вымирание. Но после этого как-то легче мне сделалось — стал снова различать, чем пахнет ветер и какие в небе облака.

Прошло, наверное, полгода. И как-то к вечеру в больницу явилось все семейство Григорьевых с цветами: худощавый, загорелый, стройный муж, русоволосая крупная Катя с ее простым, некрасивым, милым лицом и два белоголовых мальчишки. Только льняная белизна прямых волос и была у мальчишек общей — такие волосы, наверное, сияли у самой Кати в детстве. Старший мальчик был основателен, полон спокойного достоинства. Другой — тот самый, что вовремя успел шевельнуться в ее чреве, был разноглаз: один глаз голубой, другой рыжеватый-карий. Лицо у старшего, пожалуй, было красивее, но столько резкой силы и гибкости было в младшем, что я невольно засмотрелся на него.

— Два раза спасли вы меня, — сказала Катя, хотя это было неправдой.

— Спасибо за маму, — сказал старший.

И вдруг среди двух таких разных мальчишеских фигур так ясно представил я ловкую, как дикий котенок, девчущку, из тех, что, зажав юбочку, зацепившись коленями, висят вниз головой на турнике, и прямые их белые волосы становятся дыбом к земле, и странно смотрят светлые глаза с перевернутых лиц. Так и увидел я девчущку — смущенно прячущуюся за спины братьев и одновременно висящую вниз головой на турничке какой-то детской дворовой площадки.

Я провел рукой по глазам, отогнал это видение, прогнал и желание спросить Катю, такой ли именно видела она в последнем сне свою не рожденную дочку.

ИСПОРЧЕННЫЙ КАЛЕЙДОСКОП



ВАДИМ СТЕПАНЦОВ

Бухгалтер Иванов

Луны ущербный лик встает из-за холмов,
в лесу продрогший фавн играет на сопелке.
Упившийся в дугу бухгалтер Иванов
бредет сквозь лес к своей летающей тарелке.

Он не бухгалтер, нет, он чужезвездный гость,
застрявший навсегда среди российских весей,
он космолет разбил, и здесь ему пришлось
всерьез овладевать нужнейшей из профессий.

В колхозе «Путь зари» нет мужика важней,
в колхозе у него участок и домина,
машина «Жигули», курятник, шесть свиней,
жена-ветеринар и прочая скотина.

Чего еще желать? Казалось бы, живи,
работай, веселись, культурно развивайся,
читай «Декамерон», смотри цветной TV,
а то в облдрамтеатр на выходной смотришься.

Но нет, грызет тоска инопланетный ум,
обилие скота не радует, не греет,
искусство и TV не возбуждают дум...
Бухгалтер Иванов пьет водку и звереет.

Как волк голодный, он в полночный небосвод
вперяет иногда тоскливые гляделки
и, принявши стакан, потом другой, идет
к запрятанной в лесу летающей тарелке.

Укрытые от глаз ветвями и землей,
останки корабля покоятся в овраге,
куда упал со звезд когда-то наш герой,
сломав хребет своей космической коняге.

И плачет Иванов, и воет, и рычит,
пиная сапогом проклятую планету.
И, глядя на него, Вселенная молчит,
лишь одинокий фавн играет тихо где-то.

Металлистка

На металлической тусовке,
где были дансинг и буфет,
ты мне явилась в буйном соке
своих одиннадцати лет.

Твой хайр¹ был платиново-белым,
а губы красными, как мак,
железом курточка блестела,
и медью отливал башмак.

Цедя какую-то фруктозу,
я про себя воскликнул: «Ах!
Ты металлическая роза,
бутон в заклепках и шипах!»

Как бритвой с лезвием опасным,
ты взглядом врезалась в меня.
И я вдруг брякнул: «Ты прекрасна,
и я влюблен в тебя ужасно,
но, бэби, мне не очень ясно,
зачем тебе твоя броня?»

И распахнулся рот багровый,
и голос твой проскрежетал:
«Чувак, мы встретимся по новой,
когда ты врубишься в металл.
Пусть металлическое семя
в твой мозг фригидный упадет
и пусть стальной цветок сквозь темя
в росе кровавой прорастет.

Тогда, мой дорогой товарищ,
ты, раздирая руки в кровь,
цветок сорвешь — и мне подарить,
и снизойдет на нас любовь.

А счас, покуда ты квадратный,
пока металлом не блестяшь,—
оставь меня, катись обратно,
катись, браток, куда хочишь».

В меня впивались, словно пули,
твои свинцовые слова...
Лишь дома мне моя мамуля
их спицей вынула едва.

И думал я, кусая палец:
«Богат железом Эссэсэр»,—
и плакал, как бессильный старец,
я, шестиклассник, пионер.

МАРИНА КУЛАКОВА

Воробьиный сычик пишет домой

Из цикла «Заповедник»

Здравствуй, мама.

Все нормально.

Не печалься, не тревожься ни о чем.

Все, что надо, нам приносят.

Делим сами.

Думал — хуже.

А мы — неплохо здесь живем.

¹ От английского hair — волосы.

Мы сидим в одной вольере:
Пестрый дятел, два баклана,
Чижик, стрепет и чирок.

Чижик Вася славный малый,
С ним неплохо даже можно
Почирикать вечерок.

Тут за нами наблюдают.
Все ходил один юннат.
Он давно надоедает...
Гнусный маленький примат.
Говорит, что надо строить
Коллективное гнездо.
Что кормить нас надо сеном,
Чтобы было молоко.

Он хотел поставить опыт,
Центнер силоса привез.
Два баклана очумели.
Дятел в обморок упал.

Силос вывезли на ферму,
И юнната тоже
что-то не видать...

Нам три дня лечили нервы,
И почистили вольеру,
И даже дали полетать.

А теперь мы отдыхаем,
Но опять придет какой-нибудь
юннат...

Изучают, приручают,
Падаль кушать приучают —
И про небо говорят.

...А какое уж тут небо...
Вышел сам из-под куста...
Сам себя не разумеет
И жилплощадь себе мерит
Меркой бывшего хвоста...

Мне сказал недавно филин,
Что болото осушают
И повсюду перекрыли водопой.
Напишите, как живете.
Ну, живите, не скучайте,
Не забуду степь родную,
Не забуду лес родной.

ЮРИЙ АРАБОВ

Прогулка наоборот

Я не был никогда в Австралии,
где молоко дают бесплатно,
где, может быть, одни аграрии
да яблоки в родимых пятнах.

Испорченный калейдоскоп
заменит им луну в ненастье,

и наша лодка в перископ
глядит на ихние несчастья.

Я не был никогда в Лапландии,
где короли страдают астмой,
где с веток, пахнущие ладаном,
лимоны снятые не гаснут.

Темно от песьих там голов,
когда зима, и у милиции
там на учете каждый лорд
и на канате — каждый бицепс.

Я не был никогда во Франции
и даже в Швеции (уж где бы!),
а был в чудовищной прострации,
когда я вспомнил, где я не был.

Я не видал Наполеона,
но, чтоб не вышел он повторно,
я видел в колбе эмбриона,
закрученного, как валторна.

Я не бывал к тому же в Греции,
где моих предков съел шакал,
и не читал, увы, Гельвеция.
И Цицерона не читал.

Но я бывал однажды в Туле,
где тер от холода виски
и где в музее видел улей
и фотографии Москвы.

И описать ее смогу ли...
Но прочь тоску гоню, как флюс:
ведь парижанин не был в Туле —
пускай завидует, француз!

ИГОРЬ ИРТЕНЬЕВ

Про Петра

Опыт синтетической биографии

Люблю Чайковского Петра!
Он был заядлый композитор,
Великий звуков инквизитор,
Певец народного добра.

Он пол-России прошагал,
Был бурлаком и окулистом,
Дружил с Плехановым и Листом,
Ему позировал Шагал.

Он всей душой любил народ.
Презрев чины, ранжиры, ранги,
Он в сакли, чумы и яранги
Входил простой, как кислород.

Входил, садился за рояль
И, нажимая на педали,
В такие уносился дали,
Какие нам постичь едва ль.

Но точно зная что почем,
Он не считал себя поэтом
И потому писал дуплетом
С Модестом, также Ильичом.

Когда ж пришла его пора,
Что в жизни происходит часто,
Осенним вечером ненастным
Недосчитались мы Петра.

Похоронили над Днепром
Его под звуки канонады,
И пионерские отряды
Давали клятву над Петром.

Прощай, Чайковский, наш отец!
Тебя вовек мы не забудем.
Спокойно спи на радость людям,
Нелегкой музыки творец.

ПОЛИНА ИВАНОВА

...Пока во Фрунзенском районе,
в масштабе одного района,
еще жива моя ворона,
лирическая героиня,

пока школяр, в нее влюбленный
(считай уже — герой романа),
из Ленинградского района,
смешон и метит в графоманы,

пока во Фрунзенском районе,
как в про любовь кинокартине,
моя ворона-героиня
весь день сидит на телефоне,

пока мусолит окрыленно
цифирь, угадывая номер,

ее лирический феномен
из Ленинградского района,

пока во Фрунзенском районе,
как гладиатор на арене,
она неправильно, но рьяно
с листа терзает фортепьяно,

а он, решив, что дело в этом,
смешон и копит на гитару,
не ест мороженого летом
и ездит в транспорте задаром,

но сколько б ни писал он писем,
их ни совал потом под двери,
и сколько б, видом независим,
ночами ни торчал он в сквере,

и сколько б двушек ни давали,
их сколько б ящички ни ели,
ее лирический Сальери
туда дозвонится едва ли,

пока он бороду упорно,
она же с видом гимназистки
почти захлеб читает порно-
траги-комические пьески,

пока он затемно в кофейне
на чистом (с понтом) кофеине
сидит и голову ломает
и ничего не понимает,

что дело в том, что это значит,
что выходить она не хочет,
а что в окне она маячит —
так это голову морочит,

что зря он метит в графоманы,
а также копит на гитару:
она назло богемной маме
ночами слушает Ротару,

и что вообще он ей до фени
и как она на этом фоне.
Пускай он катится отсюда,
пока не вырос из детсада,

пока под окнами спортивно
с соседской дочкой не гуляет,
она дотоле примитивно
в квартире дурочку валяет.

И тем не менее, пока не
приобрела она бикини
и не торчит она в банане
ни в «Метрополе», ни в «Пекине»,

пока он чувств к Прекрасной Даме
не утопил еще в стакане,
пока не на игле в дурдоме
она, а дома, на диване,

пока он ноет на карнизе
о том, что якобы теряет,
к оконной раме примеряет
сей соблазнительный эскизик,

пока он медлит, слава Богу,
пока она чай гоняет,
пока он меряет дорогу
взад и вперед и не линяет,

пока она от безнадёги
ревет белугой на балконе,
пока он ищет жизни в Боге,
Его же — в газовом баллоне,

пока раз по сто, сатанея,
она глаза и губы мажет,
пока он ищет встречи с нею
и сочиняет, что он скажет,

пока она сидит на стуле,
в его лицо на фото пялясь, —
они еще не разминулись.
Они еще не потерялись.



БОРИС ПАСТЕРНАК

★

ДОКТОР ЖИВАГО *

Роман

Часть девятая

ВАРЫКИНО

1

Зимую, когда времени стало больше, Юрий Андреевич стал вести разного рода записи. Он записал у себя:

«Как часто летом хотелось сказать вместе с Тютчевым:

Какое лето, что за лето!
Ведь это, право, волшебство,
И как, спрошу, далось нам это,
Так, ни с того и ни с сего?

Какое счастье работать на себя и семью с зари до зари, сооружать кров, возделывать землю в заботе о пропитании, создавать свой мир, подобно Робинзону, подражая творцу в сотворении вселенной, вслед за родной матерью производя себя вновь и вновь на свет!

Сколько мыслей проходит через сознание, сколько нового передумаешь, пока руки заняты мускульной, телесной, черной или плотничьей работой; пока ставишь себе разумные, физически разрешимые задачи, вознаграждающие за исполнение радостью и удачей; пока шесть часов кряду тешешь что-нибудь топором или копаешь землю под открытым небом, обжигающим тебя своим благодатным дыханием. И то, что эти мысли, догадки и сближения не заносятся на бумагу, а забываются во всей их попутной мимолетности, не потеря, а приобретение. Городской затворник, крепким черным кофе или табаком подхлестывающий упавшие нервы и воображение, ты не знаешь самого могучего наркотика, заключающегося в непритворной нужде и крепком здоровье.

Я не иду дальше сказанного, не проповедую Толстовского опрощения и перехода на землю, я не придумываю своей поправки к социализму по аграрному вопросу. Я только устанавливаю факт и не возвожу нашей, случайно подвернувшейся, судьбы в систему. Наш пример спорен и не пригоден для вывода. Наше хозяйство слишком неоднородного состава. Только небольшою его частью, запасом овощей и картошки, мы обязаны трудам наших рук. Все остальное — из другого источника.

Наше пользование землею незаконно. Оно самочинно скрыто от установленного государственною властью учета. Наши лесные порубки — воровство, не извинимое тем, что мы воруюем из государственно-

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 1, 2 с. г.

Публикация, подготовка текста Е. Б. ПАСТЕРНАКА и В. М. БОРИСОВА.

го кармана, в прошлом — крюгеровского. Нас покрывает попустительство Микулицына, живущего приблизительно тем же способом, нас спасают расстояния, удаленность от города, где пока, по счастью, ничего не знают о наших проделках.

Я отказался от медицины и умалчиваю о том, что я доктор, чтобы не связывать своей свободой. Но всегда какая-нибудь добрая душа на краю света проведает, что в Варыкине поселился доктор, и верст за тридцать тащится за советом, какая с курочкой, какая с яичками, какая с маслом или еще с чем-нибудь. Как я ни отбодряюсь от гонораров, от них нельзя отделаться, потому что люди не верят в действенность безвозмездных, даром доставшихся, советов. Итак, кое-что дает мне врачебная практика. Но главная наша и Микулицынская опора — Самдевятос.

Уму непостижимо, какие противоположности совмещает в себе этот человек. Он искренне за революцию и вполне достоин доверия, которым облек его Юрятинский Горсовет. Со всеильными своими полномочиями он мог бы реквизировать и вывозить Варыкинский лес, нам и Микулицыным даже не сказываясь, и мы бы и бровью не повели. С другой стороны, пожелай он обкрадывать казну, он мог бы преспокойно класть в карман, что и сколько бы захотел, и тоже никто бы не пикнул. Ему не с кем делиться и некого задаривать. Так что же заставляет его заботиться о нас, помогать Микулицыным и поддерживать всех в округе, как, например, начальника станции в Торфяной? Он все время ездит и что-то достает и привозит, и разбирает и толкует «Бесов» Достоевского и Коммунистический Манифест одинаково увлекательно и, мне кажется, если бы он не осложнял своей жизни без надобности так нерасчетливо и очевидно, он умер бы со скуки».

2

Несколько позднее доктор записал:

«Мы поселились в задней части старого барского дома, в двух комнатах деревянной пристройки, в детские годы Анны Ивановны предназначавшейся Крюгером для избранной челяди, для домашней портнихи, экономки и отставной няни.

Этот угол порядком обветшал. Мы довольно быстро починили его. С помощью понимающих мы переложили выходящую в обе комнаты печку по-новому. С теперешним расположением оборотов она дает больше нагрева.

В этом месте парка следы прежней планировки исчезли под новой растительностью, все заполнившей. Теперь, зимой, когда всё кругом помертвело и живое не закрывает умершего, занесенные снегом черты былого выступают яснее.

Нам посчастливилось. Осень выдалась сухая и теплая. Картошку успели выкопать до дождей и наступления холодов. За вычетом задолженной и возвращенной Микулицыным, ее у нас до двадцати мешков, и вся она в главном закроме погреба, покрытая сверху, по верх пола, сеном и старыми рванными одеялами. Туда же в подполье спустили две бочки огурцов, которые засолила Тоня, и столько же бочек на квашенной ею капусте. Свежая развешана по столбам крепления, вилком с вилком, связанная попарно. В сухой песок зарыты запасы моркови. Здесь же достаточное количество собранной редьки, свеклы и репы, а наверху в доме множество гороху и бобов. Навезенных дров в сарае хватит до весны. Я люблю зимою теплое дыхание подземелья, ударяющее в нос кореньями, землей и снегом, едва подымеешь опускающую дверцу погреба, в ранний час, до зимнего расцвета, со слабым, готовым угаснуть и еле светящимся огоньком в руке.

Выйдешь из сарая, день еще не занимается. Скрипнешь дверью, или нечаянно чихнешь, или просто снег хрустнет под ногою, и с даль-

ней огородной гряды с торчащими из-под снега капустными кочерыжками порснут и пойдут улепетывать зайцы, размашистыми следами которых вдоль и поперек изборожден снег кругом. И в окрестностях, одна за другой, надолго разлаются собаки. Последние петухи пропели уже раньше, им теперь не петать. И начнет светать.

Кроме заячьих следов, необозримую снежную равнину пересекают рысьи, ямка к ямке, тянущиеся аккуратно низанными нитками. Рысь ходит как кошка, лапка за лапку, совершая, как утверждают, за ночь многоверстные переходы.

На них ставят капканы, слопцы, как их тут называют. Вместо рысей в ловушки попадают бедные русаки, которых вынимают из капканов морожеными, окоченелыми и полузанесенными снегом.

Вначале, весною и летом, было очень трудно. Мы выбивались из сил. Теперь, зимними вечерами, отдыхаем. Собираемся, благодаря Анфиму, снабжающему нас керосином, вокруг лампы. Женщины шьют или вяжут, я или Александр Александрович читаем вслух. Топится печка, я, как давний признанный истопник, слежу за ней, чтобы вовремя закрыть вьюшку и не упустить жару. Если недогоревшая головешка задерживает топку, выношу ее, бегом, всю в дыму, за порог и забрасываю подальше в снег. Рассыпая искры, она горящим факелом перелетает по воздуху, озаряя край черного спящего парка с белыми четырехугольниками лужаек, и шипит и гаснет, упав в сугроб.

Без конца перечитываем «Войну и мир», «Евгения Онегина» и все поэмы, читаем в русском переводе «Красное и Черное» Стендаля, «Повесть о двух городах» Диккенса и коротенькие рассказы Клейста.

3

Ближе к весне доктор записал:

«Мне кажется, Тоня в положении. Я ей об этом сказал. Она не разделяет моего предположения, а я в этом уверен. Меня до появления более бесспорных признаков не могут обмануть предшествующие, менее уловимые.

Лицо женщины меняется. Нельзя сказать, чтобы она подурнела. Но ее внешность, раньше всецело находившаяся под ее наблюдением, уходит из-под ее контроля. Ею распоряжается будущее, которое выйдет из нее и уже больше не есть она сама. Этот выход облика женщины из-под ее надзора носит вид физической растерянности, в которой тускнеет ее лицо, грубеет кожа и начинают по другому, не так, как ей хочется, блестеть глаза, точно она всем этим не управилась и запустила.

Мы с Тоней никогда не отдалялись друг от друга. Но этот трудовой год нас сблизил еще тесней. Я наблюдал, как расторопна, сильна и неутомима Тоня, как сообразительна в подборе работ, чтобы при их смене терялось как можно меньше времени.

Мне всегда казалось, что каждое зачатие непорочно, что в этом догмате, касающемся Богоматери, выражена общая идея материнства.

На всякой рожающей лежит тот же отблеск одиночества, оставленности, предоставленности себе самой. Мужчина до такой степени не у дел сейчас, в это существеннейшее из мгновений, что точно его и в заводе не было и все как с неба свалилось.

Женщина сама производит на свет свое потомство, сама забирается с ним на второй план существования, где тише, и куда без страха можно поставить люльку. Она сама в молчаливом смирении вскармливает и выращивает его.

Богоматерь просят: «Молися прилежно Сыну и Богу Твоему». Ей вкладывают в уста отрывки псалма: «И возрадовася дух мой о Бозе Спасе моем. Яко воззри на смирение рабы своея, се бо отныне

ублажат мя вси роди». Это она говорит о своем младенце, он возвеличит ее («Яко сотвори мне величие сильный»), он — ее слава. Так может сказать каждая женщина. Ее бог в ребенке. Матерям великих людей должно быть знакомо это ощущение. Но все решительно матери — матери великих людей, и не их вина, что жизнь потом обманывает их».

4

«Без конца перечитываем Евгения Онегина и поэмы. Вчера был Анфим, навез подарков. Лакомимся, освещаемся. Бесконечные разговоры об искусстве.

Давнишняя мысль моя, что искусство не название разряда или области, обнимающей необозримое множество понятий и разветвляющихся явлений, но наоборот, нечто узкое и сосредоточенное, обозначение начала, входящего в состав художественного произведения, название примененной в нем силы или разработанной истины. И мне искусство никогда не казалось предметом или стороною формы, но скорее таинственной и скрытой частью содержания. Мне это ясно, как день, я это чувствую всеми своими фибрами, но как выразить и сформулировать эту мысль?

Произведения говорят многим: темами, положениями, сюжетами, героями. Но больше всего говорят они присутствием содержащегося в них искусства. Присутствие искусства на страницах «Преступления и наказания» потрясает больше, чем преступление Раскольникова.

Искусство первобытное, египетское, греческое, наше, это, наверное, на протяжении многих тысячелетий одно и то же, в единственном числе остающееся искусство. Это какая-то мысль, какое-то утверждение о жизни, по всеохватывающей своей широте на отдельные слова не разложимое, и когда крупица этой силы входит в состав какой-нибудь более сложной смеси, примесь искусства перевешивает значение всего остального и оказывается сутью, душой и основой изображенного».

5

«Немного простужен, кашель и, наверное, небольшой жар. Весь день перехватывает дыхание где-то у гортани, комком подкатывая к горлу. Плохо мое дело. Это аорта. Первые предупреждения наследственности со стороны бедной мамочки, пожизненной сердечницы. Неужели правда? Так рано? Не долгий я в таком случае жилец на белом свете.

В комнате легкий угар. Пахнет глаженным. Гладят и, то и дело, из непротопившейся печки подкладывают жаром пламенеющий уголь в ляскающей крышкой, как зубами, духовой утюг. Что-то напоминает. Не могу вспомнить, что. Забывчив по нездоровью.

На радостях, что Анфим привез ядрового мыла, закатали генеральную стирку, и Шуручка два дня без присмотра. Забирается, когда я пишу, под стол, садится на перекладину между ножками и, подражая Анфиму, который в каждый приезд катает его на санях, изображает, будто тоже вывозит меня в розвальнях.

Как выздоровею, надо будет поехать в город, почитать кое-что по этнографии края, по истории. Уверяют, будто здесь замечательная городская библиотека, составленная из нескольких богатых пожертвований. Хочется писать. Надо торопиться. Не оглянешься, и весна. Тогда будет не до чтения и писания.

Все усиливается головная боль. Я плохо спал. Я видел сумбурный сон, один из тех, которые забываются тут же на месте, по пробуждении. Сон вылетел из головы, в сознании осталась только причина пробуждения. Меня разбудил женский голос, который слышался во сне, которым во сне оглашался воздух. Я запомнил его звук и,

воспроизводя его в памяти, перебирал мысленно знакомых женщин, доискиваясь, какая из них могла быть обладательницей этого грудного, тихого от тяжести, влажного голоса. Он не принадлежал ни одной. Я подумал, что, может быть, чрезмерная привычка к Тоне стоит между нами и притупляет у меня слух по отношению к ней. Я попробовал забыть, что она моя жена, и отнес ее образ на расстояние, достаточное для выяснения истины. Нет, это был также не ее голос. Так это и осталось невыясненным.

Кстати о снах. Принято думать, что ночью снится обыкновенно то, что днем, в бодрствовании, произвело сильнейшее впечатление. У меня как раз обратные наблюдения.

Я не раз замечал, что именно вещи, едва замеченные днем, мысли, не доведенные до ясности, слова, сказанные без души и оставленные без внимания, возвращаются ночью, облеченные в плоть и кровь, и становятся темами сновидений, как бы в возмещение за дневное к ним пренебрежение».

«Ясная морозная ночь. Необычайная яркость и цельность видимого. Земля, воздух, месяц, звезды скованы вместе, склепаны морозом. В парке поперек аллей лежат отчетливые тени деревьев, кажущиеся выточенными и выпуклыми. Все время кажется, будто какие-то черные фигуры в разных местах без конца переходят через дорогу. Крупные звезды синими слюдяными фонарями висят в лесу между ветвями. Мелкими, как летние луга ромашками, усеяно все небо.

Продолжающиеся по вечерам разговоры о Пушкине. Разбирали лицейские стихотворения первого тома. Как много зависело от выбора стихотворного размера!

В стихах с длинными строчками пределом юношеского честолюбия был Арзамас, желание не отстать от старших, пустить дядюшке пыль в глаза мифологизмами, напыщенностью, выдуманной испорченностью и эпикурейством, преждевременным, притворным здравомыслием.

Но едва с подражаний Оссиану или Парни или с «Воспоминаний в Царском Селе» молодой человек напал на короткие строки «Горodka» или «Послания к сестре» или позднейшего кишиневского «К моей чернильнице», или на ритмы «Послания к Юдину», в подростковом пробуждался весь будущий Пушкин.

В стихотворение, точно через окно в комнату, врываются с улицы свет и воздух, шум жизни, вещи, сущности. Предметы внешнего мира, предметы обихода, имена существительные, теснясь и наседая, завладевали строчками, вытесняя вон менее определенные части речи. Предметы, предметы, предметы рифмованной колонной выстраивались по краям стихотворения.

Точно этот, знаменитый впоследствии, Пушкинский четырехстопник явился какой-то измерительной единицей русской жизни, ее линейной мерой, точно он был меркой, снятой со всего русского существования подобно тому, как обрисовывают форму ноги для сапожной выкройки, или называют номер перчатки для приискания ее по руке, в пору.

Так позднее ритмы говорящей России, распевы ее разговорной речи были выражены в величинах длительности Некрасовским трехдольником и Некрасовской дактилической рифмой».

7

«Как хотелось бы наряду со службой, сельским трудом или врачебной практикой вынашивать что-нибудь остающееся, капитальное, писать какую-нибудь научную работу или что-нибудь художественное.

Каждый рождается Фаустом, чтобы все обнять, все испытать, все выразить. О том, чтобы Фаусту быть ученым, позаботились ошибки предшественников и современников. Шаг вперед в науке делается по закону отталкивания, с опровержения царящих заблуждений и ложных теорий.

О том, чтобы Фаусту быть художником, позаботились заразные примеры учителей. Шаг вперед в искусстве делается по закону притяжения, с подражания, следования и поклонения любимым предтечам.

Что же мешает мне служить, лечить и писать? Я думаю, не лишения и скитания, не неустойчивость и частые перемены, а господствующий в наши дни дух трескучей фразы, получивший такое распространение, — вот это самое: заря грядущего, построение нового мира, светочи человечества. Послушать это, и по началу кажется, — какая широта фантазии, какое богатство! А на деле оно именно и высокопарно по недостатку дарования.

Сказочно только рядовое, когда его коснется рука гения. Лучший урок в этом отношении Пушкин. Какое славословие честному труду, долгу, обычаям повседневности! Теперь у нас стало звучать укорительно мещанин, обыватель. Этот упрек предупрежден строками из «Родословной».

«Я мещанин, я мещанин».

И из «Путешествия Онегина»:

Мой идеал теперь — хозяйка,
Мои желания — покой,
Да шей горшок, да сам большой.

Изо всего русского я теперь больше всего люблю русскую детскую Пушкина и Чехова, их застенчивую неозабоченность насчет таких громких вещей, как конечные цели человечества и их собственное спасение. Во всем этом хорошо разбирались и они, но куда им было до таких нескромностей, — не до того и не по чину! Гоголь, Толстой, Достоевский готовились к смерти, беспокоились, искали смысла, подводили итоги, а эти до конца были отвлечены текущими частностями артистического призвания, и за их чередованием незаметно прожили жизнь, как такую же личную, никого не касающуюся частность, и теперь эта частность оказывается общим делом и подобно снятым с дерева созревающим яблокам сама доходит в преемственности, наливаясь все большею сладостью и смыслом.

8

«Первые предвестия весны, оттепель. Воздух пахнет блинами и водкой, как на масляной, когда сам календарь как бы каламбурирует. Сонно, масляными глазками жмурится солнце в лесу, сонно, ресницами игла шурится лес, маслянисто блещут в полдень лужи. Природа зевает, потягивается, переворачивается на другой бок и снова засыпает».

В седьмой главе Евгения Онегина — весна, пустующий за выездом Онегина господский дом, могила Ленского внизу, у воды, под горою.

И соловей, весны любовник,
Поет всю ночь. Цветет шиповник.

Почему — любовник? Вообще говоря, эпитет естественный, уместный. Действительно — любовник. Кроме того — рифма к слову «шиповник». Но звуковым образом не сказался ли также былинный «соловей-разбойник»?

В былине он называется Соловей-разбойник, Одихмантьев сын. Как хорошо про него говорится!

От него ли то от посвисту соловьяго,
От него ли то от покрику звериного,
То все травушки-муравушки улетаются,
Все лазоревы цветочки отсыпаются,
Тёмны лесушки к земле все преклоняются,
А что есть людей, то все мертвы лежат.

Мы приехали в Варькино раннею весной. Вскоре все зазеленело, особенно в Шутьме, как называется овраг под Микулицынским домом, — черемуха, ольха, орешник. Спустя несколько ночей защелкали соловьи.

И опять, точно слушая их в первый раз, я удивился тому, как выделяется этот напев из остальных птичьих посвистов, какой скачок, без постепенного перехода, совершает природа к богатству и исключительности этого щелканья. Сколько разнообразия в смене колен и какая сила отчетливого, далеко разносящегося звука! У Тургенева описаны где-то эти высвисты, дудка лешего, юлиная дробь. Особенно выделялись два оборота. Учашенно-жадное и роскошное «тѣх-тѣх-тѣх», иногда трехдольное, иногда без счета, в ответ на которое заросль, вся в росе, отряхивалась и охорашивалась, вздрагивая, как от щекотки. И другое, распадающееся на два слога, зовущее, проникновенное, умоляющее, похожее на просьбу или увещание: «Оч-нись! Оч-нись! Оч-нись!»

9

«Весна. Готовимся к сельским работам. Стало не до дневника. А приятно было вести эти записки. Придется отложить их до зимы.

На днях, на этот раз действительно на маслянице, в распутицу, въезжает на санях во двор, по воде и грязи больной крестьянин. Понятно, отказываюсь принять. «Не взыщи, милый, перестал этим заниматься, — ни настоящего подбора лекарств, ни нужных приспособлений». Да разве так отвяжешься. «Помоги. Кожею скудаем. Помилосердствуй. Телесная болезнь».

Что делать? Сердце не камень. Решил принять. «Раздевайся». Осматриваю. «У тебя волчанка». Вожусь с ним, искоса поглядывая в окно, на бутыль с карболкой. (Боже правый, не спрашивайте, откуда она у меня, и еще кое-что, самое необходимое! Все это — Самдевятков.) Смотрю, — на двор другие сани, с новым больным, как мне кажется в первую минуту. И сваливается, как с облаков, брат Евграф. На некоторое время он поступает в распоряжение дома, Тони, Шурочки, Александра Александровича. Потом, когда я освобождаюсь, присоединяюсь к остальным. Начинаются расспросы, — как, откуда? По обыкновению увертывается, уклоняется, ни одного прямого ответа, улыбки, чудеса, загадки.

Он прогостил около двух недель, часто отлучаясь в Юртин, и вдруг исчез, как сквозь землю провалился. За это время я успел отметить, что он еще влиятельнее Самдевяткова, а дела и связи его еще менее объяснимы. Откуда он сам? Откуда его могущество? Чем он занимается? Перед исчезновением обещал облегчить нам ведение хозяйства, так, чтобы у Тони освобождалось время для воспитания Шуры, а у меня — для занятий медициной и литературой. Полубопытствовали, что он для этого собирается сделать. Опять отмалчиванье и улыбки. Но он не обманул. Имеются признаки, что условия жизни у нас действительно переменятся.

Удивительное дело! Это мой сводный брат. Он носит одну со мною фамилию. А знаю я его, собственно говоря, меньше всех.

Вот уже второй раз вторгается он в мою жизнь добрым гением, избавителем, разрешающим все затруднения. Может быть, состав каждой биографии наряду со встречающимися в ней действующими лицами требует еще и участия тайной неведомой силы, лица почти символического, являющегося на помощь без зова, и роль этой благодетельной и скрытой пружины играет в моей жизни мой брат Евграф?»

На этом кончались записи Юрия Андреевича. Больше он их не продолжал.

10

Юрий Андреевич просматривал в зале Юрятинской городской читальни заказанные книги. Многооконный читальный зал на сто человек был уставлен несколькими рядами длинных столов, узенькими концами к окнам. С наступлением темноты читальня закрывалась. В весеннее время город по вечерам не освещался. Но Юрий Андреевич и так никогда не досиживал до сумерек и не задерживался в городе позже обеденного времени. Он оставлял лошадь, которую ему давали Микулицыны, на постоялом дворе у Самдевятова, читал все утро, и с середины дня возвращался верхом домой в Варыкино.

До этих наездов в библиотеку Юрий Андреевич редко бывал в Юрятине. У него не было никаких особенных дел в городе. Доктор плохо знал его. И когда на его глазах зал постепенно наполнялся юрятинскими жителями, садившимися то поодаль от него, то совсем по соседству, у Юрия Андреевича являлось чувство, будто он знакомится с городом, стоя на одном из его людных скрещений, и будто в зал стекаются не читающие юрятинцы, а стягиваются дома и улицы, на которых они проживают.

Однако и действительный Юрятин, настоящий и невымышленный, виднелся в окнах зала. У среднего, самого большого окна стоял бак с кипяченой водой. Читающие в виде отдыха выходили покурить на лестницу, окружали бак, пили воду, сливая остатки в полоскательницу и толпились у окна, любуясь видами города.

Читающих было два рода, старожилы из местной интеллигенции,— их было большинство,— и люди из простого народа.

У первых, среди которых преобладали женщины, бедно одетые, переставшие следить за собой и опустившиеся, были нездоровые, вытянувшиеся лица, обрюзгшие по разным причинам,— от голода, от разлития желчи, от отеков водянки. Это были завсегдатаи читальни, лично знакомые с библиотечными служащими и чувствовавшие себя здесь, как дома.

Люди из народа с красивыми здоровыми лицами, одетые опрятно, по праздничному, входили в зал смущенно и робко, как в церковь, и появлялись шумнее, чем было принято, не от незнания порядков, а вследствие желания войти совершенно бесшумно и неумения соразмерить свои здоровые шаги и голоса.

Напротив окон в стене было углубление. В этой нише на возвышении, отделенные высокою стойкой от остального зала, занимались своим делом служащие читальни, старший библиотекарь и две его помощницы. Одна из них, сердитая, в шерстяном платке, без конца снимала и напяливала на нос пенсне, руководствуясь, по-видимому, не надобностями зрения, а переменчивостью своих душевных состояний. Другая, в черной шелковой кофте, вероятно, страдала грудью, потому что почти не отнимала носового платка от рта и носа, и говорила и дышала в платок.

У библиотечных служащих были такие же опухшие, книзу удлиненные, оплывшие лица, как у половины читающих, та же дряблая, обвислая кожа, землястая с празеленью, цвета соленого огурца и серой плесени, и все они втроем делали попеременно одно и то же, шопотом разъясняли новичкам правила пользования книгами, раз-

бирали билетки с требованиями, выдавали и принимали обратно возвращаемые книги и в промежутках трудились над составлением каких-то годовых отчетов.

И странно, по непонятному сцеплению идей, перед лицом действительного города за окном и воображаемого в зале, а также по какому-то сходству, вызываемому всеобщей мертвенной одутловатостью, точно все заболели зобами, Юрий Андреевич вспомнил недозволенную стрелочницу на железнодорожных путях Юрятина в утро их приезда и общую панораму города вдаль, и Самдевятова рядом на полу вагона, и его объяснения. И эти объяснения, данные далеко за пределами местности на большом расстоянии, Юрию Андреевичу хотелось связать с тем, что он видел теперь вблизи, в сердцевине картины. Но он не помнил обозначений Самдевятова, и у него ничего не выходило.

11

Юрий Андреевич сидел в дальнем конце зала, обложившись книгами. Перед ним лежали журналы по местной земской статистике и несколько работ по этнографии края. Он попробовал затребовать еще два труда по истории Пугачева, но библиотечарша в шелковой кофте шопотом через прижатый к губам платок заметила ему, что так много книг не выдадут сразу в одни руки и что для получения интересующих его исследований он должен вернуть часть взятых справочников и журналов.

Поэтому Юрий Андреевич стал прилежнее и торопливее знакомиться с неразобранными книгами с тем, чтобы выделить и удержать из их груды самое необходимое, а остальное выменять на занимавшие его исторические работы. Он быстро перелистывал сборники и пробегал глазами оглавления, ничем не отвлекаемый и не глядя по сторонам. Людность зала не мешала ему и не рассеивала его. Он хорошо изучил своих соседей и видел их мысленным взором справа и слева от себя, не подымая глаз от книги, с тем чувством, что состав их не изменится до самого его ухода, как не сдвинутся с места церкви и здания города, видневшиеся в окне.

Между тем солнце не стояло. Все время перемещаясь, оно обошло за эти часы восточный угол библиотеки. Теперь оно светило в окна южной стены, ослепляя наиболее близко сидевших, и мешая им читать.

Простуженная библиотечарша сошла с огороженного возвышения и направилась к окнам. На них были складчатые, напускные занавески из белой материи, приятно смягчавшие свет. Библиотечарша опустила их на всех окнах, кроме одного. Это, крайнее, затененное, она оставила незавешенным. Потянув за шнур, она отворила в нем откидную форточку и расчихалась.

Когда она чихнула в десятый или двенадцатый раз, Юрий Андреевич догадался, что это свояченица Микулицына, одна из Тунцевых, о которых рассказывал Самдевятов. Вслед за другими читающими Юрий Андреевич поднял голову и посмотрел в ее сторону.

Тогда он заметил происшедшую в зале перемену. В противоположном конце прибавилась новая посетительница. Юрий Андреевич сразу узнал Антипову. Она сидела, повернувшись спиной к передним столам, за одним из которых помещался доктор, и вполголоса разговаривала с простуженной библиотечаршей, которая стояла, наклонившись к Ларисе Федоровне, и перешептывалась с ней. Вероятно, этот разговор имел благотворное влияние на библиотечаршу. Она излечилась миглом не только от своего досадного насморка, но и от нервной настороженности. Кинув Антиповой теплый, признательный взгляд, она отняла от губ носовой платок, который все время к ним прижимала и, сунув его в карман, вернулась на свое место за перегородку счастливая, уверенная в себе и улыбающаяся.

Эта, отмеченная трогательною мелочью сцена не укрылась от некоторых присутствовавших. Со многих концов зала смотрели сочувственно на Антипову и тоже улыбались. По этим ничтожным признакам Юрий Андреевич установил, как ее знают и любят в городе.

12

Первое намерение Юрия Андреевича было встать и подойти к Ларисе Федоровне. Но затем чуждые его природе, но установившиеся у него по отношению к ней принужденность и отсутствие простоты взяли верх. Он решил не мешать ей, а также не прерывать собственной работы. Чтобы защитить себя от искушения глядеть в ее сторону, он поставил стул боком к столу, почти задом к занимающимся, и углубился в свои книги, держа одну в руке перед собой, а другую развернутою на коленах.

Однако мысли его витали за тридевять земель от предмета его занятий. Вне всякой связи с ними он вдруг понял, что голос, который однажды он слышал зимнею ночью во сне в Варыкине, был голосом Антиповой. Его поразило это открытие и, привлекая внимание окружающих, он порывисто переставил стул в прежнее положение, так чтобы с его места было видно Антипову, и стал смотреть на нее.

Он видел ее со спины, вполоборота, почти сзади. Она была в светлой клетчатой блузе, перехваченной кушаком, и читала увлеченно, с самозабвением, как дети, склонив голову немного набок, к правому плечу. Иногда она задумывалась, поднимая глаза к потолку, или, щурясь, заглядывалась куда-то перед собой, а потом снова облокачивалась, подпирала голову рукой, и быстрым размашистым движением записывала карандашом в тетрадь выноски из книги.

Юрий Андреевич проверял и подтверждал свои старые мелюзевские наблюдения. «Ей не хочется нравиться, — думал он, — быть красивой, пленяющей. Она презирает эту сторону женской сущности и как бы казнит себя за то, что так хороша. И эта гордая враждебность к себе удешевляет ее неотразимость.

Как хорошо все, что она делает. Она читает так, точно это не высшая деятельность человека, а нечто простейшее, доступное животным. Точно она воду носит или чистит картошку».

За этими размышлениями доктор успокоился. Редкий мир сошел ему в душу. Мысли его перестали разбегаться и перескакивать с предмета на предмет. Он невольно улыбнулся. Присутствие Антиповой оказывало на него такое же действие, как на нервную библиотечаршу.

Не заботясь о том, как стоит его стул, и не боясь помех и рассеяний, он час или полтора проработал еще усидчивей и сосредоточенней, чем до прихода Антиповой. Он перерыл высившуюся перед ним гору книг, отобрал самое нужное и даже попутно успел проглотить две встретившиеся в них существенные статьи. Решив удовольствоваться сделанным, он стал собирать книги, чтобы отнести их к столу выдач. Всякие посторонние соображения, порочащие сознание, покинули его. С чистою совестью и совершенно без задних мыслей он подумал, что честно отработанным уроком он заслужил право встретиться со старой доброю знакомою и на законном основании позволить себе эту радость. Но когда, поднявшись, он окинул взглядом читальню, он не обнаружил Антиповой, в зале ее больше не было.

На стойке, куда доктор перенес свои тома и брошюры, еще лежала неубранная литература, возвращенная Антиповой. Все это были руководства по марксизму. Вероятно, как бывшая, вновь переопределяющаяся учительница, она своими силами на дому проходила политическую переподготовку.

В книжки заложены были требования Ларисы Федоровны в каталожную. Билетики торчали концами наружу. В них проставлен был

адрес Ларисы Федоровны. Его легко можно было прочесть. Юрий Андреевич списал его, удивившись странности обозначения. «Купеческая, против дома с фигурами».

Тут же, у кого-то осведомившись, Юрий Андреевич узнал, что выражение «дом с фигурами» в Юрятине настолько же ходячее, как наименование околотков по церковным приходам в Москве или название «у пяти углов» в Петербурге.

Так назывался темно-серый стального цвета дом с кариатидами и статуями античных муз с бубнами, лирами и масками в руках, выстроенный в прошлом столетии купцом театралом для своего домашнего театра. Наследники купца продали дом Купеческой управе, давшей название улице, угол которой дом занимал. По этому дому с фигурами обозначали всю прилежавшую к нему местность. Теперь в доме с фигурами помещался Горком партии, и на стене его косяго, спускавшегося под гору и понижавшегося фундамента, где в прежние времена расклеивали театральные и цирковые афиши, теперь вывешивали декреты и постановления правительства.

13

Был холодный ветренный день начала мая. Потолкавшись по делам в городе, и на минуту заглянув в библиотеку, Юрий Андреевич неожиданно отменил все планы и пошел разыскивать Антипову.

Ветер часто останавливал его в пути, преграждая ему дорогу облаками поднятого песка и пыли. Доктор отворачивался, жмурился, нагибал голову, пережидая, пока пыль пронесется мимо, и отправлялся дальше.

Антипова жила на углу Купеческой и Новосвалочного переулка, против темного, впадавшего в синеву дома с фигурами, теперь впервые увиденного доктором. Дом действительно отвечал своему прозвищу и производил странное, тревожное впечатление.

Он по всему верху был опоясан женскими мифологическими кариатидами в полтора человеческого роста. Между двумя порывами ветра, скрывшими его фасад, доктору на мгновение почудилось, что из дома вышло всё женское население на балкон и, перегнувшись через перила, смотрит на него и на растилающуюся внизу Купеческую.

К Антиповой было два хода, через парадное с улицы и двором с переулка. Не зная о существовании первого пути, Юрий Андреевич избрал второй.

Когда он свернул из переулка в ворота, ветер взвил к небу землю и мусор со всего двора, завесив двор от доктора. За эту черную завесу с квохтаньем бросились куры из-под его ног, спасаясь от догонявшего их петуха.

Когда облако рассеялось, доктор увидел Антипову у колодца. Вихрь застиг ее с уже набранной водой в обоих ведрах, с коромыслом на левом плече. Она была наскоро повязана косынкой, чтобы не пылить волос, узлом на лоб, «кукушкой», и зажимала коленями подол пузырившегося капота, чтобы ветер не подымал его. Она двинулась было с водой к дому, но остановилась, удержанная новым порывом ветра, который сорвал с ее головы платок, стал трепать ей волосы и понес платок к дальнему концу забора, ко всё еще квохтавшим курам.

Юрий Андреевич побежал за платком, поднял его и у колодца подал опешившей Антиповой. Постоянно верная своей естественности, она ни одним возгласом не выдала, как она изумлена и озадачена. У нее только вырвалось:

- Живаго!
- Лариса Федоровна!
- Каким чудом? Какими судьбами?
- Опустите ведра наземь. Я снесу.

— Никогда не сворачиваю с полдороги, никогда не бросаю начатого. Если вы ко мне, пойдёмте.

— А то к кому же?

— Кто вас знает.

— Всё же позвольте я переложу коромысло с вашего плеча на свое. Не могу я оставаться в праздности, когда вы трудитесь.

— Подумаешь, труд. Не дам. Лестницу заплечете. Лучше скажите, каким вас ветром занесло? Больше года тут, и все не могли собраться, удосужиться?

— Откуда вы знаете?

— Слухами земля полнится. Да и видела я вас, наконец, в библиотеке.

— Что же вы меня не окликнули?

— Вы не заставите меня поверить, что сами меня не видели.

За слегка покачивавшейся под качавшимися ведрами Ларисой Федоровной доктор прошел под низкий свод. Это были черные сени нижнего этажа. Тут, быстро опустившись на корточки, Лариса Федоровна поставила ведра на земляной пол, высвободила плечо из-под коромысла, выпрямилась и стала утирать руки неизвестно откуда взявшимся крошечным платочком.

— Пойдемте, я вас внутренним ходом на парадную выведу. Там светло. Там подождете. А я воду с черного хода внесу, немного приберу наверху, приденусь. Видите, какая у нас лестница. Чугунные ступени с узором. Сверху сквозь них все видно. Старый дом. Тряхнуло его слегка в дни обстрела. Из пушек ведь. Видите, камни разошлись. Между кирпичами дыры, отверстия. Вот в эту дыру мы с Катенькой квартирный ключ прячем и кирпичом закладываем, когда уходим. Имейте это в виду. Может быть, как-нибудь наведаетесь, меня не застанете, тогда милости просим, отпирайте, входите, будьте как дома. А я тем временем подойду. Вот он и сейчас тут, ключ. Но мне не нужно, я сзади войду и отворю дверь изнутри. Одно горе — крысы. Тьма тьмущая, отбою нет. По головам скачут. Ветхая постройка, стены расшатанные, везде щели. Где могу, заделываю, воюю с ними. Мало помогает. Может быть, как-нибудь зайдете, поможете? Вместе забьем полы, плинтусы. А? Ну, оставайтесь на площадке, пораздумайте о чем-нибудь. Я недолго протомлю вас, скоро кликну.

В ожидании зова Юрий Андреевич стал блуждать глазами по облупленным стенам входа и литым чугунным плитам лестницы. Он думал: «В читальне я сравнивал увлеченность ее чтения с азартом и жаром настоящего дела, с физической работой. И наоборот, воду она носит, точно читает, легко, без труда. Эта плавность у нее во всем. Точно общий разгон к жизни она взяла давно, в детстве, и теперь всё совершается у нее с разбегу, само собой, с легкостью вытекающего следствия. Это у нее и в линии ее спины, когда она нагибается, и в ее улыбке, раздвигающей ее губы и округляющей подбородок, и в ее словах и мыслях».

— Живаго! — раздалось с порога квартиры на верхней площадке. Доктор поднялся по лестнице.

— Дайте руку и покорно следуйте за мной. Тут будут две комнаты, где темно и вещи навалены до потолка. Наткнетесь и ушибетесь.

— Правда, лабиринт какой-то. Я не нашел бы дороги. Почему это? В квартире ремонт?

— О нет,нисколько. Дело не в этом. Квартира чужая. Я даже не знаю, чья. У нас была своя, казенная, в здании гимназии. Когда гимназию занял жилотдел Юрсвета, меня с дочерью переселили в часть этой, покинутой. Здесь была обстановка старых хозяев. Много

мебели. Я в чужом добре не нуждаюсь. Я их вещи составила в эти две комнаты, а окна забелила. Не выпускайте моей руки, а то заблудитесь. Ну так. Направо. Теперь дебри позади. Вот дверь ко мне. Сейчас станет светлее. Порог. Не оступитесь.

Когда Юрий Андреевич с провожатой вошел в комнату, в стене против двери оказалось окно. Доктора поразило, что он в нем увидел. Окно выходило на двор дома, на зады соседних и на городские пустыри у реки. На них паслись и точно полами расстегнутых шуб подметали пыль своей длиннорунной шерстью овцы и козы. На них, кроме того, торчала на двух столбах, лицом к окну, знакомая доктору вывеска: «Моро и Ветчинкин. Сеялки. Молотилки».

Под влиянием увиденной вывески доктор с первых же слов стал описывать Ларисе Федоровне свой приезд с семьей на Урал. Он забыл о том отождествлении, которое проводила молва между Стрельниковым и ее мужем, и не задумываясь, рассказал о своей встрече с комиссаром в вагоне. Эта часть рассказа произвела особенное впечатление на Ларису Федоровну.

— Вы видали Стрельникова?! — живо переспросила она. — Я пока вам больше ничего не скажу. Но как знаменательно! Просто какое-то предопределение, что вы должны были встретиться. Я вам после когда-нибудь объясню, вы просто ахнете. Если я вас правильно поняла, он произвел на вас скорее благоприятное, чем невыгодное впечатление?

— Да, пожалуй. Он должен был бы меня оттолкнуть. Мы проезжали места его расправ и разрушений. Я ждал встретить карателя солдафона или революционного маниака душителя, и не нашел ни того, ни другого. Хорошо, когда человек обманывает ваши ожидания, когда он расходится с заранее составленным представлением о нем. Принадлежность к типу есть конец человека, его осуждение. Если его не подо что подвести, если он не показателен, половина требующегося от него налицо. Он свободен от себя, крупица бессмертия достигнута им.

— Говорят, он беспартийный.

— Да, мне кажется. Чем он располагает к себе? Это обреченный. Я думаю, он плохо кончит. Он испугит зло, которое он принес. Самуправцы революции ужасны не как злодеи, а как механизмы без управления, как сошедшие с рельсов машины. Стрельников такой же сумасшедший, как они, но он помешался не на книжке, а на пережитом и выстраданном. Я не знаю его тайны, но уверен, что она у него есть. Его союз с большевиками случаен. Пока он им нужен, его терпят, им по пути. Но по первом миновении надобности его отшвырнут без сожаления прочь и растопчут, как многих военных специалистов до него.

— Вы думаете?

— Обязательно.

— А нет ли для него спасения? В бегстве, например?

— Куда, Лариса Федоровна? Это прежде, при царях водилось. А теперь попробуйте.

— Жалко. Своим рассказом вы пробудили во мне сочувствие к нему. А вы изменились. Раньше вы судили о революции не так резко, без раздражения.

— В том-то и дело, Лариса Федоровна, что всему есть мера. За это время пора было прийти к чему-нибудь. А выяснилось, что для вдохновителей революции суматоха перемен и перестановок единственная родная стихия, что их хлебом не корми, а подай им что-нибудь в масштабе земного шара. Построения миров, переходные периоды это их самоцель. Ничему другому они не учились, ничего не умеют. А вы знаете, откуда суэта этих вечных приготовлений? От отсутствия определенных готовых способностей, от неодаренности.

Человек рождается жить, а не готовиться к жизни. И сама жизнь, явление жизни, дар жизни так захватывающе нешуточны! Так зачем подменять ее ребяческой арлекинадой незрелых выдумок, этими побегам чеховских школьников в Америку? Но довольно. Теперь моя очередь спрашивать. Мы подъезжали к городу в утро вашего переезда. Вы были тогда в большой переделке?

— О, еще бы! Конечно. Кругом пожары. Сами чуть не сгорели. Дом, я вам говорила, как покачуло! На дворе до сих пор неразорванный снаряд у ворот. Грабежи, бомбардировка, безобразия. Как при всякой смене властей. К той поре мы уже были ученые, привычные. Не впервой было. А во время белых что творилось! Убийства из-за угла по мотивам личной мести, вымогательства, вакханалия! Да, но ведь я главного вам не сказала. Галиуллин-то наш! Преважную шишку тут оказался при чехах. Чем-то вроде генерал-губернатора.

— Знаю. Слышал. Вы с ним видались?

— Очень часто. Скольким я жизнь спасла благодаря ему! Скольких укрыла! Надо отдать ему справедливость. Держал он себя безупречно, по-рыцарски, не то что всякая мелкая сошка, казачьи там есаулы и полицейские урядники. Но ведь тогда тон задавала именно эта мелкота, а не порядочные люди. Галиуллин мне во многом помог, спасибо ему. Мы ведь старые знакомые. Я часто девочкой на дворе бывала, где он рос. В доме жили рабочие с железной дороги. Я в детстве близко видела бедность и труд. От этого мое отношение к революции иное, чем у вас. Она ближе мне. В ней для меня много родного. И вдруг он полковником становится, этот мальчик, сын дворника. Или даже белым генералом. Я из штатской среды и плохо разбираюсь в чинах. А по специальности я учительница историчка. Да, так вот как, Живаго. Многим я помогла. Ходила к нему. Вас вспоминали. У меня ведь во всех правительствах связи и покровители, и при всех порядках огорчения и потери. Это ведь только в плохих книжках живущие разделены на два лагеря и не соприкасаются. А в действительности все так переплетается! Каким непоправимым ничтожеством надо быть, чтобы играть в жизни только одну роль, занимать одно лишь место в обществе, значить всего только одно и то же!

— А, так ты здесь, оказывается?

В комнату вошла девочка лет восьми с двумя мелкозаплетенными косичками. Узко разрезанные, уголками врозь поставленные глаза придавали ей шаловливый и лукавый вид. Когда она смеялась, она их приподнимала. Она уже за дверью обнаружила, что у матери гость, но показавшись на пороге, сочла нужным изобразить на лице нечаянное удивление. сделала книксен и устремила на доктора немигающий, безобразный взгляд рано задумывающегося, одиноко вырастающего ребенка.

— Моя дочь Катенька. Прошу любить и жаловать.

— Вы в Мелюзее карточки показывали. Как выросла и изменилась!

— Так ты, оказывается, дома? А я думала,— гуляешь. Я и не слышала, как ты вошла.

— Вынимаю из дыры ключ, а там вот такой величины крысина! Я закричала и в сторону! Думала, умру со страху.

Катенька говорила, корча премилые рожицы, тараща плутовские глаза и растягивая кружком ротик, как вытащенная из воды рыбка.

— Ну ступай к себе. Вот уговорю дядю к обеду остаться, выну кашу из духовой и позову тебя.

— Спасибо, но вынужден отказаться. У нас вследствие моих наездов в город стали в шесть обедать. Я привык не опаздывать, а езды три часа с чем-то, если не все четыре. Потому-то я к вам так рано,— простите,— и скоро подымусь.

— Только полчаса еще.

— С удовольствием.

— А теперь,— откровенность за откровенность. Стрельников, о котором вы рассказывали, это муж мой Паша, Павел Павлович Антипов, которого я ездила разыскивать на фронт, и в мнимую смерть которого с такою правотой отказывалась верить.

— Я не поражен и подготовлен. Я слышал эту басню и считаю ее вздорной. Оттого-то я и забылся до такой степени, что со всей свободой и неосторожностью говорил с вами о нем, точно этих толков не существует. Но эти слухи бессмыслица. Я видел этого человека. Как могут вас связывать с ним? Что между вами общего?

— И всё же это так, Юрий Андреевич. Стрельников это Антипов, муж мой. Я согласна с общим мнением. Катенька это тоже знает и гордится своим отцом. Стрельников это его подставное имя, псевдоним, как у всех революционных деятелей. Из каких-то соображений он должен жить и действовать под чужим именем.

Вот он Юратин брал, забрасывал нас снарядами, знал, что мы тут, и ни разу не осведомился, живы ли мы, чтобы не нарушить своей тайны. Это был его долг, разумеется. Если бы он спросил, как ему быть, мы бы ему то же посоветовали. Вы также скажете, что моя неприкосновенность, сносность жилищных условий, предоставленных горсоветом и прочая,— косвенные доказательства его тайной заботы о нас! Всё равно вы мне этого не втолкуете. Быть тут рядом и устоять против искушения повидать нас! Это в моем мозгу не укладывается, это выше моего разумения. Это нечто мне недоступное, не жизнь, а какая-то римская гражданская доблесть, одна из нынешних премудростей. Но я поддаю под ваше влияние и начинаю петь с вашего голоса. Я бы этого не хотела. Мы с вами не единомышленники. Что-то неуловимое, необязательное мы понимаем одинаково. Но в вещах широкого значения, в философии жизни лучше будем противниками. Но вернемся к Стрельникову.

Теперь он в Сибири, и вы правы, до меня тоже доходили сведения о нареканиях на него, от которых у меня холодеет сердце. Теперь он в Сибири, на одном из сильно продвинувшихся наших участков, наносит поражение своему дворовому дружку и впоследствии фронтовому товарищу, бедняжке Галиуллину, от которого не скрыт секрет его имени и моего супружества, и который по неоценимой тонкости никогда не давал мне этого почувствовать, хотя при имени Стрельникова рвет и мечет и выходит из себя. Да, так, значит, теперь он в Сибири.

А когда он тут был (он тут долго пробыл и жил всё время на путях в вагоне, где вы его видели), я всё порывалась столкнуться с ним как-нибудь случайно, непредвиденно. Иногда он в штаб ездил, помещавшийся там, где прежде находилось Военное управление Комуча, войск Учредительного собрания. И странная игра судьбы. Вход в штаб был в том же флигеле, где меня раньше Галиуллин принимал, когда я приходила за других хлопотать. Например, была нашумевшая история в кадетском корпусе, кадеты стали неугодных преподавателей подстергать и пристреливать под предлогом их приверженности большевизму. Или когда начались преследования и избиения евреев. Кстати. Если мы городские жители и люди умственного труда, половина наших знакомых из их числа. И в такие погромные полосы, когда начинаются эти ужасы и мерзости, помимо возмущения, стыда и жалости, нас преследует ощущение тягостной двойственности, что наше сочувствие наполовину головное, с неискренним неприятным осадком.

Люди, когда-то освободившие человечество от ига идолопоклонства и теперь в таком множестве посвятившие себя освобождению его от социального зла, бессильны освободиться от самих себя, от верности отжившему допотопному наименованию, потерявшему зна-

чение, не могут подняться над собою и бесследно раствориться среди остальных, религиозные основы которых они сами заложили и которые были бы им так близки, если бы они их лучше знали.

Наверное, гонения и преследования обязывают к этой бесполезной и губительной позе, к этой стыдливой, приносящей одни бедствия, самоотверженной обособленности, но есть в этом и внутреннее одряхление, историческая многовековая усталость. Я не люблю их иронического самоподбадривания, будничной бедности понятий, несмелого воображения. Это раздражает, как разговоры стариков о старости и больных о болезни. Вы согласны?

— Я об этом не думал. У меня есть товарищ, некий Гордон, он тех же взглядов.

— Так вот сюда я Пашу стеречь ходила. В надежде на его приезд или выход. Когда-то во флигеле была канцелярия генерал-губернатора. Теперь на двери табличка: «Бюро претензий». Вы, может быть, видели? Это красивейшее место в городе. Площадь перед дверью вымощена брусчаткой. Перейдя площадь, городской сад. Калина, клен, боярышник. Становилась на тротуаре в кучке просителей и поджидала. Разумеется, не ломилась на прием, не говорила, что жена. Фамилии-то ведь разные. Да и при чем тут голос сердца? У них совсем другие правила. Например, родной его отец Павел Ферапонтович Антипов, бывший политический ссыльный, из рабочих, где-то тут совсем недалеко на тракте в суде работает. В месте своей прежней ссылки. И друг его, Тиверзин. Члены революционного трибунала. Так что вы думаете? Сын отцу тоже не открывается, и тот принимает это как должное, не обижается. Раз сын зашифрован, значит, нельзя. Это кремни, а не люди. Принципы. Дисциплина.

Да, наконец, если бы и доказала я, что жена, подумаешь, важность! До жен ли было тут? Такие ли были времена? Мировой пролетариат, переделка вселенной, это другой разговор, это я понимаю. А отдельное двуногое вроде жены там какой-то, это так, тьфу, последняя блоха или вошь.

Адъютант обходил, опрашивал. Некоторых впускал. Я не называла фамилии, на вопрос о деле отвечала, что по личному. Наперед можно было сказать, что штука пропадающая, отказ. Адъютант пожимал плечами, оглядывал подозрительно. Так ни разу и не видала.

И вы думаете, он гнушается нами, разлюбил, не помнит? О, напротив! Я так его знаю! У него от избытка чувств такое задумано! Ему надо все эти военные лавры к нашим ногам положить, чтобы не с пустыми руками вернуться, а во всей славе, победителем! Обесмертвить, ослепить нас! Как ребенок!

В комнату снова вошла Катенька. Лариса Федоровна подхватила недоумевающую девочку на руки, стала раскачивать ее, щекотать, целовать и душить в объятиях.

Юрий Андреевич возвращался верхом из города в Варыкино. Он в несчетный раз проезжал эти места. Он привык к дороге, стал нечувствителен к ней, не замечал ее.

Он приближался к лесному перекрестку, где от прямого пути на Варыкино ответвлялась боковая дорога в рыбацью слободу Васильевское на реке Сакме. В месте их раздвоения стоял третий в окрестностях столб с сельскохозяйственной рекламой. Близ этого перепутья застигал доктора обыкновенно закат. Сейчас тоже вечерело.

Прошло более двух месяцев с тех пор, как в одну из своих поездок в город он не вернулся к вечеру домой и остался у Ларисы Федоровны, а дома сказал, что задержался по делу в городе и заночевал на постоялом дворе у Самдевятова. Он давно был на ты с Антиповой

и звал ее Ларою, а она его — Живаго. Юрий Андреевич обманывал Тоню и скрывал от нее вещи, всё более серьезные и непозволительные. Это было неслыханно.

Он любил Тоню до обожания. Мир ее души, ее спокойствие были ему дороже всего на свете. Он стоял горой за ее честь, больше чем ее родной отец и чем она сама. В защиту ее уязвленной гордости он своими руками растерзал бы обидчика. И вот этим обидчиком был он сам.

Дома в родном кругу он чувствовал себя неуличенным преступником. Неведение домашних, их привычная приветливость убивали его. В разгаре общей беседы он вдруг вспоминал о своей вине, цепенел и переставал слышать что-либо кругом и понимать.

Если это случалось за столом, проглоченный кусок застревал в гортани у него, он откладывал ложку в сторону, отодвигал тарелку. Слезы душили его. «Что с тобой?» — недоумевала Тоня.— «Ты, наверное, узнал в городе что-нибудь нехорошее? Кого-нибудь посадили? Или расстреляли? Скажи мне. Не бойся меня расстроить. Тебе будет легче».

Изменил ли он Тоне, кого-нибудь предпочтя ей? Нет, он никого не выбирал, не сравнивал. Идеи «свободной любви», слова вроде «прав и запросов чувства» были ему чужды. Говорить и думать о таких вещах казалось ему пошлостью. В жизни он не срывал «цветов удовольствия», не причислял себя к полубогам и сверхчеловекам, не требовал для себя особых льгот и преимуществ. Он изнемогал под тяжестью нечистой совести.

Что будет дальше? — иногда спрашивал он себя, и не находя ответа, надеялся на что-то несбыточное, на вмешательство каких-то непредвиденных, приносящих разрешение, обстоятельств.

Но теперь было не так. Он решил разрубить узел силою. Он вез домой готовое решение. Он решил во всем признаться Тоне, вымолить у нее прощение и больше не встречаться с Ларою.

Правда, тут не всё было гладко. Осталось, как ему теперь казалось, недостаточно ясным, что с Ларою он порывает навсегда, на века вечные. Он объявил ей сегодня утром о желании во всем открыться Тоне и о невозможности их дальнейших встреч, но теперь у него было такое чувство, будто сказал он это ей слишком смягченно, недостаточно решительно.

Ларисе Федоровне не хотелось огорчать Юрия Андреевича тяжелыми сценами. Она понимала, как он мучится и без того. Она постаралась выслушать его новость как можно спокойнее. Их объяснение происходило в пустой, необжитой Ларисой Федоровной комнате прежних хозяев, выходявшей на Купеческую. По Лариным щекам текли неосязаемые, несознаваемые ею слезы, как вода шедшего в это время дождя по лицам каменных статуй напротив, на доме с фигурами. Она искренне, без напускного великодушия, тихо приговаривала: «Делай, как тебе лучше, не считайся со мною. Я всё переборю». И не знала, что плачет, и не утирала слез.

При мысли о том, что Лариса Федоровна поняла его превратно и что он оставил ее в заблуждении, с ложными надеждами, он готов был повернуть и скакать обратно в город, чтобы договорить оставшееся недосказанным, а главное, распротиться с ней гораздо горячее и нежнее, в большем соответствии с тем, чем должно быть настоящее расставание на всю жизнь, навеки. Он едва пересилил себя и продолжал путь.

По мере того, как низилось солнце, лес наполнялся холодом и темнотой. В нем запахло лиственной сыростью распаренного веника, как при входе в предбанник. В воздухе, словно поплавки на воде, недвижно распластались висячие рои комаров, тонко нывшие в унисон, все на одной ноте. Юрий Андреевич без числа хлопал их на лбу и

шее, и звучным шлепкам ладони по потному телу удивительно отвечали остальные звуки верховой езды: скрип седельных ремней, тяжеловесные удары копыт наотлет, вразмашку, по чмокающей грязи, и сухие лопающиеся залпы, выпускаемые конскими кишками. Вдруг вдали, где застрял закат, зашелкал соловей.

«Очнись! Очнись!» — звал и убеждал он, и это звучало почти как перед Пасхой: «Душе моя, душе моя! Восстани, что спиши!»

Вдруг простейшая мысль осенила Юрия Андреевича. К чему топиться? Он не отступит от слова, которое он дал себе самому. Разоблачение будет сделано. Однако, где сказано, что оно должно произойти сегодня? Еще Тоне ничего не объявлено. Еще не поздно отложить объяснение до следующего раза. Тем временем он еще раз съездит в город. Разговор с Ларой будет доведен до конца, с глубиной и задушевностью, искупающей все страдания. О как хорошо! Как чудно! Как удивительно, что это раньше не пришло ему в голову!

При допущении, что он еще раз увидит Антипову, Юрий Андреевич обезумел от радости. Сердце часто забилося у него. Он всё снова пережил в предвосхищении.

Бревенчатые закоулки окраины, деревянные тротуары. Он идет к ней. Сейчас, в Новосвалочном, пустыри и деревянная часть города кончится, начнется каменная. Домишки пригорода мелькают, проносятся мимо, как страницы быстро перелистываемой книги, не так, как когда их переворачиваешь указательным пальцем, а как когда мякишем большого по их обрезу с треском прогоняешь их все. Дух захватывает! Вот там живет она, в том конце. Под белым просветом к вечеру прояснившегося дождливого неба. Как он любит эти знакомые домики по пути к ней! Так и подхватил бы их с земли на руки и расцеловал! Эти, поперек крыш нахлобученные одноглазые мезонины! Ягодки отраженных в лужах огоньков и лампад! Под той белой полосой дождливого уличного неба. Там он опять получит в дар из рук творца эту богом созданную белую прелесть. Дверь отворит в темное закутанная фигура. И обещание ее близости, сдержанной, холодной, как светлая ночь севера, ничьей, никому не принадлежащей, подкатит навстречу, как первая волна моря, к которому подбегаешь в темноте по песку берега.

Юрий Андреевич бросил поводья, подался вперед с седла, обнял коня за шею, зарыл лицо в его гриве. Приняв эту нежность за обращение ко всей его силе, конь пошел вскачь.

На плавном полете галопа, в промежутке между редкими, еле заметными прикосновениями коня к земле, которая все время отрывалась от его копыт и отлетала назад, Юрий Андреевич, кроме ударов сердца, бушевавшего от радости, слышал еще какие-то крики, которые, как он думал, мерещились ему.

Близкий выстрел оглушил его. Доктор поднял голову, схватившись за поводья, и натянул их. Конь с разбега сделал раскорякой несколько скачков вбок, попятился и стал садиться на круп, собираясь стать на дыбы.

Впереди дорога разделялась надвое. Около нее в лучах зари горела вывеска «Моро и Ветчинкин. Сеялки. Молотилки». Поперек дороги, преграждая ее, стояли три зоруженных всадника. Реалист в форменной фуражке и поддевке, перекрещенной пулеметными лентами, кавалерист в офицерской шинели и кубанке и странный, как маскарадный ряженный, толстяк в стеганых штанах, ватнике и низко надвинутой поповской шляпе с широкими полями.

— Ни с места, товарищ доктор, — ровно и спокойно сказал старший между троими, кавалерист в кубанке. — В случае повиновения гарантируем вам полную невредимость. В противном случае, не прогневайтесь, пристрелим. У нас убит фельдшер в отряде. Принудительно вас мобилизуем, как медицинского работника. Слезьте с лошади

и передайте поводья младшему товарищу. Напоминаю. При малейшей мысли о побеге церемониться не будем.

— Вы сын Микулицына Ливерий, товарищ Лесных?

— Нет, я его начальник связи Каменнодворский.

Часть десятая

НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ

1

Стояли города, села, станки. Город Крестовоздвиженск, станица Омельчино, Пажинск, Тысяцкое, починок Яглинское, Звонарская слобода, станок Вольное, Гуртовщики, Кежемская заимка, станица Казеево, слобода Кутейный посад, село Малый Ермолай.

Тракт пролегал через них, старый-престарый, самый старый в Сибири, старинный почтовый тракт. Он, как хлеб, разрезал города пополам ножом главной улицы, а села пролетал не оборачиваясь, раскидав далеко позади шпалерами выстроившиеся избы, или выгнув их дугой или крюком внезапного поворота.

В далеком прошлом, до прокладки железной дороги через Ходатское, проносились по тракту почтовые тройки. Тянулись в одну сторону обозы с чаями, хлебом и железом фабричной выделки, а в другую прогоняли под конвоем по этапу пешие партии арестантов. Шагали в ногу, все разом позвякивая железом накандальников, пропащие, отчаянные головушки, страшные, как молнии небесные. И леса шумели кругом, темные, непроходимые.

Тракт жил одной семьей. Знались и рождались город с городом, селенье с селеньем. В Ходатском, на его пересечении с железной дорогой были паровозоремонтные мастерские, механические заведения, подсобные железной дороге, мыкала горе гольтьба, скученная в казармах, болела, мерла. Отбывшие каторгу политические ссыльные с техническими познаниями выходили сюда в мастера, оставались тут на поселении.

Вдоль всей этой линии первоначальные Советы давно были свергнуты. Некоторое время держалась власть Сибирского временного правительства, а теперь сменена была по всему краю властью верховного правителя Колчака.

2

На одном из перегонов дорога долго подымалась в гору. Обзор открывавшихся далее все расширялся. Казалось, конца не будет подъему и росту кругозора. И когда лошади и люди уставали и останавливались, чтобы перевести дыхание, подъем кончался. Впереди под дорожный мост бросалась быстрая река Кежма.

За рекой на еще более крутой высоте показывалась кирпичная стена Воздвиженского монастыря. Дорога низом огибала монастырский косогор и в несколько поворотов между задними дворами окраины пробиралась внутрь города.

Там она еще раз захватывала край монастырского владения на главной площади, куда растворялись железные, крашенные в зеленую краску монастырские ворота. Вратную икону на арке входа полу-венком обрамляла надпись золотом: «Радуйся живоносный кресте, благочестия непобедимая победа».

Была зима в исходе, Страстная, конец великого поста. Снег на дорогах чернел, обличая начавшееся таяние, а на крышах был еще бел и нависал плотными высокими шапками.

Мальчишкам, лавившим к звонарям на Воздвиженскую колокольню, дома внизу казались сдвинутыми в кучу маленькими лар-

цами и ковчезцами. К домам подходили величиной в точечку маленькие черные человечки. Некоторых с колокольни узнавали по движениям. Подходившие читали расклеенный по стенам указ Верховного правителя о призыве в армию трех очередных возрастов.

3

Ночь принесла много непредвиденного. Стало тепло, необычно для такого времени. Моросил бисерный дождь, такой воздушный, что казалось, он не достигал земли и дымкой водяной пыли расплывался в воздухе. Но это была видимость. Его теплых, ручьями растекавшихся вод было достаточно, чтобы смыть дочи́ста снег с земли, которая теперь вся чернела, лоснясь, как от пота.

Малорослые яблони, все в почках, чудесным образом перекидывали из садов ветки через заборы на улицу. С них, недружно перестукиваясь, падали капли на деревянные тротуары. Барабанный разнобой их раздавался по всему городу.

Лаял и скулил во дворе фотографии до утра посаженный на цепь щенок Томи́к. Может быть, раздраженная его лаем, на весь город каркала ворона в саду у Галузиных.

В нижней части города купцу Любезнову привезли три телеги клади. Он отказывался ее принять, говоря, что это ошибка и он такого товару никогда не заказывал. Ссылаясь на поздний час, молодцы ломовики просились к нему на ночлег. Купец ругался с ними, гнал их прочь и не отворял им ворот. Перебранка их тоже была слышна во всем городе.

В час седьмой по церковному, а по общему часоисчислению в час ночи, от самого грузного, чуть шевельнувшегося колокола у Воздвиженья отделилась и поплыла, смешиваясь с темною влагой дождя, волна тихого, темного и сладкого гудения. Она оттолкнулась от колокола, как отрывается от берега и тонет, и растворяется в реке отмытая половодьем земляная глыба.

Это была ночь на Великий четверг, день Двенадцати евангелий. В глубине за сетчатую пеленую дождя двинулись и поплыли еле различимые огоньки и озаренные ими лбы, носы, лица. Говеющие проšli к утрене.

Через четверть часа от монастыря слышались приближающиеся шаги по мосткам тротуара. Это возвращалась к себе домой лавочница Галузина с едва начавшейся заутрени. Она шла неровною походкою, то разбегаясь, то останавливаясь, в накиннутом на голову платке и расстегнутой шубе. Ей стало нехорошо в духоте церкви и она вышла на воздух, а теперь стыдилась и сожалела, что не достояла службы и второй год не говеет. Но не в этом была причина ее печали. Днем ее огорчил расклеенный всюду приказ о мобилизации, действию которого подлежал ее бедный дурачок сын Тереша. Она гнала это неудовольствие из головы, но всюду белевший в темноте клоч объявления напоминал ей о нем.

Дом был за углом, рукой подать, но на воле ей было лучше. Ей хотелось побыть на воздухе, ее не тянуло домой, в духоту.

Грустные мысли обуревали ее. Если бы она взялась продумать их вслух по порядку, у нее не хватило бы слов и времени до рассвета. А тут, на улице, эти нерадостные соображения налетали целыми комками, и со всеми ими можно было разделаться в несколько минут, в два-три конца от угла монастыря до угла площади.

Светлый праздник на носу, а в доме ни живой души, все разъехались, оставили ее одну. А что, разве не одну? Конечно, одну. Воспитанница Ксюша не в счет. Да и кто она? Чужая душа потемки. Может, она друг, может, враг, может, тайная соперница. Перешла она в наследство от первого мужнина брака, Власушкина приемная дочь. А может, не приемная, а незаконная? А может, и вовсе не

дочь, а совсем из другой оперы! Разве в мужскую душу влезешь? А впрочем, ничего не скажешь против девушки. Умная, красивая, примерная. Куда умнее дурачка Терешки и отца приемного.

Вот и одна она на пороге Святой, покинули, разлетелись, кто куда.

Муж Власушка вдоль по тракту пустился новобранцам речи говорить, напутствовать призванных на ратный подвиг. А лучше бы, дурак, о родном сыне позаботился, выгородил от смертельной опасности.

Сын Тереша тоже не утерпел, бросился наутек, накануне великого праздника. В Кутейный посад укатил к родне, развлечься, утешиться после перенесенного. Исключили малого из реального. В половине классов по два года высидел без последствий, а в восьмом не пожалели, выперли.

Ах какая тоска! О Господи! Отчего стало так плохо, просто руки опускаются. Всё из рук валится, не хочется жить! Отчего это так сделалось? В том ли сила, что революция? Нет, ах нет! От войны это всё. Перебили на войне весь цвет мужской, и осталась одна гниль никчемная, никудышная.

То ли было в батюшкином доме, у отца подрядчика? Отец был непьющий, грамотный, дом был полная чаша. И две сестры Поля и Оля. И как имена складно сходились, такие же обе они были согласные, под пару красавицы. И плотничьи десятники к отцу ходили, видные, статные, авантажные. Или вдруг вздумали они,— нужды в доме не знали — вздумали шести шерстей шарфы вязать, затейницы. И что же, такие оказались вязальщицы, по всему уезду шарфы славились. И всё, бывало, радовало густотой и стройностью,— церковная служба, танцы, люди, манеры, даром что из простых была семья, мещане, из крестьянского и рабочего звания. И Россия тоже была в девушках, и были у ней настоящие поклонники, настоящие защитники, не чета нынешним. А теперь сошел со всего лоск, одна штатская шваль адвокатская, да жидова день и ночь без устали слова жуёт, словами давитса. Власушка со приятели думает замануть назад золотое старое времячко шампанским и добрыми пожеланиями. Да разве так потерянной любви добиваются? Камни надо ворочать для этого, горы двигать, землю рыть!

4

Галузина уже не раз доходила до привоза, торговой площади Крестовоздвиженска. Отсюда в дом к ней было налево. Но каждый раз она передумывала, поворачивала назад и опять углублялась в прилегавшие к монастырю закоулки.

Привозная площадь была величиной с большое поле. В прежнее время по базарным дням крестьяне уставляли ее всю своими телегами. Одним концом она упиралась в конец Еленинской. Другая сторона по кривой дуге была застроена небольшими домами в один этаж или два. Все они были заняты амбарами, конторами, торговыми помещениями, мастерскими ремесленников.

Здесь, в спокойные времена, бывало, за чтением газеты-копейки восседал на стуле у порога своей широченной, на четыре железных раствора раскидывавшейся двери, грубиян-медведь в очках и длиннополом сюртуке, женоненавистник Брюханов, торговавший кожами, дегтем, колесами, конской сбруей, овсом и сеном.

Здесь на выставке маленького тусклого оконца годами пылилось несколько картонных коробок с парными, убранными лентами и букетиками, свадебными свечами. За оконцем в пустой комнате без мебели и почти без признаков товара, если не считать нескольких наложенных один на другой воцаных кругов, совершались ты-

сячные сделки на мастику, воск и свечи неведомыми доверенными неведомо где проживавшего свечного миллионера.

Здесь в середине уличного ряда находилась большая в три окна колониальная лавка Галузиных. В ней три раза в день подметали щепящийся некрашенный пол спитым чаем, который пили без меры весь день приказчики и хозяин. Здесь молодая хозяйка охотно и часто сживала за кассой. Любимый ее цвет был лиловый, фиолетовый, цвет церковного, особо торжественного облачения, цвет нераспустившейся сирени, цвет лучшего бархатного ее платья, цвет ее столового винного стекла. Цвет счастья, цвет воспоминаний, цвет закатившегося дореволюционного девичества России казался ей тоже светлосиреневым. И она любила сидеть в лавке за кассой, потому что благоухавший крахмалом, сахаром и темнолиловой черносмородинной карамелью в стеклянной банке фиолетовый сумрак помещения подходил под ее излюбленный цвет.

Здесь на углу, рядом с лесным складом стоял старый, рассевшийся на четыре стороны, как подержанный рыдван, двухэтажный дом из серого теса. Он состоял из четырех квартир. В них было два входа, по обоим углам фасада. Левую половину низа занимал аптекарский магазин Залкинда, правую — контора нотариуса. Над аптекарским магазином проживал старый много семейный дамский портной Шмулевич. Против портного, над нотариусом, ютились много квартирантов, о профессиях которых говорили покрывавшие всю входную дверь вывески и таблички. Здесь производилась починка часов и принимал заказы сапожник. Здесь держали фотографию компаньоны Жук и Штродах, здесь помещалась гравировальня Каминского.

Ввиду тесноты переполненной квартиры молодые помощники фотографов, ретушер Сеня Магидсон и студент Блажеин соорудили себе род лаборатории во дворе, в проходной конторке дровяного сарая. Они и сейчас там, повидимому, занимались, судя по злому глазу красного проявительного фонаря, подслеповато мигавшего в оконце конторки. Под этим оконцем и сидел на цепи повизгивавший на всю Еленинскую песик Томка.

«Сбились всем кагалом», — подумала Галузина, проходя мимо серого дома. — «Притон нищеты и грязи». Но тут же она рассудила, что неправ Влас Пахомович в своем юдофобстве. Не велика спица в колеснице эти люди, чтобы что-то значить в судьбах державы. Впрочем, спроси старика Шмулевича, отчего не порядок и смута, изогнется, скривит рожу и скажет, ослабившись: «Лейбочкины штучки».

Ах, но о чем, но о чем она думает, чем забивает голову? Разве в этом дело? В том ли беда? Беда в городах. Не ими Россия держится. Польстившись на образованность, потянулись за городскими и не вытянули. От своего берега отстали, к чужому не пристали.

А, может быть, наоборот, весь грех в невежестве. Ученый сквозь землю видит, обо всем заранее догадается. А мы когда голову снимут, тогда шапки хватимся. Как в темном лесу. Оно положим не сладко теперь и образованным. Вон из городов погнало бескхлебе. Ну вот тут и разберись. Сам чорт ногу сломит.

А все-таки то ли дело наша родня деревенская? Селитвины, Шелабурины, Памфил Палых, братья Нестор и Панкрат Модых? Своя рука владыка, себе головы, хозяева. Дворы по тракту новые, залюбуешься. Десятин по пятнадцать засева у каждого, лошади, овцы, коровы, свиньи. Хлеба запасено вперед года на три. Инвентарь — загляденье. Уборочные машины. Перед ними Колчак лебезит, к себе зазывает, комиссары в лесное ополчение сманивают. С войны пришли в Георгиях, и сразу нарасхват в инструктора. Хушь ты с погонами, хушь без погон. Коли ты человек знающий, везде на тебя спрос. Не пропадешь.

Однако пора домой. Просто неприлично так долго женщине разгуливать. Добро бы у себя в саду. Да там развезло, увязнешь в грязи. Как будто маленько отлегло.

И окончательно запутавшись в рассуждениях и потеряв их нить, Галузина подошла к дому. Но перед тем как переступить его порог, она в минуту топтания перед крыльцом еще охватила мысленным взором много всякой всячины.

Она вспомнила теперешних верховодов в Ходатском, о которых имела близкое представление, политических ссыльных из столиц, Тиверзина, Антипова, анархиста Вдовиченко-Черное знамя, здешнего слесаря Горшеню Бешеного. Всё это были люди себе на уме. Много они на своем веку перебаламутили, что-то верно опять замышляют, готовят. Без этого не могут. Жизнь провели при машинах и сами безжалостные, холодные, как машины. Ходят в коротких, поверх фуфаяк, пиджаках, папиросы курят в костяных мундштуках, чтобы чем не заразиться, пьют кипяченую воду. Ничего не выйдут у Власушки, эти всё перевернут по-своему, всегда поставят на своем.

И она задумалась о себе. Она знала, что она женщина славная и самобытная, хорошо сохранившаяся и умная, не плохой человек. Ни одно из этих качеств не встречало признания в этой захолустной дыре, да и нигде, может быть. И непристойные куплеты о дуре Сентетюрихе, известные по всему Зауралью, из которых можно было привести только начальные строчки:

Сентетюриха телегу продала,
На те деньги балалайку завела,

а дальше шли скабрзности, в Крестовоздвиженске пелись, как она подозревала, с намеком на нее.

И, горько вздохнув, она вошла в дом.

5

Не останавливаясь в передней, она прошла в шубе к себе в спальню. Окна комнаты выходили в сад. Теперь, ночью, нагромождения теней перед окном внутри, и за окном снаружи, почти повторяли друг друга. Обвисавшие мешки оконных драпировок были почти как обвисающие мешки деревьев на дворе, голых и черных, с неясными очертаниями. Тафтяную ночную тьму кончавшейся зимы в саду согревал пробившийся сквозь землю чернолиловый жар надвинувшейся весны. В комнате приблизительно в такое же сочетание вступали два сходных начала, и пыльную духоту плохо выбитых занавесей смягчал и скрашивал темнофиолетовый жар приближающегося праздника.

Богородица на иконе выпрастывала из серебряной ризы оклада узкие, кверху обращенные, смуглые ладони. Она держала в каждой как бы по две начальных и конечных греческих буквы своего византийского наименования: метёр теу, Матерь Божия. Вложенная в золотой подлампадик темная, как чернильница, лампада гранатового стекла разбрасывала по ковру спальни звездообразное, зубчиками чашки расщепленное мерцание.

Скидывая платок и шубу, Галузина неловко повернулась и ее опять кольнуло в бок и стало подпирать лопатку. Она вскрикнула, испугалась, стала лепетать: «Великое заступление печальным, Богородице чистая, скорая помощница, миру покров», — и заплакала. Потом, выждав, когда боль улеглась, стала раздеваться. Задние крючки воротника и на спинке лифа выскальзывали из-под ее рук и зарывались в морщинки дымчатой ткани. Она с трудом нашаривала их.

В комнату вошла разбуженная ее приходом воспитанница Ксюша.

— Что же вы в потемках, маменька? Хотите, я лампу принесу?

— Не надо. И так видно.

— Мамочка Ольга Ниловна, дайте я расстегну. Не надо мучиться.

— Не слушаются пальцы, хоть плачь. Не хватило ума у порхатого крючки пришить по-человечески, слепая курица. Спороть донизу и всей кромкой в рожу.

— Хорошо пели у Воздвиженья. Ночь тихая. Сюда доносило воздухом.

— Пели-то хорошо. Да мне, мать моя, плохо. Опять колотье и тут и тут. Везде. Вот какой грех. Не знаю, что делать.

— Гомеопат Стыдобский вам помогал.

— Всегда советы неисполнимые. Коновал твой гомеопат оказался. Ни в дудочку, ни в сопелочку. Это во-первых. А во-вторых, уехал он. Уехал, уехал. Да не он один. Перед праздником все кинулись из города. Землетрясение ли какое предвидится?

— Ну тогда пленный доктор венгерский хорошо вас пользовал.

— Опять ерунда с горохом. Говорю тебе, никого не осталось, все разбрелись. Очутился Керени Лайош с другими мадьярами за демаркационной линией. Служить заставили голубчика. Взяли в Красную армию.

— Ведь это у вас одна мнительность. Сердечный невроз. Простое внушение народное здесь чудеса производит. Помните, солдатка шептунья вас с успехом заговаривала. Как рукой снимало. Забыла, как ее, солдатку. Имя забыла.

— Нет, ты положительно считаешь меня темною душой. Еще чего доброго про меня за глаза Сентетюриху поешь.

— Побойтесь Бога! Грех вам, маменька. Лучше напомните, как солдатку зовут. На языке вертится. Не успокоюсь, пока не вспомню.

— А у нее больше имен, чем юбок. Не знаю, какое тебе. Кубарихой ее зовут и Медведихой, и Злыдарихой. И еще прозвищ с десятком. Нет поблизости и ее. Кончились гастролы, ищи ветра в поле. Заперли рабу Божию в Кежемскую тюрьму. За вытравление плода и порошки какие-то. А она, вишь, чем в остроге скучать, из тюрьмы дала драла куда-то на Дальний Восток. Я ведь тебе говорю, все разбежались. Влас Пахомыч, Тереша, тетя Поля сердце податливое. Честных женщин одни мы с тобой две дуры во всем городе, разве я шучу. И никакой врачебной помощи. Случись что, и конец, никого не докличешься. Говорили, знаменитость из Москвы в Юрятине, профессор, сын самоубийцы купца сибирского. Пока я раздумывала выписать, двадцать красных кордонов на дороге наставили, чихнуть некуда. А теперь о другом. Ступай спать и я лечь попробую. Тебе студент Блажеин голову кружит. Зачем отпираться. Всё равно не ухоронишься, покраснела как рак. Трудится твой студент несчастный над карточками во святую ночь, карточки мои проявляет и печатает. Сами не спят и другим спать не дают. Томик у них на весь город заливается. И ворона стерва раскаркалась у нас на яблоне, видно опять не уснуть мне всю ночь. Да что ты, право, обижаешься, недотрога ты этакая? На то и студенты, чтобы девушкам нравиться.

6

— Что это там собака надрывается? Надо бы посмотреть, в чем дело. Даром она лаять не станет. Погоди, Лидочка, дуй тебя в хвост, помолчи минуту. Надо выяснить обстановку. Неровён час, ащеулы нагрянут. Ты не уходи, Устин. И ты стой тут, Сивоблюй. Без вас обойдется.

Не слышавший просьб, чтобы он повременил и остановился, представитель из центра продолжал устало ораторской скороговоркой:

— Существующая в Сибири буржуазно-военная власть политической грабежа, поборов, насилия, расстрелов и пыток должна открыть глаза заблуждающимся. Она враждебна не только рабочему классу, но по сути вещей и всему трудовому крестьянству. Сибирское и Уральское трудовое крестьянство должно понять, что только в союзе с городским пролетариатом и солдатами, в союзе с киргизской и бурятской беднотой...

Наконец, он расслышал, что его обрывают, остановился, утер платком потное лицо, утомленно опустил опухшие веки, закрыл глаза.

Близстоявшие к нему обращались вполголоса:

— Передохни маненько. Водицы испей.

Беспокоившемуся партизанскому главарю сообщали:

— Да чего ты волнуешься? Всё в порядке. Сигнальный фонарик на окне. Сторожевой пост, говоря картинно, пожирает глазами пространство. Я полагаю, можно возобновить слово по докладу. Говорите, товарищ Лидочка.

Внутренность большого сарая была освобождена от дров. В очищенной части происходило нелегальное собрание. Ширмой собравшимся служила дровяная кладь до потолка, отгораживавшая эту порожнюю половину от проходной конторки и входа. В случае опасности собравшимся был обеспечен спуск под пол и выход из-под земли на глухие задворки Константиновского тупика за монастырской стеною.

Докладчик, в черной коленкоровой шапочке, прикрывавшей его лысину во всю голову, с матовым бледнооливковым лицом и черной бородою до ушей, страдал нервно испариной и всё время обливался потом. Он жадно разжигал недокуренный окурок о горячую воздушную струю горевшей на столе керосиновой лампы, и низко нагибался к разбросанным на столе бумажкам. Нервно и быстро бегая по ним близорукими глазками и точно их обнюхивая, он продолжал тусклым и усталым голосом:

— Этот союз городской и деревенской бедноты осуществим только через советы. Волею неволей сибирское крестьянство будет теперь стремиться к тому же, за что уже давно начал борьбу сибирский рабочий. Их общая цель есть свержение ненавистного народу самодержавия адмиралов и атаманов и установление власти советов крестьян и солдат посредством всенародного вооруженного восстания. При этом в борьбе с вооруженными до зубов офицерско-казачьими наемниками буржуазии восставшим придется вести правильную фронтовую войну, упорную и продолжительную.

Опять он остановился, утер пот, закрыл глаза. Противно регламенту кто-то встал, поднял руку, пожелал вставить замечание.

Партизанский главарь, точнее военачальник Кежемского объединения партизан Зауралья, сидел перед самым носом докладчика в вызывающе-небрежной позе, и грубо перебивал его, не выказывая ему никакого уважения. С трудом верилось, чтобы такой молодой военный, почти мальчик, командовал целыми армиями и соединениями, и его слушались и перед ним благоговели. Он сидел, кутая руки и ноги в борта кавалерийской шинели. Сброшенный шинельный верх и рукава, перекиннутые на спинку стула, открывали туловище в гимнастерке с темными следами споротых прапорщицких погон.

По его бокам стояли два безмолвных молодца из его охраны, однолетки ему, в белых, успевших посереть овчинных коротайках с курчавой мерлушковой выпушкой. Их каменные красивые лица ничего не выражали, кроме слепой преданности начальнику и готовности ради него на что угодно. Они оставались безучастными к собранию, затронутым на нем вопросам, ходу прений, не говорили и не улыбались.

Кроме этих людей, в сарае было еще человек десять-пятнадцать народу. Одни стояли, другие сидели на полу, вытянув ноги в длину или задрав кверху колени и прислонившись к стене и ее кругло выступающим проконопаченным бревнам.

Для почетных гостей были расставлены стулья. Их занимали три-четыре человека рабочих, старые участники первой революции, среди них угрюмый, изменившийся Тиверзин и всегда ему поддакивавший друг его, старик Антипов. Сопричисленные к божественному разряду, к ногам которого революция положила все дары свои и жертвы, они сидели молчаливыми, строгими истуканами, из которых политическая спесь вытравила все живое, человеческое.

Были еще в сарае фигуры, достойные внимания. Не зная ни минуты покоя, вставал с полу и садился на пол, расхаживал и останавливался посреди сарая столп русского анархизма Вдовиченко-Черное знамя, толстяк и великан с крупной головой, крупным ртом и лвиною гривой, из офицеров чуть ли не последней Русско-Турецкой войны и, во всяком случае,— Русско-Японской, вечно поглощенный своими бреднями мечтатель.

По причине беспредельного добродушия и исполинского роста, который мешал ему замечать явления неравного и меньшего размера, он без достаточного внимания относился к происходившему и, понимая всё превратно, принимал противные мнения за свои собственные и со всеми соглашался.

Рядом с его местом на полу сидел его знакомый, лесной охотник и зверолов Свирид. Хотя Свирид не крестьянствовал, его земляная, черносошная сущность проглядывала сквозь разрез темной суконной рубахи, которую он сгребал в комок вместе с крестиком у ворота и скреб и возил ею по телу, почесывая грудь. Это был мужик полубурят, душевный и неграмотный, с волосами узкими косицами, редкими усами и еще более редкой бородой в несколько волосков. Монгольский склад старил его лицо, всё время морщившееся сочувственной улыбкой.

Докладчик, обезжавший Сибирь с Военною инструкцией Центрального комитета, витал мыслями в ширях пространств, которые ему еще предстояло охватить. К большинству присутствовавших на собрании он относился безразлично. Но, революционер и народолобец от молодых ногтей, он с обожанием смотрел на сидевшего против него юного полковода. Он не только прощал мальчику все его грубости, представлявшиеся старику голосом почвенной подспудной революционности, но относился с восхищением к его развязным выпадам, как может нравиться влюбленной женщине наглая бесцеремонность ее повелителя.

Партизанский вождь был сын Микулицына Ливерий, докладчик из центра — бывший трудовик-кооператор, в прошлом примыкавший к социалистам революционерам, Костоед-Амурский. В последнее время он пересмотрел свои позиции, признал ошибочность своей платформы, в нескольких развернутых заявлениях принес покаяние, и не только был принят в коммунистическую партию, но вскоре по вступлении в нее, послан на такую ответственную работу.

Эту работу поручили ему, человеку отнюдь не военному, в уважение к его революционному стажу, к его тюремным мытарствам и отсидам, а также из предположения, что ему, как бывшему кооператору, должны быть хорошо известны настроения крестьянских масс в охваченной восстаниями Западной Сибири. А в данном вопросе это предполагаемое знакомство было важнее военных знаний.

Перемена политических убеждений сделала Костоеда неузнаваемым. Она изменила его внешность, движения, манеры. Никто не помнил, чтобы в прежние времена он когда-либо был лыс и бородат. Но может быть, все это было накладное? Партия предписала ему стро-

гую зашифрованность. Подпольные его клички были Берендей и товарищ Лидочка.

Когда улегся шум, вызванный несвоевременным заявлением Вдовиченки о его согласии с зачитанными пунктами инструкции, Костоед продолжал:

— В целях возможно полного охвата нарастающего движения крестьянских масс, необходимо немедленно установить связь со всеми партизанскими отрядами, находящимися в районе губернского комитета.

Далее Костоед заговорил об устройстве явок, паролей, шифров и способов сообщения. Затем опять он перешел к подробностям.

— Сообщить отрядам, в каких пунктах имеются оружейные, обмундировочные и продовольственные склады белых учреждений и организаций, где хранятся крупные денежные средства и система их хранения.

Надобно детально, во всех подробностях разработать вопросы о внутреннем устройстве отрядов, о начальниках, о военно-товарищеской дисциплине, о конспирации, о связи отрядов с внешним миром, об отношении к местному населению, о полевом военно-революционном суде, о подрывной тактике на территории противника, как-то: о разрушении мостов, железнодорожных линий, парходов, барж, станций, мастерских с их техническими приспособлениями, телеграфа, шахт, предметов продовольствия.

Ливерий терпел-терпел и не выдержал. Всё это казалось ему не относящимся к делу дилетантским бредом. Он сказал:

— Прекрасная лекция. Намотаю на ус. Видимо, всё это надо принять без возражения, чтобы не лишиться опоры Красной армии.

— Разумеется.

— А что же мне делать, распрекрасная моя Лидочка, с детскою твоей шпаргалкою, когда, дуё тебя в хвост, силы мои, в составе трех полков, в том числе артиллерии и конницы, давно в походе и великолепно бьют противника?

«Какая прелесть! Какая сила!» — думал Костоед.

Спорящих перебил Тиверзин. Ему не нравился неуважительный тон Ливерия. Он сказал:

— Извините, товарищ докладчик. Я не уверен. Может быть, я неправильно записал один из пунктов инструкции. Я зачту его. Я хотел бы удостовериться: «Весьма желательно привлечение в комитет старых фронтовиков, бывших во время революции на фронте и состоявших в солдатских организациях. Желательно иметь в составе комитета одного или двух унтер-офицеров и военного техника». Товарищ Костоед, это правильно записано?

— Правильно. Слово в слово. Правильно.

— В таком случае позвольте заметить следующее. Этот пункт о военных специалистах беспокоит меня. Мы, рабочие, участники революции девятьсот пятого года не привыкли верить армейщине. Всегда пролезает с ней контрреволюция.

Кругом раздавались голоса:

— Довольно! Резолюцию! Резолюцию! Пора расходиться. Поздно.

— Я согласен с мнением большинства, — ввернул громыхающим басом Вдовиченко. — Выражаясь поэтически, вот именно. Гражданские институты должны расти снизу, на демократических основаниях, как посаженные в землю и принявшие древесные отводки. Их нельзя вбивать сверху, как столбы частокола. В этом была ошибка яacobинской диктатуры, отчего конвент и был раздавлен термидорианцами.

— Это как божий день, — поддержал приятеля по скитаниям Свирид, — это ребенок малый понимает. Надо было раньше думать, а теперь поздно. Теперь наше дело воевать да переть напролом. Крях-

ти да гнишь. А то что ж это будет, размахались и на попят? Сам сварил, сам и кушай. Сам полез в воду, не кричи — утоп.

— Резолюцию! Резолюцию! — требовали со всех сторон. Еще немного поговорили, со всё менее наблюдающейся связью, кто в лес, кто по дрова, и на рассвете закрыли собрание. Расходились с предосторожностями поодиночке.

7

Было одно живописное место на тракте. Расположенные по крутому скату разделенные быстрой речкой Пажинкой почти соприкасалась: спускающаяся сверху деревня Кутейный посад и пестревшее под нею село Малый Ермолай. В Кутейном провожали забранных на службу новобранцев, в Малом Ермолае — под председательством полковника Штреше продолжала работу приемочная комиссия, свидетельствуя, после пасхального перерыва, подлежащую призыву молодежь Малоермолаевской и нескольких прилегавших волостей. По случаю набора в селе была конная милиция и казаки.

Был третий день не по времени поздней Пасхи и не по времени ранней весны, тихий и теплый. Столы с угощением для снаряжаемых рекрутов стояли в Кутейном на улице, под открытым небом, с краю тракта, чтобы не мешать езде. Их составили вместе не совсем в линию, и они длинной неправильной кишкой вытягивались под белыми, спускавшимися до земли скатертями.

Новобранцев угощали в складчину. Основой угощения были остатки пасхального стола, два копченых окорока, несколько куличей, две-три пасхи. Во всю длину столов стояли миски с солеными грибами, огурцами и квашеной капустой, тарелки своего, крупно нарезанного деревенского хлеба, широкие блюда крашенных, высокою горкою выложенных яиц. В их окраске преобладали розовые и голубые.

Наколупанной яичной скорлупой, голубой, розовой и с изнанки — белой, было намусорено на траве около столов. Голубого и розового цвета были высовывавшиеся из-под пиджаков рубашки на парнях. Голубого и розового цвета — платья девушек. Голубого цвета было небо. Розового — облака, плывшие по небу так медленно и стройно, словно небо плыло вместе с ними.

Розового цвета была подпоясанная семишолковым кушаком рубашка на Власе Пахомовиче Галузине, когда он бегом, дробно стуча каблуками сапог и выкидывая ногами направо-налево, сбегал с высокой лесенки Пафнуткинского крыльца к столам, — дом Пафнуткиных стоял над столами на горке, — и начал:

— Этот стакан народного самогона я заместо шампанского опустошаю за вас, ребяташки. Исполать вам и многая лета, отъезжающие молодые люди! Господа новобранцы! Я желаю проздравить вас еще во многих других моментах и отношениях. Прошу внимания. Крестный путь, который расстилается перед вами дальнею дорогой, грудью стать на защиту родины от насильников, заливших поля родины братоубийственной кровью. Народ лелеял бескровно обсудить завоевания революции, но как партия большевиков будучи слуги иностранного капитала, его заветная мечта, Учредительное собрание, разогнано грубою силою штыка и кровь льется беззащитною рекою. Молодые отъезжающие люди! Выше подымите поруганную честь русского оружия, как будучи в долгу перед нашими честными союзниками, мы покрыли себя позором, наблюдая вслед за красными опять нагло подымающую голову Германию и Австрию. С нами Бог, ребяташки, — еще говорил Галузин, а уже крики ура и требования качать Власа Пахомовича заглушали его слова. Он поднес стакан к губам и стал медленными глотками пить сивушную, плохо очищенную жидкость. Напиток не доставлял ему удовольствия. Он привык к виноградным винам более

изысканных букетов. Но сознание приносимой общественной жертвы преисполняло его чувством удовлетворения.

— Орел у тебя родитель. Экий зверь речи отжаривать! Что твой думский Милюков какой-нибудь. Ей Богу,— полупьяным языком среди поднявшейся пьяной многоголосицы нахваливал Гошка Рябых своему дружку и соседу за столом, Терентию Галузину, его папашу. — Право слово, орел. Видно не зря старается. Тебя хочет языком от солдатчины отхлопотать.

— Что ты, Гошка! Посовестился бы. Выдумает тоже, «отхлопотать». Подадут повестку в один день с тобой, вот и отхлопочет. В одну часть попадем. Из реального теперь выставили, сволочи. Матушка убивается. Не попасть, чего доброго, в вольноперы. В рядовые пошлют. А папаша, действительно, насчет речей парадных, и не говори. Мастер. Главная вещь, откуда? Природное. Никакого систематического образования.

— Слышал про Саньку Пафнуткина?

— Слышал. Будто правда это такая зараза?

— На всю жизнь. Сухоткой кончит. Сам виноват. Предупреждали, не ходи. Главная вещь, с кем спутался.

— Что же с ним теперь будет?

— Трагедия. Хотел застрелиться. Нынче на комиссии в Ермолае осматривают, должно возьмут. Пойду, говорит, в партизаны. Отомщу за язвы общества.

— Ты слышь, Гошка. Вот ты говоришь, заразиться. А ежели к им не ходить, можно другим заболеть.

— Я знаю про что ты. Ты, видать, этим занимаешься. Это не болезнь, а тайный порок.

— Я те в морду дам, Гошка, за такие слова. Не смей обижать товарища, врун паршивый!

— Пошутил я, утихомирся. Я что тебе хотел сказать. Я в Пажинске разговлялся. В Пажинске проезжий лекцию читал «Раскрепощение личности». Очень интересно. Мне эта штука нравится. Я, мать твою, в анархисты запишусь. Сила, говорит, внутри нас. Пол, говорит, и характер, это, говорит, пробуждение животного электричества. А? Такой вундеркинт. Но я здорово наклюкался. И орут кругом не разбери бери что, оглохнешь. Не могу больше, Терешка, замолчи. Я говорю, сучье вымя, маменькин передник, заткнись.

— Ты мне, Гошка, только вот что скажи. Еще я про социализм не все слова знаю. К примеру, саботажник. Какое это выражение? К чему бы оно?

— Я хоша по этим словам профессор, ну как я тебе, Терешка, сказал, отстань, я пьян. Саботажник это кто с другим из одной шайки. Раз сказано соватажник, стало быть ты с ним из одной ватаги. Понял, балда?

— Я так и думал, что слово ругательное. А насчет электрической силы ты правильно. Я по объявлению электрический пояс из Петербурга надумал выписать. Для поднятия деятельности. Наложным платежом. А тут вдруг новый переворот. Не до поясов.

Терентий не договорил. Гул пьяных голосов заглушил громозвучный раскат недалекого взрыва. Шум за столом на мгновение прекратился. Через минуту он возобновился с еще более беспорядочной силою. Часть сидевших повскакала с мест. Кто потверже, устояли на ногах. Другие, шатаясь, хотели отбрести в сторону, но не выдержали и, повалившись под стол, тут же захрапели. Завизжали женщины. Начался переполох.

Влас Пахомович бросал взгляды по сторонам в поисках виновника. Вначале он думал, что бабахнуло где-то в Кутейном, совсем рядом, может быть, даже недалеко от столов. Шея его напряжлась, лицо побагровело, он заорал во все горло:

— Это какой Иуда затесавший в наши ряды безобразничает? Это какой материн сын тут гранатами балуется? Чей бы он ни объявился, хушь мой собственный, задушу гадину! Не потерпим, граждане, такие шутки шутить! Требую учинить облаву. Оцепим деревню Кутейный посад! Изловим провоката! Не дадим уйтить суке!

Вначале его слушали. Потом внимание отвлечено было столбом черного дыма, медленно поднимавшегося к небу из Волостного правления в Малом Ермолае. Все побежали на обрыв посмотреть, что там делается.

Из горящего Ермолаевского Волостного правления выбежало несколько раздетых новобранцев, один совсем босой и голый в едва натянутых штанах, и полковник Штрезе с другими военными, производившими приемочный осмотр и браковку. По селу верхами, замахиваясь нагайками и вытягивая тела и руки на вытягивающихся лошадях, точно на извивающихся змеях, метались из стороны в сторону казаки и милиционеры. Кого-то искали, кого-то ловили. Множество народа бежало по дороге в Кутейный. Вдогонку бегущим на Ермолаевской колокольне дробно и тревожно забили в набат.

События развивались дальше со страшной быстротой. В сумерки, продолжая свои розыски, Штрезе с казаками поднялся из села в соседний Кутейный. Окружив деревню дозорами, стали обыскивать каждый дом, каждую усадьбу.

К этому времени половина чествуемых были готовы и, перепившись до положения риз, спали непробудным сном, привалясь головами к краям столов или свалившись под них наземь. Когда стало известно, что в деревню пришла милиция, было уже темно.

Несколько ребят кинулись от милиции наутек по деревенским задач и, поторапливая друг друга пинками и толчками, залезли под не доходивший до земли заплот первого попавшегося амбара. В темноте нельзя было разобрать, чей он, но, судя по запаху рыбы и кerosина, это была подызбица потребилочки.

У прятавшихся не было ничего на совести. Было ошибкой, что они хоронились. Большинство сделало это впопыхах, с пьяных глаз, сдуру. У некоторых были знакомства, которые казались им предосудительными и могли, как они думали, погубить их. Теперь всё ведь получало политическую окраску. Озорство и хулиганство в советской полиции оценивалось как признак черносотенства, в полсе белогвардейской буяны казались большевиками.

Оказалось, сунувшихся под избу ребят предупредили. Пространство между землей и полом амбара было полно народу. Здесь пряталось несколько человек Кутейниковских и Ермолаевских. Первые были мертвецки пьяны. Часть их храпела со стонущими подголосками, скрежеща зубами и подвывая, других тошнило и рвало. Под амбаром была тьма хоть глаз выколи, духота и вонища. Забравшиеся последними завалили изнутри отверстие, через которое они пролезли, землю и камнями, чтобы дыра их не выдавала. Скоро храп и стоны захмелевших прекратились совершенно. Наступила полная тишина. Все спали спокойно. Только в одном углу слышался тихий шопот особенно неугомонных, на смерть перепуганного Терентия Галузина и Ермолаевского кулачного драчуна Коськи Нехваленых.

— Тише ори, сука, всех погубишь, чорт сопливый. Слышишь, Штрезенские рыщут — шастают. С околицы свернули, идут по ряду, скоро тут будут. Вот они. Замри, не дхни, удавлю! — Ну, твое счастье, — далеко. Прошли мимо. Кой чорт тебя сюда понес? И он, балда, туда же, прятаться! Кто бы тебя пальцем тронул?

— Слышу я, Гошка орет, — хоронись, лахудра. Я и залез.

— Гошка другое дело. Рябых вся семья на примете, неблагонадежные. У них родня в Ходатском. Мастеровщина, рабочая косточка. Да не дергайся ты, дуrolом ты этакий, лежи спокойно. Тут по сторонам куч понаклали и наблевано. Двинешься, сам вымажешься

и меня дерьмом измажешь. Не слышишь что ли, воняет. Штрезе от чего по деревне носится? Пажинских ищет. Пришлых.

— Как, Коська, это всё подеялось? С чего началось?

— Из-за Саньки весь сыр-бор, из-за Саньки Пафнуткина. Стоим в линию голые свидетельствоваться. Саньке пора, Санькина очередь. Не раздевается. Санька был выпивши, пришел в присутствии нетрезвый. Писарь ему замечание. Раздевайтесь, говорит. Вежливо. Саньке «вы» говорит. Военный писарь. А Санька ему эдак грубо: Не разде- нусь. Не желаю части тела всем показывать. Быдто ему совестно. И пододвигается боком к писарю, вроде как развернется и в челюсть. Да. И что же ты думаешь. Никто моргнуть не успел, нагибается Санька, хватъ столик канцелярский за ножку и со всем, что на столе, с чернильницей, с военными списками на пол! Из дверей правления Штрезе: «Я, кричит, не потерплю бесчинства, я вам покажу бескровную революцию и неуважение к закону в присутственном месте. Кто зачинщик?»

А Санька к окну. «Караул, кричит, разбирай одежду! Конец нам тут, товарищи!» Я — за одежей, на бегу оделся и к Саньке. Вышиб Санька кулаком стекло и фьютъ на улицу, лови ветер в поле. И я за ним. И еще какие-то. И давай бог ноги. А уже за нами улюлю, пого- ня. А спроси ты меня, из-за чего это все? Никто ничего не поймет.

— А бомба?

— Чего бомба?

— А кто бомбу бросил? Ну, не бомбу,— гранату?

— Господи, да разве это мы?

— А кто же?

— А почему я знаю. Кто-то другой. Видит, суматоха, дай, думает, под шумок волость взорву. На других, мол, подумают. Кто-нибудь политический. Политических, Пажинских, полно ведь тут. Тише. Заткнись. Голоса. Слышишь, Штрезенские назад идут. Ну, пропали. Замри, говорю.

Голоса приближались. Скрипели сапоги, звенели шпоры.

— Не спорьте. Меня не проведешь. Не из таковых. Где-то определенно разговаривали,— раздавался начальственный, всеотчетливый, петербургский голос полковника.

— Могло почудиться, ваше превосходительство,— урезонивал его малоермолаевский сельский староста, рыбпромышленник старик Отвяжистин.— А что удивительного, что разговоры, коли деревня. Не кладбище. Може где и разговаривали. В домах не твари бессло- весные. А може кого и домовой во сне душит,

— Но-но! Я вам покажу юродствовать, прикидываться казанской сиротой! Домовой! Больно вы тут распустились. Вот доумничае- тесь до международной, тогда поздно будет. Домовой!

— Помилуйте, ваше превосходительство, господин полковник! Какая тут международная! Олухи еловые, непроезжая темь. В ста- рых требниках спотыкаются из пятого в десятое. Куда им рево- люция.

— Так вы все говорите до первой улики. Осмотреть помеще- ние кооператива сверху донизу. Перетряхнуть все лари, заглянуть под прилавки. Обыскать прилегающие строения.

— Слушаемся, ваше превосходительство.

— Пафнуткина, Рябых, Нехваленых живыми или мертвыми. Хоть со дна морского. И Галузинского пащенка. Это ничего, что па- паша патриотические речи произносит, зубы заговаривает. Наоборот. Это не усыпит нас. Раз лавочник ораторствует, значит дело не ла- дно. Это подозрительно. Это противно природе. По негласным све- дениям у них на дворе в Крестовоздвиженске политических пря- чут, устраивают тайные собрания. Изловить мальчишку. Я еще не решил, что с ним сделаю, но если что откроется, вздерну без сожа- ления остальным в назидание.

Обыскивавшие двинулись дальше. Когда они отошли довольно далеко, Коська Нехваленых спросил помертвевшего Терешку Галузина:

— Слышал?

— Да,— не своим голосом прошептал тот.

— Теперь нам с тобой, с Санькой, с Гошкой в лес одна дорога. Я не говорю, навсегда. Покамест образумятся. А когда опомнятся, тогда видно будет. Может, воротимся.

Часть одиннадцатая

ЛЕСНОЕ ВОИНСТВО

1

Юрий Андреевич второй год пропадал в плену у партизан. Границы этой неволи были очень неотчетливы. Место пленения Юрия Андреевича не было обнесено оградой. Его не стерегли, не наблюдали за ним. Войско партизан все время передвигалось. Юрий Андреевич совершал переходы вместе с ним. Это войско не отделялось, не отгораживалось от остального народа, через поселения и области которого оно двигалось. Оно смешивалось с ним, растворялось в нем.

Казалось, этой независимости, этого плена не существует, доктор на свободе, и только не умеет воспользоваться ей. Зависимость доктора, его плен ничем не отличались от других видов принуждения в жизни, таких же незримых и неосознаемых, которые тоже кажутся чем-то несуществующим, химерой и выдумкой. Несмотря на отсутствие оков, цепей и стражи, доктор был вынужден подчиняться своей несвободе, с виду как бы воображаемой.

Три попытки уйти от партизан кончились его поимкой. Они сошли ему даром, но это была игра с огнем. Больше он их не повторял.

Ему мироволил партизанский начальник Ливерий Микулицын, клал его ночевать в свою палатку, любил его общество. Юрий Андреевич тяготился этой навязанной близостью.

2

Это был период почти непрерывного отхода партизан на восток. Временами это перемещение являлось частью общего наступательного плана при оттеснении Колчака из Западной Сибири. Временами, при заходе белых партизанам в тыл и попытке их окружения, движение в том же направлении превращалось в отступление. Доктор долго не мог постигнуть этой премудрости.

Городишки и села по тракту, чаще всего параллельно которому, а иногда и по которому совершалось это отхождение, были разные, смотря по переменам военного счастья, белые и красные. Редко по внешнему их виду можно было определить, какая в них власть.

В момент прохождения через эти городки и селения крестьянского ополчения, главным в них становилась именно эта тянущаяся через них армия. Дома по обеим сторонам дороги словно вбирались и уходили в землю, а месящие грязь всадники, лошади, пушки и толпящиеся рослые стрелки в скатках, казалось, вырастали на дороге выше домов.

Однажды в одном таком городке доктор принимал захваченный в виде военной добычи склад английских медикаментов, брошенный при отступлении офицерским каппелевским формированием.

Был темный дождливый день в две краски. Всё освещенное ка-

залось белым, всё неосвященное — черным. И на душе был такой же мрак упрощения, без смягчающих переходов и полутеней.

В конец разбитая частыми военными передвижениями дорога представляла поток черной слякоти, через который не везде можно было перейти вброд. Улицу переходили в нескольких, очень удаленных друг от друга местах, к которым по обеим сторонам приходилось делать большие обходы. В таких условиях встретил доктор в Пажинске былую железнодорожную попутчицу Пелагею Тягунову.

Она узнала его первая. Он не сразу установил, кто эта женщина со знакомым лицом, бросающая ему через дорогу, как с одной набережной канала на другую, двойственные взгляды, то полные решимости поздороваться с ним, если он ее узнает, то выражающие готовность отступить.

Через минуту он всё вспомнил. Вместе с образами переполненного товарного вагона, толпы согнанных на трудовую повинность, их конвойных, и пассажирки с перекинутыми на грудь косами, он увидел своих в середине картины. Подробности позапрошлогоднего семейного переезда с яркостью обступили его. Родные лица, по которым он истосковался смертельно, живо возникли перед ним.

Кивком головы он подал знак, чтобы Тягунова поднялась немного вверх по улице, к месту, где ее переходили по выступающим из грязи камням, сам достиг этого места, переправился к Тягуновой и поздоровался с ней.

Она ему много рассказала. Напомнив ему о незаконно забранном в партию трудообязанных красивом неиспорченном мальчике Васе, ехавшем вместе с ними в одной теплушке, Тягунова описала доктору свою жизнь в деревне Веретенниках у Васиной мамы. Ей было у них очень хорошо. Но деревня колола ей глаза тем, что она в веретенниковском обществе чужая, пришлая. Ее попрекали сочиненной ее якобы близостью с Васею. Пришлось ей уехать, чтобы окончательно ее не заклевали. Она поселилась в городе Крестовоздвиженске у сестры Ольги Галузиной. Слухи о виденном будто в Пажинске Притудьеве ее сюда сманили. Сведения оказались ложными, а она тут застряла на жительство, получив работу.

Тем временем случились несчастья с людьми, милыми ее сердцу. Из Веретенников дошли известия, что деревня подверглась военной экзекуции за неповиновение закону о продрозверстке. Видимо, дом Брыкиных сгорел и кто-то из Васиной семьи погиб. В Крестовоздвиженске у Галузиных отняли дом и имущество. Зятя посадили в тюрьму или расстреляли. Племянник пропал без вести. Первое время разорения сестра Ольга бедствовала и голодала, а теперь прислуживает за харчи крестьянской родне в Звонарской слободе.

По случайности Тягунова работала судомойкой в Пажинской аптеке, имущество которой предстояло реквизировать доктору. Всем кормившимся при аптеке, в том числе Тягуновой, реквизиция приносила разорение. Но не во власти доктора было отменить ее. Тягунова присутствовала при операции передачи товара.

Телегу Юрия Андреевича подали на задний двор аптеки к дверям склада. Из помещения выносили тюки, оплетенные ивовыми прутьями бутылки и ящики.

Вместе с людьми на погрузку грустно смотрела из стойла тощая и запаршивевшая кляча аптекаря. Дождливый день клонился к вечеру. На небе чуть расчистило. На минуту показалось стиснутое тучами солнце. Оно садилось. Его лучи темной бронзой брызнули во двор, зловеще золотя лужи жидкого навоза. Ветер не шевелил их. Навозная жижа не двигалась от тяжести. Зато налитая дождями вода на шоссе зыбилась на ветру и рябила киноварью.

А войско шло и шло по краям дороги, обходя и объезжая самые глубокие озера и колдобины. В захваченной партии лекарств ока-

залась целая банка кокаину, нюханьем которого грешил в последнее время партизанский начальник.

3

Работ у доктора среди партизан было по горло. Зимой — сыпной тиф, летом — дизентерия и, кроме того, усилившееся поступление раненых в боевые дни возобновлявшихся военных действий.

Несмотря на неудачи и преобладающее отступление, ряды партизан непрерывно пополнялись новыми восстающими в местах, по которым проходили крестьянские полчища, и перебежчиками из неприятельского лагеря. За те полтора года, что доктор пробыл у партизан, их войско удесятерилось. Когда на заседании подпольного штаба в Крестовоздвиженске Ливерий Микулицын называл численность своих сил, он преувеличил их примерно вдесятеро. Теперь они достигли указанных размеров.

У Юрия Андреевича были помощники, несколько новоиспеченных санитаров с подходящим опытом. Правую его руку по лечебной части были венгерский коммунист и военный врач из пленных Керени Лайош, которого в лагере звали товарищем Лаушим, и фельдшер хорват Ангеляр, тоже австрийский военнопленный. С первым Юрий Андреевич объяснялся по-немецки, второй, родом из славянских Балкан, с грехом пополам понимал по-русски.

4

По международной конвенции о Красном кресте военные врачи и служащие санитарных частей не имеют права вооруженно участвовать в боевых действиях воюющих. Но однажды доктору против воли пришлось нарушить это правило. Завязавшаяся стычка заставила его на поле и заставила разделить судьбу сражающихся и отстреливаться.

Партизанская цепь, в которой застигнутый огнем доктор залег рядом с телеграфистом отряда, занимала лесную опушку. За спиной партизан была тайга, впереди — открытая поляна, оголенное незащищенное пространство, по которому шли белые, наступаая.

Они приближались и были уже близко. Доктор хорошо их видел, каждого в лицо. Это были мальчики и юноши из невоенных слоев столичного общества и люди более пожилые, мобилизованные из запаса. Но тон задавали первые, молодежь, студенты первокурсники и гимназисты восьмиклассники, недавно записавшиеся в добровольцы.

Доктор не знал никого из них, но лица половины казались ему привычными, виденными, знакомыми. Одни напоминали ему былых школьных товарищей. Может статься, это были их младшие братья? Других он словно встречал в театральной или уличной толпе в былые годы. Их выразительные, привлекательные физиономии казались близкими, своими.

Служение долгу, как они его понимали, одушевляло их восторженным молодечеством, ненужным, вызывающим. Они шли рассыпным редким строем, выпрямившись во весь рост, превосходя выправкой кадровых гвардейцев и, бравирюя опасностью, не прибегали к перебежке и залеганию на поле, хотя на поляне были неровности, бугорки и кочки, за которыми можно было укрыться. Пули партизан почти поголовно выкашивали их.

Посреди широкого голого поля, по которому двигались вперед белые, стояло мертвое обгорелое дерево. Оно было обуглено молнией или пламенем костра, или расщеплено и опалено предшествующими сражениями. Каждый наступавший добровольческий стрелок бросал на него взгляды, борясь с искушением зайти за его ствол

для более безопасного и выверенного прицела, но пренебрегал соблазном и шел дальше.

У партизан было ограниченное число патронов. Их следовало беречь. Имелся приказ, поддержанный круговым уговором, стрелять с коротких дистанций, из винтовок, равных числу видимых мишеней.

Доктор лежал без оружия в траве и наблюдал за ходом боя. Все его сочувствие было на стороне героически гибнувших детей. Он от души желал им удачи. Это были отпрыски семейств, вероятно, близких ему по духу, его воспитания, его нравственного склада, его понятий.

Шевельнулась у него мысль выбежать к ним на поляну и сдаться, и таким образом обрести избавление. Но шаг был рискованный, сопряженный с опасностью.

Пока он добежал бы до середины поляны, подняв вверх руки, его могли бы уложить с обеих сторон, поражением в грудь и спину, свой — в наказание за совершенную измену, чужие — не разобрав его намерений. Он ведь не раз бывал в подобных положениях, продумал все возможности и давно признал эти планы спасения непригодными. И мирясь с двойственностью чувств, доктор продолжал лежать на животе, лицом к поляне и без оружия следил из травы за ходом боя.

Однако созерцать и пребывать в бездействии среди кипевшей кругом борьбы не на живот, а на смерть было невысказанно и выше человеческих сил. И дело было не в верности стану, к которому приковала его неволя, не в его собственной самозащите, а в следовании порядку совершавшегося, в подчинении законам того, что разыгрывалось перед ним и вокруг него. Было против правил оставаться к этому в безучастии. Надо было делать то же, что делали другие. Шел бой. В него и товарищей стреляли. Надо было отстреливаться.

И когда телефонист рядом с ним в цепи забился в судорогах и потом замер и вытянулся, застыв в неподвижности, Юрий Андреевич ползком подтянулся к нему, снял с него сумку, взял его винтовку и, вернувшись на прежнее место, стал разряжать ее выстрел за выстрелом.

Но жалость не позволяла ему целиться в молодых людей, которыми он любовался и которым сочувствовал. А стрелять сдуру в воздух было слишком глупым и праздным занятием, противоречившим его намерениям. И выбирая минуты, когда между ним и его мишенью не становился никто из нападающих, он стал стрелять в цель по обгорелому дереву. У него были тут свои приемы.

Целясь и по мере всё уточняющейся наводки незаметно и не до конца усиливая нажим собачки, как бы без расчета когда-нибудь выстрелить, пока спуск курка и выстрел не следовали сами собой как бы сверх ожидания, доктор стал с привычной меткостью разбрасывать вокруг помертвелого дерева сбитые с него нижние отсохшие сучья.

Но о ужас! Как ни остерегался доктор, как бы не попасть в кого-нибудь, то один, то другой наступающий вдвигались в решающий миг между ним и деревом, и пересекали прицельную линию в момент ружейного разряда. Двух он задел и ранил, а третьему несчастливцу, свалившемуся недалеко от дерева, это стоило жизни.

Наконец, белое командование, убедившись в бесполезности попытки, отдало приказ отступить.

Партизан было мало. Их главные силы частью находились на марше, частью отошли в сторону, завязав дело с более крупными силами противника. Отряд не преследовал отступавших, чтобы не выдать своей малочисленности.

Фельдшер Ангеляр привел на опушку двух санитаров с носилками. Доктор велел им заняться ранеными, а сам подошел к лежавшему без движения телефонисту. Он смутно надеялся, что тот, может быть, еще дышит и его можно будет вернуть к жизни. Но телефонист был мертв. Чтобы в этом удостовериться окончательно, Юрий Андреевич расстегнул на груди у него рубашку и стал слушать его сердце. Оно не работало.

На шее у убитого висела ладанка на шнурке. Юрий Андреевич снял ее. В ней оказалась зашитая в тряпицу, истлевшая и стершаяся по краям сгибов бумажка. Доктор развернул ее наполовину распавшиеся и рассыпающиеся доли.

Бумажка содержала извлечения из девяностого псалма с теми изменениями и отклонениями, которые вносит народ в молитвы, постепенно удаляющиеся от подлинника от повторения к повторению. Отрывки церковно-славянского текста были переписаны в грамотке по-русски.

В псалме говорится: Живый в помощи Вышнего. В грамотке это стало заглавием заговора: «Живые помощи». Стих псалма: «Не убоишия... от стрелы летящая во дни (днем)» превратился в слова ободрения: «Не бойся стрелы летящей войны». «Яко позна имя мое», — говорит псалом. А грамотка: «Поздно имя мое». «С ним есмь в скорби, изму его...» стало в грамотке «Скоро в зиму его».

Текст псалма считался чудодейственным, оберегающим от пуль. Его в виде талисмана надевали на себя воины еще в прошлую империалистическую войну. Прошли десятилетия и гораздо позднее его стали зашивать в платье арестованные и твердили про себя заключенные, когда их вызывали к следователям на ночные допросы.

От телефониста Юрий Андреевич перешел на поляну к телу убитого им молодого белогвардейца. На красивом лице юноши были написаны черты невинности и всё простившего страдания. «Зачем я убил его?» — подумал доктор.

Он расстегнул шинель убитого и широко раскинул ее полы. На подкладке по каллиграфической прописи, старательно и любящею рукою, наверное, материнскою, было вышито: Сережа Ранцевич,— имя и фамилия убитого.

Сквозь пройму Сережиной рубашки вывалились вон и свесились на цепочке наружу крестик, медальон и еще какой-то плоский золотой футлярчик или тавлинка с поврежденной, как бы гвоздем вдавленной крышкой. Футлярчик был полуоткрыт. Из него вывалилась сложенная бумажка. Доктор развернул ее и глазам своим не поверил. Это был тот же девяностый псалом, но в печатном виде и во всей своей славянской подлинности.

В это время Сережа застонал и потянулся. Он был жив. Как потом обнаружилось, он был оглушен легкой внутренней контузией. Пуля на излете ударилась в стенку материнского амулета, и это спасло его. Но что было делать с лежавшим без памяти?

Озверение воюющих к этому времени достигло предела. Пленных не доводили живыми до места назначения, неприятельских раненых прикалывали на поле.

При текущем составе лесного ополчения, в которое то вступали новые охотники, то уходили и перебежали к неприятелю старые участники, Ранцевича, при строгом сохранении тайны, можно было выдать за нового, недавно примкнувшего союзника.

Юрий Андреевич снял с убитого телефониста верхнюю одежду и с помощью Ангеляра, которого доктор посвятил в свои замыслы, переодел не приходившего в сознание юношу.

Он и фельдшер выходили мальчика. Когда Ранцевич вполне оправился, они отпустили его, хотя он не таил от своих избавителей, что вернется в ряды колчаковских войск и будет продолжать борьбу с красными.

Осенью лагерь партизан стоял в Лисьем отоке, небольшом лесу на высоком бугре, под которым неслась, обтекая его с трех сторон и подрывая берега водоройнами, стремительная пенистая речка.

Перед партизанами тут зимовали каппелевцы. Они укрепили лес своими руками и трудами окрестных жителей, а весной его оставили. Теперь в их невзорванных блиндажах, окопах и ходах сообщения разместились партизаны.

Свою землянку Ливерий Аверкиевич делил с доктором. Вторую ночь он занимал его разговорами, не давая ему спать.

— Хотел бы я знать, что теперь поделывает мой достопочтенный родитель, уважаемый фатер — папахен мой.

— Господи, до чего не выношу я этого паяснического тона, — про себя вздыхал доктор. — И ведь вылитый отец!

— Насколько я заключил из наших прошлых бесед, вы Аверкия Степановича достаточно узнали. И, как мне кажется, — довольно неплохого мнения о нем. А, милостивый государь?

— Ливерий Аверкиевич, завтра у нас предвыборная сходка на буйвище. Кроме того, на носу суд над санитарами самогонщиками. У меня с Лайошем по этому поводу еще не готовы материалы. Мы для этой цели с ним завтра соберемся. А я две ночи не спал. Отложим собеседование. Помилосердствуйте.

— Нет — всё же, возвращаясь к Аверкию Степановичу. Что вы скажете о старикане?

— У вас еще совсем молодой отец, Ливерий Аверкиевич. Зачем вы так о нем отзываетесь. А теперь я отвечу вам. Я часто говорил вам, что плохо разбираюсь в отдельных градах социалистического настоя, и особой разницы между большевиками и другими социалистами не вижу. Отец ваш из разряда людей, которым Россия обязана волнениями и беспорядками последнего времени. Аверкий Степанович тип и характер революционный. Так же как и вы, он представитель русского бродильного начала.

— Что это похвала или порицание?

— Я еще раз прошу отложить спор до более удобного времени. Кроме того, обращаю ваше внимание на кокаин, который вы опять нюхаете без меры. Вы его самовольно расхищаете из подведомственных мне запасов. Он нам нужен для других целей, не говорю о том, что это яд и я отвечаю за ваше здоровье.

— Опять вы не были на вчерашних занятиях. У вас атрофия обонятельной жилки, как у неграмотных баб и у заматерелого косного обывателя. Между тем вы — доктор, начитанный и даже, кажется, сами что-то пишете. Объясните, как это вяжется?

— Не знаю, как. Наверное, никак не вяжется, ничего не поделаешь. Я достоин жалости.

— Смирение паче гордости. А чем усмехаться так язвительно, ознакомились бы лучше с программой наших курсов и признали бы свое высокомерие неуместным.

— Господь с вами, Ливерий Аверкиевич! Какое тут высокомерие! Я преклоняюсь перед вашей воспитательной работой. Обзор вопросов повторяется на повестках. Я читал его. Ваши мысли о духовном развитии солдат мне известны. Я от них в восхищении. Все, что у вас сказано об отношении воина народной армии к товарищам, к слабым, к незащитным, к женщине, к идее чистоты и чести, это ведь почти то же, что сложило духоборческую общину, это род толстовства, это мечта о достойном существовании, этим полно мое отрочество. Мне ли смеяться над такими вещами?

Но, во-первых, идеи общего совершенствования так, как они стали пониматься с октября, меня не воспаляют. Во-вторых, это всё еще далеко от осуществления, а за одни еще толки об этом

заплачено такими морями крови, что, пожалуй, цель не оправдывает средства. В-третьих, и это главное, когда я слышу о переделке жизни, я теряю власть над собой и впадаю в отчаяние.

Переделка жизни! Так могут рассуждать люди, хотя может быть и выдавшие виды, но ни разу не узнавшие жизни, не почувствовавшие ее духа, души ее. Для них существование это комок грубого, не облагороженного их прикосновением материала, нуждающегося в их обработке. А материалом, веществом, жизнь никогда не бывает. Она сама, если хотите знать, непрерывно себя обновляющее, вечно себя перерабатывающее начало, она сама вечно себя переделывает и претворяет, она сама куда выше наших с вами тупоумных теорий.

— И всё же посещение собраний и общение с чудесными, великолепными нашими людьми подняло бы, смею заметить, ваше настроение. Вы не стали бы предаваться меланхолии. Я знаю, откуда она. Вас угнетает, что нас колотят и вы не видите впереди про света. Но никогда, друже, не надо впадать в панику. Я знаю вещи гораздо более страшные, лично касающиеся меня,— временно они не подлежат огласке,— и то не теряюсь. Наши неудачи временного свойства. Гибель Колчака неотвратима. Попомните мое слово. Увидите. Мы победим. Утешьтесь.

— «Нет, это неподражаемо! — думал доктор. — Какое младенчество! Какая близорукость! Я без конца твержу ему о противоположности наших взглядов, он захватил меня силой и силой держит при себе, и он воображает, что его неудачи должны расстраивать меня, а его расчеты и надежды вселяют в меня бодрость. Какое самоослепление! Интересы революции и существование солнечной системы для него одно и то же».

Юрия Андреевича передернуло. Он ничего не ответил и только пожал плечами, нисколько не пытаясь скрыть, что наивность Ливерия переполняет меру его терпения и он насилию сдерживается. От Ливерия это не укрылось.

— Юпитер, ты сердисься, значит ты неправ,— сказал он.

— Поймите, поймите, наконец, что всё это не для меня. «Юпитер», «не поддаваться панике», «кто сказал а, должен сказать бе», «Мор сделал свое дело, Мор может уйти»,— все эти пошлости, все эти выражения не для меня. Я скажу а, а бе не скажу, хоть разорвитесь и лопните. Я допускаю, что вы светочи и освободители России, что без вас она пропала бы, погрязши в нищете и невежестве, и тем не менее мне не до вас и наплевать на вас, я не люблю вас и ну вас всех к чорту.

Властители ваших дум грешат поговорками, а главную забыли, что насильно мил не будешь, и укоренились в привычке освобождать и осчастливливать особенно тех, кто об этом не просит. Наверное, вы воображаете, что для меня нет лучшего места на свете, чем ваш лагерь и ваше общество. Наверное, я еще должен благословлять вас и спасибо вам говорить за свою неволю, за то, что вы освободили меня от семьи, от сына, от дома, от дела, ото всего, что мне дорого и чем я жив.

Дошли слухи о нашествии неизвестной нерусской части в Варькино. Говорят, оно разгромлено и разграблено. Каменнодворский этого не отрицает. Будто моим и вашим удалось бежать. Какие-то мифические косоглазые в ватниках и папахах в страшный мороз перешли Рыньву по льду, не говоря худого слова перестреляли всё живое в поселке, и затем сгнули так же загадочно, как появились. Что вам об этом известно? Это правда?

— Чушь. Вымыслы. Подхваченные сплетниками непроверенные бредни.

— Если вы так добры и великодушны, как в ваших наставлениях о нравственном воспитании солдат, отпустите меня на все четыре стороны. Я отправлюсь на розыски своих, относительно кото-

рых я даже не знаю, живы ли они, и где они. А если нет, то замолчите, пожалуйста, и оставьте меня в покое, потому что всё остальное неинтересно мне, и я за себя не отвечаю. И, наконец, имею же я, чорт возьми, право просто напросто хотеть спать!

Юрий Андреевич лег ничком на койку, лицом в подушку. Он всеми силами старался не слушать оправдывавшегося Ливерия, который продолжал успокаивать его, что к весне белые будут обязательно разбиты. Гражданская война кончится, настанет свобода, благоденствие и мир. Тогда никто не посмеет держать доктора. А до тех пор надо потерпеть. После всего вынесенного, и стольких жертв, и такого ожидания ждать уже осталось недолго. Да и куда пошел бы теперь доктор. Ради его собственного блага нельзя его сейчас отпускать никуда одного.

«Завел шарманку, дьявол! Заработал языком! Как ему не стыдно столько лет пережевывать одну и ту же жвачку?» — вздыхал про себя и негодовал Юрий Андреевич. «Заслушался себя, златоуст, кокаинист несчастный. Ночь ему не в ночь, ни сна, ни житья с ним, проклятым. О, как я его ненавижу! Видит бог, я когда-нибудь убью его».

О Тоня, бедная девочка моя! Жива ли ты? Где ты? Господи, да ведь она должна была родить давно! Как прошли твои роды? Кто у нас, мальчик или девочка? Милые мои все, что с вами? Тоня, вечный укор мой и вина моя! Лара, мне страшно назвать тебя, чтобы вместе с именем не выдохнуть души из себя. Господи! Господи! А этот все ораторствует, не унимается, ненавистное, бесчувственное животное! О, я когда-нибудь не выдержу и убью его, убью его».

6

Бабье лето прошло. Стояли ясные дни золотой осени. В западном углу Лисьего отока из земли выступала деревянная башенка сохранившегося добровольческого блокгауза. Здесь Юрий Андреевич условился встретиться и обсудить с доктором Лайошем, своим ассистентом, кое-какие общие дела. В назначенный час Юрий Андреевич пришел сюда. В ожидании товарища он стал расхаживать по земляной бровке обвалившегося окопа, поднимался и заходил в караулку и смотрел сквозь пустующие бойницы пулеметных гнезд на простиравшиеся за рекою лесные дали.

Осень уже резко обозначила в лесу границу хвойного и листового мира. Первый сумрачною, почти черною стеною щетинился в глубине, второй винноогненными пятнами светился в промежутках, точно древний городок с детинцем и златоверхими теремами, срубленный в гуще леса из его бревен.

Земля во рву, под ногами у доктора и в колеях лесной, утренниками прохваченной и протвердевшей дороги была густо засыпана и забита сухим, мелким, как бы стриженным, в трубку свернувшимся листом опавшей ивы. Осень пахла этим горьким коричневым листом и еще множеством других приправ. Юрий Андреевич с жадностью вдыхал сложную пряность ледяного моченого яблока, горькой суши, сладкой сырости и синего сентябрьского угара, напоминающего горелые пары обданного водою костра и свежезалитого пожара.

Юрий Андреевич не заметил, как сзади подошел к нему Лайош.

— Здравствуйте, коллега,— сказал он по-немецки. Они занялись делами.

— У нас три пункта. О самогонщиках, о реорганизации лазарета и аптеки, и третий, по моему настоянию, о лечении душевных болезней амбулаторно, в походных условиях. Может быть, вы не видите в этом необходимости, но по моим наблюдениям мы сходим с ума, дорогой Лайош, и виды современного помешательства имеют форму инфекции, заразы.

— Очень интересный вопрос. Я потом перейду к нему. Сейчас вот о чем. В лагере брожение. Судьба самогонщиков вызывает сочувствие. Многих также волнует судьба семейств, бегущих из деревень от белых. Часть партизан отказывается выступать из лагеря ввиду приближения обоза с их женами, детьми и стариками.

— Да, их придется подождать.

— И всё это перед выборами единого командования, общего над другими, нам не подчиненными отрядами. Я думаю,— единственный кандидат товарищ Ливерий. Группа молодежи выдвигает другого, Вдовиченку. За него стоит чуждое нам крыло, которое примыкало к кругу самогонщиков, дети кулаков и лавочников, колчаковские дезертиры. Они особенно расшумелись.

— Что по-вашему будет с санитарями, варившими и продававшими самогон?

— По-моему их приговорят к расстрелу и помилуют, обратив приговор в условный.

— Однако мы с вами заболтались. Займемся делами. Реорганизация лазарета. Вот что я хотел бы рассмотреть в первую голову.

— Хорошо. Но я должен сказать, что в вашем предложении о психиатрической профилактике не нахожу ничего удивительного. Я сам того же мнения. Появились и распространяются душевные заболевания самого типического свойства, носящие определенные черты времени, непосредственно вызванные историческими особенностями эпохи. У нас есть солдат царской армии, очень сознательный, с прирожденным классовым инстинктом, Памфил Палых. Он именно на этом помешался, на страхе за своих близких, в случае если он будет убит, а они попадут в руки белых и должны будут за него отвечать. Очень сложная психология. Его домашние, кажется, следуют в беженском обозе и нас догоняют. Недостаточное знание языка мешает мне толком расспросить его. Узнайте у Ангеляра или Каменновдворского. Надо бы осмотреть его.

— Я очень хорошо знаю Палых. Как мне не знать его. Одно время вместе сталкивались в армейском совете. Такой черный, жестокий, с низким лбом. Не понимаю, что вы в нем нашли хорошего. Всегда за крайние меры, строгости, казни. И всегда меня отталкивал. Ладно. Я займусь им.

7

Был ясный солнечный день. Стояла тихая сухая, как всю предшествующую неделю, погода.

Из глубины лагеря катился смутный, похожий на отдаленный рокот моря, гул большого людского становища. Попеременно слышались шаги слоняющихся по лесу, голоса людей, стук топоров, звон наковален, ржанье лошадей, тьяканье собак и пенье петухов. По лесу двигались толпы загорелого, белозубого, улыбающегося люда. Одни знали доктора и кланялись ему, другие, незнакомые с ним, проходили мимо, не здороваясь.

Хотя партизаны не соглашались уходить из Лисьего отока, пока их не нагонят бегущие за ними следом на телегах партизанские семьи, последние были уже в немногих переходах от лагеря и в лесу шли приготовления к скорому снятию стоянки и перенесению ее дальше на восток. Что-то чинили, чистили, заколачивали ящики, пересчитывали подводы и осматривали их исправность.

В середине леса была большая вытоптанная прогалина, род кургана или городища, носившая местное название буйвища. На нем обыкновенно созывали войсковые сходки. Сегодня тут тоже было назначено общее сборище для оглашения чего-то важного.

В лесу было еще много непожелтевшей зелени. В самой глубине он почти весь еще был свеж и зеленел. Низившееся послеобеденное солнце пронизывало его сзади своими лучами. Листья пропускали

солнечный свет и горели с изнанки зеленым огнем прозрачного бутылочного стекла.

На открытой лужайке близ своего архива начальник связи Каменновдворский жег просмотренный и ненужный бумажный хлам доставшейся ему капшелевской полковой канцелярии вместе с грудями своей собственной, партизанской отчетности. Огонь костра был разложен так, что приходился против солнца. Оно просвечивало сквозь прозрачное пламя, как сквозь зелень леса. Огня не было видно, и только по зыбившимся слюдяным струям горячего воздуха можно было заключить, что что-то горит и раскаляется.

Там и сям лес пестрел всякого рода спелыми ягодами: нарядными висюльками сердечника, кирпично-бурой дряблой бузиной, переливчатыми бело-малиновыми кистями калины. Позванивая стеклянными крыльшками, медленно проплывали по воздуху рябые и прозрачные, как огонь и лес, стрекозы.

Юрий Андреевич с детства любил сквозящий огнем зари вечерний лес. В такие минуты точно и он пропускал сквозь себя эти столбы света. Точно дар живого духа потоком входил в его грудь, пересекал все его существо, и парой крыльев выходил из-под лопаток наружу. Тот юношеский первообраз, который на всю жизнь складывается у каждого, и потом навсегда служит и кажется ему его внутренним лицом, его личностью, во всей первоначальной силе пробуждался в нем, и заставлял природу, лес, вечернюю зарю и всё видимое преобразаться в такое же первоначальное и всеохватывающее подобие девочки. «Лара!»— закрыв глаза, полушептал или мысленно обращался он ко всей своей жизни, ко всей божьей земле, ко всему расстилавшемуся перед ним, солнцем озаренному пространству.

Но очередное, злбодневное, продолжалось, в России была Октябрьская революция, он был в плену у партизан. И, сам того не замечая, он подошел к костру Каменновдворского.

— Делопроизводство уничтожаете? До сих пор не сожгли?

— Куда там! Этого добра еще надолго хватит.

Доктор носком сапога спихнул и разрознил одну из сваленных куч. Это была телеграфная штабная переписка белых. Смутное предположение, что среди бумажек он натолкнется на имя Ранцевича, мелькнуло у него, но обмануло его. Это было неинтересное собрание прошлогодних шифрованных сводок в невразумительных сокращениях вроде следующего: «Омск генкварверх первому копия Омск наш-таокр омского карта сорок верст Енисейского не поступало». Он разгреб ногой другую кучку. Из нее расползлись врозь протоколы старых партизанских собраний. Сверху легла бумажка: «Весьма срочно. Об отпусках. Перевыборы членов ревизионной комиссии. Текущее. Ввиду недоказанности обвинений учительницы села Игнатодворцы, армейский совет полагает...»

В это время Каменновдворский вынул что-то из кармана, подал доктору и сказал:

— Вот расписание вашей медицинской части на случай выступления из лагеря. Телеги с партизанскими семьями уже близко. Лагерные разногласия сегодня будут улажены. Со дня на день можно ждать, что мы снимемся.

Доктор бросил взгляд на бумажку и ахнул.

— Это меньше, чем мне дали в последний раз. А сколько раненых прибавилось! Ходячие и перевязочные пешком пойдут. Но их ничтожное количество. А на чем я тяжелых повезу? А медикаменты, а койки, оборудование!

— Как-нибудь сожмитесь. Надо применяться к обстоятельствам. Теперь о другом. Общая ото всех просьба к вам. Тут есть товарищ, закаленный, проверенный, преданный делу и прекрасный боец. Что-то с ним творится неладное.

— Палых? Мне Лайош говорил.

— Да. Сходите к нему. Исследуйте.

— Что-то психическое?

— Предполагаю. Какие-то бегунчики, как он выражается. Повидимому, галлюцинации. Бессонница. Головные боли.

— Хорошо. Пойду не откладывая. Сейчас у меня свободное время. Когда начало сходки?

— Думаю, уже собираются. Но на что вам? Видите, вот и я не пошел. Обойдутся без нас.

— Тогда я пойду к Памфилу. Хотя я с ног валюсь, так спать хочу. Ливерий Аверкиевич любит по ночам философствовать, заговорил меня. Как пройти к Памфилу? Где он помещается?

— Молодой березнячок за бутовой ямой знаете? Березовый молоднячок.

— Найду.

— Там на полянке командирские палатки. Мы одну Памфилу предоставили. В ожидании семьи. К нему ведь жена и дети едут в обозе. Да, так вот он в одной из командирских палаток. На правах батальонного. За свои революционные заслуги.

8

По пути к Памфилу доктор почувствовал, что не в силах идти дальше. Его одолевала усталость. Он не мог победить сонливости, следствия накопленного за несколько ночей недосыпания. Можно было бы вернуться подремать в блиндаж. Но туда Юрий Андреевич боялся идти. Туда каждую минуту мог прийти Ливерий и помешать ему.

Он прилег на одном из незаросших мест в лесу, сплошь усыпанном золотыми листьями, налетевшими на лужайку с окаймлявших ее деревьев. Листья легли в клетку, шашками, на лужайку. Так же ложились лучи солнца на их золотой ковер. В глазах рябило от этой двойной, скрещивающейся пестроты. Она усыпляла, как чтение мелкой печати или бормотание чего-нибудь однообразного.

Доктор лег на шелковисто шуршавшую листву, положив подложенную под голову руку на мох, подушкой облежавший бугристые корни дерева. Он мгновенно задремал. Пестрота солнечных пятен, усыпившая его, клетчатым узором покрыла его вытянувшееся на земле тело, и сделала его необнаружимым, неотличимым в калейдоскопе лучей и листьев, точно он надел шапку невидимку.

Очень скоро излишняя сила, с которой он желал сна и нуждался в нем, разбудила его. Прямые причины действуют только в границах соразмерности. Отклонения от меры производят обратное действие. Не находящее отдыха, недремлющее сознание лихорадочно работало на холостом ходу. Обрывки мыслей неслись вихрем и крутились колесом, почти стуча, как испорченная машина. Эта душевная сумятица мучила и сердила доктора. «Сволочь Ливерий», — возмутился он. «Мало ему, что на свете сейчас сотни поводов рехнуться человеку. Своим пленом, своей дружбой и дурацкой болтовней он без нужды превращает здорового в неврастеника. Я когда-нибудь убью его».

Цветным складывающимся и раскрывающимся лоскутком пролетела с солнечной стороны коричнево-красчатая бабочка. Доктор сонными глазами проследил за ее полетом. Она села на то, что больше всего походило на ее окраску, на коричнево-красчатую кору сосны, с которой она и слилась совершенно неотличимо. Бабочка незаметно ступала на ней, как бесследно терялся Юрий Андреевич для постороннего глаза под игравшей на нем сеткой солнечных лучей и теней.

Привычный круг мыслей овладел Юрием Андреевичем. Он во многих работах по медицине косвенно затрагивал его. О воле и целесообразности, как следствии совершенствующегося приспособления. О ми-

микрии, о раздражательной и предохранительной окраске. О выживании наиболее приспособленных, о том, что, может быть, путь, откладываемый естественным отбором, и есть путь выработки и рождения сознания. Что такое субъект? Что такое объект? Как дать определение их тождества? В размышлениях доктора Дарвин встречался с Шеллингом, а пролетевшая бабочка с современной живописью, с импрессионистическим искусством. Он думал о творении, твари, творчестве и притворстве.

И он снова уснул, и через минуту опять проснулся. Его разбудил тихий заглушенный говор невдалеке. Достаточно было нескольких долетевших слов, чтобы Юрий Андреевич понял, что уславливаются о чем-то тайном, противозаконном. Очевидно, сговаривающиеся не заметили его, не подозревали его соседства. Если бы он теперь пошевелинулся и выдал свое присутствие, это стоило бы ему жизни. Юрий Андреевич притаился, замер и стал прислушиваться.

Часть голосов он знал. Это была мразь, подонки партизанщины, примазавшиеся к ней мальчишки Санька Пафнуткин, Гошка Рябых, Коська Нехваленых и тянувшийся за ними Терентий Галузин, коноводы всех пакостей и безобразий. Был с ними также Захар Гораздых, тип еще более темный, причастный к делу о варке самогона, но временно не привлеченный к ответу, как выдавший главных виновников. Юрия Андреевича удивило присутствие партизана из «серебряной роты» Сивоблюя, состоявшего в личной охране начальника. По преемственности, шедшей от Разина и Пугачева, этого приближенного, за доверие, оказываемое ему Ливерием, звали атамановым ухом. Он, значит, тоже был участником заговора.

Заговорщики сговаривались с подосланными из неприятельских передовых разъездов. Парламентеров совсем не было слышно, так тихо они уславливались с изменниками, и только по перерывам, наступавшим в шопоте сообщников, Юрий Андреевич догадывался, что теперь говорят представители противника.

Больше всего говорил, поминутно матерясь, хриплым сорванным голосом, пьяница Захар Гораздых. Он был, наверное, главным зачинщиком.

— Теперь, которые прочие, слухай. Главное,— втихаря, потаюхой. Ежели кто ушатнется, съябедничает, видал финку? Энтюю финкой выпущу кишки. Понятно? Теперь нам ни туды, ни сюды, как ни повернись, осиновая вышка. Надо заслужить прощение. Надо сделать штуку, чего свет не видал, из ряду вон. Они требуют его живого, в веревках. Теперь слышишь к энтим лесам подходит ихний сотник Гулевой. (Ему подсказали, как правильно, он не расслышал и поправился: «генерал Галеев».) Такого случая другой раз не будет. Вот ихние делегаты. Они вам всё докажут. Они говорят, беспременно чтобы связанного, живьем. Сами спросите товарищей. Говори, которые прочие. Скажи им что-нибудь, братва.

Стали говорить чужие, подосланные. Юрий Андреевич не мог уловить ни одного слова. По продолжительности общего молчания можно было вообразить обстоятельство сказанного. Опять заговорил Гораздых.

— Слыхали, братцы? Теперь вы сами видите, какое нам попало. золотце, какое зельце. За такого ли платиться? Рази это человек? Это порченый, блаженный вроде как бы недоросток или скитник. Я те дам ржать, Терешка! Ты чего зубы скалишь, содомский грех? Не тебе на зубки говорится. Да. Вроде как во отрочестве скитник. Ты ему поддайся, он тебя в конце обмонашит, охолостит. Какие его речи? Изгоним в среде, долой сквернословие, борьба с пьянством, отношение к женщине. Нешто можно так жить? Окончательное слово. Седни в вечер у речной переправы, где камни сложены. Я его выманю на елань. Кучей навалимся. С ним сладить какая хитрость? Это раз плюнуть. В чем кавычка? Они хотят надо живьем. Связать. А увижу, не

выходит по-нашему, сам расправляюсь, пристукну своими руками. Они своих вышлют, помогут.

Говоривший продолжал развивать план заговора, но вместе с остальными стал удаляться, и доктор перестал их слышать.

«Ведь это они Ливерия, мерзавцы!»— с ужасом и возмущением думал Юрий Андреевич, забывая, сколько раз сам он проклинал своего мучителя и желал ему смерти.— «Негодяи собираются выдать его белым или убить его. Как предотвратить это? Подойти как бы случайно к костру и, никого не называя, поставить в известность Каменнодворского. И как-нибудь предостеречь Ливерия об опасности».

Каменнодворского на прежнем месте не оказалось. Костер догорал. За огнем следил, чтобы он не распространился, помощник Каменнодворского.

Но покушение не состоялось. Оно было пресечено. О заговоре, как оказалось, знали. В этот день он был раскрыт до конца и заговорщики схвачены. Сивоблюй играл тут двойственную роль сыщика и со-вратителя. Доктору стало еще противнее.

9

Стало известно, что беженки с детьми уже в двух переходах. В Лисьем отоке готовились к скорому свиданию, с домашними и назначенному вслед за этим снятию лагеря и выступлению. Юрий Андреевич пошел к Памфилу Палых.

Доктор застал его у входа в палатку с топором в руке. Перед палаткой высокой кучей были навалены срубленные на жерди молодые березки. Памфил их еще не обтесал. Одни тут и были срублены и, рухнув всею тяжестью, остриями подломившихся сучьев воткнулись в сыроватую почву. Другие он притащил с недалекого расстояния и наложил сверху. Вздрагивая и покачиваясь на упругих подмятых ветвях, березы не прилегали ни к земле, ни одна к другой. Они как бы руками отбивались от срубившего их Памфила и целым лесом живой зелени заграживали ему вход в палатку.

— В ожидании дорогих гостей,— сказал Памфил, объясняя, чем он занят.— Жене, детишкам будет палатка низка. И заливает в дождь. Хочу колыями верх подпереть. Нарубил слег.

— Ты напрасно, Памфил, думаешь, что семью пустят к тебе жить в палатку. Чтобы невоенным, женщинам и детям в самой войске стоять, где это видано? Их где-нибудь на краю в обозе поставят. В свободное время ходи к ним на свидание, сделай одолжение. А чтобы в воинскую палатку, это едва ли. Да не в этом дело. Говорили, хуеешь ты, пить-есть перестал, не спишь? А на вид ничего. Только немного оброс.

Памфил Палых был здоровенный мужик с черными всклокоченными волосами и бородой, и шишковатым лбом, производившим впечатление двойного, вследствие утолщения лобной кости, подобием кольца или медного обруча обжимавшего его виски. Это придавало Памфилу недобрый и зловещий вид человека косящегося и глядящего исподлобья.

В начале революции, когда по примеру девятьсот пятого года опасались, что и на этот раз революция будет кратковременным событием в истории просвещенных верхов, а глубоких низов не коснется и в них не упрочится, народ всеми силами старались распропагандировать, революционизировать, переполошить, взбаламутить и разъярить.

В эти первые дни люди, как солдат Памфил Палых, без всякой агитации, лютой озверелой ненавистью ненавидевшие интеллигентов, бар и офицерство, казались редкими находками восторженным левым интеллигентам и были в страшной цене. Их бесчеловечность представлялась чудом классовой сознательности, их варварство — образцом пролетарской твердости и революционного инстинкта. Такова

была утвердившаяся за Памфилом слава. Он был на лучшем счету у партизанских главарей и партийных вожаков.

Юрию Андреевичу этот мрачный и необщительный силач казался не совсем нормальным выродком вследствие общего своего бездушия, и однообразия и убогости того, что было ему близко и могло его занимать.

— Войдем в палатку,— пригласил Памфил.

— Нет, зачем. И не влезть мне. На воздухе лучше.

— Ладно. Будь по-твоему. И впрямь нора. Побалакаем на должниках (так назвал он сваленные в длину деревья).

И они уселись на ходивших и пружинившихся под ними березовых стволах.

— Скоро, говорят, сказка сказывается, да не скоро дело делается. А и сказку мою не скоро сказать. В три года не выложить. Не знаю, с чего и начать.

Ну, так, что ли. Жили мы с хозяйкой моей. Молодые. Домовничала она. Не жаловался, крестьянствовал я. Дети. Взяли в солдаты. Погнали фланговым на войну. Ну, война. Что мне об ней тебе рассказывать. Ты ее видал, товарищ медврач. Ну, революция. Прозрел я. Открылись глаза у солдата. Не тот немец, который германец, чужой, а который свой. Солдаты мировой революции, штыки в землю, домой с фронта, на буржуев! И тому подобное. Ты это все сам знаешь, товарищ военный медврач. И так далее. Гражданская. Вливаюсь в партизаны. Теперь много пропущу, а то никогда не кончить. Теперь, долго ли, коротко ли, что я вижу в текущий момент? Он, паразит, с Российского фронта первый и второй Ставропольский снял и первый Оренбургский казачий. Нешто я маленький, не понимаю? Нешто я в армии не служил? Плохо наше дело, военный доктор, наше дело табак. Он что, сволочь, хрчет? Он всей этой прорвой на нас навалиться хочет. Он нас хочет взять в кольцо.

Теперь в настоящее время жена у меня, детишки. Ежели он теперь одолеет, куда они от него уйдут? Разве он возьмет в толк, что они всему неповинные, делу сторона? Не станет он на это смотреть. За меня жене руки скрутит, запытает, за меня жену и детей замучит, по суставчикам, по косточкам переберет. Вот и спи и ешь тут, изволь. Даром что чугуны, скажишься, тронешься.

— Чудак ты, Памфил. Не понимаю тебя. Годы без них обходился, ничего про них не знал, не тужил. А теперь не сегодня-завтра с ними свидишься, и чем радоваться, панихиду по них поешь.

— То прежде, а то теперь, большая разница. Одолевают нас белопогонная гадина. Да не обо мне речь. Мое дело гроб. Туда, видно, мне и дорога. Да ведь своих-то родименьких я с собой на тот свет не возьму. Достанутся они в лапы поганому. Всю-то кровь он из них выпустит по капельке.

— И от этого бегунчики? Говорят, бегунчики тебе какие-то являються.

— Ну ин ладно, доктор. Я не всё тебе сказал. Не сказал главного. Ну, ладно, слушай мою правду колкую, не взыщи, я тебе всё в глаза скажу.

Много я вашего брата в расход пустил, много на мне крови господской, офицерской, и хоть бы что. Числа имени не помню, вся водой растеклась. Оголец у меня один из головы нейдет, огольца одного я стукнул, забыть не могу. За что я парнишку погубил? Рассмешил, умирил он меня. Со смеху застрелил, сдуру. Ни за что.

В февральскую было. При Керенском. Бунтовали мы. На чугунке было дело. Послали к нам мальчишку агитаря, языком нас в атаку подымать. Чтобы воевали мы до победного конца. Приехал кадетик нас языком усмирять. Такой щупленький. Был у него лозунг до победного конца. Вскочил он с этим лозунгом на пожарный ушат, пожарный ушат стоял на станции. Вскочил он, значит, на ушат, чтобы

оттуда призывать в бой ему повыше. и вдруг крышка у него под ногами подвернись, и он в воду. Оступился. Ой смехота! Я так и покатился. Думал, помру. Ой умора! А у меня в руках ружье. А я хохочу-хохочу, и все тут, хоть ты что хошь. Ровно он меня защекотал. Ну, приложился я и хлоп его на месте. Сам не понимаю, как это вышло. Точно меня кто под руку толкнул.

Вот, значит, и бегунчики мои. По ночам станция мерещится. Тогда было смешно, а теперь жалко.

— В городе Мелюзееве было, станция Бирючи?

— Запомятовал.

— С зыбушинскими жителями бунтовали?

— Запомятовал.

— Фронт-то какой был? На каком фронте? На Западном?

— Вроде Западный. Всё может быть. Запомятовал.

Часть двенадцатая

РЯБИНА В САХАРЕ

1

Семьи партизан давно следовали на телегах за общим войском, с детьми и пожитками. За хвостом беженского обоза, совсем позади, гнали несметные гурты скота, преимущественно коров, числом в несколько тысяч голов.

Вместе с женами партизан в лагере появилось новое лицо, солдатка Злыдари́ха или Кубари́ха, скотья лекарка, ветеринарка, а в тайне также и ворожея.

Она ходила в шапочке пирожком, надетой набекрень, и гороховой шинели шотландских королевских стрелков из английских обмундировочных поставок Верховному правителю, и уверяла, что эти вещи она перешла из арестантского колпака и халата, и что будто бы красные освободили ее из Кежемской централки, где ее неизвестно за что держал Колчак.

В это время партизаны стояли на новом месте. Предполагалось, что это будет стоянка кратковременная, пока не разведают окрестностей и не подыщут места для более долгой и устойчивой зимовки. Но в дальнейшем обстоятельство сложились иначе и заставили партизан остаться тут и зазимовать.

Это новое стойбище ничем не было похоже на недавно покинутый Лисий оток. Это был лес сплошной, непроходимый, таежный. В одну сторону, прочь от дороги и лагеря, ему конца не было. В первые дни, пока войско разбивало новый бивак, и в нем устраивалось на жительство, у Юрия Андреевича было больше досуга. Он углубился в лес в нескольких направлениях с целью его обследования и убедился, как в нем легко заблудиться. Два уголка привлекли его внимание и запомнились ему на этом первом обходе.

У выхода из лагеря и из леса, который был теперь по-осеннему гол и весь виден насквозь, точно в его пустоту растворили ворота, росла одинокая, красивая, единственная изо всех деревьев сохранившая неопавшую листву ржавая рыжелистая рябина. Она росла на горке над низким топким кочкарником и протягивала ввысь, к самому небу, в темный свинец предзимнего ненастья плоско расширяющиеся щитки своих твердых разордевшихся ягод. Зимние пичужки с ярким, как морозные зори, оперением, снегири и синицы, садились на рябину, медленно, с выбором клевали крупные ягоды и, закинув кверху головки и вытянув шейки, с трудом их проглатывали.

Какая-то живая близость заводилась между птицами и деревом. Точно рябина всё это видела, долго упрямялась, а потом сдавалась и, сжалившись над птичками, уступала, расстегивалась и давала им

грудь, как мамка младенцу. «Что, мол, с вами поделаешь. Ну, ешьте, ешьте меня. Кормитесь». И усмехалась.

Другое место в лесу было еще замечательнее.

Оно было на возвышенности. Возвышенность эта, род шиханá, с одного края круто обрывалась. Казалось, внизу под обрывом предполагалось что-то другое, чем наверху,— река или овраг или глухой, некошеной травой поросший луг. Однако под ним было повторение того же самого, что наверху, но только на головокружительной глубине, на другом, вершинами деревьев под ноги ушедшем, опустившемся уровне. Вероятно, это было следствие обвала.

Точно этот суровый, подоблачный, богатырский лес, как-то споткнувшись, весь как есть, полетел вниз и должен был провалиться в тартарары, сквозь землю, но в решительный момент чудом удержался на земле и вот, цел и невредим виднеется и шумит внизу.

Но не этим, другой особенностью была замечательная лесная возвышенность. Всю ее по краю запирали отвесные, ребром стоявшие гранитные глыбы. Они были похожи на плоские отесанные плиты доисторических дольменов. Когда Юрий Андреевич в первый раз попал на эту площадку, он готов был поклясться, что это место с камнями совсем не природного происхождения, а носит следы рук человеческих. Здесь могло быть в древности какое-нибудь языческое капище неизвестных идолопоклонников, место их священнодействий и жертвоприношений.

На этом месте холодным пасмурным утром приведен был в исполнение смертный приговор одиннадцати наиболее виновным по делу о заговоре и двум санитарам самогонщикам.

Человек двадцать преданнейших революции партизан с ядром из особой охраны штаба привели их сюда. Конвой сомкнулся полукольцом вокруг приговоренных и, взяв винтовки на руку, быстрым теснящим шагом затолкал, загнал их в скалистый угол площадки, откуда им не было выхода, кроме прыжков в пропасть.

Допросы, долгое пребывание под стражей и испытанные унижения лишили их человеческого облика. Они обросли, почернели, были измождены и страшны, как призраки.

Их обезоружили в самом начале следствия. Никому не пришло в голову ощупывать их вторично перед казнью. Это представлялось излишней подлостью, глумленьем над людьми перед близкой смертью.

Вдруг шедший рядом с Вдовиченкой друг его и такой же, как он, старый идейный анархист Ржаницкий дал три выстрела по цепи конвойных, целясь в Сивоблюя. Ржаницкий был превосходный стрелок, но рука у него дрожала от волнения, и он промахнулся. Опять та же деликатность и жалость к былым товарищам не позволила караулу наброситься на Ржаницкого или ответить преждевременным залпом, до общей команды, на его покушение. У Ржаницкого оставалось еще три неистраченных заряда, но в возбуждении, может быть, забыв о них, и раздосадованный промахом, он шваркнул браунинг о камни. От удара браунинг разрядился в четвертый раз, ранив в ногу приговоренного Пачколю.

Санитар Пачколя вскрикнул, схватился за ногу и упал, часто-часто взвизгивая от боли. Ближайшие к нему Пафнуткин и Гораздых подняли, подхватили его под руки и потащили, чтобы в переполохе его не затоптали товарищи, потому что больше себя никто не помнил. Пачколя шел к каменистому краю, куда теснили смертников, подпрыгивая, хромя, будучи не в состоянии ступить на перешибленную ногу и безостановочно кричал. Его нечеловеческие вопли были заразительны. Как по сигналу, все перестали владеть собой. Началось нечто невообразимое. Посыпалась ругань, слышались мольбы, жалобы, раздались проклятия.

Подросток Галузин, скинув с головы желтокантовую фуражку реалиста, которую он еще носил, опустился на колени и так, не вста-

вая с них, ползком пятился дальше в толпе к страшным камням. Он часто-часто кланялся до земли конвойным, плакал навзрыд и умолял их полубеспамятно, нараспев:

— Виноват, братцы, помилуйте, больше не буду. Не губите. Не убивайте. Не жил я еще, молод умирать. Пожить бы мне еще, маменьку, маменьку свою еще один разочек увидеть. Простите, братцы, помилуйте. Ноги ваши буду целовать. Воду вам буду на себе возить. Ой беда, беда,— пропал, маменька, маменька.

Из середины причитали, не видно было кто:

— Товарищи миленькие, хорошие! Как же это? Опомнитесь. Вы же на двух войнах кровь проливали. За одно дело стояли, боролись. Пожалейте, отпустите. Мы добра вашего век не забудем, заслужим, делом докажем. Аль вы оглохли, что не отвечаете? Креста на вас нет!

Сивоблюю кричали:

— Ах ты, Иуда хриstopродавец! Какие мы против тебя изменники? Сам ты, собака, трижды изменник, чтоб ты удавили! Царю своему присягал, убил царя своего законного, нам клялся в верности, предал. Целуйся с чортом своим Лесным, пока не предал. Предашь.

Вдовиченко и на краю могилы остался верным себе. Высоко держа голову с седыми развевающимися волосами, он громко, во всеуслышание, как коммунар к коммунару, обращался к Ржаницкому.

— Не унижайся, Бонифаций! Твой протест не дойдет до них. Тебя не поймут эти новые опричники, эти заплечные мастера нового застенка. Но не падай духом. История всё разберет. Потомство пригвоздит к позорному столбу бурбонов комиссародержавия и их черное дело. Мы умираем мучениками идеи на заре мировой революции. Да здравствует революция духа. Да здравствует всемирная анархия.

Залп двадцати ружей, произведенный по какой-то беззвучной, одними стрелками уловленной команде, скосил половину осужденных, большинство насмерть. Остальных пристрелили вторым залпом. Дольше всех дергался мальчик, Тереша Галузин, но и он в конце концов замер, вытянувшись без движения.

2

От мысли перенести стан на зиму в другое место, подальше на восток отказались не сразу. Долго продолжались разведки и объезды местности по ту сторону тракта вдоль Вытско-Кежемского водораздела. Ливерий часто отлучался из лагеря в тайгу, оставляя доктора одного.

Но перебираться куда-нибудь было уже поздно и некуда. Это было время наибольших партизанских неудач. Перед окончательным своим крушением белые решили одним ударом раз навсегда покончить с лесными нерегулярными отрядами и общими усилиями всех фронтов окружили их. Партизан теснили со всех сторон. Это было бы для них катастрофой, если бы радиус окружения был меньше. Их спасала неощутимая широта охвата. В преддверии зимы неприятель был не в состоянии стянуть свои фланги по непроходимой беспредельной тайге и обложить крестьянские полчища теснее.

Во всяком случае двигаться куда бы то ни было стало невозможно. Конечно, если бы имелся план перемещения, обещающий определенные военные преимущества, можно было бы пробиться, пройти с боями через черту окружения на новую позицию.

Но такого разработанного замысла не было. Люди выбились из сил. Младшие командиры, и сами упавшие духом, потеряли влияние на подчиненных. Старшие ежевечерне собирались на военный совет, предлагая противоречивые решения.

Надо было оставить поиски другого зимовья и укрепиться на зиму в глубине занятой чащи. В зимнее время по глубокому снегу она становилась непроходимой для противника, плохо снабженного лыжа-

ми. Надо было окопаться и заложить большие запасы продовольствия.

Партизан хозяйственник Бисюрин докладывал об остром недостатке муки и картошки. Скота было вдоволь, и Бисюрин предвидел, что зимой главной пищей будет мясо и молоко.

Не хватало зимней одежды. Часть партизан ходила полуодетая. Передавали всех собак в лагере. Сведущие в скорняжном деле шили партизанам тулупы из собачьих шкур шерстью наружу.

Доктору отказывали в перевозочных средствах. Телеги требовались теперь для более важных надобностей. На последнем переходе самых тяжелых больных несли сорок верст пешком на носилках.

Из медикаментов у Юрия Андреевича оставались только хина, иод и глауберова соль. Иод, требовавшийся для операций и перевязок, был в кристаллах. Их надо было распустать в спирту. Пожалели об уничтоженном производстве самогона и обратились к наименее виновным, в свое время оправданным винокурам, с поручением починить сломанную перегонную аппаратуру или соорудить новую. Упраздненную фабрикацию самогона снова наладили для врачебных целей. В лагере только перемигивались и покачивали головами. Возобновилось пьянство, способствуя развивающемуся развалу в стане.

Выгонку вещества довели почти до ста градусов. Жидкость такой крепости хорошо растворяла кристаллические препараты. Этим же самогоном, настоем на хинной корке, Юрий Андреевич позднее, в начале зимы, лечил возобновившиеся с холодами случаи сыпного тифа.

3

В эти дни доктор видел Памфила Палых с семьею. Жена и дети его всё истекшее лето провели в бегах по пыльным дорогам, под открытым небом. Они были напуганы пережитыми ужасами и ждали новых. Скитания наложили неизгладимый след на них. У жены и троих детей Памфила, сынишки и двух дочерей были светлые, выгоревшие на солнце, льняные волосы и белые, строгие брови на черных, обветренных, загорелых лицах. Дети были слишком малы, чтобы носить еще какие-нибудь знаки перенесенного, а с лица матери испытанные потрясения и опасности согнали всякую игру жизни, и оставили только сухую правильность черт, сжатые губы в ниточку, напряженную неподвижность страдания, готового к самозащите.

Памфил любил их всех, в особенности детишек, без памяти, и с ловкостью, изумлявшей доктора, резал им уголком остро отточенного топора игрушки из дерева, зайцев, медведей, петухов.

Когда они приехали, Памфил повеселел, воспрянул духом, стал оправляться. Но вот стало известно, что ввиду вредного влияния, которое оказывало присутствие семей на лагерные настроения, партизан обязательно разлучат с их присными, лагерь освободят от ненужного невоенного придатка и беженский обоз под достаточной охраной поставят табором куда-нибудь подальше на зимовочную стоянку. Толков об этом разделении было больше, чем действительных приготовлений. Доктор в исполнимость этой меры не верил. Но Памфил помрачнел и к нему вернулись его прежние бегунчики.

4

На пороге зимы несколько причин охватили лагерь долгой полосою беспокойств, неизвестности, грозных и запутанных положений, странных несообразностей.

Белые завершили намеченное обложение повстанцев. Во главе законченной операции стояли генералы Вицын, Квадри и Басальго. Эти генералы славилась твердостью и непреклонной решительностью. Одни имена их наводили ужас на жен повстанцев в лагере и на мир-

ное население, еще не покинувшее родных мест, и остававшееся в своих деревнях позади, за неприятельской цепью.

Как уже было сказано, нельзя было предвидеть способов, какими мог бы сузиться круг вражеского оцепления. На этот счет можно было быть спокойными. Однако и оставаться безучастными к окружению не было возможности. Покорность обстоятельствам нравственно усиливала противника. Из ловушки, хотя бы и безопасной, надо было постараться вырваться с целью военной демонстрации.

Для этого выделили большие партизанские силы и сосредоточили их против западной дуги круга. В результате многодневных жарких боев партизаны нанесли неприятелю поражение и, прорвав в этом месте его линию, зашли ему в тыл.

Через свободное пространство, образованное прорывом, открылся доступ в тайгу к повстанцам. На соединение с ними хлынули новые толпы бегущих. Прямой партизанской родней этот приток мирного деревенского люда не исчерпывался. Устрашенное карательными мерами белых всё окрестное крестьянство сдвинулось с места, покидало свои пепелища и естественно тяготело к крестьянскому лесному войску, в котором видело свою защиту.

Но в лагере было стремление избавиться от собственных нахлебников. Партизанам было не до чужих и новых. К бегущим выезжали навстречу, останавливали их в дороге и направляли в сторону, к мельнице в Чилимской рощице, на речке Чилимке. Это место на кулиге, образовавшееся из разросшихся при мельнице усадеб, называлось Дворы. В этих Дворах предположено было разбить беженское зимовье и расположить склад выделенного для них продовольствия.

Между тем как принимались такие решения, дела шли своим чередом, и лагерное командование за ними не поспевало.

Одержанная над неприятелем победа осложнилась. Пропустив разбившую их партизанскую группу внутрь края, белые сомкнули и восстановили свою прорванную линию. Забравшемуся к ним в тыл и оторвавшемуся отряду возвращение к своим в тайгу из набега было отрезано.

С беженками тоже творилось неладное. В густой непроходимой чаще легко было разминуться. Высланные навстречу не нападали на след бегущих и возвращались, разъехавшись с ними, а женщины стихийным потоком двигались вглубь тайги, совершая по пути чудеса находчивости, валили по обе стороны лес, наводили мосты и гати, прокладывали дороги.

Все это противоречило намерениям лесного штаба и переворачивало вверх дном планы Ливерия и его предначертания.

5

По этому поводу и бушевал он, стоя вместе со Свиридом, недалеко от тракта, который на небольшом протяжении проходил в этом месте тайгой. На дороге стояли его начальники, споря, резать или нет провода тянувшегося вдоль дороги телеграфа. Последнее решающее слово принадлежало Ливерию, а он забалтывался с бродягой-звероловом. Ливерий махал им рукой, что он сейчас к ним подойдет, чтобы они подождали, не уходили.

Свирид долгое время не мог перенести осуждения и расстрела Вдовиченки, ни в чем неповинного, кроме только того, что его влияние, соперничавшее с авторитетом Ливерия, вносило раскол в лагерь. Свирид хотел уйти от партизан, чтобы жить опять своей волей на особицу, по-прежнему. Да не тут-то было. Нанялся, продался,— его ждала участь расстрелянных, если бы он теперь ушел от лесных братьев.

Погода была самая ужасная, какую только можно придумать. Резкий порывистый ветер нес низко над землею рваные клочья туч,

черные, как хлопья летящей копоты. Вдруг из них начинал сыпать снег, в судорожной поспешности какого-то белого помешательства.

В минуту даль заволакивалась белым саваном, земля устилалась белой пеленою. В следующую минуту пелена сгорала, истаивала до тла. Выступала черная, как уголь, земля, черное небо, обданное сверху косыми отеками вдалеке пролившихся ливней. Земля воды больше в себя не принимала. В минуты просветления тучи расходились, точно, проветривая небо, наверху растворяли окна, отливающие холодной стеклянной белизной. Стоячая, невпитываемая почвою, вода отвечала с земли такими же распахнутыми оконницами луж и озер, полными того же блеска.

Ненастье дымом скользило по скипидарно-смолистым иглам хвойного бора, не проникая в них, как не проходит вода в клеенку. Телеграфные провода, как бисером, были унижены каплями дождя. Они висели тесно-тесно, одна к другой и не отрывались.

Свирид был из числа отправленных вглубь тайги навстречу беженкам. Он хотел рассказать начальнику о том, чему он был свидетелем. О бестолочи, получавшейся из взаимостолкновения разных, равно неисполнимых приказов. Об изуверствах, учиняемых наиболее слабою, изверившеюся частью женских скопищ. Двигавшиеся пешком с узлами, мешками и грудными детьми на себе, лишившиеся молока, сбившиеся с ног и обезумевшие молодые матери бросали детей на дороге, вытрясали муку из мешков и сворачивали назад. Лучше де скорая смерть, чем долгая от голоду. Лучше врагу в руки, чем лесному зверю в зубы.

Другие, наиболее сильные, являли образцы выдержки и храбрости, неведомые мужчинам. У Свирида было еще множество других соображений. Он хотел предупредить начальника о нависающей над лагерем опасности нового восстания, более угрожающего, чем подавленное, и не находил слов, потому что нетерпеливость Ливерия, раздраженно торопившего его, окончательно лишала его дара речи. А Ливерий поминутно обрывал Свирида не только оттого, что его ждали на дороге и кивали и кричали ему, но потому, что две последние недели к нему сплошь обращались с такими соображениями, и Ливерию всё это было известно.

— Ты не гони меня, товарищ начальник. Я и так не речист. У меня слово в зубах застреват, я словом подавлюсь. Я те что говорю? Сходи в беженский обоз, скажи женкам чалдонским закон да дело. Ишь какая у них непуть пошла. Я те спрашиваю, что у нас, «все на Колчака!» или бабье побоище?

— Короче, Свирид. Видишь, кличут меня. Не накручивай.

— Теперь эта лешачиха дейманка Злыдариха, пес ее знат, кто она есть, бабенка. Сказывала припишите меня, говорит, к скотине бабой ветренианкой...

— Ветеринаркой, Свирид.

— А я про что? Я и говорю,— бабой ветренианкой животные поветрия лечить. А ныне куда там тебе твоя скотина, маткой беспоповой, столоверкой, оборотилась, коровьи обедни служит, новых женок беженских с пути совращат. Вот, говорит, на себя пеняйте, до чего доводит за красным флаком задрамши подол. Другой раз не бегайте.

— Я не понимаю, про каких ты беженок? Про наших, партизанских, или еще про каких-нибудь других?

— Вестимо про других. Про новых, чужеместных.

— Так ведь было им распоряжение в сельцо Дворы, на Чилимскую мельницу. Как они здесь очутились?

— Эва, сельцо Дворы. От твоих Дворов одно огнище стоит, погорелище. И мельница и вся кулижка в угольках. Они, пришедши на Чилимку, видят, пустошь голая. Половина ума решила, воймя воеет и назад к белякам. А другие оглобли наоборот и сюда всем обозом.

— Через глухую чащу, через топи?

— А топоры-пилы на что? Им мужиков наших послали, охранять,— пособили. Тридцать, говорят, верст дороги прорубили. С мостами, бестии. Говори после этого,— бабы. Такое сделают, злыдни, не сообразишь в три дни.

— Хорош гусь! Чего же ты радуешься, кобыла, тридцать верст дороги. Это ведь Вицину и Квадри на руку. Открыли проезд в тайгу. Хоть артиллерию кати.

— Заслон. Заслон. Выставь заслон и дело с концом.

— Бог даст без тебя додумаюсь.

6

Дни сократились. В пять часов темнело. Ближе к сумеркам Юрий Андреевич перешел тракт в том месте, где на днях Ливерий пререкался со Свиридом. Доктор направлялся в лагерь. Близ поляны и горки, на которой росла рябина, считавшаяся пограничной вехой лагеря, он услышал озорной задорный голос Кубарихи, своей соперницы, как он в шутку звал лекариху-знахарку. Его конкурентка с крикливым подвизгиванием выводила что-то веселое, разухабистое, наверное какие-то частушки. Ее слушали. Ее прерывали взрывы сочувственного смеха, мужского и женского. Потом всё смолкло. Все наверное разошлись.

Тогда Кубариха запела по-другому, про себя и вполголоса, считая себя в полном одиночестве. Остерегаясь оступиться в болото, Юрий Андреевич в потемках медленно пробирался по стежке, огибавшей топкую полянку перед рябиной, и остановился, как вкопанный. Кубариха пела какую-то старинную русскую песню. Юрий Андреевич не знал ее. Может быть, это была ее импровизация?

Русская песня, как вода в запруде. Кажется, она остановилась и не движется. А на глубине она безостановочно вытекает из вешняков и спокойствие ее поверхности обманчиво.

Всеми способами, повторениями, параллелизмами, она задерживает ход постепенно развивающегося содержания. У какого-то предела оно вдруг сразу открывается и разом поражает нас. Сдерживающая себя, властвующая над собою тоскующая сила выражает себя так. Это безумная попытка словами остановить время.

Кубариха наполовину пела, наполовину говорила:

«Что бежал зайка по белу свету,
По белу свету да по белу снегу.
Он бежал косою мимо рябины дерева,
Он бежал косою, рябине плакался.
У меня ль у зайца сердце робкое,
Сердце робкое, захолочливое.
Я робею, заяц, следу зверьего,
Следу зверьего. несъта волчья черева.
Пожалей меня, рябинов куст,
Что рябинов куст, красе рябина дерево.
Ты не дай красы своей злomu ворогу,
Злomu ворогу, злomu ворону.
Ты рассыпь красны ягоды горстью по ветру,
Горстью по ветру, по белу свету, по белу снегу,
Закати, закинь их на родиму сторону,
В тот ли крайний дом с околицы,
В то ли крайнее окно да в ту ли горницу,
Там затворница укрывается,
Милая моя, желанная.
Ты скажи на ушко моей жалёнушке
Слово жаркое, горячее.
Я томлюсь во плену, солдат ратничек,
Скучно мне солдату на чужбинушке.
А и вырвусь я из плена горького,
Вырвусь к яголке моей красавице».

Солдатка Кубариха заговаривала больную корову Палихи, Памфиловой жены Агафьи Фотиевны, в просторечии Фатёвны. Корову вывели из стада и поставили в кустарник, привязав за рога к дереву. У передних ног коровы на пеньке села хозяйка, у задних — на доильной скамеечке, солдатка ворожея.

Остальное несметное стадо теснилось на небольшой прогалине. Темный бор отовсюду обступал его стеною высоких, как горы, треугольных елей, которые как бы сидели на земле на толстых задах своих врозь растопыренных нижних ветвей.

В Сибири разводили какую-то одну премированную швейцарскую породу. Почти все в одну масть, черные с белыми подпалинами, коровы не меньше людей были измучены лишениями, долгими переходами, нестерпимой теснотой. Прижатые боками одна к другой они чумели от давки. В своем одурении они забывали о своем поле и с ревом, по бычьим налезали одна на другую, с трудом взволакивая вверх тяжелые отянувшие вымена. Покрытые ими телицы, забрав хвост, вырывались из-под них и, обламывая кусты и сучья, убегали в чащу, куда за ними с криком бросались старики пастухи и дети подпаски.

И точно запертые в тесном кружке, который вычерчивали еловые верхушки в зимнем небе, так же бурно и беспорядочно теснились, становились на дыбы и громоздились друг на друга снеговые черно-белые облака над лесною прогалиной.

Стоявшие кучкою поодаль любопытные мешали знахарке. Она недобрый взглядом смеривала их с головы до ног. Но было ниже ее достоинства признаваться, что они ее стесняют. Самолюбие артистки останавливало ее. И она делала вид, что не замечает их. Доктор наблюдал ее из задних рядов, скрытый от нее.

Он в первый раз толком разглядел ее. Она была в неизменной английской своей пилотке и гороховой интервентской шинели с небрежно отогнутыми отворотами. Впрочем, высокомерными чертами глухой страстности, молодо вычернившей глаза и брови этой молодой женщины, на лице ее было ясно написано, до чего ей всё равно, в чем и без чего быть ей.

Но вид Памфиловой жены удивил Юрия Андреевича. Он почти не узнал ее. За несколько дней она страшно постарела. Выпученные глаза ее готовы были выйти из впадин. На шее, вытянувшейся оглоблей, бился вздувшийся живчик. Вот что сделали с ней ее тайные страхи.

— Не доится, милая, — говорила Агафья. — Думала — межмолок, да нет, давно пора бы молоку, а всё безмолочнеет.

— Чего межмолок. Вон на соске у ней болячка антракс. Травку дам на сале, смазывать. И, само собой, нашепчу.

— Другая моя беда — муж.

— Приворожу, чтоб не гулял. Это можно. Пойдет липнуть, не оторвешь. Третью беду сказывай.

— Да не гуляет. Добро бы гулял. То-то и беда, что наоборот, пуще мочи ко мне, к детям прирос, душой по нас сохнет. Знаю я, что он думает. Вот думает, — лагеря разделят, зашлют нас в разные стороны. Достанемся мы басалыжским, а его с нами не будет. Некому будет за нас постоять. Замучат они нас, нашим мукам порадуются. Знаю я его думы. Как бы чего над собой не сделал.

— Подумаем. Уйдем печаль. Третью беду сказывай.

— Да нет ее, третьей. Вот и все они, корова да муж.

— Ну и бедна ж ты бедами, мать! Гляди, как Бог тебя милует. Днем с огнем таких поискать. Две беды горести у бедной головушки, а и одна — жалостливый муж. Что дашь за корову? Начнем отчитывать.

— А ты что хошь?

— Ситного ковригу да мужа.

Кругом захохотали.

— Смеешься, что ли?

— Ну, коли больно дорого, ковригу скину. На одном муже сойдемся.

Хохот кругом удесятирился.

— Как кличка-то? Да не мужняя,— коровы.

— Красава.

— Тут почитай полстада всё красавы. Ну ладно. Благословясь.

И она начала заговаривать корову. Вначале ее ворожба действительно относилась к скотине. Потом она сама увлеклась и прочла Агафье целое наставление о колдовстве и его применениях. Юрий Андреевич как замороженный слушал эту бредовую вязь, как когда-то при переезде из Европейской России в Сибирь прислушивался к цветистой болтовне возницы Вахха.

Солдатка говорила:

— «Тетка Моргосья, приди к нам в гости. Овторник середу, сыми порчу вереду. Сойди восца с коровья сосца. Стой смирно, Красавка, не переверни лавку. Стой горой, дой рекой. Страфила, страшила, слупи наскрозь струп шелудовый в крапиву брось. Крепко, что царско, слово знахарско.

Всё надоть знать, Агафьюшка, отказы, наказания, слово обежное, слово обережное. Ты вот, смотришь и думаешь, лес. А это нечистая сила с ангельским воинством сошлась, рубятся, вот что ваши с ба-сальжскими.

Или к примеру погляди, куда я кажу. Не туда смотришь, милая. Ты глазами гляди, а не затылком, и гляди куда я пальцем тыкаю. Во, во. Ты думаешь это что? Думаешь, это на березе ветер ветку с веткой скрутил-спутал? Думаешь, птица гнездо вить задумала? Как бы не так. Это самая настоящая затея бесовская. Русалка это дочке своей венки плела. Слышит, люди мимо идут,— бросила. Спугнули. Ночью кончит, доплетет, увидишь.

Или опять это ваше знамя красное. Ты что думаешь? Думаешь, это флак? Ан вот видишь совсем оно не флак, а это девки моровухи манкой малиновый платок, манкой, говорю, а отчего манкой? Молодым ребятам платком махать подмигивать, молодых ребят манить на убой, на смерть, насылать мор. А вы поверили,— флак, сходись ко мне всех стран пролетá и беднота.

Теперь все надоть знать, мать Агафья, всё, всё, ну как есть всё. Кака птица, какой камень, кака трава. Теперь к примеру птица это будет птица стратим скворец. Зверь будет барсук.

Теперь к примеру вздумашь с кем полюбоваться, только скажи. Я тебе кого хошь присушу. Хошь твоего над вами начальника, Лесного вашего, хошь Колчака, хошь Ивана царевича. Думаешь, хвастаю, вру? А вот и не вру. Ну, смотри, слушай. Придет зима, пойдет метелица в поле вихри толпить, кружить столбунки. И я тебе в тот столб снеговой, в тот снеговорот нож залукну, вгоню нож в снег по самый черенок, и весь красный в крови из снега выну. Что, видала? Ага? А думала, вру. А откеда, скажи, из завирухи буранной кровь? Ветер ведь это, воздух, снеговая пыль. А то-то и есть, кума, не ветер это буран, а разведенка оборотенка детеныша ведьменочка своего потеряла, ищет в поле, плачет, не может найти. И в нее мой нож угодит. Оттого кровь. И я тебе тем ножом чей хошь след выну вырежу и шолком к подолу пришью. И пойдет хошь Колчак, хошь Стрельников, хошь новый царь какой-нибудь по пятам за тобой, куда ты, туда и он. А ты думала — вру, думала — сходись ко мне всех стран босота и пролета.

Или тоже, например, теперь камни с неба падают, падают яко дождь. Выйдет человек за порог из дому, а на него камни. Или иные видеху конники проезжали верхом по небу, кони копытами задевали

за крыши. Или какие кудечники в старину открывали: сия жена в себе заключает зерно или мед или куний мех. И латники тем заногощали плечо, яко отмыкают скрынницу, и вынимали мечом из лопатки у какой пшеницы меру, у какой белку, у какой пчелиный сот».

Иногда встречается на свете большое и сильное чувство. К нему всегда примешивается жалость. Предмет нашего обожания тем более кажется нам жертвою, чем более мы любим. У некоторых сострадание к женщине переходит все мыслимые пределы. Их отзывчивость помещает ее в несбыточные, не находящиеся на свете, в одном воображении существующие положения, и они ревнуют ее к окружающему воздуху, к законам природы, к протекшим до нее тысячелетиям.

Юрий Андреевич был достаточно образован, чтобы в последних словах ворожеи заподозрить начальные места какой-то летописи, Новгородской или Ипатьевской, наслаивающимися искажениями превращенные в апокриф. Их целыми веками коверками знахари и сказочники, устно передавая их из поколения в поколения. Их еще раньше путали и перевирали переписчики.

Отчего же тирания предания так захватила его? Отчего к невразумительному вздору, к бессмыслице небылицы отнесся он так, точно это были положения реальные?

Ларе приоткрыли левое плечо. Как втыкают ключ в секретную дверцу железного, вделанного в шкаф тайничка, поворотом меча ей вскрыли лопатку. В глубине открывшейся душевной полости показались хранимые ее душою тайны. Чужие посещенные города, чужие улицы, чужие дома, чужие просторы потянулись лентами, раскатывающими мотками лент, вываливающимися свертками лент наружу.

О как он любил ее! Как она была хороша! Как раз так, как ему всегда думалось и мечталось, как ему было надо! Но чем, какой строной своей? Чем-нибудь таким, что можно было назвать или выделить в разборе? О нет, о нет! Но той бесподобно простой и стремительной линией, какую вся она одним махом была обведена кругом сверху донизу творцом, и в этом божественном очертании сдана на руки его душе, как закутывают в плотно накинутую простыню выкупанного ребенка.

А теперь где он и что с ним? Лес, Сибирь, партизаны. Они окружены, и он разделит общую участь. Что за чертовщина, что за небывальщина. И опять у Юрия Андреевича стало мутиться в глазах и голове. Всё поплыло перед ним. В это время вместо ожидаемого снега начал накрапывать дождь. Как перекинутый над городской улицей от дома к дому плакат на большущем полотнище, протянулся в воздухе с одной стороны лесной прогалины на другую расплывчатый, во много раз увеличенный призрак одной удивительной боготворимой головы. И голова плакала, а усилившийся дождь целовал и поливал ее.

— Ступай,— говорила ворожея Агафье,— корову твою отчитала я,— выздоровеет. Молись Божьей Матери. Се бо света чертог и книга слова животного.

8

Шли бои у западных границ тайги. Но она была так велика, что на глаз ее это разыгрывалось как бы на далеких рубежах государства, а затерявшийся в ее дебрях стан был так многолюден, что сколько ни уходило из него народу в бой, еще больше всегда оставалось, и он никогда не пустовал.

Гул отдаленного сражения почти не достигал гущи лагеря. Вдруг в лесу раскатилось несколько выстрелов. Они последовали один за другим совсем близко, и разом перешли в частую беспорядочную стрельбу. Застигнутые пальбою в том же месте, где она слышалась, шарахнулись врассыпную. Люди из вспомогательных лагерных ре-

зервов побежали к своим телегам. Поднялся переполох. Все стали приводить себя в боевую готовность.

Скоро переполох улегся. Тревога оказалась ложной. Но вот опять к тому месту, где стреляли, стал стекаться народ. Толпа росла. К стоявшим подходили новые.

Толпа окружала лежавший на земле окровавленный человеческий обрубок. Изувеченный еще дышал. У него были отрублены правая рука и левая нога. Было уму непостижимо, как на оставшейся другой руке и ноге несчастный дополз до лагеря. Отрубленная рука и нога страшными кровавыми комками были привязаны к его спине с длинной надписью на дощечке, где между отборными ругательствами было сказано, что это сделано в отплату за зверства такого-то и такого-то красного отряда, к которому партизаны из лесного братства не имели отношения. Кроме того, присовокуплялось, что так будет поступлено со всеми, если к названному в надписи сроку партизаны не покорятся и не сдадут оружия представителям войск Вицынского корпуса.

Истекая кровью, прерывающимся, слабым голосом и заплетающимся языком, поминутно теряя сознание, страдалец-калека рассказал об истязаниях и пытках в тыловых военно-следственных и карательных частях у генерала Вицына. Повешение, к которому его приговорили, ему заменили, в виде милости, отсечением руки и ноги, чтобы в этом изуродованном виде пустить к партизанам в лагерь для их устрашения. До первых подходов к лагерной сторожевой линии его несли на руках, а потом положили на землю и велели ползти самому, подгоняя его издали выстрелами в воздух.

Замученный еле шевелил губами. Чтобы разобрать его невнятный лепет, его слушали, согнув поясницы и низко наклонившись к нему. Он говорил:

— Берегитесь, братцы. Прорвал он вас.

— Заслон послали. Там великая драка. Задержим.

— Прорыв. Прорыв. Он хочет нечаянно. Я знаю. Ой, не могу, братцы. Видите, кровью исхожу, кровью кашляю. Сейчас кончусь.

— А ты полежи, отдышись. Ты помолчи. Да не давайте говорить ему, ироды. Видите, вредно ему.

— Живого места во мне не оставил, кровопийца, собака. Кровью, говорит, своей будешь у меня умываться, сказывай, кто ты есть такой. А как я, братцы, это скажу, когда я самый, как есть, настоящий дизельтер. Да. Я от него к вашим перебег.

— Вот ты говоришь,— он. Это кто ж у них над тобой орудовал?

— Ой, братцы, нутро занимается. Дайте малость дух переведу. Сейчас скажу. Атаман Бекешин. Штрезе полковник. Вицынские. Вы тут в лесу ничего не знаете. В городе стон. Из живых людей железо варят. Из живых режут ремни. Втащут за шиворот незнамо куда, тьма кромешная. Обтрогаешься кругом,— клетка, вагон. В клетке человек больше сорока в одном нижнем. И то и знай отпирают клетку, и лапшица в вагон. Первого попавшего. Наружу. Все равно как курей резать. Ей Богу. Кого вешать, кого под шомпола, кого на допрос. Излущают в нитку, посыпают раны солью, поливают кипятком. Когда скинет или сделает под себя на низ, заставляют,— жри. А с детишками, а по женскому делу, о Господи!

Несчастный был уже при последнем издыхании. Он не договорил, вскрикнул и испустил дух. Как-то все сразу это поняли, стали снимать шапки, креститься.

Вечером другая новость, куда страшнее этого случая, облетела весь лагерь.

Памфил Палых был в толпе, стоявшей вокруг умиравшего. Он его видел, слышал его рассказ, прочел полную угроз надпись на дощечке.

Его постоянный страх за судьбу своих в случае его смерти охватил его в небывалых размерах. В воображении он уже видел их отданными на медленную пытку, видел их мукою искаженные лица, слышал их стоны и зовы на помощь. Чтобы избавить их от будущих страданий и сократить свои собственные, он в неистовстве тоски сам их прикончил. Он зарубил жену и трех детей тем самым, острым, как бритва топором, которым резал им, девочкам и любимцу сыну Фленушке, из дерева игрушки.

Удивительно, что он не наложил на себя рук тотчас после совершенного. О чем он думал? Что у него могло быть впереди? Какие виды, намерения? Это был явный умопомешанный, бесповоротный конченное существование.

Пока Ливерий, доктор и члены армейского совета заседали, обсуждая, что с ним делать, он бродил на свободе по лагерю, с упавшей на грудь головою, ничего не видя мутно-желтыми, глядящими исподобья глазами. Тупо блуждающая улыбка нечеловеческого, никакими силами непобедимого страдания не сходила с его лица.

Никто не жалел его. Все от него отшатывались. Раздавались голоса, призывавшие к самосуду над ним. Их не поддерживали.

Больше на свете ему было делать нечего. На рассвете он исчез из лагеря, как бежит от самого себя большое водобоязнью бешеное животное.

9

Давно настала зима. Стояли трескучие морозы. Разорванные звуки и формы без видимой связи появлялись в морозном тумане, стояли, двигались, исчезали. Не то солнце, к которому привыкли на земле, а какое-то другое, подмененное, багровым шаром висело в лесу. От него туго и медленно, как во сне, или в сказке, растекались лучи густого, как мед, янтарно-желтого света, и по дороге застывали в воздухе и примерзали к деревьям.

Едва касаясь земли круглой стопой и пробуждая каждым шагом свирепый скрежет снега, по всем направлениям двигались незримые ноги в валенках, а дополняющие их фигуры в башлыках и полшубках отдельно проплывали по воздуху, как кружащиеся по небесной сфере светила.

Знакомые останавливались, вступали в разговор. Они приближали друг к другу по-банному побагровевшие лица с обледенелыми мочалками бород и усов. Клубы плотного, вязкого пара облаками вырывались из их ртов и по громадности были несоизмеримы со скупыми, как бы отороженными, словами их немногосложной речи.

На тропинке столкнулись Ливерий с доктором.

— А, это вы? Сколько лет, сколько зим! Вечером прошу в мою землянку. Ночуйте у меня. Тряхнем стариной, поговорим. Есть сообщение.

— Нарочный вернулся? Есть сведения о Варькине?

— О моих и о ваших в донесении ни звука. Но отсюда я как раз черпаю утешительные выводы. Значит, они вовремя спаслись. А то бы о них имелось упоминание. Впрочем, обо всем при встрече. Итак, я жду вас.

В землянке доктор повторил свой вопрос:

— Ответьте только, что вы знаете о наших семьях?

— Опять вы не желаете глядеть дальше своего носа. Наши, по-видимому, живы, в безопасности. Но не в них дело. Великолепнейшие новости. Хотите мяса? Холодная телятина.

— Нет, спасибо. Не разбрасывайтесь. Ближе к делу.

— Напрасно. А я пожую. Цынга в лагере. Люди забыли, что такое хлеб, зелень. Надо было осенью организованнее собирать орехи и ягоды, пока здесь были беженки. Я говорю, дела наши в великолепеннейшем состоянии. То, что я всегда предсказывал, совер-

шилось. Лед тронулся. Колчак отступает на всех фронтах. Это полное, стихийно развивающееся поражение. Видите? Что я говорил? А вы ными.

— Когда это я ныл?

— Постоянно. Особенно, когда нас теснил Вицын.

Доктор вспомнил недавно минувшую осень, расстрел мятежников, детоубийство и женоубийство Палых, кровавую колошматину и человекоубоину, которой не предвиделось конца. Изуверства белых и красных соперничали по жестокости, попеременно возрастая одно в ответ на другое, точно их перемножали. От крови тошнило, она подступала к горлу и бросалась в голову, ею заплывали глаза. Это было совсем не нытье, это было нечто совсем другое. Но как было объяснить это Ливерию?

В землянке пахло душистым угаром. Он садился на небо, щекотал в носу и горле. Землянка освещалась тонко в листик нащепленными лучинками в треногом железном таганце. Когда одна догорала, обгорелый кончик падал в подставленный таз с водой, и Ливерий втыкал в кольцо новую, зажженную.

— Видите, что жгу. Масло вышло. Пересушили полено. Быстро догорает лучина. Да, цынга в лагере. Вы категорически отказываетесь от телятины? Цынга. А вы что смотрите, доктор? Нет того, чтобы собрать штаб, осветить положение, прочесть руководству лекцию о цынге и мерах борьбы с нею.

— Не томите, ради Бога. Что вам известно в точности о наших близких?

— Я уже сказал вам, что никаких точных сведений о них нет. Но я не договорил того, что знаю из последних общевоенных сводок. Гражданская война окончена. Колчак разбит на голову. Красная армия гонит его по железнодорожной магистрали на восток, чтобы сбросить в море. Другая часть Красной армии спешит на соединение с нами, чтобы общими силами заняться уничтожением его многочисленных, повсюду рассеянных тылов. Юг России очищен. Что же вы не радуетесь? Вам этого мало?

— Неправда. Я радуюсь. Но где наши семьи?

— В Варыкине их нет, и это большое счастье. Хотя летние легенды Каменнодворского, как я и предполагал, не подтвердились,— помните эти глупые слухи о нашествии в Варыкино какой-то загадочной народности?— но поселок совершенно опустел. Там, видимо, что-то было все-таки, и очень хорошо, что обе семьи заблаговременно оттуда убрались. Будем верить, что они спасены. Таковы, по словам моей разведки, предположения немногих оставшихся.

— А Юрятин? Что там? В чьих он руках?

— Тоже нечто несообразное. Несомненная ошибка.

— А именно?

— Будто в нем еще белые. Это безусловный абсурд, явная невозможность. Сейчас я вам это докажу с очевидностью.

Ливерий вставил в светец новую лучину и, сложив мятую трепаную двухверстку нужными делениями наружу, а лишние края подвернув внутрь, стал объяснять по карте с карандашом в руке.

— Смотрите. На всех этих участках белые отброшены назад. Вот тут, тут и тут, по всему кругу. Вы следите внимательно?

— Да.

— Их не может быть в Юрятинском направлении. Иначе, при отрезанных коммуникациях, они неизбежно попадают в мешок. Этого не могут не понимать их генералы, как бы они ни были бездарны. Вы надели шубу? Куда вы?

— Простите, я на минуту. Я вернусь сейчас. Тут начажено махоркой и лучинной гарью. Мне нехорошо. Я отдышусь на воздухе.

Поднявшись из землянки наружу, доктор смел рукавицей снег с толстой колоды, положенной вдоль для сидения у выхода. Он сел

на нее, нагнулся и, подперев голову обеими руками, задумался. Зимней тайги, лесного лагеря, восемнадцати месяцев, проведенных у партизан, как не бывало. Он забыл о них. В его воображении стояли одни близкие. Он строил догадки о них одну другой ужаснее.

Вот Тоня идет полем во вьюгу с Шурочкой на руках. Она кутает его в одеяло, ее ноги проваливаются в снег, она через силу вытаскивает их, а метель заносит ее, ветер валит ее наземь, она падает и подымается, бессильная устоять на ослабших, подкашивающихся ногах. О, но ведь он все время забывает, забывает. У нее два ребенка, и меньшого она кормит. Обе руки у нее заняты, как у беженки на Чилимке, от горя и превышавшего их силы напряжения лишившихся рассудка.

Обе руки ее заняты и никого кругом, кто бы мог помочь. Шурочкин папа неизвестно где. Он далеко, всегда далеко, всю жизнь в стороне от них, да и папа ли это, такими ли бывают настоящие папы? А где ее собственный папа? Где Александр Александрович? Где Нюша? Где остальные? О, лучше не задавать себе этих вопросов, лучше не думать, лучше не вникать.

Доктор поднялся с колоды в намерении спуститься назад в землянку. Внезапно мысли его приняли новое направление. Он передуал возвращаться вниз к Ливерию.

Лыжи, мешок с сухарями и все нужное для побега было давно запасено у него. Он зарыл эти вещи в снег за сторожевою чертою лагеря, под большую пихтою, которую для верности еще отметил особою зарубкою. Туда, по проторенной среди сугробов пешеходной стезе он и направился. Была ясная ночь. Светила полная луна. Доктор знал, где расставлены на ночь караулы и с успехом обошел их. Но у поляны с обледенелою рябиной часовой издали окликнул его и, стоя прямо на сильно разогнанных лыжах, скользком подъехал к нему.

— Стой! Стрелять буду! Кто такой? Говори порядок.

— Да что ты, братец, очумел? Свой. Аль не узнал? Доктор ваш Живаго.

— Виноват! Не сердчай, товарищ Желвак. Не признал. А хоша и Желвак, дале не пуцу. Надо всё следом правилом.

— Ну, изволь. Пароль Красная Сибирь, отзыв долой интервентов.

— Это другой разговор. Ступай куда хошь. За каким шайтаном ночевродишь? Больные?

— Не спится и жажда одолела. Думал, пройдуся, поглотаю снега. Увидел рябину в ягодах мороженных, хочю пойти, пожевать.

— Вот она, дурь барская, зимой по ягоду. Три года колотим, колотим, не выколотишь. Никакой сознательности. Ступай по свою рябину, ненормальный. Аль мне жалко?

И так же разгоняясь всё скорее и скорее, часовой с сильно взятотого разбега, стоя отъехал в сторону на длинных свистящих лыжах, и стал уходить по цельному снегу все дальше и дальше за тощие, как поредевшие волосы, голые зимние кусты. А тропинка, по которой шел доктор, привела его к только что упомянутой рябине.

Она была наполовину в снегу, наполовину в обмерзших листьях и ягодах, и простирала две заснеженные ветки вперед навстречу ему. Он вспомнил большие белые руки Лары, круглые, щедрые и, ухватившись за ветки, притянул дерево к себе. Слово сознательным ответным движением рябина осыпала его снегом с ног до головы. Он бормотал, не понимая, что говорит и сам себя не помня:

— Я увижу тебя, красота моя писаная, княгиня моя рябинушка, родная кровинушка.

Ночь была ясная. Светила луна. Он пробрался дальше в тайгу к заветной пихте, откопал свои вещи и ушел из лагеря.

*Часть тринадцатая***ПРОТИВ ДОМА С ФИГУРАМИ**

1

По кривой горке к Малой Спасской и Новосвалочному спускалась Большая Купеческая. На нее заглядывали дома и церкви более возвышенных частей города.

На углу стоял темносерый дом с фигурами. На огромных четырехугольных камнях его наклонно скошенного фундамента чернели свежерасклеенные номера правительственных газет, правительственные декреты и постановления. Надолго застаиваясь на тротуаре, литература в безмолвии читала небольшие кучки прохожих.

Было сухо после недавней оттепели. Подмораживало. Мороз заметно крепчал. Было совсем светло в часы, в которые еще недавно темно. Недавно ушла зима. Пустоту освободившегося места наполнил свет, который не уходил и задерживался вечерами. Он волновал, влек вдаль, пугал и настораживал.

Недавно из города ушли белые, сдав его красным. Кончились обстрелы, кровопролитие, военные тревоги. Это тоже пугало и настораживало, как уход зимы и приrost весеннего дня.

Извещения, которые при свете удлинившегося дня читали уличные прохожие, гласили:

«К сведению населения. Рабочие книжки для состоятельных получают за 50 рублей штука в Продотделе Юрсвета, Октябрьская, бывшая Генералгубернаторская, 5, комната 137.

Неимение рабочей книжки или неправильное, а тем более живое ведение записей карается по всем строгостям военного времени. Точная инструкция к пользованию рабочими книжками опубликована в И. Ю. И. К. № 86 (1013) текущего года и вывешена в Продотделе Юрсвета, комната 137».

В другом объявлении сообщалось о достаточности имеющихся в городе продовольственных запасов, которые якобы только прячет буржуазия, чтобы дезорганизовать распределение и посеять хаос в продовольственном деле. Объявление кончалось словами:

«Уличенные в хранении и сокрытии продовольственных запасов расстреливаются на месте».

Третье объявление предлагало:

«В интересах правильной постановки продовольственного дела непринадлежащие к эксплуататорским элементам объединяются в потребительские коммуны. О подробностях справиться в Продотделе Юрсвета, Октябрьская, бывшая Генералгубернаторская, 5, комната 137».

Военных предупреждали:

«Несдавшие оружие или носящие его без соответствующего разрешения нового образца преследуются по всей строгости закона. Разрешения обмениваются в Юрревкоме, Октябрьская, 6, комнате 63».

2

К группе читавших подошел исхудалый, давно не мывшийся и оттого казавшийся смуглым человек одичалого вида с котомкой за плечами и палкой. В сильно отросших его волосах еще не было седины, а темнорусая борода, которою он оброс, стала седеть. Это был доктор Юрий Андреевич Живаго. Шубу, наверное, давно сняли с него дорогою, или он сбыл ее в обмен на пищу. Он был в вымененных короткоорукавых обносках с чужого плеча, не гревших его.

В мешке у него оставалась недоеденная краюшка хлеба, поданная в последней пройденной подгородной деревне, и кусок сала.

Около часу назад он вошел в город со стороны железной дороги, и ему понадобился целый час, чтобы добрести от городской заставы до этого перекрестка, так он был измучен ходьбою последних дней и слаб. Он часто останавливался и еле сдерживался, чтобы не упасть на землю и не целовать камней города, которого он больше не чаял когда-нибудь увидеть, и виду которого радовался, как живому существу.

Очень долго, половину своего пешего странствия он шел вдоль линии железной дороги. Она вся находилась в забросе и бездействии, и вся была заметена снегом. Его путь лежал мимо целых белогвардейских составов, пассажирских и товарных, застигнутых заносами, общим поражением Колчака и истощением топлива. Эти, застрявшие в пути, навсегда остановившиеся и погребенные под снегом поезда тянулись почти непрерывною лентою на многие десятки верст. Они служили крепостями шайкам вооруженных, грабившим по дорогам, пристанищем скрывающимся уголовным и политическим беглецам, невольным бродягам того времени, но более всего братскими могилами и сборными усыпальницами умершим от мороза и от сыпняка, свирепствовавшего по линии и выкашивавшего в окрестностях целые деревни.

Это время оправдало старинное изречение: человек человеку волк. Путник при виде путника сворачивал в сторону, встречный убивал встречного, чтобы не быть убитым. Появились единичные случаи людоедства. Человеческие законы цивилизации кончились. В силе были звериные. Человеку снились доисторические сны пещерного века.

Одиночные тени, кравишиеся иногда по сторонам, боязливо перебежавшие тропинку далеко впереди и которые Юрий Андреевич, когда мог, старательно обходил, часто казались ему знакомыми, где-то виденными. Ему чудилось, что все они из партизанского лагеря. В большинстве случаев это были ошибки, но однажды глаз не обманул его. Подросток, выползший из снеговой горы, скрывавшей корпус международного спального вагона, и по совершении нужды заюркнувший обратно в сугроб, действительно был из лесных братьев. Это был мнимо насмерть расстрелянный Терентий Галузин. Его недострелили, он пролежал в долгом обмороке, пришел в себя, уполз с места казни, скрывался в лесах, оправился от ран и теперь тайком под другой фамилией пробирался к своим в Крестовоздвиженск, хорясь по пути от людей в засыпанных поездах.

Эти картины и зрелища производили впечатление чего-то нездешнего, трансцендентного. Они представлялись частицами каких-то неведомых, инопланетных существований, по ошибке занесенных на землю. И только природа оставалась верна истории и рисовалась взору такую, какой изображали ее художники новейшего времени.

Выдавались тихие зимние вечера, светлосерые, темнорозовые. По светлой заре вычерчивались черные верхушки берез, тонкие, как письмена. Текли черные ручьи под серой дымкой легкого обледенения, в берегах из белого, горами лежащего, снизу подмоченного темною речной водою снега. И вот такой вечер, морозный, прозрачно серый, сердобольный, как пушинки вербы, через час-другой обещал наступить против дома с фигурами в Юрятине.

Доктор подошел было к доске Центропечати на каменной стене дома, чтобы просмотреть казенные оповещения. Но взгляд его по минутно падал на противоположную сторону, устремленный вверх, в несколько окон второго этажа в доме напротив. Эти, выходявшие на улицу окна были забелены мелом когда-то. В находившихся за ними двух комнатах была сложена хозяйская мебель. Хотя мороз подернул низы оконниц тонкой хрустальной коркой, было видно, что окна теперь прозрачны и отмыты от мела. Что означала эта переме-

на? Вернулись ли хозяева? Или Лара выехала, в квартире новые жильцы, и теперь там все по-другому?

Неизвестность волновала доктора. Он не мог совладать с волнением. Он перешел через дорогу, вошел с парадного подъезда в сени и стал подниматься по знакомой и такой дорогой его сердцу парадной лестнице. Как часто в лесном лагере до последней завитушки вспоминал он решетчатый узор литых чугунных ступеней. На каком-то повороте подъема, при взгляде сквозь решетку под ноги, внизу открывались сваленные под лестницей худые ведра, лохани и полованные стулья. Так повторилось и сейчас. Ничего не изменилось, все было по-прежнему. Доктор был почти благодарен лестнице за верность прошлому.

Когда-то в двери был звонок. Но он испортился и бездействовал уже в прежние времена, до лесного пленения доктора. Он хотел постучаться в дверь, но заметил, что она заперта по-новому, тяжелым висячим замком, продетым в кольца, грубо ввинченные в облицовку старинной дубовой двери с хорошей и местами выпавшей отделкою. Прежде такого варварства не допускали. Пользовались врезными дверными замками, хорошо запиравшимися, а если они портились, на то были слесаря, чтобы чинить их. Ничтожная эта мелочь по своему говорила об общем, сильно подвинувшемся вперед ухудшении.

Доктор был уверен, что Лары и Катеньки нет в доме, а может быть, и в Юрятине, а может быть, даже и на свете. Он готов был к самым страшным разочарованиям. Только для очистки совести решил он пошарить в дыре, которой так боялись он и Катенька, и постучал ногой по стене, чтобы не наткнуться рукой на крысу в отверстии. У него не было надежды найти что-нибудь в условном месте. Дыра была заложена кирпичом. Юрий Андреевич вынул кирпич и сунул в углубление руку. О чудо! Ключ и записка. Записка довольно длинная, на большом листе. Доктор подошел к лестничному окошку на площадке. Еще большее чудо, еще более невероятное! Записка написана ему! Он быстро прочел:

«Господи, какое счастье! Говорят, ты жив и нашелся. Тебя видели в окрестностях, прибежали и сказали мне. Предполагая, что первым делом ты поспешишь в Варькино, отправляюсь к тебе сама туда с Катенькой. На всякий случай ключ в обычном месте. Дождись моего возвращения, никуда не уходи. Да, ты этого не знаешь, я теперь в передней части квартиры, в комнатах, выходящих на улицу. Впрочем, сам догадаешься. В доме простор, запустение, пришлось продать часть хозяйской мебели. Оставляю немного еды, главным образом, вареной картошки. Придавливай крышку кастрюли утюгом или чем-нибудь тяжелым, как я сделала, в предохранение от крыс. Без ума от радости».

Тут кончалась лицевая сторона записки. Доктор не обратил внимания, что бумажка исписана и с другой стороны. Он поднес разложенный на ладони листок к губам, а потом, не глядя, сложил и сунул его вместе с ключом в карман. Страшная, ранящая боль примешалась к его безумной радости. Раз она не обинуясь, без всяких оговорок направляется в Варькино, следовательно, его семьи там нет. Кроме тревоги, которую вызывала эта частность, ему еще нестерпимо больно и грустно было за своих. Отчего она ни словом не обмолвилась о них и о том, где они, точно их и вообще не существовало.

Но раздумывать было некогда. На улице начинало темнеть. Множество дел надо было успеть сделать засветло. Не последнюю заботою было ознакомление с развешанными на улице декретами. Время было нешуточное. Можно было по незнанию заплатить жизнью за нарушение какого-нибудь обязательного постановления. И не отпирая квартиры и не снимая котомки с натруженного плеча, он сошел вниз на улицу и подошел к стене, на большом пространстве сплошь облепленной разнообразною печатью.

Эта печать состояла из газетных статей, протоколов речей на заседаниях и декретов. Юрий Андреевич бегло просматривал заглавия. «О порядке реквизиции и обложении имущих классов. О рабочем контроле. О фабрично-заводских комитетах». Это были распоряжения новой, вошедшей в город власти в отмену застигнутых тут предшествующих порядков. Она напоминала о неукоснительности своих устоев, может быть, забытых жителями при временном правлении белых. Но у Юрия Андреевича закружилась голова от нескончаемости этих однообразных повторов. Каких лет были эти заголовки? Что это за надписи? Прошлогодние? Позапрошлогодние? Один раз в жизни он восхищался безоговорочностью этого языка и прямою этой мысли. Неужели за это неосторожное восхищение он должен расплачиваться тем, чтобы в жизни больше уже никогда ничего не видеть, кроме этих на протяжении долгих лет не меняющихся шальных выкриков и требований, чем дальше, тем более нежизненных, неудобопонятных и неисполнимых? Неужели минутою слишком широкой отзывчивости он навеки закабалил себя?

Откуда-то вырванный кусок отчета попался ему. Он читал:

«Сведения о голоде показывают невероятную бездеятельность местных организаций. Факты злоупотребления очевидны, спекуляция чудовищна, но что сделало бюро местных профоргов, что сделали городские и краевые фабзавкомы? Пока мы не произведем массовых обысков в пакгаузах Юрятина-товарного, на участке Юрятин-Развилье и Развилье-Рыбалка, пока не применим суровых мер террора вплоть до расстрела на месте к спекулянтам, не будет спасения от голода».

«Какое завидное ослепление! — думал доктор. — О каком хлебе речь, когда его давно нет в природе? Какие имущие классы, какие спекулянты, когда они давно уничтожены смыслом предшествующих декретов? Какие крестьяне, какие деревни, когда их больше не существует? Какое забвение своих собственных предназначений и мероприятий, давно не оставивших в жизни камня на камне? Кем надо быть, чтобы с таким неостывающим горячешным жаром бредить из года в год на несуществующие, давно прекратившиеся темы, и ничего не знать, ничего кругом не видеть!»

У доктора закружилась голова. Он лишился чувств и упал на тротуар без памяти. Когда он пришел в сознание и ему помогли встать, ему предложили отвести его, куда он укажет. Он поблагодарил и отказался от помощи, объяснив, что ему только через дорогу, напротив.

Он еще раз поднялся наверх и стал отпирать дверь в Ларину квартиру. На площадке лестницы было еще совсем светло, ничуть не темнее, чем в первый его подъем. Он с признательной радостью отметил, что солнце не торопит его.

Щелканье отмыкаемой двери произвело переполох внутри. Пустующее в отсутствие людей помещение встретило его лязгом и дребезжанием опрокидываемых и падающих жестянок. Всем телом шлепались на пол и враспынную разбегались крысы. Доктору стало не по себе от чувства беспомощности перед этой мерзостью, которой тут наверное расплодилось тьма тьмуца.

И до какой бы то ни было попытки водворения на ночевку сюда, он первым делом решил оградиться от этой напасти и, укрывшись в какой-нибудь легко отделимой и хорошо затворяющейся комнате, заделать битым стеклом и обрезками железа все крысиные ходы.

Из передней он повернул налево, в неизвестную ему часть квартиры. Миновав темную проходную комнату, он очутился в светлой,

двумя окнами выходившей на улицу. Прямо против окон на другой стороне темнел дом с фигурами. Низ стены его был покрыт расклеенными газетами. Стоя спиной к окнам, газеты читали прохожие.

Свет в комнате и снаружи был один и тот же, молодой, невыстоявшийся вечерний свет ранней весны. Общность света внутри и снаружи была так велика, точно комната не отделялась от улицы. Только в одном была небольшая разница. В Лариной спальне, где стоял Юрий Андреевич, было холоднее, чем снаружи на Купеческой.

Когда Юрий Андреевич приближался к городу на своем последнем переходе и час или два тому назад шел по нему, безмерно увеличившаяся его слабость казалась ему признаком грозящего близкого заболевания и пугала его.

Сейчас же однородность освещения в доме и на воле так же беспричинно радовала его. Столб выхоложенного воздуха, один и тот же, что на дворе, что в жилище, родил его с вечерними уличными прохожими, с настроениями в городе, с жизнью на свете. Страхи его рассеялись. Он уже не думал, что заболит. Вечерняя прозрачность весеннего, всюду проникающего света казалась ему залогом далеких и щедрых надежд. Ему верилось, что все к лучшему, и он всего добьется в жизни, всех разыщет и примирит, все додумает и выразит. И радости свидания с Ларою он ждал как ближайшего доказательства.

Безумное возбуждение и необузданная суетливость сменили его предшествующий упадок сил. Это оживление было более верным симптомом начинающейся болезни, чем недавняя слабость. Юрию Андреевичу не сиделось. Его снова тянуло на улицу, и вот по какому поводу.

Перед тем, как обосноваться тут, ему хотелось постричься и снять бороду. В этих видах он уже проходя через город заглядывал в витрины бывших парикмахерских. Часть помещений пустовала или была занята под другие надобности. Другие, отвечавшие прежнему назначению, были под замком. Постричься и побриться было негде. Своей бритвы у Юрия Андреевича не было. Ножницы, если бы таковые нашлись у Лары, могли бы вывести его из затруднения. Но в беспокойной торопливости, с какой он перерыл все у нее на туалетном столике, ножниц он не обнаружил.

Он вспомнил, что на Малой Спасской находилась когда-то швейная мастерская. Он подумал, что если заведение не прекратило своего существования и там до сих пор работают, и если он успеет к ним до часа их закрытия, ножницы можно будет попросить у какой-нибудь из мастериц. И он еще раз вышел на улицу.

5

Воспоминание его не обмануло. Мастерская оставалась на старом месте, в ней работали. Мастерская занимала торговое помещение на уровне тротуара с витринным окном во всю ширину и выходом на улицу. В окно было видно внутрь до противоположной стены. Мастерицы работали на виду у идущих по улице.

В комнате была страшная теснота. В придачу к настоящим работницам, на работу, наверное, пристроились швей-любительницы, стареющие дамы из юрятинского общества, для получения рабочих книжек, о которых говорилось в декрете на стене дома с фигурами.

Их движения сразу были отличимы от расторопности действительных портних. В мастерской шили одно военное, ватные штаны, стеганки и куртки, а также сметывали, как Юрий Андреевич это уже видел в партизанском лагере, сборные шутовского вида тулупы из разномастных собачьих шкур. Неловкими пальцами подсовывая подогнутые для подрубания полы под пробивные иглы швейных ма-

шин, швей-любительницы еле справлялись с непривычною, наполовину скорняжною работой.

Юрий Андреевич постучал в окно и сделал знак рукою, чтобы его впустили. Такими же знаками ему ответили, что от частных людей заказов не берут. Юрий Андреевич не отступал и, повторяя те же движения, настаивал, чтобы его впустили внутрь и выслушали. Отнекивающимися движениями ему дали понять, что у них спешное дело, чтобы он отстал, не мешал и шел дальше. Одна из мастериц изобразила на лице недоумение и в знак досады выставила ладошку лодочкой вперед, глазами спрашивала, что ему, собственно, нужно. Двумя пальцами, указательным и средним, он изобразил чикающее движение ножниц. Его движения не поняли. Решили, что это какая-то непристойность, что он передразнивает их и с ними заигрывает. Оборванным видом и странным поведением он производил впечатление большого или сумасшедшего. В мастерской хихикали пересмеивались и махали на него руками, гоня его прочь от окна. Наконец, он догадался поискать пути через двор дома, нашел его и, отыскав дверь в мастерскую, постучался в нее с черного хода.

6

Дверь отворила пожилая темноликая портниха в темном платье, стругая, может быть, старшая в заведении.

— Вот какой, привязался! Наказание в самом деле. Ну, скорее, что вам? Некогда.

— Ножницы мне требуются, не удивляйтесь. Хочу попросить на минуту на подержание. Я тут же при вас сниму бороду и верну с благодарностью.

В глазах портнихи показалось недоверчивое удивление. Было нескрываемо ясно, что она усомнилась в умственных способностях собеседника.

— Я издаю. Только сейчас прибыл в город, оброс. Хотел бы постричься. И ни одной парикмахерской. Так вот, я бы, пожалуй, и сам, только ножниц нету. Одолжите, пожалуйста.

— Хорошо. Я постригу вас. Только смотрите. Если у вас что-нибудь другое на уме, хитрости какие-нибудь, изменение внешности для маскировки, что-нибудь политическое, уж не взывайте. Жизнью ради вас не будем жертвовать, пожалуемся, куда следует. Не такое теперь время.

— Помилуйте, что за опасения!

Портниха впустила доктора, ввела в боковую комнату не шире чуланчика, и через минуту он сидел на стуле, как в цирюльне, весь обвязанный туго стягивавшей шею, заткнутой за ворот простыней.

Портниха отлучилась за инструментами и немного спустя вернулась с ножницами, гребенкою, несколькими, разных номеров, машинками, ремнем и бритвой.

— Всё в жизни перепробовала,— пояснила она, заметив, как изумлен доктор, что это все оказалось наготове.— Парикмахершей работала. На той войне, в сестрах милосердия, стричь и брить научилась. Бороду предварительно отхватим ножницами, а потом пробрем вчистую.

— Волосы будете стричь, пожалуйста, покороче.

— Постараемся. Такие интеллигентные, а притворяетесь незнающими. Сейчас счет не по неделям, а на декады. Сегодня у нас семнадцатое, а по числам с семеркой парикмахеры выходные. Будто это вам неизвестно.

— Да честное слово. Зачем мне притворяться? Я ведь сказал. Я — издаю. Нездешний.

— Спокойнее. Не дергайтесь. Недолго порезаться. Значит,— приежжй? На чем ехали?

— На своих двоих.

— Трактором шли?

— Часть трактором, а остальную по линии. Поездов, поездов под снегом! Всякие, люксы, экстренные.

— Ну вот еще кусочек остался. Отсюда снимем, и готово. По семейным надобностям?

— Какое там по семейным! По делам бывшего союза кредитных товариществ. Инспектором я разъездным. Послали в объезд с ревизией. Чорт знает куда. Застрял в Восточной Сибири. А назад никак. Поездов-то ведь нет. Пришлось пешком, ничего не попишешь. Полтора месяца шел. Такого навидался, в жизнь не пересказать.

— А и не надо рассказывать. Я вас научу уму-разуму. А сейчас погодите. Вот вам зеркало. Выпроставьте руку из-под простыни и возьмите его. Полюбуйтесь на себя. Ну как находите?

— По-моему мало сняли. Можно бы покороче.

— Прическа не будет держаться. Я говорю, ничего и не надо рассказывать. Обо всем самое лучшее молчок теперь. Кредитные товарищества, поезда люкс под снегом, инспектора и ревизоры, лучше вам даже слова эти забыть. Еще в такое с ними влопаются! Не по внучке онучки, не по сезону это. Лучше врите, что доктор вы или учитель. Ну вот, бороду начерно отхватила, сейчас будем набело брить. Намылимся, чик-чик, и лет на десять помолодеем. Я за киятком схожу, воды нагрēju.

«Кто она, эта женщина!» — между тем думал доктор в ее отсутствие. «Какое-то ощущение, будто у нас могут быть точки соприкосновения и я должен ее знать. Что-то виденное или слышанное. Вероятно, она кого-то напоминает. Но чорт поberi, кого именно?»

Портниха вернулась.

— А теперь, значит, побреемся. Да, стало быть, лучше никогда не говорить лишнего. Это истина вечная. Слово серебро, а молчание золото. Поезда там литерные и кредитные товарищества. Лучше что-нибудь выдумайте, будто доктор или учитель. А что видов навидались, держите про себя. Кого теперь этим удивить? Не беспокоит бритва-то?

— Немного больно.

— Дерет, должна драть, сама знаю. Потерпите, миленький. Без этого нельзя. Волос отрос и погрубел, отвыкла кожа. Да. Видами теперь никого не удивить. Искусались люди. Хлебнули и мы горюшка. Тут в атамановщину такое творилось! Похищения, убийства, увозы. За людьми охотились. Например, мелкий сатрап один, сапунец, невлюбил, понимаете, поручика. Посылает солдат устроить засаду близ Загородной рощи, против дома Крапульского. Обезоруживают и под конвоем в Развилье. А Развилье у нас было тогда то же самое, что теперь губчека. Лобное место. Что это вы головой мотааете? Дерет? Знаю, милый, знаю. Ничего не поделаешь. Тут подчищать приходится прямо против волоса, да и волос как щетина. Жесткий. Такое место. Жена, значит, в истерике. Жена поручика. Коля! Коля мой! И прямо к главному. То есть это только так говорится, что прямо. Кто ее пустит. Протекция. Тут одна особа на соседней улице знала ходы к главному и за всех заступалась. Исключительно гуманный был человек, не чета другим, отзывчивый. Генерал Галиуллин. А кругом самосуды, зверства, драмы ревности. Совершенно как в испанских романах.

«Это она о Ларе,— догадывался доктор, но из предосторожности молчал и не вступал в более подробные расспросы.— А когда она сказала: «как в испанских романах», она опять кого-то страшно напомнила. Именно этим неподходящим словом, сказанным ни к селу ни к городу».

— Теперь, конечно, совсем другой разговор. Оно, положим, расследований, доносов, расстрелов и теперь хоть отбавляй. Но в идее

это совсем другое. Во-первых, власть новая. Еще без году неделя правит, не вошли во вкус. Во-вторых, что там ни говори, они за простой народ, в этом их сила. Нас, считая со мной, было четыре сестры. И все трудящиеся. Естественно, мы склоняемся к большевикам. Одна сестра умерла, замужем была за политическим. Ее муж управляющим служил на одном из здешних заводов. Их сын, мой племянник,— главарь наших деревенских повстанцев, можно сказать, знаменитость.

«Так вот оно что!» — осенило Юрия Андреевича.— «Это тетка Ливерия, местная притча во языцех и свояченица Микулицына, парикмахерша, швея, стрелочница, всем известная здесь мастерица на все руки. Буду однако попрежнему отмалчиваться, чтобы себя не выдать».

— Тяга к народу у племянника с детства. У отца среди рабочих рос, на Святогоре Богатыре. Варыкинские заводы, может быть, слышали? Это что же мы такое с вами делаем! Ах я дура беспмятная! Полподбородка гладкие, другая половина небрита. Вот что значит заговорились. А вы что смотрели, не остановили? Мыло на лице высохло. Пойду подогрею воду. Остыла.

Когда Тунцева вернулась, Юрий Андреевич спросил:

— Варыкино ведь это какая-то глушь богоспасаемая, дебри, куда не доходят никакие потрясения?

— Ну, как сказать, богоспасаемая. Этим дебрям, пожалуй, посолоней нашего пришлось. Через Варыкино какие-то шайки проходили, неизвестно чьи. По нашему не говорили. Дом за домом на улицу выводили и расстреливали. И уходили не говоря худого слова. Так тела необрунными на снегу и оставались. Зимой ведь было дело. Что же это вы все дергаетесь? Я вас чуть бритвой по горлу не полоснула.

— Вот вы говорили, зять ваш, варыкинский житель. Его тоже не миновали эти ужасы?

— Нет, зачем. Бог милостив. Он с женой вовремя оттуда выбрался. С новой, со второй. Где они, неизвестно, но достоверно, что спаслись. Там в самое последнее время новые люди завелись. Московская семья, приезжие. Те еще раньше уехали. Младший из мужчин, доктор, глава семьи, без вести пропал. Ну что значит без вести! Это ведь только так говорится, что без вести, чтобы не огорчать. А по настоящему надо полагать, умер, убит. Искали, искали его — не нашли. Тем временем другого, старшего вытребовали на родину. Профессор он. По сельскому хозяйству. Вызов, я слышала, получил от самого правительства. Через Юрятин они проехали еще до вторых белых. Опять вы за свое, товарищ дорогой? Ежели так под бритвой ерзать и дергаться, недолго и зарезать клиента. Слишком много вы требуете от парикмахера.

«Значит в Москве они!»

7

«В Москве! В Москве», с каждым шагом отдавалось в душе у него, пока он в третий раз подымался по чугунной лестнице. Пустая квартира снова встретила его содомом скачущих, падающих, разбегающихся крыс. Юрию Андреевичу было ясно, что рядом с этой гадостью он не сомкнет глаз ни на минуту, как бы он ни был измучен. Приготовления к ночлегу он начал с заделки крысиных дыр. По счастью в спальне их оказалось не так много, гораздо меньше, чем в остальной квартире, где и самые полы и основания стен были в меньшей исправности. Но надо было торопиться. Ночь приближалась. Правда, в кухне на столе его ждала, может быть, в расчете на его приход, снятая со стены и наполовину запроващенная лампа, и около нее в незадвинутом спичечном коробке лежало несколько спичек, счетом десять, как насчитал Юрий Андреевич. Но и то и другое, керосин и спички, лучше следовало беречь. В спальне еще обнаружи-

лась ночная площадка со светильней и следами лампадного масла, которое почти до дна, наверное, выпили крысы.

В некоторых местах ребра плитусов отставали от пола. Юрий Андреевич вбил в щели несколько слоев плашмя положенных стеклянных осколков, остриями внутрь. Дверь спальни хорошо приставала к порогу. Ее можно было плотно притворить и, заперев, наглухо отделить комнату с заделанными скважинами от остальной квартиры. В час с небольшим Юрий Андреевич со всем этим справился.

Угол спальни скашивала кафельная печь с изразцовым, до потолка не доходящим карнизом. В кухне припасены были дрова, вязанок десять. Юрий Андреевич решил ограбить Лару охапки на две и, став на одно колено, стал набирать дрова на левую руку. Он перенес их в спальню, сложил у печи, ознакомился с ее устройством и наскоро проверил, в каком она состоянии. Он хотел запереть комнату на ключ, но дверной замок оказался в неисправности и потому, приперев дверь тугой бумажной затычкой, чтобы она не отворялась, Юрий Андреевич стал не спеша растапливать печку.

Накладывая поленья в топку, он увидал метку на брусом срезе одной из плах. С удивлением он узнал ее. Это были следы старого клеймления, две начальные буквы «ка» и «де», обозначающие на нераспиленных деревьях, с какого они склада. Этими буквами когда-то при Крюгере клеймили концы бревен из Кулабышевской деляны в Выхватине, когда заводы торговали излишками ненужного топливного леса.

Наличие дров этого сорта в хозяйстве у Лары доказывало, что она знает Самдевятова и что он о ней заботится, как когда-то снабжал всем нужным доктора с его семьею. Открытие это было нож в сердце доктору. Его и прежде тяготила помощь Анфима Ефимовича. Теперь стеснительность этих одолжений осложнялась другими ощущениями.

Едва ли Анфим благодетельствует Ларисе Федоровне ради ее прекрасных глаз. Юрий Андреевич представил себе свободные манеры Анфима Ефимовича и Ларину женскую опрометчивость. Не может быть, чтобы между ними ничего не было.

В печке с дружным треском бурно разгорались сухие Кулабышевские дрова, и по мере того, как они занимались, ревнивое ослепление Юрия Андреевича, начавшись со слабых предположений, достигло полной уверенности.

Но душа у него была истерзана вся кругом, и одна боль вытесняла другую. Он мог не гнать этих подозрений. Мысли сами, без его усилий, перескакивали у него с предмета на предмет. Размышления о своих, с новою силой набежавшие на него, заслонили на время его ревнивые выдумки.

«Итак, вы в Москве, родные мои?» Ему уже казалось, что Тунцева удостоверила его в их благополучном прибытии. «Вы снова, значит, без меня повторили этот долгий, тяжелый путь? Как вы доехали? Какого рода эта командировка Александра Александровича, этот вызов? Наверное, приглашение из Академии возобновить в ней преподавание? Что нашли вы дома? Да полно, существует ли он еще, этот дом? О как трудно и больно, Господи! О, не думать, не думать! Как путаются мысли! Что со мною, Тоня? Я, кажется, заболелаю. Что будет со мною и всеми вами, Тоня, Тонечка, Тоня, Шурочка, Александр Александрович? Вскую отринул мя еси от лица Твоего, свете незаходимый? Отчего вас всю жизнь относит прочь, в сторону от меня? Отчего мы всегда врозь? Но мы скоро соединимся, съедемся, не правда ли? Я пешком доберусь до вас, если никак нельзя иначе. Мы увидимся. Всё снова пойдет на лад, не правда ли?»

Но как земля меня носит, если я всё забываю, что Тоня должна была родить и, вероятно, родила? Уже не в первый раз я проявляю эту

забывчивость. Как прошли ее роды? Как родила она? По пути в Москву они были в Юртыне. Хотя, правда, Лара незнакома с ними, но вот швее и парикмахерше, совершенно посторонней, их судьбы не остались неизвестны, а Лара ни словом не заикается о них в записке. Какая странная, отдающая безучастием, невнимательность! Такая же необъяснимая, как ее умалчивание о ее отношениях с Самдевятым».

Тут Юрий Андреевич другим разборчивым взглядом окинул стены спальни. Он знал, что из стоящих и развешанных кругом вещей нет ни одной, принадлежащей Ларе, и что обстановка прежних неведомых и скрывающихся хозяев ни в какой мере не может свидетельствовать о Лариных вкусах.

Но всё равно, как бы то ни было, ему вдруг стало не по себе среди глядевших со стен мужчин и женщин на увеличенных фотографиях. Духом враждебности пахнуло на него от аляповатой мебелировки. Он почувствовал себя чужим и лишним в этой спальне.

А он-то, дурень, столько раз вспоминал этот дом, соскучился по нем, и входил в эту комнату не как в помещение, а как в свою тоску по Ларе! Как этот способ чувствования, наверное, смешон со стороны! Так ли живут, ведут и выражают себя люди сильные, практики вроде Самдевятова, красавцы-мужчины? И почему Лара должна предпочитать его бесхарактерность, и темный, нереальный язык его обожания? Так ли нуждается она в этом сумбуре? Хочется ли ей самой быть тем, чем она для него является?

А чем является она для него, как он только что выразился? О, на этот вопрос ответ всегда готов у него.

Вот весенний вечер на дворе. Воздух весь размечен звуками. Голоса играющих детей разбросаны в местах разной дальности, как бы в знак того, что пространство всё насквозь живое. И эта даль — Россия, его несравненная, за морями нашумевшая, знаменитая родительница, мученица, упрямица, сумасбродка, шалая, боготворимая, с вечно величественными и гибельными выходками, которых никогда нельзя предвидеть! О как сладко существовать! Как сладко жить на свете и любить жизнь! О как всегда тянет сказать спасибо самой жизни, самому существованию, сказать это им самим в лицо!

Вот это-то и есть Лара. С ними нельзя разговаривать, а она их представительница, их выражение, дар слуха и слова, дарованный безгласным началам существования.

И неправда, тысячу раз неправда всё, что он наговорил тут о ней в минуту сомнения. Как именно совершенно и безупречно всё в ней!

Слезы восхищения и раскаяния застлали ему взор. Он открыл печную заслонку и помешал печь кочергой. Опламенившийся чистый жар он задвинул в самый зад топки, а недогоревшие головешки подгреб к переду, где была сильнее тяга. Некоторое время он не притворял дверцы. Ему доставляло наслаждение чувствовать игру тепла и света на лице и руках. Движущийся отблеск пламени окончательно отрезвил его. О как ему сейчас недоставало ее, как нуждался он в этот миг в чем-нибудь, осязательно исходящем от нее!

Он вынул из кармана ее смятую записку. Он извлек ее в перевернутом виде, не в том, в каком читал прежде, и только теперь установил, что листок исписан и с нижней стороны. Разгладив скомканную бумажку, он при пляшущем свете топящейся печки прочел:

«О ваших ты знаешь. Они в Москве. Тоня родила дочку». Дальше шло несколько вымаранных строк. Потом следовало: «Зачеркнула, потому что глупо в записке. Наговоримся с глазу на глаз. Горюплю, бегу доставать лошадь. Не знаю, что придумать, если не достану. С Катенькой будет трудно...» Конец фразы стерся и был неразборчив.

«Лошадь она побежала просить у Анфима, и наверное выпросила, раз уехала»,— спокойно соображал Юрий Андреевич. «Если бы совесть ее не была совершенно чиста на этот счет, она не упоминала бы об этой подробности».

8

Когда печка истопилась, доктор закрыл трубу и немного закусил. После еды им овладел приступ непреодолимой сонливости. Он лег, не раздеваясь, на диван и крепко заснул. Он не слышал оглушительного и беззастенчивого крысиного содома, поднявшегося за дверью и стенами комнаты. Два тяжелых сна приснились ему подряд, один вслед за другим.

Он находился в Москве, в комнате перед запертой на ключ стеклянной дверью, которую он еще для верности притягивал на себя, ухватившись за дверную ручку. За дверью бился, плакал и просился внутрь его мальчик Шурочка в детском пальто, матросских брюках и шапочке, хорошенький и несчастный. Позади ребенка, обдавая его и дверь брызгами, с грохотом и гулом обрушивался водопад испорченного ли водопровода или канализации, бытового явления той эпохи, или, может быть, в самом деле здесь кончалась и упиралась в дверь какая-то дикая горная теснина, с бешено мчащимся по ней потоком и веками скопившимися в ущелье холодом и темнотою.

Обвал и грохот низвергающейся воды пугали мальчика до смерти. Не было слышно, что кричал он, гул заглушал крики мальчика. Но Юрий Андреевич видел, что губами он складывал слова: «Папочка! Папочка!»

У Юрия Андреевича разрывалось сердце. Всем существом своим он хотел схватить мальчика на руки, прижать к груди и бежать с ним без оглядки куда глаза глядят.

Но обливаясь слезами, он тянул на себя ручку запертой двери и не пускал мальчика, принося его в жертву ложно понятым чувствам чести и долга перед другой женщиной, которая не была матерью мальчика и с минуты на минуту могла войти с другой стороны в комнату.

Юрий Андреевич проснулся в поту и слезах. «У меня жар. Я заболел»,— тотчас подумал он.— «Это не тиф. Это какая-то тяжелая, опасная, форму нездоровья принявшая усталость, какая-то болезнь с кризисом, как при всех серьезных инфекциях, и весь вопрос в том, что возьмет верх, жизнь или смерть. Но как хочется спать!» И он опять уснул.

Ему приснилось темное зимнее утро при огнях на какой-то людной улице в Москве, по всем признакам, до революции, судя по раннему уличному оживлению, по перезвону первых вагонов трамвая, по свету ночных фонарей, желтыми полосами испещрявших серый предрассветный снег мостовых.

Ему снилась длинная вытянувшаяся квартира во много окон, вся на одну сторону, невысоко над улицей, вероятно, во втором этаже, с низко спущенными до полу гардинами. В квартире спали в разных позах по-дорожному нераздетые люди, и был вагонный беспорядок, лежали обеды провизии на засаленных развернутых газетах, обглоданные неубранные кости жареных кур, крылышки и ножки, и стояли снятые на ночь и составленные парами на полу ботинки недолго гостящих родственников и знакомых, проезжих и бездомных. По квартире вся в хлопотах торопливо и бесшумно носилась из конца в конец хозяйка, Лара, в наскоро подпоясанном утреннем халате, и по пятам за ней надоедливо ходил он, что-то все время бездарно и некстати выясняя, а у нее уже не было для него ни минуты, и на его объяснения она на ходу отзывалась только поворотами головы в его сторону, тихими недоумевающими взглядами и невинными

взрывами своего бесподобного серебристого смеха, единственными видами близости, которые для них еще остались. И так далека, холодна и притягательна была та, которой он все отдал, которую все-му предпочел и противопоставлением которой все низвел и обесценил!

9

Не сам он, а что-то более общее, чем он сам, рыдало и плакало в нем нежными и светлыми, светящимися в темноте, как фосфор, словами. И вместе со своей плакавшей душой плакал он сам. Ему было жаль себя.

«Я заболел, я болен», — соображал он в минуты просветления, между полосами сна, жарового бреда и беспомыслия. — «Это все же какой-то тиф, не описанный в руководствах, которого мы не проходили на медицинском факультете. Надо бы что-нибудь приготовить, надо поесть, а то я умру от голода».

Но при первой же попытке приподняться на локте он убеждался, что у него нет сил пошевелиться и лишился чувств или засыпал.

«Сколько времени я лежу тут, одетый?» — обдумывал он в один из таких проблесков. «Сколько часов? Сколько дней? Когда я свалился, начиналась весна. А теперь иней на окне. Такой рыхлый и грязный, что от него темно в комнате».

На кухне крысы гремели опрокинутыми тарелками, выбегали с той стороны вверх по стене, тяжелыми тушами сваливались на пол, отвратительно взвизгивали контральтовыми плачущими голосами.

И опять он спал и просыпался, и обнаруживал, что окна в снежной сетке иней налиты розовым жаром зари, которая рдеет в них, как красное вино, разлитое по хрустальным бокалам. И он не знал, и спрашивал себя, какая это зоря, утренняя или вечерняя?

Однажды ему почудились человеческие голоса где-то совсем близко и он упал духом, решив, что это начало помешательства. В слезах от жалости к себе, он беззвучным шопотом роптал на небо, зачем оно отвернулось от него, и оставило его. «Вскую отринул мя еси от лица Твоего, свете незаходимый, и покрыла мя есть чуждая тьма окаянного!»

И вдруг он понял, что он не грезит и это полнейшая правда, что он раздет, и умыт, и лежит в чистой рубашке не на диване, а на свежестланной постели, и что, мешая свои волосы с его волосами и его слезы со своими, с ним вместе плачет, и сидит около кровати и нагибается к нему Лара. И он потерял сознание от счастья.

10

В недавнем бреду он укорял небо в безучастии, а небо всею ширью опускалось к его постели, и две большие, белые до плеч, женские руки протягивались к нему. У него темнело в глазах от радости и, как впадают в беспомыслие, он проваливался в бездну блаженства.

Всю жизнь он что-нибудь да делал, вечно бывал занят, работал по дому, лечил, мыслил, изучал, производил. Как хорошо было перестать действовать, добиваться, думать, и на время предоставить этот труд природе, самому стать вещью, замыслом, произведением в ее милостивых, восхитительных, красоте расточающих руках!

Юрий Андреевич быстро поправлялся. Его выкармливала, выживала Лара своими заботами, своей лебедино-белой прелестью, влажно дышащим горловым шопотом своих вопросов и ответов.

Их разговоры вполголоса, даже самые пустые, были полны значения, как Платоновы диалоги.

Еще более, чем общность душ, их объединяла пропасть, отделявшая их от остального мира. Им обоим было одинаково немилостиво все фатально типическое в современном человеке, его заученная восторжен-

ность, крикливая приподнятость и та смертная бескрылость, которую так старательно распространяют неисчислимые работники наук и искусств для того, чтобы гениальность продолжала оставаться большой редкостью.

Их любовь была велика. Но любят все, не замечая небывалости чувства.

Для них же,— и в этом была их исключительность,— мгновения, когда подобно веянию вечности, в их обреченное человеческое существование залетало веяние страсти, были минутами откровения и узнавания все нового и нового о себе и жизни.

11

— Ты должен непременно вернуться к своим. Я тебя лишнего дня не продержу. Но ты видишь, что делается. Едва мы слились с Советской Россией, как нас поглотила ее разруха. Сибирью и Востоком затыкают ее дыры. Ведь ты ничего не знаешь. За твою болезнь в городе так много изменилось! Запасы с наших складов перевозят в центр, в Москву. Для нее это капля в море, эти грузы исчезают в ней, как в бездонной бочке, а мы остаемся без продовольствия. Почта не ходит, прекратилось пассажирское сообщение, гонят одни маршруты с хлебом. Опять в городе ропот, как перед восстанием Гайды, опять в ответ на проявления недовольства бушует чрезвычайка.

Ну куда тыпустишься такой, кожа да кости, еле душа в теле? Неужто опять пешком? Да ведь не дойдешь ты! Окрепни, наберись сил, тогда другое дело.

Не смею советовать, но на твоём месте, до отправки к своим, я бы немного послужила, непременно по специальности, это ценят, я пошла в наш губздрав, например. Он устался в прежней врачебной управе.

А то сам посуди. Сын застрелившегося сибирского миллионера, жена — дочь здешнего фабриканта и помещика. Был у партизан и бежал. Как там ни толкуй, это уход из военно-революционных рядов, дезертирство. Тебе ни в коем случае нельзя оставаться не у дел, лишенцем. Мое положение тоже не тверже. И я пойду на работу, поступлю в губоно. И подо мною почва горит.

— Как горит? А Стрельников?

— Оттого-то и горит, что Стрельников. Я еще прежде говорила тебе, как много у него врагов. Красная армия победила. Теперь беспартийным военным, которые стояли близко к верхам и слишком много знают, дадут по шапке. Да хорошо, если по шапке, а не под обух, чтобы не оставлять следов. Среди них Паша в первом ряду. Он в большой опасности. Он был на Дальнем Востоке. Я слышала, он бежал, скрывается. Говорят, его разыскивают. Но довольно о нем. Я не люблю плакать, а если прибавлю о нем еще хоть слово, то чувствую, что разревусь.

— Ты любила, ты еще до сих пор очень любишь его?

— Но ведь я пошла за него замуж, он муж мой, Юрочка. Это высокий, светлый характер. Я глубоко виновата перед ним. Я не сделала ему ничего дурного, сказать так было бы неправдой. Но он огромного значения, большой, большой прямоты человек, а я — дрянь, я ничто в сравнении с ним. Вот моя вина. Но пожалуйста, довольно об этом. Как-нибудь в другой раз я сама к этому вернусь, обещаю тебе. Какая она чудная у тебя, эта Тоня твоя. Боттичеллиевская. Я была при ее родах. Я с ней страшно сошлась. Но и об этом как-нибудь потом, прошу тебя. Да, так вот давай вместе служить. Будем оба ходить на службу. Каждый месяц получать жалованье миллиардами. У нас до последнего переворота были в ходу сибирские кредитки. Их аннулировали совсем недавно, и долгое время, всю твою болезнь, жили без денежных знаков. Да. Представь себе. Трудно поверить, но как-то

обходились. Теперь в бывшее казначейство привезли целый маршрут бумажных денег, говорят, вагонов сорок, не меньше. Они отпечатаны большими листами двух цветов, синего и красного, как почтовые марки, и разбиты на мелкие графы. Синие по пяти миллионов клетка, красные достоинством в десять миллионов каждая. Линючие, плохая печать, краска расплывается.

— Я видел эти деньги. Их ввели перед самым нашим отъездом из Москвы.

12

— Что ты так долго делала в Варыкине? Ведь там никого нет, пусто? Что тебя там задержало?

— Я убирала с Катенькой ваш дом. Я боялась, что ты первым делом наведаешься туда. Мне не хотелось, чтобы ты застал ваше жилище в таком виде.

— В каком? Что же там, развал, беспорядок?

— Беспорядок. Грязь. Я убрала.

— Какая уклончивая односложность. Ты недоговариваешь, ты что-то скрываешь. Но твоя воля, не стану выведывать. Расскажи мне о Тоне. Как крестили девочку?

— Машей. В память твоей матери.

— Расскажи мне о них.

— Позволь как-нибудь потом. Я ведь сказала тебе, я еле сдерживаю слезы.

— Самдевятков этот, который тебе лошадь давал, интересная фигура. Как по-твоему?

— Преинтереснейшая.

— Я ведь очень хорошо знаю Анфима Ефимовича. Он был нашим Другом дома здесь, в новых для нас местах, помогал нам.

— Я знаю. Он мне рассказывал.

— Вы наверное дружны? Он и тебе старается быть полезным?

— Он меня просто осыпает благодеяниями. Я не знаю, что бы я стала без него делать.

— Легко представляю себе. У вас наверное короткие, товарищеские отношения, обхождение запросто? Он наверное во всю приударяет за тобою.

— Еще бы. Неотступно.

— А ты? Но виноват. Я захожу за границы дозволенного. По какому праву я расспрашиваю тебя? Прости. Это нескромно.

— О, пожалуйста. Тебя, наверное, интересует другое, — род наших отношений? Ты хочешь знать, не закралась ли в наше доброе знакомство что-нибудь более личное? Нет, конечно. Я обязана Анфиму Ефимовичу неисчислимо многим, я кругом в долгу перед ним, но если бы он и озолотил меня, если бы отдал жизнь за меня, это бы ни на шаг меня к нему не приблизило. У меня от рождения вражда к людям этого неродственного склада. В делах житейских эти предприимчивые, уверенные в себе, повелительные люди незаменимы. В делах сердечных петушащееся усатое мужское самодовольство отвратительно. Я совсем по-другому понимаю близость и жизнь. Но мало того. В нравственном отношении Анфим напоминает мне другого, гораздо более отталкивающего человека, виновника того, что я такая, благодаря которому я то, что я есть.

— Я не понимаю. А какая ты? Что ты имеешь в виду? Объяснись. Ты лучше всех людей на свете.

— Ах, Юрочка, можно ли так? Я с тобою всерьез, а ты с комплиментами, как в гостинной. Ты спрашиваешь, какая я. Я — надломленная, я с трещиной на всю жизнь. Меня преждевременно, преступно рано сделали женщиной, посвятив в жизнь с наихудшей стороны, в ложном, бульварном толковании самоуверенного пожилого тунеядца прежнего времени, всем пользовавшегося, все себе позволявшего.

— Я догадываюсь. Я что-то предполагал. Но погоди. Легко представить себе недетскую боль того времени, страх напуганной неопытности, первую обиду незрелой девушки. Но ведь это дело прошлого. Я хочу сказать,— горевать об этом сейчас не твоя печаль, а людей, любящих тебя, вроде меня. Это я должен рвать на себе волосы и приходить в отчаяние от опоздания, от того, что меня не было уже тогда с тобой, чтобы предотвратить случившееся, если оно правда для тебя горе. Удивительно. Мне кажется, сильно, смертельно, со страстью я могу ревновать только к низшему, далекому. Соперничество с высшим вызывает у меня совсем другие чувства. Если бы близкий по духу и пользующийся моей любовью человек полюбил ту же женщину, что и я, у меня было бы чувство печального братства с ним, а не спора и тяжбы. Я бы, конечно, ни минуты не мог делиться с ним предметом моего обожания. Но я бы отступил с чувством совсем другого страдания, чем ревность, не таким дымящимся и кровавым. То же самое случилось бы у меня при столкновении с художником, который покорила бы меня превосходством своих сил в сходных со мною работах. Я, наверное, отказался бы от своих поисков, повторяющих его попытки, победившие меня.

Но я уклонился в сторону. Я думаю, я не любил бы тебя так сильно, если бы тебе не на что было жаловаться и не о чем сожалеть. Я не люблю правых, не падавших, не отступавшихся. Их добродетель мертва и малоценна. Красота жизни не открывалась им.

— А я именно об этой красоте. Мне кажется, чтобы ее увидеть, требуется нетронутость воображения, первоначальность восприятия. А это как раз у меня отнято. Может быть у меня сложился бы свой взгляд на жизнь, если бы с первых шагов я не увидела ее в чуждом опошляющем отпечатке. Но мало того. Из-за вмешательства в мою начинающуюся жизнь одной безнравственной самоуслаждавшейся заурядности не сложился мой последующий брак с большим и замечательным человеком, сильно любившим меня и которому я отвечала тем же.

— Погоди. О муже расскажешь мне потом. Я сказал тебе, что ревность вызывает во мне обыкновенно низший, а не равный. К мужу я тебя не ревную. А тот?

— Какой «тот»?

— Тот прожигатель жизни, который погубил тебя. Кто он такой?

— Довольно известный московский адвокат. Он был товарищем моего отца, и после папиной смерти материально поддерживал маму, пока мы бедствовали. Холостой, с состоянием. Наверное, я придаю ему чрезмерный интерес и несвойственную значительность тем, что так черню его. Очень обыкновенное явление. Если хочешь, я назову тебе фамилию.

— Не надо. Я знаю. Я раз его видел.

— В самом деле?

— Однажды в номерах, когда травилась твоя мать. Поздно вечером. Мы были еще детьми, гимназистами.

— А, я помню этот случай. Вы приехали и стояли в темноте, в номерной прихожей. Может быть, сама я никогда не вспомнила бы этой сцены, но ты мне помог уже раз извлечь ее из забвения. Ты мне ее напомнил, по-моему, в Мелюзееве.

— Комаровский был там.

— Разве? Вполне возможно. Меня легко было застать с ним. Мы часто бывали вместе.

— Отчего ты покраснела?

— От звука «Комаровский» в твоих устах. От непривычности и неожиданности.

— Вместе со мною был мой товарищ, гимназист одноклассник. Вот что тогда же в номерах он мне сообщил. Он узнал в Комаровском человека, которого он раз видел случайно, при непредвиденных об-

стоятельствах. Однажды в дороге этот мальчик, гимназист Михаил Гордон, был очевидцем самоубийства моего отца, — миллионера промышленника. Миша ехал в одном поезде с ним. Отец бросился на ходу с поезда в намерении покончить с собой и разбился. Отца сопровождал Комаровский, его юрисконсульт. Комаровский спаивал отца, запутал его дела и, доведя его до банкротства, толкнул на путь гибели. Он виновник его самоубийства и того, что я остался сиротой.

— Не может быть! Какая знаменательная подробность! Неужели правда! Так он был и твоим злым гением? Как это роднит нас! Просто предопределение какое-то!

— Вот к кому я тебя ревную безумно, непоправимо.

— Что ты? Ведь я не только не люблю его. Я его презираю.

— Так ли хорошо ты всю себя знаешь? Человеческая, в особенности женская природа так темна и противоречива! Каким-то уголком своего отвращения ты, может быть, в большем подчинении у него, чем у кого бы то ни было другого, кого ты любишь по доброй воле, без принуждения.

— Как страшно то, что ты сказал. И, по обыкновению, сказал так метко, что эта противоестественность кажется мне правдой. Но тогда как это ужасно!

— Успокойся. Не слушай меня. Я хотел сказать, что ревную тебя к темному, бессознательному, к тому, о чем немислимы объяснения, о чем нельзя догадаться. Я ревную тебя к предметам твоего туалета, к каплям пота на твоей коже, к носящимся в воздухе заразным болезням, которые могут пристать к тебе и отравить твою кровь. И как к такому заражению я ревную тебя к Комаровскому, который отымет тебя когда-нибудь, как когда-нибудь нас разлучит моя или твоя смерть. Я знаю, тебе это должно казаться нагромождением неясностей. Я не могу сказать это стройнее и понятнее. Я без ума, без памяти, без конца люблю тебя.

13

— Расскажи мне побольше о муже. «Мы в книге рока на одной строке», — как говорит Шекспир.

— Откуда это?

— Из «Ромео и Джульетты».

— Я много говорила тебе о нем в Мелюзееве, когда разыскивала его. И потом тут, в Юрятине, в наши первые встречи с тобой, когда с твоих слов узнала, что он хотел арестовать тебя в своем вагоне. Я по-моему рассказывала тебе, а может быть, и нет, и мне только так кажется, что я его однажды видела издали, когда он садился в машину. Но можешь себе представить, как его охраняли! Я нашла, что он почти не изменился. То же красивое, честное, решительное лицо, самое честное из всех лиц, виденных мною на свете. Ни тени рисовки, мужественный характер, полное отсутствие позы. Так всегда было и так осталось. И все же одну перемену я отметила, и она встревожила меня.

Точно что-то отвлеченное вошло в этот облик и обесцветило его. Живое человеческое лицо стало олицетворением, принципом, изображением идеи. У меня сердце сжалось при этом наблюдении. Я поняла, что это следствие тех сил, в руки которых он себя отдал, сил вышешенных, но мертвящих и безжалостных, которые и его когда-нибудь не пощадят. Мне показалось, что он отмеченный и что это перст обречения. Но может быть, я путаюсь. Может быть, в меня запали твои выражения, когда ты мне описывал вашу встречу. Помимо общности наших чувств я ведь так много от тебя перенимаю!

— Нет, расскажи мне о вашей жизни до революции.

— Я рано в детстве стала мечтать о чистоте. Он был ее осуществлением. Ведь мы с одного двора почти. Я, он, Галиуллин. Я была его детским увлечением. Он обмирал, холодел при виде меня. Наверное,

нехорошо, что я это говорю и знаю. Но было бы еще хуже, если бы я прикидывалась незнающей. Я была его детской пассивой, той порабожающей страстью, которую скрывают, которую детская гордость не позволяет обнаружить, и которая без слов написана на лице и видна каждому. Мы дружили. Мы с ним люди настолько же разные, насколько я одинаковая с тобою. Я тогда же сердцем выбрала его. Я решила соединить жизнь с этим чудесным мальчиком, чуть только мы оба выйдем в люди, и мысленно тогда же помолвилась с ним.

И подумай, каких он способностей! Необычайных! Сын простого стрелочника или железнодорожного сторожа, он одною своей одаренностью и упорством труда достиг,— я чуть не сказала уровня, а должна была бы сказать — вершин современного университетского знания по двум специальностям, математической и гуманитарной. Это ведь не шутка!

— В таком случае, что расстроило ваш домашний лад, если вы так любили друг друга?

— Ах как трудно на это ответить. Я сейчас тебе это расскажу. Но удивительно. Мне ли, слабой женщине, объяснять тебе, такому умному, что делается сейчас с жизнью вообще, с человеческой жизнью в России, и почему рушатся семьи, в том числе твоя и моя? Ах, как будто дело в людях, в сходстве и несходстве характеров, в любви и нелюбви. Все производное, налаженное, все относящееся к обиходу, человеческому гнезду и порядку, все это пошло прахом вместе с переворотом всего общества и его переустройством. Всё бытовое опрокинуто и разрушено. Осталась одна небытовая, неприложенная сила голой, до нитки обобранной душевности, для которой ничего не изменилось, потому что она во все времена зябла, дрожала и тянулась к ближайшей рядом, такой же обнаженной и одинокой. Мы с тобой как два первых человека Адам и Ева, которым нечем было прикрыться в начале мира, и мы теперь так же раздеты и бездомны в конце его. И мы с тобой последнее воспоминание обо всем том неисчислимо великом, что натворено на свете за многие тысячи лет между ними и нами, и в память этих исчезнувших чудес мы дышим и любим, и плачем, и держимся друг за друга и друг к другу льнем.

14

После некоторого перерыва она продолжала гораздо спокойнее:

— Я скажу тебе. Если бы Стрельников стал снова Пашенькой Антиповым. Если бы он перестал безумствовать и бунтовать. Если бы время повернуло вспять. Если бы где-то вдали, на краю света, чудом затеплилось окно нашего дома с лампою и книгами на Пашином письменном столе, я бы, кажется, на коленях ползком приползла туда. Все бы встрепенулось во мне. Я бы не устояла против зова прошлого, зова верности. Я пожертвовала бы всем. Даже самым дорогим. Тобюю. И моей близостью с тобой, такой легкой, невынужденной, саморазумеющейся. О прости. Я не то говорю. Это неправда.

Она бросилась на шею к нему и разрыдалась. Очень скоро она пришла в себя. Утирая слезы, она говорила:

— Но ведь это тот же голос долга, который гонит тебя к Тоне. Господи, какие мы бедные! Что с нами будет? Что нам делать?

Когда она совсем оправилась, она продолжала:

— Я все-таки не ответила тебе, почему расстроилось наше счастье. Я так ясно это потом поняла. Я расскажу тебе. Это будет рассказ не только о нас. Это стало судьбой многих.

— Говори, моя умница.

— Мы женились перед самою войною, за два года до ее начала. И только мы зажили своим умом, устроили дом, объявили войну. Я теперь уверена, что она была виною всего, всех последовавших, донныне постигающих наше поколение несчастий. Я хорошо помню

детство. Я еще застала время, когда были в силе понятия мирного предшествующего века. Принято было доверяться голосу разума. То, что подсказывала совесть, считали естественным и нужным. Смерть человека от руки другого была редкостью, чрезвычайным, из ряда вон выходящим явлением. Убийства, как полагали, встречались только в трагедиях, романах из мира сыщиков и в газетных дневниках происшествий, но не в обыкновенной жизни.

И вдруг этот скачок из безмятежной, невинной размеренности в кровь и вопли, повальное безумие и одичание каждодневного и ежечасного, узаконенного и восхваляемого смертоубийства.

Наверное, никогда это не проходит даром. Ты лучше меня, наверное, помнишь, как сразу все стало приходить в разрушение. Движение поездов, снабжение городов продовольствием, основы домашнего уклада, нравственные устои сознания.

— Продолжай. Я знаю, что ты скажешь дальше. Как ты во всем разбираешься! Какая радость тебя слушать.

— Тогда пришла неправда на русскую землю. Главной бедой, корнем будущего зла была утрата веры в цену собственного мнения. Вообразили, что время, когда следовали внушениям нравственного чутья, миновало, что теперь надо петь с общего голоса и жить чужими, всем навязанными представлениями. Стало расти владычество фразы, сначала монархической — потом революционной.

Это общественное заблуждение было всеохватывающим, прилипчивым. Всё поддавало под его влияние. Не устоял против его пагубы и наш дом. Что-то пошатнулось в нем. Вместо безотчетной живости, всегда у нас царившей, доля дурацкой декламации проникла и в наши разговоры, какое-то показное, обязательное умничанье на обязательные мировые темы. Мог ли такой тонкий и требовательный к себе человек, как Паша, так безошибочно отличавший суть от видимости, пройти мимо этой закравшейся фальши и ее не заметить?

И тут он совершил роковую, все наперед предрешившую ошибку. Знамение времени, общественное зло он принял за явление домашнее. Неестественность тона, казенную натянутость наших рассуждений отнес к себе, приписал тому, что он — сухарь, посредственность, человек в футляре. Тебе, наверное, кажется невероятным, чтобы такие пустяки могли что-то значить в совместной жизни. Ты не можешь себе представить, как это было важно, сколько глупостей натворил Паша из-за этого ребячества.

Он пошел на войну, чего никто от него не требовал. Он это сделал, чтобы освободить нас от себя, от своего воображаемого гнета. С этого начались его безумства. С каким-то юношеским, ложно направленным самолюбием он разобиделся на что-то такое в жизни, на что не обижаются. Он стал дуться на ход событий, на историю. Пошли его размолвки с ней. Он ведь и по сей день сводит с ней счеты. Отсюда его вызывающие сумасбродства. Он идет к верной гибели из-за этой глупой амбиции. О если бы я могла спасти его!

— Как неизменно чисто и сильно ты его любишь! Люби, люби его. Я не ревную тебя к нему, я не мешаю тебе.

Незаметно пришло и ушло лето. Доктор выздоровел. Временно, в чайнии предполагаемого отъезда в Москву, он поступил на три места. Быстро развивающееся обесценение денег заставляло ловчиться на нескольких службах.

Доктор вставал с петухами, выходил на Купеческую и спускался по ней мимо иллюзиона «Гигант» к бывшей типографии Уральско-го казацкого войска, ныне переименованной в «Красного наборщика». На углу Городской, на двери Управления делами, его встречала дочечка «Бюро претензий». Он пересекал площадь наискось и выхо-

дил на Малую Буяновку. Миновав завод Стенгопа, он через задний двор больницы проходил в амбулаторию Военного госпиталя, место своей главной службы.

Половина его пути лежала под тенистыми, перевешивавшимися над улицей деревьями, мимо замысловатых, в большинстве деревянных домишек с круто заломленными крышами, решетчатыми оградами, узорными воротами и резными наличниками на ставнях.

По соседству с амбулаторией, в бывшем наследственном саду купчихи Гореградской, стоял любопытный невысокий дом в старорусском вкусе. Он был облицован гранеными изразцами с глазурью, пирамидками граней наружу, наподобие старинных московских боярских палат.

Из амбулатории Юрий Андреевич раза три-четыре в декаду отправлялся в бывший дом Лигетти на Старой Миасской, на заседания помещавшегося там Юрятинского Обздрава.

Совсем в другом, отдаленном районе стоял дом, пожертвованный городу отцом Анфима, Ефимом Самдевятовым, в память покойной жены, которая умерла в родах, дав жизнь Анфиму. В доме помещался основанный Самдевятовым Институт гинекологии и акушерства. Теперь в нем были размещены ускоренные медико-хирургические курсы имени Розы Люксембург. Юрий Андреевич читал на них общую патологию и несколько необязательных предметов.

Он возвращался со всех этих должностей к ночи измученный и проголодавшийся, и заставал Ларису Федоровну в разгаре домашних хлопот, за плитой или перед корытом. В этом прозаическом и будничном виде, растрепанная, с засученными рукавами и подоткнутым подолом, она почти пугала своей царственной, дух захватывающей притягательностью, более, чем если бы он вдруг застал ее перед выездом на бал, ставшею выше и словно выросшею на высоких каблучках, в открытом платье с вырезом и широких шумных юбках.

Она готовила или стирала, и потом оставшеюся мыльной водой мыла полы в доме. Или спокойная и менее разгоряченная, гладила и чинила свое, его и Катенькино белье. Или, справившись со страпней, стиркой и уборкой, учила Катеньку. Или, уткнувшись в руководства, занималась собственным политическим переобучением перед обратным поступлением учительницею в новую преобразованную школу.

Чем ближе были ему эта женщина и девочка, тем менее осмеливался он воспринимать их по-семейному, тем строже был запрет, наложенный на род его мыслей долгом перед своими и его болью о нарушенной верности им. В этом ограничении для Лары и Катеньки не было ничего обидного. Напротив, этот несемейственный способ чувствования заключал целый мир почтительности, исключавший развязность и амикошонство.

Но это раздвоение всегда мучило и ранило, и Юрий Андреевич привык к нему, как можно привыкнуть к незажившей, часто вскрывающейся ране.

Так прошло месяца два или три. Как-то в октябре Юрий Андреевич сказал Ларисе Федоровне:

— Знаешь, кажется, мне придется уйти со службы. Старая, вечно повторяющаяся история. Начинается как нельзя лучше. «Мы всегда рады честной работе. А мыслям, в особенности новым, и того более. Как их не приветствовать. Добро пожаловать. Работайте, боритесь, ищите».

Но на поверку оказывается, что под мыслями разумеется одна их видимость, словесный гарнир к возвеличению революции и властей предержавших. Это утомительно и надоедает. И я не мастер по этой части.

И, наверное, действительно они правы. Конечно, я не с ними. Но мне трудно примириться с мыслью, что они герои, светлые личности, а я — мелкая душонка, стоящая за тьму и порабощение человека. Слышала ты когда-нибудь имя Николая Веденяпина?

— Ну конечно. До знакомства с тобой, и потом, по частым твоим рассказам. О нем часто упоминает Симочка Тунцева. Она его последовательница. Но книг его, к стыду своему, я не читала. Я не люблю сочинений, посвященных целиком философии. По-моему философия должна быть скупой приправой к искусству и жизни. Заниматься ею одною так же странно, как есть один хрен. Впрочем, прости, своими глупостями я отвлекла тебя.

— Нет, напротив. Я согласен с тобой. Это очень близкий мне образ мыслей. Да, так о дяде. Может быть, я действительно испорчен его влиянием. Но ведь сами они в один голос кричат: гениальный диагност, гениальный диагност. И правда, я редко ошибаюсь в определении болезни. Но ведь это и есть ненавистная им интуиция, которой якобы я грешу, цельное, разом охватывающее картину познание.

Я помешан на вопросе о мимикрии, внешнем приспособлении организмов к окраске окружающей среды. Тут, в этом цветовом подлаживании скрыт удивительный переход внутреннего во внешнее.

Я осмелился коснуться этого на лекциях. И пошло! «Идеализм, мистика. Натурфилософия Гёте, неощеллигианство».

Надо уходить. Из губздрава и института я уволюсь по собственному прошению, а в больнице постараюсь продержаться, пока меня не выгонят. Я не хочу пугать тебя, но временами у меня ощущение, будто не сегодня-завтра меня арестуют.

— Сохрани Бог, Юрочка. До этого, по счастью, еще далеко. Но ты прав. Не мешает быть осторожнее. Насколько я заметила, каждое водворение этой молодой власти проходит через несколько этапов. В начале это торжество разума, критический дух, борьба с пред-рассудками.

Потом наступает второй период. Получают перевес темные силы «примазавшихся», притворно сочувствующих. Растут подозрительность, доносы, интриги, ненавистничество. И ты прав, мы находимся в начале второй фазы.

За примером далеко ходить не приходится. Сюда в коллегиию рев-трибунала перевели из Ходатского двух старых политкаторжан, из рабочих, некоего Тиверзина и Антипова.

Оба великолепно меня знают, а один даже просто отец мужа, свекор мой. Но собственно только с перевода их, совсем недавно, я стала дрожать за свою и Катенькину жизнь. От них всего можно ждать. Антипов недолюбливает меня. С них станется, что в один прекрасный день они меня и даже Пашу уничтожат во имя высшей революционной справедливости.

Продолжение этого разговора состоялось довольно скоро. К этому времени произведен был ночной обыск в доме номер сорок восемь по Малой Буяновке, рядом с амбулаторией, у вдовы Гореглядовой. В доме нашли склад оружия и раскрыли контрреволюционную организацию. Было арестовано много людей в городе, обыски и аресты продолжались. По этому поводу перешептывались, что часть подозреваемых ушла за реку. Высказывались такие соображения: «А что это им поможет? Река реке рознь. Бывают, надо сказать, реки. В Благовещенске на Амуре, например, на одном берегу советская власть, на другом — Китай. Прыгнул в воду, переплыл, и адью, поминай как звали. Вот это, можно сказать, река. Совсем другой разговор».

— Атмосфера сгущается, — говорила Лара. — Время нашей безопасности миновало. Нас несомненно арестуют, тебя и меня. Что тогда будет с Катенькой? Я мать. Я должна предупредить несчастье и что-

то придумать. У меня должно быть готово решение на этот счет. Я лишаюсь рассудка при этой мысли.

— Давай подумаем. Чем тут можно помочь? В силах ли мы предотвратить этот удар? Это ведь вещь роковая.

— Бежать нельзя и некуда. Но можно отступить куда-нибудь в тень, на второй план. Например, уехать в Варыкино. Я подумываю о Варыкинском доме. Это порядочная даль и там всё заброшено. Но там мы никому не мозолили бы глаз, как тут. Приближается зима. Я взяла бы на себя труд перезимовать там. Пока бы до нас добрались, мы отвоевали бы год жизни, а это выигрыш. Поддерживать сношения с городом помог бы Самдевятв. Может быть, согласился бы прятать нас. А? Что ты скажешь? Правда, там теперь ни души, жуть, пустота. По крайней мере, так было в марте, когда я ездила туда. И, говорят, волки. Страшно. Но люди, особенно люди вроде Антипова или Тиверзина, теперь страшнее волков.

— Я не знаю, что сказать тебе. Ведь ты сама меня всё время гонишь в Москву, убеждаешь не откладывать поездки. Сейчас это стало легче. Я справлялся на вокзале. На мешочничество, видимо, махнули рукой. Не всех зайцев, видимо, снимают с маршрутов. Устали расстреливать, расстреливают реже.

Меня беспокоит, что все мои письма в Москву остаются без ответа. Надо добраться туда и выяснить, что с домашними. Ты мне сама это твердишь. Но тогда как понять твои слова о Варыкине? Неужели ты одна без меняпустишься в эту страшную глушь?

— Нет, без тебя, конечно, это невысказано.

— А сама отправляешь меня в Москву?

— Да, это необходимо.

— Послушай. Знаешь что? У меня замечательный план. Поедем в Москву. Отправляйся с Катенькой вместе со мною.

— В Москву? Да ты с ума сошел. С какой радости? Нет, я должна остаться. Я должна быть наготове где-нибудь поблизости. Здесь решатся Пашенькины судьбы. Я должна дожидаться их развязки, чтобы в случае надобности оказаться под рукою.

— Тогда давай подумаем о Катеньке.

— Ко мне захаживает по временам Симушка, Сима Тунцева. На днях мы с тобой о ней говорили.

— Ну как же. Я часто вижу ее у тебя.

— Я тебе удивляюсь. Где у мужчин глаза? На твоём месте я непременно бы в нее влюбилась. Такая прелесть! Какая внешность! Рост. Стройность. Ум. Начитанность. Доброта. Ясность суждения.

— В день возвращения сюда из плена меня брила ее сестра, швея, Глафира.

— Я знаю. Сестры живут вместе со старшей, Авдотьей, библиотечкарейшей. Честная работающая семья. Я хочу упробить их в случае крайности, если нас с тобой заберут, взять Катеньку на свое попечение. Я еще не решила.

— Но действительно только в случае безвыходности. А до такого несчастья, Бог даст, авось еще далеко.

— Говорят, Сима немного того, не в себе. Действительно, ее нельзя признать женщиной вполне нормальной. Но это вследствие ее глубины и оригинальности. Она феноменально образована, но не по интеллигентски, а по народному. Твои и ее взгляды поразительно сходны. Я с легким сердцем доверила бы Катю ее воспитанию.

Опять он ходил на вокзал и вернулся ни с чем, не солоно хлебавши. Все осталось нерешенным. Его и Лару ожидала неизвестность. День был холодный и темный, как перед первым снегом. Небо над

перекрестками, где оно простиралось шире, чем над вытянутыми в длину улицами, имело зимний вид.

Когда Юрий Андреевич пришел домой, он застал в гостях у Лары Симушку. Между обеими происходила беседа, носившая характер лекции, которую гостя читала хозяйке. Юрий Андреевич не хотел мешать им. Кроме того, ему хотелось побыть немного одному. Женщины разговаривали в соседней комнате. Дверь к ним была приотворена. С притолоки опускалась до полу портьера, из-за которой были слышны от слова до слова их разговоры.

— Я буду шить, но вы не обращайтесь на это внимания, Симочка. Я вся превратилась в слух. Я на курсах в свое время слушала историю и философию. Построения вашей мысли очень по душе мне. Кроме того слушать вас для меня такое облегчение. Мы последние ночи недосыпаем вследствие разных забот. Мой долг матери перед Катенькой обезопасить ее на случай возможных неприятностей с нами. Надо трезво о ней подумать. Я не особенно сильна в этом. Мне грустно это сознавать. Мне грустно от усталости и недосыпания. Ваши разговоры успокаивают меня. Кроме того с минуты на минуту должен пойти снег. В снег такое наслаждение слушать длинные умные рассуждения. Если покоситься в окно, когда снег идет, то правда, кажется, будто кто-то направляется двором к дому? Начинайте, Симочка. Я слушаю.

— На чем мы прошлый раз остановились?

Юрию Андреевичу не было слышно, что ответила Лара. Он стал следить за тем, что говорила Сима.

— Можно пользоваться словами: культура, эпохи. Но их понимают так по-разному. Ввиду сбивчивости их смысла не будем прибегать к ним. Заменяем их другими выражениями.

Я сказала бы, что человек состоит из двух частей. Из Бога и работы. Развитие человеческого духа распадается на огромной продолжительности отдельные работы. Они осуществлялись поколениями и следовали одна за другою. Такою работою был Египет, такою работою была Греция, такою работою было библейское богопознание пророков. Такая, последняя по времени, ничем другим пока не сменяемая, всем современным вдохновением совершаемая работа — христианство.

Чтобы во всей свежести, неожиданно, не так, как вы сами знаете и привыкли, а проще, непосредственнее представить вам то новое, небывалое, что оно принесло, я разберу с вами несколько отрывков из богослужебных текстов, самую малость их и то в сокращениях.

Большинство стихир образуют соединение рядом помещенных ветхозаветных и новозаветных представлений. С положениями старого мира, неопалимой купиной, исходом Израиля из Египта, отроками в печи огненной, Ионой во чреве китовом и так далее, сопоставляются положения нового, например, представления о зачатии Богородицы и о воскресении Христе.

В этом частом, почти постоянном совмещении, старина старого, новизна нового и их разница выступают особенно отчетливо.

В целом множестве стихов непорочное материнство Марии сравнивается с переходом иудеями Красного моря. Например, в стихе: «В мори Чермнем неискусобрачные невесты написаса иногда» говорится: «Море по прошествии Израилеве пребысть непроходно, непорочная по рождестве Еммануилеве пребысть нетленна». То есть море после перехода Израиля стало снова непроходимо, а дева, родив Господа, осталась нетронутая. Какого рода происшествия поставлены тут в параллель? Оба события сверхъестественны, оба признаны одинаковым чудом. В чем же видели чудо эти разные времена, время древнейшее, первобытное, и время новое, послеримское, далеко подвинувшееся вперед?

В одном случае по велению народного вождя, патриарха Моисея и по взмаху его волшебного жезла расступается море, пропускает через себя целую народность, несметное, из сотен тысяч состоящее многолюдство, и когда проходит последний, опять смыкается и покрывает и топит преследователей египтян. Зрелище в духе древности, стихия послушная голосу волшебника, большие толпящиеся численности, как римские войска в походах, народ и вождь, вещи видимые и слышимые, оглушающие.

В другом случае девушка — обыкновенность, на которую Древний мир не обратил бы внимания, — тайно и втихомолку дает жизнь младенцу, производит на свет жизнь, чудо жизни, жизнь всех, «Живота всех», как потом его называют. Ее роды незаконны не только с точки зрения книжников, как внебрачные. Они противоречат законам природы. Девушка рождает не в силу необходимости, а чудом, по вдохновению. Это то самое вдохновение, на котором Евангелие, противопоставляющее обыкновенности исключительность и будням праздник, хочет построить жизнь, наперекор всякому принуждению.

Какого огромного значения перемена! Каким образом небу (потому что глазами неба надо это оценивать, перед лицом неба, в священной раме единственности все это совершается) — каким образом небу частное человеческое обстоятельство, с точки зрения древности ничтожное, стало равноценно целому переселению народа?

Что-то сдвинулось в мире. Кончился Рим, власть количества, оружием вмененная обязанность жить всей поголовностью, всем населением. Вожди и народы отошли в прошлое.

Личность, проповедь свободы пришли им на смену. Отдельная человеческая жизнь стала Божьей повестью, наполнила своим содержанием пространство вселенной. Как говорится в одном песнопении на Благовещение, Адам хотел стать Богом и ошибся, не стал им, а теперь Бог становится человеком, чтобы сделать Адама Богом («человек бывает Бог, да Бога Адама соделает»).

Сима продолжала:

— Сейчас я вам еще кое-что скажу на ту же тему. А пока небольшое отступление. В отношении забот о трудящихся, охраны матери, борьбы с властью наживы, наше революционное время — небывалое, незабвенное время с надолго, навсегда остающимися приобретениями. Что же касается до понимания жизни, до философии счастья, насаждаемой сейчас, просто не верится, что это говорится всерьез, такой это смешной пережиток. Эти декламации о вождях и народах могли бы вернуть нас к ветхозаветным временам скотоводческих племен и патриархов, если бы обладали силой вернуть жизнь вспять и отбросить историю назад на тысячелетия. По счастью это невозможно.

Несколько слов о Христе и Магдалине. Это не из евангельского рассказа о ней, а из молитв на Страстной неделе, кажется, в Великий вторник или среду. Но вы всё это и без меня хорошо знаете, Лариса Федоровна. Я просто хочу кое-что напомнить вам, а совсем не собираюсь поучать вас.

Страсть по-славянски, как вы прекрасно знаете, значит прежде всего страдание, страсти Господни, «грядый Господь к вольной страсти» (Господь, идучи на добровольную муку). Кроме того, это слово употребляется в позднейшем русском значении пороков и вождедений. «Страстем поработив достоинство души моея, скот бых», «Изринувшеся из рая, воздержанием страстей потщимся внити», и т. д. Наверное, я очень испорченная, но я не люблю предпасхальных чтений этого направления, посвященных обузданию чувственности и умерщвлению плоти. Мне всегда кажется, что эти грубые, плоские моления, без присущей другим духовным текстам поэзии, сочиняли толстопузые лоснящиеся монахи. И дело не в том, что сами они жили не по правилам и обманывали других. Пусть бы жили они и по совести. Дело не в них, а в содержании этих отрывков. Эти сокрушения придают

излишнее значение разным немощам тела и тому, упитано ли оно или измождено. Это противно. Тут какая-то грязная, несущественная второстепенность возведена на недолжную, несвойственную ей высоту. Извините, что я так оттягиваю главное. Сейчас я вознагражу вас за свое промедление.

Меня всегда занимало, отчего упоминание о Магдалине помещают в самый канун Пасхи, на пороге Христовой кончины и его воскресения. Я не знаю причины, но напоминание о том, что такое есть жизнь, так своевременно в миг прощания с нею и в преддверии ее возвращения. Теперь послушайте, с какой действительной страстью, с какой ни с чем не считающейся прямою делается это упоминание.

Существует спор, Магдалина ли это, или Мария Египетская, или какая-нибудь другая Мария. Как бы то ни было, она просит Господа: «Разреши долг, якоже и аз власы». То есть: «отпусти мою вину, как я распускаю волосы». Как вещественно выражена жажда прощения, раскаяния! Можно руками дотронуться.

И сходное восклицание в другом тропаре на тот же день, более подробном, и где речь с большею несомненностью идет о Магдалине. Здесь она со страшной осязательностью сокрушается о прошлом, о том, что каждая ночь разжигает ее прежние закоренелые замашки. «Яко ночь мне есть разжение блудá невоздержанна, мрачное же и безлунное рачение греха». Она просит Христа принять ее слезы раскаяния и склониться к ее воздыханиям сердечным, чтобы она могла отереть пречистые его ноги волосами, в шум которых укрылась в раю оглушенная и пристыженная Ева. «Да облобыжу пречистые Твои нозе и отру сия паки главы мояе власы, их же Ева в рай, пополудни шумом уши огласивше, страхом скрися». И вдруг вслед за этими волосами, вырывающееся восклицание: «Грехов моих множества, судеб твоих бездны кто исследит?» Какая короткость, какое равенство Бога и жизни, Бога и личности, Бога и женщины!

18

Юрий Андреевич пришел с вокзала усталый. Это был его ежедневный выходной день. Обыкновенно он по этим числам отсыпался за всю неделю. Он сидел, откинувшись на диване, временами принимая полулежачее положение или совсем растягиваясь на нем. Хотя Симу он слушал сквозь приступы набегающей дремоты, ее рассуждения доставляли ему наслаждение. «Конечно, все это от дяди Коли,— думал он.— Но какая талантливая и умница!»

Он соскочил с дивана и подошел к окну. Оно выходило во двор, как в комнате рядом, где Лара с Симушкой теперь невнятно шептались.

Погода портилась. На дворе темнело. На двор залетели и стали летать, высматривая, где им сесть, две сороки. Ветер слегка пушил и раздувал их перья. Сороки опустились на крышку мусорного ящика, перелетели на забор, слетели на землю и стали ходить по двору. «Сороки к снегу»,— подумал доктор. В ту же минуту он услышал из-за портьеры:

— Сороки к вестям,— обращалась Сима к Ларе.— К вам гости собираются. Или письмо получите.

Спустя немного снаружи позвонили в дверной колокольчик на проволоке, который незадолго перед тем починил Юрий Андреевич. Из-за портьеры вышла Лариса Федоровна и быстрыми шагами пошла отпирать в переднюю. По ее разговору у входной двери Юрий Андреевич понял, что пришла сестра Симы, Глафира Севериновна.

— Вы за сестрою?— спросила Лариса Федоровна.— Симушка у нас.

— Нет, не за ней. А впрочем, что же. Вместе пойдем, если она домой собирается. Нет, я совсем не за тем. Письмо вашему приятелю.

Пусть спасибо скажет, что я когда-то на почте служила. Через сколько рук прошло, и по знакомству в мой попало. Из Москвы. Пять месяцев шло. Не могли разыскать адресата. А я ведь знаю, кто он. Брился как-то у меня.

Письмо, длинное, на многих страницах, смятое, замасленное, в распечатанном и истлевшем конверте было от Тони. До сознания доктора не дошло, как оно у него очутилось, он не заметил, как Лара вручила ему конверт. Когда доктор начал читать письмо, он еще помнил, в каком он городе и у кого в доме, но по мере чтения утрачивал это понимание. Вышла, поздоровалась и стала с ним прощаться Сима. Машинально он отвечал, как полагается, но не обратил на нее внимания. Ее уход выпал из его сознания. Постепенно он все более полно забывал, где он и что кругом него.

«Юра,— писала ему Антонина Александровна,— знаешь ли ты, что у нас есть дочь? Ее крестили Машей, в память мамы покойницы Марии Николаевны.

Теперь совсем о другом. Несколько видных общественных деятелей, профессоров из кадетской партии и правых социалистов, Мельгунова, Кизеветтера, Кускову, некоторых других, а также дядю Николая Александровича Громeko, папу и нас, как членов его семьи, высылают из России за границу.

Это — несчастье, в особенности в отсутствии тебя, но надо подчиниться и благодарить Бога за такую мягкую форму изгнания в такое страшное время, могло ведь быть гораздо хуже. Если бы ты нашелся и был тут, ты поехал бы с нами. Но где ты теперь? Я посылаю это письмо по адресу Антиповой, она передаст его тебе, если разыщет. Меня мучит неизвестность, распространят ли на тебя, как на члена нашей семьи, впоследствии, когда ты, если это суждено, найдешься, разрешение на выезд, полученное всеми нами. Мне верится, что ты жив и отыщешься. Это мне подсказывает мое любящее сердце и я доверяюсь его голосу. Возможно, к тому времени, когда ты обнаружишься, условия жизни в России смягчатся, ты сам сможешьхлопотать себе отдельное разрешение на заграничную поездку, и все мы опять окажемся в сборе в одном месте. Но я пишу это и сама не верю в сбыточность такого счастья.

Все горе в том, что я люблю тебя, а ты меня не любишь. Я стараюсь найти смысл этого осуждения, столкнув его, оправдать, роюсь, копаюсь в себе, перебираю всю нашу жизнь и всё, что я о себе знаю, и не вижу начала и не могу вспомнить, что я сделала и чем навлекла на себя это несчастье. Ты как-то превратно, недобрыми глазами смотришь на меня, ты видишь меня искаженно, как в кривом зеркале.

А я люблю тебя. Ах как я люблю тебя, если бы ты только мог себе представить! Я люблю всё особенное в тебе, всё выгодное и невыгодное, все обыкновенные твои стороны, дорогие в их необыкновенном соединении, облагороженное внутренним содержанием лицо, которое без этого, может быть, казалось бы некрасивым, талант и ум, как бы занявшие место начисто отсутствующей воли. Мне все это дорого, и я не знаю человека лучше тебя.

Но слушай, знаешь, что я скажу тебе? Если бы даже ты не был так дорог мне, если бы ты не нравился мне до такой степени, все равно прискорбная истина моего холода не открылась бы мне, все равно я думала бы, что люблю тебя. Из одного страха перед тем, какое унижительное, уничтожающее наказание нелюбовь, я бессознательно остереглась бы понять, что не люблю тебя. Ни я ни ты никогда этого бы не узнали. Мое собственное сердце скрыло бы это от меня, потому что нелюбовь почти как убийство, и я никому не в силах была бы нанести этого удара.

Хотя ничего не решено еще окончательно, мы, наверное, едем в Париж. Я попаду в далекие края, куда тебя возили мальчиком и где

воспитывались папа и дядя. Папа кланяется тебе. Шура вырос, не взял красотой, но стал большим крепким мальчиком и при упоминании о тебе всегда горько безутешно плачет. Не могу больше. Сердце надрывается от слез. Ну прощай. Дай перекрещу тебя на всю нескончаемую разлуку, испытания, неизвестность, на весь твой долгий, долгий, темный путь. Ни в чем не виню, ни одного упрека, сложи жизнь свою так, как тебе хочется, только бы тебе было хорошо.

Перед отъездом с этого страшного и такого рокового для нас Урала я довольно коротко узнала Ларису Федоровну. Спасибо ей, она была безотлучно при мне, когда мне было трудно, и помогла мне при родах. Должна искренне признать, она хороший человек, но не хочу кривить душой,— полная мне противоположность. Я родилась на свет, чтобы упрощать жизнь и искать правильного выхода, а она, чтобы осложнять ее и сбивать с дороги.

Прощай, надо кончать. Пришли за письмом и пора укладывать-ся. О Юра, Юра, милый, дорогой мой, муж мой, отец детей моих, да что же это такое? Ведь мы больше никогда, никогда не увидимся. Вот я написала эти слова, уясняешь ли ты себе их значение? Понимаешь ли ты, понимаешь ли ты? Торопят, и это точно знак, что пришли за мной, чтобы вести на казнь. Юра! Юра!»

Юрий Андреевич поднял от письма отсутствующие бесслезные глаза, никуда не устремленные, сухие от горя, опустошенные страданием. Он ничего не видел кругом, ничего не сознавал.

За окном пошел снег. Ветер нес его по воздуху вбок, все быстрее и все гуще, как бы этим все время что-то наверстывая, и Юрий Андреевич так смотрел перед собой в окно, как будто это не снег шел, а продолжалось чтение письма Тони и проносились и мелькали не сухие звездочки снега, а маленькие промежутки белой бумаги между маленькими черными буквами, белые, белые, без конца, без конца.

Юрий Андреевич непроизвольно застонал и схватился за грудь. Он почувствовал, что падает в обморок, сделал несколько ковыляющих шагов к дивану и повалился на него без сознания.

(Окончание следует)



АРКАДИЙ ШТЕЙНБЕРГ
(1907—1984)



ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Лесоруб

Коню поклажа тяжела,
И он бредет едва-едва.
Лежит студеная зола,
А под золой растет трава.

Приходит старый лесоруб,
Валит сосну в последний раз —
Поет, не разжимая губ,
Глядит, не поднимая глаз.

Какую песню он поет?
В какой руке зажат топор?
А на деревьях снег и лед,
И на снегу горит костер.

Но лесоруб во власти сна,
Ему и жизнь не дорога.
Безмолвно падает сосна,
Вздыхая вечные снега.

Старик садится у огня,
Похлебку черную варит,

Он только смотрит на меня
И ничего не говорит.

Он только смотрит на меня,
Зажав топор в худых руках.
Попона моего коня
Висит на старческих плечах.

Давно пора проститься мне,
А он не говорит со мной,
И треплет ветер на спине
Лохмотья кожи ледяной.

Кружится ветер полосой,
Метет по лесу дым и чад,
А лесоруб идет босой
Туда, где топоры стучат.

Стучат, как дятлы, топоры,
И вижу я — костры во мгле,
Большие белые костры
Горят на каменной земле.

1932.

День Победы

Я День Победы праздновал во Львове.
Давным-давно я с тюрьмами знаком,
Но мне в ту пору показалось вновь
Сидеть на пересылке под замком.

Был день как день: баланда из гороха
И нищенская каша — магара.
До вечера мы прожили неплохо.
Отбой поверки. Значит, спать пора.

Мы прилегли на телогрейки наши,
Укрылись чем попало с головой.
И лишь майор немецкий у параша
Сидел, как добровольный часовой.

Он знал, что победителей не судят.
Мы победили. Честь и место — нам.
Он побежден. И до кончины будет
Мочой дышать и ложки мыть панам.

Он, европеец, нынче самый низкий,
Бесправный раб. Он знал, что завтра днем

Ему опять господские огрызки
Мы, азиаты, словно псу, швырнем.

Таков закон в неволе и на воле.
Он это знал, он это понимал.
И, сразу притерпевшись к новой роли,
Губ не кусал и пальцев не ломал.

А мы не знали, мы не понимали
Путей судьбы, ее добро и зло.
На досках мы бока себе намяли,
Нас только чудо вразумить могло.

Нам не спалось. А ну засни попробуй,
Когда тебя корежит и знобит
И ты листаешь со стыдом и злобой
Незавершенный перечень обид,

И ты гнушаешься, как посторонний,
Своей же плотью, брезгуешь собой —
И трупным смрадом собственных ладоней,
И собственной зловещей худобой,

И грязной, поседевшей раньше срока
Щетиною на коже впалых щек...
А вечное, всевидящее око
Ежеминутно смотрит сквозь волчок.

1964.

~~*

Я видел море Черное во сне,
Как сирота под старость видит маму.
Оно большой рекой приснилось мне,
Похожей на Печору или Каму.

Вдоль берегов распаханной земли
Влеклась вода, краями небо тронув,
И желтые и белые цвели
Кувшинки на поверхности затонов.

Но это было море предо мной,
Зжатое меж берегов покатых!
Знакомый запах — йодный, смоляной —
Шел от него; и паруса в заплатах —

Лохмотья нищей юности моей,
Бросая вызов сумраку ночному,
Средь укрощенных временем зыбей
Ловили ветер так не по-речному!

И каждый вздох и каждая волна
Утраченное сердце воплощали;
И все равно — пресна ли, солона,
Но эта влага, полная печали,

Воистину была водой морской,
Вернувшейся к истокам отдаленным,
Чтобы присниться мне большой рекой,
Полузабытым материнским лоном.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ВЛАДИМИР БОГАТЫРЕВ

★

ДОКОЛЕ СВИДИМСЯ

- Так ты идешь в кино?
- Я же говорю: вчера мать похоронил.
- Да, грустно, но ты пойдешь в кино-то?..

Из разговора.

ПОМИНАНЬЕ

В эти дни я делаю два дела: утром хожу на твою могилу, подравниваю холм, поливаю из банки клеверок, планирую площадку. Звякну громко лопатой — попрошу у тебя прощения. Если тело усопшего способно чувствовать глухие удары извне, не пугайся, знай: это я, твой последний сын. А как стихнет за окном, пишу о тебе и о нас.

...После смерти матери я остался один, с кошкой. Эту черную, с белой кисточкой на груди кошку я двухнедельным котенком нашел в Орликовом переулке и привез в портфеле домой, за город.

Когда матери не стало, мне советовали: «Выброси кошку, зачем она тебе — только гадит...» Как же это я ее выброшу, говорил или думал я, когда она месяца два помнила и ждала мать, при малейшем шорохе у входной двери тараша на меня вопрошающие, испуганные, но такие знающие глаза!..

Возможно, не мы приручили животных, а они нас — и выжидают подходящий момент, чтобы деликатно объявить нам о том.

Кошку же мать как бы и недолюбливала: за лишние заботы и колготу. Кроме того, кошка та с малолетства пугалась выходить на улицу, даже в коридор. А став взрослой, вкусно и увлеченно нюхает, бывало, порог открытой двери, пробежит носом снизу вверх по косяку — и назад, в комнату. Не имея сторонних развлечений, она пробовала забавляться с матерью, особенно после сытного обеда. Доходило чуть не до слез. Прыгнет кошка матери на руку или ухватит за ногу — любила играть с необутыми ногами, — оцарапает до крови, а кожа у матери, из-за ветхости и высокого давления, заживала не скоро. И когда кошка сорвалась с жестяного карниза нашего второго этажа на бетонированную отмостку, мать незлобиво, но посмеялась; после же, в минуты новых обид, желала кошке свалиться вновь, да только чтоб до смерти.

Но вот кошка пропала. Я вынес ее погулять вечером, вытряхнул из-под пальто — она со страху вползла куда-то за палину и под мышку, — и когда обернулся, ее нигде не было.

Мы уже совсем отчаялись ее отыскать, как дней через пять приносит кошку мальчик из соседнего подъезда, а вслед за мальчиком прибегает девочка и говорит: «Бабушка, отдайте — это наша кошечка!» Мать не постояла за тем, чтобы не наговорить ребенку резкостей: «Какая же это ваша кошечка? Вы возьмите маленькой (мать ею в те дни не могла нарадоваться, говорила: «Как игрушка!»), выходите и вырастите, а после говорите „наша“». И девочка ушла ни с чем.

Ни кола ни двора. Ни традиций, ни быта, ни воспоминаний, которые крепче всего лепятся к вещам, земле, двору, обиходу. Ничего себе: горюя о матери, только и есть что вспомнить — кошку!

Родовая хата матери стояла на краю деревни. В хату эту и начинали стучаться, прося о приюте, разные хожалые люди: коновалы, печники, погорельцы, странники и просто нищие, — и Анисим, мой дед по матери, никому не отказывал. Новые люди — новые разговоры, вести, а то и шкалик водки — дед же был не дурак выпить. Так в деревне и повелось: попросятся люди в середине порядка на ночлег, а им отвечают: «Вон видишь, крайняя хата? Иди к Аниску. Всех привечает. А у нас — не-э-ет, у нас самим тесно».

Я тоже сколько раз приводил домой людей, оставших или не поспевших к своему поезду или кому негде переночевать, и мать, по старой памяти, никогда не отказывала, не гнала. Только шепнет мне: «Паспорт бы спросил». А где тут просить, когда уж и укладываться пора!

Вспоминаю один месяц (который мы с матерью прожили привольно), пожалуй, единственный из запечатлевшихся в жизни, во всяком случае, в самом начале, когда маленькие радости запоминаются ярко, надолго, навсегда. Мы проводили Маньку с Зинкой к отцу в Алтайский край, куда его, после девятилетней отсидки в лагерях, определили на вольное поселение (адрес звучал, как стихи: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ТРОИЦКИЙ РАЙОН, СТАНЦИЯ БОЛЬШАЯ РЕЧКА), а сами ждали, сидя на чемоданах, дадут они нам оттуда добро на выезд или же отбой. Манька, как старшая из двух сестер, должна была решить это.

Так вот, остались мы с матерью одни. Примерно через день отправлялись пешой на базар, с Фенольного поселка на северный Сталиногорск, как все говорили, на Север¹, через Любовскую плотину, выбирали и покупали — деньги «вольные» у нас водились — спелые огненные помидоры, приносили домой и ели. В растительном масле, с солью и репчатым луком, но и без всякого масла, целыми, с хлебом — и так и этак. Кожура у них была тонкой, она отставала и липла к небу, а сок мы сливали через край миски. В ту осень 1946 года, может, удался необычайный урожай на них, или никогда прежде до такой объедаловки мы не дорывались, но это выдалась осень-пир. Рынок пылал, прилавки пламенели и ломились от помидоров всех сортов и расцветок.

И мы нажимали на помидоры. Надо сказать, мать не любила и не умела готовить: нехватки в родительском доме, а следом жизнь пролетарки тридцатых годов приучили ее к сухомятке.

Правда, и тут один случай на миг омрачил наш праздник. Раз под вечер возвращались мы с базара, шли вдоль шоссе — мать ближе к полотну. И чуть-чуть не доходя плотины, у железнодорожного переезда РМЗ, мать, услышав позади себя рев грузовика, подалась ко мне, секунду спустя у ее виска просвистал борт шутоломной полуторки, умчавшей вперед по кривой. Завихрились уголки ее косынки, завязанной на затылке. Только тут мать перепугалась, поняв, что чуть не погибла, и долго не могла отойти и вспоминала и ахала до самого нашего барака.

А в общем, дни наши протекали по-прежнему в помидорном празднестве, пока недель или двумя позже не начались в Алтайском крае будни: мрачные, дождливые и временами страшные. Но наперед мы ничего не знали: я, безотцовщина, радостно собирался к отцу, которого отродясь не видывал, мать моя — к своему мужу, человеку не сказать чтобы святому, но отцу четверых ее живых детей, с которым ее разлучили чуть ли не десять лет назад.

Внешне нерасторопная и мягкосердая, мать была крепкой, даже жестоко крепкой там, где дело касалось ее веры. Это черта людей слабодушных; не защищенные панцирем, сознавая свою уязвимость, они могут порой так запсиховать и окрыситься, что хоть святых выноси! Они могут просто-напросто взбунтоваться, и со стороны покажется — беспричинно и вдруг. Но гнев, бунт и недовольство копятя долго. Просто преследующий, увлеченный гоним

¹ Город распался на две части: промышленную северную — Север и южную жилищную — Юг. В двенадцати километрах одна от другой. (Прим. автора.)

и убаюканный кажущейся безответностью гонимого, не замечает, как накапливается гнев, — а чтобы видеть это, необходимо смотреть человеку в лицо и замечать, как оно меняется ото дня ко дню, линяет и сереет...

Была — теперь уже была — моя мать евангелисткой. Лет сорока пяти, где-то в последние годы войны, сменила она православное вероисповедание. Верила так верила, меня особенно не понуждала молиться (лет в десять я дал отпор — ей и старшей сестре Маньке, и на меня махнули рукой), мне от того не было ни холодно ни жарко. Но когда у человека на старости лет есть во что верить, есть занятие и утешение, он даже близкой смерти не боится. По матери знаю. «Вот, — говорила соседкам, — сына бы определять, тогда и помирать можно!..»

Да, значит, мать была крепкой в вере, хоть проповедницей и догматисткой неважной: в их общинах ценится более всего, когда верующий приведет в собрание нового брата или сестру из мирских, обкатав и подготовив перед этим соответствующим образом. У Елены Анисимовны моей общего кругозору для проповедничества грамоты не хватало, четыре лишь года ходила она учиться, окончила сельскую школу, правда, с отличием. Учитель говорил ее отцу: «Анисим, посылай дочь дальше учиться, из Аленки толк будет». «В город посылать, — ответил на это мой дед Анисок, — у меня карман тонок. Пусть ткет и косит с девками. И так переучилась».

И мать осталась дома. У деда были одни дочери, девки, земли на них, как известно, не полагалось. Это составляло бедствие семьи. Как счастье, рождались мальчики (Кирюша и Ванюша) и умирали в младенчестве...

Я завидую тем сегодняшним ребятишкам, у которых по две теперь бабки и по два деда. А я, кроме матери (отца-то еле-еле застал живым), никого не знаю. Знаю лишь, как деда по материнской линии кликали, как деда по отцу звали, а отчества их забылись.

Дед Анисок пил — пил запоями, потому что, как ни рвись, не мог свести концы с концами; в двадцатых годах — объявлялась такая кампания — сидел за самогонварение в малоархангельской тюрьме год, что ли. Умерли они с бабушкой Полей — от старости и разразившегося тогда голода — где-то в начале тридцатых в родной деревне на Орловщине.

Вот и вся моя родословная. Мать похоронена под Голицыном, по Звенигородской ветке, в пушкинских местах. Думала ли, гадала о том в дымном подмосковном Сталиногорске, в пыльном Щекине за Тулой, что найдет свое вечное упокоение на зеленом Захаровском кладбище?.. А где отец зарыт, и не знаю.

Могла бы она, мать, пойти в учебу позже, в года тридцатые—сороковые, но к тому времени обременилась детьми, семьей, да и обстоятельства не сложились.

Но знания у нее были прочные, малограмотной-то, в общем, назвать ее, как она сама себя называла, грешно, и лет до двенадцати она помогала мне управляться со школьными уроками, говоря: «А ну-ка прочитай, что там впереди и что дальше». Непонятное слово толковала, исходя из контекста. А потом стал ей помогать уже я, и в последние годы она мне, бывало, скажет: «Володьк, что тут написано, разверстай». «Тут» — это Библия и Евангелие, книги, нам, детям, незнакомые. Я и «разверстывал» как мог.

Вреда своим богом она никому не делала, ходит вечером у дома, поет себе духовные песни, одного о чем-то спросит, с другим поделится своим. Ребеночка конфетой угостит...

В нашем и соседних домах живут строители и рабочие с «птички», как местные зовут Голицынскую птицефабрику. Целыми днями дети кричат и плачут под окнами, играют и спорят друг с другом до темноты, и самое популярное, как я заметил, словечко в их словарном обиходе — «ж...». Только и слышишь — как главный аргумент, как игра, как дразнилка.

И вот одна мамаша, должно быть, одного из таких ребятишек, как-то говорит моей матери:

— Что это ты, бабка, молишься, какого-то бога выдумали?..

— Мы бога выдумали? Бог выдуман за тысячелетия до нашей эры. Это вы придумали сквернословить да не молиться богу.

Что было той возразить? Промолчала.

В последние ее годы я частенько — к месту, конечно, — предлагал ей рюмку вина. Она не отказывалась и выпивала — так или в чае — с очевидным удовольствием, если вино ей нравилось. А я говорил: что же это ты, мать, пьешь вино, ведь по вашей вере нельзя.

На что был у нее подготовлен ответ:

— Христос в писании говорит: можно, но — ради частых недугов ваших.

Всю жизнь вспоминала она, как еще у себя на Орловщине выпила церковного вина — очень уж вкусное оказалось. После никогда такого не пробовала. Это когда мой отец по соседскому совету перед самым раскулачиванием камень со своей мельницы обществу мельнику продал, а тот на магарыч вина выставил, того самого, церковного. Видать, кагору.

Однажды Колька, брат, привез самогону, подкрашенного кофе и в коньячной посуде. Дали матери стопарик, полежала, походила, потом пришла на кухню к нам, чего-то искала для видимости и потом говорит: «Колька, а это не коньяк. Я раз коньяку купила и выпила двадцать грамм, так в пальчики вступило, в кончиках закололо». Брату и пришлось сознаться в розыгрыше.

Но лгать не умела — не было у нее такого таланта.

Мой отец, бежав после раскулачки из деревни на производство, стал, как ему казалось, для приработка, поигрывать в карты, а уходя на игру, просил мать прийти и будто бы силком увести его в разгаре игры, если ему везло, потому что правила не разрешают уходить, пока партнеры не проиграются до того, как им нечего станет больше и ставить. А мать придет и так станет выцарапывать его из компании, так начнет подмаргивать и жмурить оба глаза, что все и поймут что к чему, только отцу напортиг...

Мать рассказывала: дал отец в Сталиногорске человеку в долг деньги по расписке. Тот долг вернул, а расписку взять позабыл. Отец не замедлил через нотариуса взыскать с ротозея вторые деньги, хоть мать очень отговаривала. А тот с дружками подкараулил отца на Любовской плотине, когда он возвращался с работы, и так ему всыпали — тут как-то случайно мать подоспела, — что у него от испуга изо рта глист выскочил... Матери сей факт очень и очень, как я понимал из ее рассказа, понравился. Отца били. Его охватил, должно быть, тупой и холодный животный страх, что вот сию минуту его убьют. Наверное, добре били, как выразилась бы мать.

В оккупации остались мы в Сталиногорске. Смутно помню детсад наш, размаляванный заводскими художниками крокодильими разводами под цвет выгоревшей окрестной местности, газетные кресты на окнах, бабаханье зениток и мельтешно прожекторов по ночному небу за Гипсовым, коней, дико бегущих в закатное поле из пылающих конюшен Фенольного завода, обывателей, спешащих по улице поселка со низками баранок на шее, со стульями, инструментами духового оркестра и разным прочим хламом, а потом — пожилого флегматичного немца на пороге, просившегося к нам на постой, но охотно регировавшегося, когда мать сказала, что мужика — нет (она двумя пальцами изобразила усы над верхней губой), а киндер — мал мала. Уходя, расщедрившийся немец оставил нам полбуханки хлеба.

Когда касалось блага семьи, она становилась и дальновидной и твердой и определенно знала что к чему — что лучше, что хуже.

Так, она не тронулась с места перед приходом немца в подмосковный Сталиногорск — куда еще с тремя детьми из теплой комнаты (она любила говорить: т е п л а я комната, к у с о к хлеба, — и знала им цену и умела ценить) в эвакуацию?

Наши перед отходом все что можно взорвали и подожгли. И люди — одни просто грабастая, другие — предвидя предстоящие трудные времена и зная, что любая тряпка или рухлядь может тогда здорово согдиться, — кидались в огонь и вытаскивали кто что осилил. Мать выволокла из горевшей пожарки хороший еще диван, обитый машинной выделки гобеленом, пару венских стульев.

Один из полицаев, назначенных немецкими властями, особенно усердствовал, ходил по семьям на предмет учета выхваченного из пожаров имущества. Он несколько раз появлялся у нас и всякий раз с порога произносил одно и то же: «Богатырева, сдай диван — чтоб твои волосы не мотались и дети не оставались», это он грозил виселицей. Но мать не отдала диван, а через восемнадцать дней вернулись наши и диван с пропрыганными нами пружинами благополучно вернулся к своим законным хозяевам, в пожарную команду, ретивый же полицай сам угодил на перекладину.

Ходила мать тушить и тлеющее зерно на элеваторе в Маклеце. Как торфяное болото, неделю уже горел хлеб, подожженный в буртах нашими при отступлении... За день работы получала она полмешка поджаренной и проникнутой дымком пшеницы. Этим зерном мы подкармливались года два — пекли пышки, делали соломать, варили кутью и — ходили на двор кутьей. Мать бегала на Маклец, хоть другие боялись. И поделом. Видела она на элеваторных воротах повешенного поджигателя, там же на ее глазах девять сталингородских коммунистов сами выкопали себе ров и упали в него под немецкими пулями. Она с простодушной жалостью рассказывала о них, придя домой: у одного кровь из рта текла, другой не закрыл глаз, как куренок...

Немцев из полевых, наступающих частей она, надо сказать, не боялась. «Вот придут карательные отряды, финны, вот тогда...» — говорила она.

С возвращением наших жизнь стала входить в прежнюю колею. Мать трудилась рассыльной на почте, а в свободное от работы время ходила стирать белье и мыть полы в семье заводского начальства. Вернувшись домой, она умела незлобиво посмеяться с нами над их незнакомым бытом и укладом. Жена главного энергетика Фенольного завода, заслышав бречанье инструмента, кричит в соседнюю комнату сыну: «Бо-а-ря! Не шали!» «Мамо! Я не шалю. Я с пианино пыль стираю».

Мать умела думать, размышлять, но как-то не высказывала того, о чем она думает и что надумала. Если в такую минуту «разбудить» ее, она, жуя хлеб — на нее этот стих чаще всего, помнитса, напал за едой, а главной ее едой был хлеб, — ответит вятно, но односложно и снова жует и думает свою долгую, свою длинную и не выразимую словами думу. Наверное, в себе она много знала, потому что никогда не обижала человека неосмысленным поступком, опрометчивым словом, по старой привычке, еще от Аниска, привечала тех, кому негде было голову преклонить, и если не могла помочь делом, скажем, куском хлеба, то помогала добрым словом:

— Постой-ка, подружка, а у нас на Фенольном жила одна вдова с четырьмя детьми. А когда началась война с немцем, ей и говорить...

И войдет в душу, и утешит.

...Есть фотография, где я, четырнадцатилетний, сижу, положив матери руку на плечо и едва не улыбаясь во весь рот от распирающего меня жизнелюбия, мальчишеского оптимизма и торжественной значимости момента. Она смотрит в объектив «Фотокора» длинными ясными глазами, полными скорби и согласия с судьбой. Дорого бы я дал, чтобы узнать теперь, о чем и как она думала в тот краткий миг в дощатом помещении маленькой фотографии на старом щекинском базаре, что вспоминала из прошлого, о чем печалилась.

В жизни никогда у нее не бывало такого лица.

На фотоснимках выписывался и становился говорящим быт, окружавший ее. Вот сидит она, а за ее спиной, за ее плечами живут совместной с ней жизнью какие-то кружечки на нашем деревянном некрашеном столе, еще пара больших алюминиевых кружек, низенькая баночка, предназначение которой я уже позабыл, белый платок в цветочках на голове, солидная, в полоску, серая толстовка — кокетка облегает плечи. Это — мы с Зинкой в институте, Манька на Кольме, но уже на воле... Потому у матери хорошее и ровное настроение, потому и глаза ее спокойны, умиротворены даже. Сонными своими глазами смотрит она в мир, тревожиться не о чем, это снимает ее зять Виктор, Манькин муж, который приехал из Ягодного, с Кольмы, на полгода в отпуск.

На другой — с внучкой Любой на ступеньках шлакоблочного дома на Военпромкомбинате. Чулок завернулся вокруг голени, руки сложены между просторных карманов на животе, ветер подвернул одну сторону полукруглого отложного воротничка. Снимает Витя, волноваться не надо, Любка в заломленной на затылок круглой соломенной шляпе, на руке — детские часы с подвижными стрелками, нижняя губа закушена, ноги колымчанки в прочных кожаных сандалиях крепко стоят на бетонированной площадке крыльца.

А вот фотография на берегу Любовки. Кажется, 1946 год, не позже. Наверное, это весна, осенью мы уехали в Сибирь, на Алтай. Нет, это скорее всего сорок пятый, осень. Крещение в евангелической общине. На переднем плане пресвитеры и крестители в подштатниках. На траве валяется авоська. Пасмурная рябь реки и разные-разные люди, старший пресвитер Сергей Иванович мотнул головой и размазался, у него лицо и так было каким-то нечетким, с заячьей губой.

Мать — в сером плаще, подвязана платочком по поясу, пальцы схвачены пальцами на животе, лицо простое, но чуть надутое от задумчивости. За сапогами матери скомкана на траве простыня, которой вытирались новоокрещенные, за спиной ее — люди, разные люди, некоторые вытягивают шею, чтоб попасть в кадр. Через человека стоит на коленях, чтоб не застить задних, Зинка, по-детски щурит глаза. Рядом с Зинкой, тоже на коленях, бабка с ликом мельничкопечерских черниц, в руках у этой бабки палочка — вертикально, но на весу...

Есть снимок, где у матери совсем безразличное лицо. На ней уже пиджак, кажется, мой, платочек теплый, за спиной — опять шлаковая стена военпромкомбинатовского дома, руки покойно лежат на коленях, глаз не видно, они в тени. Это я снимал.

О совсем последних писать сейчас не хочется. Я их отобрал, чтоб не путать с другими, смертными, фотографиями. Но об одной, на паспорт, напишу. Тут у матери глаза сердитые, мудро-сердитые, не столько мудрые, сколько сердчающие. Сердчающие... Такие глаза бывали у ней редко.

Дело прошлое, был я в детстве порядочным шкодником и разгильдяем. Каждый день видел вокруг себя одно и то же, а мне хотелось нового, необычного, неиспытанного. А нового — не было. Но я не сдавался, дерзал, и все мои напрасные хлопоты оборачивались шкодой.

Шкодничества у всех моих сверстников тех лет были примерно одинаковыми — что их перечислять? Мечтания о дальних поездках и попытки к бегству из дома, желание куда-нибудь забраться, в гараж, в ту же компрессорную или кузню, что-нибудь умыкнуть, раздобыть доселе невиданное, машинку какую-нибудь, реле, совсем ненужную шестеренку, на худой конец, или — выменять, сделать самому самокат или проекционный аппарат; гонять голубей, доводить учителей в школе.

Случались четверти, в которые я получал тройку по поведению: по школьному уставу того времени за такой балл полагалась вышка — исключение из школы. Но мне как-то везло, может, потому, что после бучи от души отлегалось, и я начинал учиться почти отлично, и грехи мои забывались учителями.

Подрос — пошли голуби. А это — кто знает — стычки за сараями и потасовки из-за пойманных и утерянных голубей, поиск денег не только на корм, но и на выкуп, зато какой праздник, когда ранним весенним утром твои (и не чьи-нибудь другие!) голуби в небе, скрываются, возвращаются все и сажают чужака на крышу голубятни, а ты захлопываешь ловушку... Не было для мальчишек высшего счастья, и поэтому в пятидесятых годах, когда у нас там ничего не было — ни дворцов пионеров рядом, ни библиотек, ни стадионов, — повально было увлечение голубями.

Но мне-то — счастье, а матери — лишняя доука: как бы сарай не взломали, как бы не прибили меня до смерти, да и «деньги им на зерна откуда взять — денег мы не печатываем...».

Голуби для меня кончились враз. Класса с седьмого начал ходить я в городской клуб «Горняк». В драму мне не пришлось попасть, зато занимался в кружке малых эстрадных форм, читал стихи со сцены. Руководил моими занятиями бывший синемблужник Василий Васильевич Калядин, которого из Москвы в захолустное Щекино забросило превратностями судьбы — после войны и отсидки

в лагере. (Сидел он десять лет, между прочим, за то, что в сорок третьем вслух усомнился, что американцы откроют второй фронт.)

Мне льстило, что со мной занимаются отдельно, говорят: «А эту строчку ты трактуешь так?..» Ответственность обьявляла, тем более что перед моим выходом на эстраду ведущий обычно обьявлял: «А сейчас... выступит с а м ы й м о л о д о й участник нашего концерта, м а с т е р художественного слова... и м я р е к. Попросим его!»

Василь Василуч никогда не говорил «декламация» — только «чтение», сам писал себе репертуар («Дайте в руки мне гармонь, я спою новинку. Я вчера купил гармонь — нынче сдал в починку!») и пользовался величайшей популярностью у публики. Он-то, где к слову приходилось, ободрял и похваливал меня, говоря другим, что из меня может выйти хороший актер, если я буду так же упорен в достижении цели...

А на шахте говорили: «Вовка в «Горняке» занимается».

Город стоял на большой дороге Москва—Симферополь. Летом вниз, на юг, устремлялся поток надраенных семейных «Москвичей» и «Побед», и мне хотелось, чтоб у седовласого доброхота, какого-нибудь народного артиста, полома-лась машина, я бы подошел к нему, или он сам заметит худого внимательного юношу и благословит... Но машины пронеслись мимо, железные внутренности их были в полном порядке.

Мысли и стремления, прямо заметим, не новые, но для всякого первые своей неповторимостью и свежестью, они-то и заставили меня сделать выбор: голуби — или самодельность. Я выбрал второе. Голубей пораспродам, и когда через год ко мне прилетела моя любимица светлая голубка, я сварил из нее суп. Мне было стыдно и обидно за себя — отвечать вероломством на верность, но я уже затвердил истину, что искусство требует жертв.

Да-а, злые глаза матери!..

В войну в нашей комнате перебивало много всякой всячины: тот же диван и венские стулья, медный геликон из растащенного заводского оркестра, милицмейская фуражка, звезду от которой Манька по приходе немцев отстегнула и забросила в погреб, а самой фуражкой черпала снег из сугробов в ведра для мытья, и многое другое. Война все перемешала и перепутала, так же как наша соседка Маруся Кануделка: она своему сыну Юрке соорудила из бумажного свитера рейтузы в момент, просто-напросто зашив горловину по краю, и он так и носил их, с мотней меж ногами.

Среди прочего оказались у нас в комнате громадной толщины и высоты, как для каких-то великанов, бамбуковые лыжные палки, чуть ли не до потолка. Я как-то раз поднял одну из них, но не удержал — она поехала бок под действием естественной своей тяжести и хлопнула мать по лбу; ее глаза сделались какими-то удивленными, чужими и незнакомыми мне: это была злость.

В другой раз, наверное, я увидел у нее эти же самые незнакомые глаза, когда солдаты подарили мне латунную зажигалку в виде бомбочки. Я раскрутил ее, вытащил из нутра показавшуюся мне ненужной вату и весь резервуар вновь заполнил бензином, чиркнул кремнем — она так вся и запылала в моей руке. Я взмахнул ею в воздухе, из зажигалки вылетели капли горячей жидкости и цепью костерков легли на байковое одеяло. Не составило большого труда костерки загасить, и следа не осталось на одеяле, а я раз и навсегда понял, для чего туда напихана вата, почему не прогорело одеяло и отчего были сердиты глаза матери.

Незабываемым осталось в моей памяти одно воспоминание из детства, и я попробую рассказать о нем, потому что виновницей этого необычайного приключения со мной явилась мать.

Если бы я писал эту повесть отдельными главами, эту назвал бы «Грицовка», или «У брата Серафима», или еще как-то в том же духе.

Мать мою пригласили на богомолье (а точнее, в собрание) в деревню, должно быть, километров за десять от города, потому что высокие дымы Сталиногорской ГРЭС виднелись оттуда еле-еле. Как из ямы. (К счастью, я увязался с ней.) Стояла хорошая весна в самой поре.

Не помню, побывали ль мы у самого Серафима, которого я видел раньше,

человека степенного, с лицом не менее ласковым, чем его имя; кажется, заходили в его дом с верандой над прудом, но помню только какие-то утро и вечер с золотистыми растеками лучистого света по травам и гребле плотины, еще какое-то прохладное утро со слепым дождем в поле около перелесного осинника или березняка, кучки людей вразброд, перемолвки, тихий ход единомышленников с переходами от группки к группке, весенняя распутица на полевой дороге, зеленая трава обочины, чьи-то деревенские сени, парное молоко, тепло русской печи, деловитый гуд богомолья за печным колпаком в горнице, поход в иную деревню, озерца, верховые рукава Шатского водохранилища, подпертые небольшими плотинами, лозинки, придорожные избы, мосты, теплота и очарование запахов земли, все то, чего мне так не хватало в химическом городе Сталиногорске. Все, чему грешно не запомниться, не отпечатлеться в пьяной памяти детства, в меркнувшей хронике чувств.

Мать посадили в корыто, и я помогал двум соседкам обмывать ее. Одна из них, Александра Игнатьевна, приговаривая, что это лишь обычай, живо полила воды из чайника на покатые плечи, на шею и грудь матери, потеряла слегка намыленной рукой и слила, потом вытерла тело насухо полотенцем.

Мать сидела в корыте, подогнув ноги и ссутулив плечи вперед. Казалось, она всего-навсего крепко над чем-то пригорюнилась. Впечатление это подкрепляли ее густо тронутые сединой, но кудрявящиеся, еще не старческие волосы, закрывающие с висков и лба мертвое лицо.

Мне было пусто, пока только пусто, и хотелось, чтобы поскорее ее, еще не окоченевшую, соседки сами одели в зелененький халат-расстегай, положили на мой письменный стол, накрыли полоской савана, а после — схоронить...

Я еще не знал, что самая большая тоска начнется позже.

ЖИЗНЬ

Иду домой с электрички — дождь, слякоть, фонари горят тускло — и как вспомню: «А она — там...» Рядом, вправо от дороги, лежит: головой, повязанной в белый платочек, — туда-то, а ногами, обутыми в серые туфли с негнущимися подошвами, — туда-то.

Бызью чаю (мать любила хороший чай и чтоб прокипел до «белого ключа»), похожу по комнате, и защежит сердце...

Обиднее всего, что она не дожила до лучших дней, я не успел отплатить ей за все, что она сделала для меня, вынянчив, выйдив и воспитав в меру сил своих. Всю жизнь я скрывал любовь к ней, мне казалось, что я ее не люблю (как Аксютку, ее сестру), и даже теорию придумал вслед за Зинкой: за то, что в детстве стебала веревкой. Но ведь не помню же я, чтоб это когда-то было больно. Было, конечно, больно раза два, но — т о г д а, а от настоящей боли должно быть больно и сегодня.

Она забирала один, свободный, конец веревочного мотка в ладонь и навивала петлями с локтя па ладонь до тех пор, пока в незанятой руке не оставался кусок в метр длиной. Оставшимся хвостом она обматывала верхний край навитых петель, а остаток, предназначавшийся быть ручкой, продевала в запетельны.

Вот таким орудием она воспитывала меня лет до двенадцати, пока я не стал ростом с нее. Как, верно, многие, я ховал висевшую для острастки на видном месте веревку куда подальше, и общеизвестно, что это не способ.

Но вот я решил взбунтоваться и, если мать пойдет на меня по старинке, с веревкой, отнять ее и хлестнуть саму. А мать, словно бы угадав, что время воспитания витым пеньковым концом себя изжило, больше меня не трогала...

В первый раз я почувствовал тоску от разлуки с матерью, почувствовал осознанно, когда лет одиннадцати уехал в пионерлагерь. Там было все, чтоб не скучать — и, главное, хорошая еда, — но я затосковал. Я думал: хорошо, если бы мать неожиданно приехала и взяла меня отсюда, я стану ее слушаться, я буду с ней молиться ее богу, — но, возвратившись на промкомбинат, в нашу коммунальную комнату, богу я, конечно, молиться не стал, своевольничал и бедокурил по-старому: стрелял из поджигов, надувал лягушек через соломинку, лазил

в староколпенские сады, колошматил сверстников или меня побивали, — но что-то с тех пор запало в душу и подсказывало, что у меня есть м а т ь.

Когда я, отправленный с неустановленным сроком к Аксютке в Каменку, на вольные харчи, вернулся без предупреждения домой насовсем, мать мне ничегошеньки не сказала и впредь никогда не попрекнула. А позже не удалось устроить меня в детдом (мест не оказалось), и мать, перед тем согласившись отдать меня на прокорм туда, даже была рада такому обороту дела.

Все это мелочи жизни, скажет иной, всякая мать своему кровному дитю зла не пожелает. Может быть, это и мелочи, но все прошедшее полно отныне особого смысла.

Так я, мерзавец, помнил, что она меня лупила, а почему же не помнил, как она мне в Алтайском крае на предпоследний сталингорский обносок выменяла скрипку у Медведевых и на том же достопамятном промкомбинате купила фотоаппарат «Любитель»?..

Все эти неувязки, все мое свинство вспоминаются не как-нибудь, а с горечью.

Слава богу хоть, что умерла она у меня, в теплой квартире, а не в малоприветной комнате в Щекине. Еще только получив первую свою квартиру в городе Руза, я подумал, что надо обязательно перетащить мать, что она будет одна там, где и питьевая вода и нужник — на дворе, где от всего вида поселка выработавшейся шахты наносило запустением и бездельностью на веки вечные.

Потому, мне кажется, и тяжело, что последние свои годы она прожила со мной. Кончась она у Зишки на Орловщине, в Старополеве, приехал бы, похоронил, поскорбел, помянул да и, наверное, забыл. А тут другое дело. Временами сердце болит почти физически, как в годы первой любви, и настроение портится, стоит только поесть, набить желудок, — тоже как в дни неудачной той любви на Левобережной...

Когда я написал в память матери стихи «И ничего не изменить, и ничего-то не исправить, и только горестная память до века будет нас винить...», Манька сказала: «А что ты расстраиваешься? Мать на тебя не обижалась».

Мне кажется, что по кончине человека близкие переживают три порога: сначала не верится, что умер, что он может так вот уйти; кое-как привыкаешь к факту; твердо знаешь, что человека нет больше, и принимаешь это рассудком, но — не душой, и память противится. Раньше мне не приходилось видеть смерть изблизи, и я понимал кончину человека скорее зрелищно, теперь понял п с и х о д о к у м е н т а л ь н о. И не увидел в смерти торжественности последнего акта, а тоску и жалость.

Приехали мы в Большую Речку, вошли в хату-мазанку и ахнули: с потолка сквозь слезы, приваленные сверху землей, проросшей бурьяном, лило и кусками отмокала и шлепалась на земляной пол глина. В углу на железной узкой кровати лежал отец. Он временами закашливался, трудно подымая маленькую усохшую голову над костлявой грудью, и сплевывал в консервную банку. На нетопленной печи, завалившись тряпьем, лежала, как мертвая, нечесаная и немытая Зинка. Ее льняные волосы стали темными от грязи и вшей. Увидав нас, она заплакала. Кажется, и поесть ничего не оказалось...

Чуть ли не в первый же день мать стала пенять Маньке — почему это она всего не рассказала ей, матери, приехав из Сибири за нами, разве бы она поехала сюда из теплой и как-никак обуюченной комнаты?

Зимовать в этой хате не было никакой возможности, и мы с холодами перебрались на частную квартиру, на 2-ю Залинейную, к Изболдиным.

Там отцу совсем стало худо. Он целыми днями не слезал с печки, почти ослеп — на одном глазу у него было уже бельмо от сучка в тайге на лесоповале, — кашлял и кашлял, начал заговариваться. Мне было жаль больного отца, с которым на печке я дневал и ночевал, меня так и тянуло приласкаться, прислониться к нему, но он этого не понимал, ему было не до нежностей, свет не мил. Напротив, однажды я как-то не так завозился или слишком громко засмеялся с Изболдиными-ребятами, и он желтой мозолистой пяткой худой ноги припер мою шею к холодной стенке так, что я начал синеть. И матери пришлось вступить за меня и сволочь вниз. Я долго потом помнил этот случай, помнил со

злостью и неприязненностью, а сейчас понимаю: отцу тоже было не мед помирать в чужом краю, посреди порушенных надежд. Последний год он коновалил, не без Колькиной помощи сгношив полторы тысячи на хату, ждал семью...

Вспоминаю, отец хотел иметь свою усадьбу, хозяйство свое. Что же тут было грешного? Нынче у какого-нибудь огородника в Жаворонках движок, подающий воду на плантацию редиски, вдвое мощнее, чем та ветряная крупорушка, что была у него до раскулачивания. Не было в его желании ничего грешного, просто он попал не в жилу со временем. И единственная его вина состояла в том, что он хотел хозяйствовать, иметь свое любимое и выгодное (как же без этого?) дело.

Вскоре его положили в барнаульскую больницу, а некоторое время спустя мы получили казенное извещение, что он там умер, не приходя в ум, от туберкулеза легких. В 1958 году он был реабилитирован за отсутствием состава вины, и нам даже выплатили его двухмесячный заработок. Тот, что он получал до ареста.

Не знаю, где его могила — номерная (ставят на кладбищах такие железные инвентарные таблички на бесхозных бугорках), а может быть, и общая.

Так окончил свой жизненный путь мой отец Богатырев Григорий Петрович, ссыльнопоселенец Алтайского края, а в прошлом — грабарь, на своем ходу и со своей лошадей строивший Сталиногорский химкомбинат, где в землянке на Княгинине, сбоку от Фенольного завода, я и родился в сентябре 1937 года. Через две недели, как я прорезался на этот божий свет, отца арестовали. Мать рассказывала об этом так: взяли их, человек с десятков, из землянок конные милиционеры и табунком погнали на Юг. На Южный Сталиногорск.

У отца перед коллективизацией была отделенная ему моим дедом Петром ветряная мельница. Мельницу, естественно, отобрали, новые же хозяева забыли закрепить на ночь стопор, направляющий крылья против ветра, мельницу растрепало бурей, и она воспламенилась и сгорела. Работников отец никогда не имел, но его тем не менее провели по разряду кулаков.

Время спустя отцов сват, бывший близким человеком к сельсовету, посоветовал тикать из деревни. Сват выправил бумагу, где Григорий Петрович имелся крепким середняком...

Семья, бросив хату, подалась в Челябинск, на строительство тракторного завода. (Сначала уехал отец, потом вытребовал семью.) Но там после очередной переборки дел по отделу найма отцу спешно пришлось бросить работу и искать своего счастья в новом месте, на самой дальней окраине Подмоскovie, в городе Сталиногорске. Тут строительство гигантского химкомбината только разворачивалось, рабсилы требовалось невпроворот, и, я думаю, здесь относились более терпимо к таким, как мой отец. Однако несдобровал.

Когда мать спросила у прокурора на Юге, за что посадили отца, тот ей ничего толком не ответил и посоветовал выходить во второй раз замуж. Совет тогда такой был не свеж, банален и представлял скорее образчик судейского юмора. Мать моя, конечно, юмора тут не нашла, но комментировала прокурорский ответ так: «Нечего дураку сказать — и «да» хорошо».

В сороковом году посадили мать по Указу. Без отца ей пришлось вкалывать за двоих, что она и делала: днем работала чернорабочей на стройке, а по ночам здесь же дежурила сторожем, прихватив меня из яслей. Со стройки она принесила щепки на растопку, но как-то утром прораб пришел раньше обычного и увидал эту злополучную вязанку. Он велел матери бросить щепки, а она на дыбы: чем конс разжигать? Прораб недолго думая написал докладную, состряпали дело, где щепки фигурировали как стройматериал, матери припаяли год тюрьмы, а нас — Любку, Зинку и меня — рассеяли по детдомам. Манька оставалась дома комнату караулить, она училась в медучилище. Колька был в бегах, шпановал.

Посадили ее скорее всего в горячке, когда чиновники на местах всю старались отличиться в выполнении плана мероприятий по очередному Указу. В тюрьме жилось ей неплохо, она даже разъелась на бесплатных харчах, отзывалась так: не хуже, чем на воле.

По кассации, написанной из калужской тюрьмы, через полгода мать освободили, и она поехала собирать нас. Я находился в Калуге, рядом с матерью,

Зинка — в Ефремове, Любка — в Веневе. Но ее мать не застала: Любка умерла от приступа аппендицита. Как все юные покойники, Любка осталась жить в нашей семье в самых светлых воспоминаниях. Мать рассказывала, какая она была послушница дома и отличница в школе, а мне о Любке долго напоминал клочок вехотки от ее бордового платья, которое я смутно помнил на ней живой.

За мной мать пришла в детдом по темноте. Я уже спал, мать где-то спряталась, разбудившие меня нянечки сказали, что за мной приехала мать. Я, не поддаваясь на розыгрыш, тут же им ответил, что — не обманете, мамку забрал милиционер, но вот увидел мать, выглядывавшую из-за притолоки... Смутно помню, что спал я в каком-то не то коридоре, не то закутке, долго помнил, все детство, а сейчас все представляю, может быть, из своего рассказа другим о своих тех впечатлениях, но как бы пересказанного мне одним из этих других.

В нашей семье пересидели все — кроме Зинки, меня да еще... Любки. Это я к тому, что в самом конце сорок шестого посадили Маньку. Мать в Сибири стала трепать малярия, работать она не могла, и Манька, чтоб кормить нас, как тогда говорили — спекулировала: покупала в Сибири мед и семечки и на тормозных площадках и вагонных проножках везла в Москву, а оттуда привозила в Троицкое гребенки. Немного же она наспекулировала, кажется, всего один раз и съездила в Москву... Дали ей пять лет, увезли на Колыму.

Сибирь. Зима. Стоим на квартире. Актив: три голодных рта, кое-какое оставшееся барахло. Пассив: Манька в заключении, Колька под следствием в Бийске.

И без болезни мать не отличалась особой практичностью и оборотистостью. Как-то в войну Колька передал ей на прожиток какие-то деньги, потом приехал прятаться у нас в комнате, под койкой с подзорами. «Что картошек не купила?» — видит конфеты разные, печенья. «Как же я картошки-то куплю, — отвечала мать, — люди подумают: откуда это Богатыриха деньги взяла?..»

Конечно, если бы не Колька, мы бы еще в войну подошли с голоду, и в Сибирь к отцу он нас сманил — хотелось ему сселить всех вместе и самому начать оседлую жизнь, — и обратно вывез через два года он же, а то бы там малярия забила мать насмерть.

Тут я даю повод сказать недоброжелателям, что «он взошел на ворованных дрожжах, чего от него ждать? Ату его, братцы, ату!..». Пусть так. Главное — вырос, выжил. Семья была расколота и растрепана не нами, не мной, а злыми вихрями времени. Таким, стало быть, образом леплюсь я к той эпохе. Перед победителями не заискиваю. Сам я победитель. А Колька... Что Колька! Он за взятые им «со товарищи» магазины отработал с лихвой.

...Мне Сибирь понравилась, и вот почему: во-первых, смена впечатлений, а это я любил, во-вторых, лесной, речной, богатый край (после страшно загазованного Сталиногорска), в-третьих, у Изболдиных я ползимы не учился, а сидел на ремках (чтоб хозяева барахло не растащили), пока мать ходила по судам и адвокатам, — школу я не любил, но это уже разговор иной.

Вспоминаются два сибирских случая, в одном из которых я впервые усомнился перед матерью своей (а виноват был не только перед ней — перед людьми и собственной, тогда еще «молозивой», совестью), и второй, когда хорошо поступила, как мне какое-то время казалось, она.

Начну со второго.

Жили мы у Изболдиных уже без Маньки, тоже были они голь пережатая, ребятишки мал мала меньше, отец еще не пришел с войны, но корову не перевели. Молоко же имели обыкновение ставить в большой миске в чулан. Они подворовывали у нас, мы в долгу не оставались: ходили по ихнее молоко.

Как-то заглянул я в чулан и вижу: сидит мать на корточках, кунает пальцы в миску и слизывает сливки. Увидав меня, мать вздрогнула, потом растерялась и смутилась, а у меня было такое ощущение, будто я застал ее на задворках врасплох... После этого случая мы перестали ходить в чужой чулан да и скоро съехали от Изболдиных, продав старую хату на слом и купив на вырученные деньги тесную и сырую землянку на 8-й Залинейной, у раскорчеванного молодого березняка, за которым тянулся лес до Дундихи и дальше — с малиной и земляничкой.

Молодежь тех лет за войну разбаловалась. Наш сосед по старой усадьбе Васька Данников, красивый двадцатилетний парень (он ходил по нашему краю замкнуто-независимый и сдержанно-важный, всегда был нетороплив), и его дружок Петька Коновалов пошаливали, имели пистолет. Им сходило с рук, пока они не решили брать пристанционный ларек. Их застукал милиционер. Данников на глазах у ночного сторожа его застрелил, и дружки скрылись. Поговаривали, будто засели они где-то неподалеку от таежного тракта на Дундиху, обирают прохожих, что мать Данникова и сестра Тайка приносят им что поесть, пошили фуфайки — мать была хорошая портниха.

Позже Васька с Петькой объявились в степях на Бийской ветке, тут их выследили органы, устроили облаву и загнали в болото. Расстреляв патроны, Данников последний приберег для себя, а Петька Коновалов поднял руки вверх.

Ваську Данникова — был он рослый, чуть ли не двух метров — положили в гробу на стульях у его хаты. Не помню, бегал ли я его смотреть, плакали ли его мать и полная, кругленькая, как хохлушка, Тайка, но только когда вернулась мать и сказала: лежит в гробу как живой, вытянулся на весь проулок, — я представил его вытянутым на стульях, его усадьбу, сад, где осенью ловил остроклювых желтых синиц в западню, сделанную как рубленый домик из будылев подсолнечника, опять вспомнил живого Данникова с его вкрадчивой походкой, которая никогда бы не навела на мысль, что носит он в кармане заряженный пистолет, а в душе — ад клокочущий...

И вот когда, по слухам, ребята обретались еще на Дундихинской дороге, возвращался я из леса с пустой кринкой для ягод. На опушке мне повстречались Костины-девчата, забубенные дочери бобыля, жившего по соседству с нами, через ложок. Старшая Костина, что была чуть взрослее меня, возьми да и спроси: где был, — а я, черт дернул пошутить, говорю: Данникову с Петькой молоко носил. Прошел мимо и забыл думать о той встрече.

А когда Данникова похоронили, а Петька находился под следствием, приходит мне повестка: явиться с матерью в милицию.

Начальник троицкой милиции Кайдалов с аппетитом просасывал чиненные пломбами зубы, неторопливо допытывался у меня, как я Данникову носил в лес молоко и телогрейки. Я отвечал ему, что пошутил. Ладно, говорил он, знаем мы эти шуточки, за такие шутки в колонию малолетних отправить можно... Кто тебе давал телогрейки, Маслов, да? Маслов, конечно, да?.. Больше никому... Никто, говорю, не давал, никто ничего мне не давал, — хотелось мне заплакать от безысходности, и я заплакал. Мать сидела рядом и моргала глазами оттого, что ничем не могла мне помочь.

— Введите Маслова.

Маслова привели. Я его хорошо знал — это был хмурый верзила лет семнадцати, с пухлым лицом и тяжеловатым взглядом из-под лба, водился он и с Коноваловым и с Данниковым, а что уж там у них было, я знать не знал.

— Узнаешь этого орла?

— Знаю, — тихо ответил Маслов.

— Ты ему тельники и ватники для Данникова с Петькой, молоко передавал?

— Да... то есть нет, гражданин начальник.

— Увести.

Когда Маслова увели в КПЗ, начальник милиции посидел, помедлил, подумал о чем-то, просасывая чиненные зубы, и какое-то время спустя опять подступил с ножом к горлу. За окном вечерело.

— Ну что, мальчик, мы с тобой делать будем?

— Домой хочу.

— Пойдешь домой, как правду скажешь. Маслов-то сам чуть во всем не признался, а ты скрытничаешь... Нам все известно, вот от тебя только услышать хочется, узнать, какой ты. Пионер небось, во втором классе учишься?..

Я глянул на мать, но какая от нее помощь? Она сидела, положив руки на колени, и помаргивала себе. «А мы с в а м и, Богатырева, кажется, знакомы?» «Да, — ответила мать, — знакомы». Я знал, по кому они знакомы: по Маньке, по Кольке, по отцу.

Длилось все это около часа — Кайдалов не спешил, — а мне показалось, что вечность. И уроки, заданные на вечер, представились такими интересными,

и пустая улица притягательной, и наступавшие сумерки... Я хотел домой и боялся, что не выберусь отсюда ни в жизнь, пока он не вымотает меня, пока не услышит то, что хочет.

— Пусть... мать выйдет, — невнятно сказал я себе под нос, но Кайдалов отлично расслышал это и попросил ее побыть в коридоре.

Все, говорю, носил — и молоко и фуфайки, он мне их давал, только отпустите домой.

— Это совсем другое дело.

Меня, не заинтересовавшись ни обстоятельствами, ни достоверными подробностями дела, мигом отпустили. Когда я выходил, в кабинет вводили снова Маслова и зачитали мои «показания». Маслов горько скривил губы, заныл и заплакал навзрыд, но начальник милиции ему:

— Что льешь крокодиловы слезы?

..Мать молча вышла со мной из деревянного особняка милиции и молча шла до элеватора. У элеватора спросила:

— Что ж это ты, Володьк, попросил, чтоб меня вывели?! Ай неправду говорить при матери стыдно?..

Почувствовав себя пойманным за руку, я пробормотал в ответ, что, мол, не просил, чтоб ее выводили, но тут, слава богу, навстречу попался у железнодорожных путей один мой знакомый, Скляр, из компании, близкой к Коновалову, поздоровался, потом сказал: «Гля, у тя червонец на погоне».

Мать сняла у меня с плеча платяную вошь и бросила наземь. Было зябко босым ногам. Мать взяла меня на закорки и через семь Залинейных улиц поехала в свою землянку.

Я покривил бы душой еще раз, сказав, что не осознавал тогда, что делаю подлость. Конечно, я не представлял себе всей меры подлости этой, и жизнь много позже подскажет мне не раз истину, что ближний путь к дому — не всегда самый короткий.

Через два года, после очередной отсидки, освободился Колька (я весь день перед его приездом спотыкался на левую ногу — к счастью! — большой палец в кровь разбил) и увез нас в Тульскую область, где он поступил на работу старшим шофера на Военпромкомбинат № 1.

По приезде он мне подарил воздушный пистолет, который стрелял палочкой с резиновой присоской на конце, а потом мы пошли с ним на базарную площадь, в универмаг. Тут он купил кое-что по мелочи и в том числе — банку ваксы. Брат на обратном пути из магазина вдруг хватился, что забыл ваксу на прилавке, мы вернулись с полдороги и взяли ее. Это меня поразило: как же это так, думал я, такой богатый брат, денег у него, видно, куры не клюют, а тут — возвратился за копеечной банкой ваксы?.. Уже на Военпроме Колька, упрекая нас за расточительность, с гордостью за себя вспоминал, что, учась в автошколе, он сам себе стирал носки, а не отдавал прачке. Конечно же, ему, вчерашнему вору, знавшему жизнь кочевую и вольную, с несчитанными по удаче деньгами, было дико — самому стирать. Но завязав — или пока только решив завязывать, — он начал беречь каждую копейку, зная, что в обычной жизни достается она нелегко. На Военпромкомбинате ему платили что-то около пятисот рублей тогдашними деньгами.

Военпромкомбинат № 1 не имел никакого отношения к войне. Просто это была слабосильная шахтенка, построенная в войну, когда Донбасс был оккупирован, для добычи с малых глубин низкокачественного подмосковного угля. Грузовой ствол ее не составлял и тридцати метров. Кроме того, в промобъединение входил известковый завод с каменным карьером. Так что промкомбинат на собственном угле и из своего бутового камня выжигал известь. На карьере и в шахте работали как вольнонаемные, так и заключенные из колонии, которая располагалась в половине «серого дома», так его звали потому, что он был сложен из шлакоблочного кирпича, — в половине, отгороженной колючей проволокой, — а на другой половине жили вольные, тут и нам шахтмом выделил комнату. Колька на растрепанной трехтонке возил уголь с шахты на известковый. С работы приходил злой и чумазый: сам под бункерами насыпал уголь, сам

вручную сгружал на заводе да и в машине приходилось копать не по одному разу за день. Работа ему не очень чтобы нравилась, но он терпел...

О Кольке потому приходится говорить, что мать по нем повздыхала больше, чем по ком-либо из нас. Пожалуй, больше, чем о Маньке, которая годов до семнадцати болела страшной струпьевой золотухой, так что за нее не брались никакие врачи, не помогли никакие бабки, пока не вышел срок ей пройти... И у каждого из нас своя судьба, но Колькина — самая характерная и больше всего связана с нашими.

...Перекочевав из Челябинска в Сталиногорск, отец подрядился пасти скотину на Ключевке (чтоб подкупить деньжонок на лошадь и телегу), Кольку на лето взял в подпаски к себе. Вставали, как положено пастухам, рано, до свету, на пастбище отец уйдет к дальнему концу стада, а Кольку к полудню сморит, он и уснет где-нибудь в меже под рожью. Скотина — в хлеба. Отец вернется, отматюкает да еще кнутом врежет пару раз. А однажды так измолотил его, что Колька сбежал из дома, спаялся со шпаной на Северном, но скоро вернулся домой.

Когда посадили отца, Колька находился во вторых бегах, с перворазья завел себе дружков, к ним и ушел. Ушел он из дома лет двенадцати, а совсем воровать бросил лет сорока. Посадят — отсидит или освободится по амнистии, полгода, редко год побудет на воле — и опять туда же. Перебывал во многих тюрьмах и лагерях, от Сосьвы и Ирбита до Бийска, до Воркуты. Матери не забывал подкидывать, порой из зоны, как разрешили, стал присылать денег.

В последний свой раз сел он по-дурному. Пришел домой, зарок дал: не воровать, жить честно, — отработал на шахте год, в отпуск пошел — и в первый же день с каким-то старым дружком оказался по темноте на каком-то материальном складе. Взломали замок, нагрузились шахтерскими телогрейками и рукавицами, сторож их увидел и позвонил в милицию. Милиция отвезла их в вытрезвитель, но копнув Колькину биографию, переправила в КПЗ. Так он сел, по его собственному рассказу, но я полагаю, что все это — вытрезвитель и т. д. — он придумал для оправдания в наших глазах. Просто натура не выдержала длительной, на его взгляд, бездеятельности.

Об отце Колька говорил, что тот всю жизнь пытался сделать из копейки две. Нет бы поехать куда-нибудь подальше да заработать, а то мелочился да гоношил... Мы чужие слабости со стороны отлично видим. У Кольки у самого до сих пор не проходит мечта разбогатеть. Но делает он и поступает тоже по отцовскому методу: из копейки — две.

К Кольке протрезвление пришло не враз. Скорее всего он как ушел из мирной жизни в воровскую по уличной моде тридцатых годов, подчинившись стихии, — так и вернулся по моде; в пятидесятых, когда в стране навели порядок и убежавшему с места преступления или из лагеря не стало никакой жизни от угрозыска, многие опытные воры и рецидивисты, как общеизвестно, начали завязывать. В просьбе о помиловании, которую я возил в высокие инстанции из места его последнего заключения, он прямо излагал как те причины, по которым он встал на этот путь и по которым ему в свое время бросить свой незавидный путь было почти невозможно, так и то, почему он завязывает. Он писал, что никак нельзя было остановиться: в одном паспорте — все четыре фамилии, под которыми проходил по многочисленным делам; трудового стажа кот наплакал, на работу нигде не берут, говорят — пропишись, а в паспортном столе рекомендуют прежде поступить на работу. Приедешь в чужой город — линейная милиция, посмотрев в документы, ночью гонит с вокзала в город, а городская, от греха подальше, — со своих участков на вокзал. Получается вроде белкина колеса.

...Что ни эпизод из его жизни, то фабула для целой повести. С Веркой, своей будущей женой, брат познакомился году в сорок третьем, в Донском, в доме ее отца, горного мастера Кузьмы Сигаева, куда Колька был вхож через ее брата. Они сошлись близко, Колька с Веркой. Старший Сигаев как-то сказал Кольке за рюмкой, что вот, мол, дочка медучилище кончает, а потом пошлю ее учиться дальше, врачом будет. А Колька не без озорства подумал: посылай-посылай, пусть врачом будет, только сплю с ней я...

Вера Кузьминична оказалась натурой привязчивой, влипчивой и верной. Она отговаривала Кольку от его промысла, но он не отставал, хоть и обещал ей. Она не могла оставаться в стороне, и в сорок девятом их посадили вместе. Верка прижила ребенка в лагере, и ее освободили, как и было загадано — чтобы выйти на свободу. Она долго не могла без отвращения вспоминать о том, как в заключении злорадствовали и измывались над ней, неопытной, старые и измызганные подружки воров... Колька не мог не простить ей такого проступка (кажется, даже и сам посоветовал сделать так), да он и не имел никакого права в чем-то ее упрекать: села Верка не по своей, а по его вине.

Когда же Кольку посадили в последний раз, она не единожды навещала его в заключении, но перед тем как ему освободиться, вышла замуж. Кольку смутило, обидело и озадачило именно это обстоятельство (она не дождалась его каких-нибудь полгода). Зачем до этого ездила к нему, а не бросила сразу? Но надо полагать, что лопнуло ее терпение и человек подходящий подвернулся.

Начальник донской милиции намернул Веркиному новому мужу, что зря он затеял всю эту историю, а когда тот попросил разъяснений, ответил: «Вернется Богатырев и уведет у тебя свою жену. Ведь он какой? — я знаю его лет двадцать, не меньше. Судимостей имеет воз и маленькую тележку, все лагеря и тюрьмы прошел, побегу имел, а — не пьет, не курит, наркотиками не колетса, не чифирит, даже татуировками не обзавелся... Вот он какой».

Тот начальник донской милиции оказался прав: недавно брат мой вновь женился на своей жене. Муж Веркин оказался человеком плевым: питались врозь, жили на разных бюджетах. А о Кольке она как-то сказала: «Он мне богом данный — первый. Куда ж я от него денусь?» Она рассказывала, как он соблазнял ее, девчонку, в стародавние еще годы: «Эх ты, дура. Деревня... Городской любви не понимаешь!..» Так и уговорил.

Строят они теперь на старой сигаевской усадьбе новый кирпичный дом рядом с остаревшим щитовым. Но это уже из другой песни.

К слову сказать, Николай чувствует поэзию, литературу даже четче других наших, больше Маньки, которая сама слагает духовные вирши. Он рассказывал мне: «Лежу на нарах, а на соседних кто-то читает напарнику:

Мне и рубля не накопили строчки,
Краснодеревщики не слали мебель на дом.
Но кроме свежeweымытой сорочки,
Скажу по совести, мне ничего не надо.

О Маяковском я, конечно, знал, — говорил далее он, — в войну его имя было на слуху, но я не думал, что у него есть и такое». Так он открыл «живого» поэта.

Но больше он понимает, как мне кажется, не само художественное и поэтическое слово, а фактическую суть и правду, житейскую суть, заложенную в нем. И это он угадывает безошибочно. Я прочитал ему рубцовскую песню о Родине («Я буду скакать по полям задремавшей отчизны...»), и он спросил: какие строчки тут самые главные? Я назвал. «Точно», — сказал брат.

Сказывается та крестьянская закваска, которая в нем всегда жила и живет до сих пор. В нем, в брате, ее — из-за большей приближенности к деревенскому — несравнимо обильнее, чем во мне или во всех остальных нас, несмотря ни на что, несмотря на давность закваски. И я завидую ему непреходящей завистью. Он же успел родиться еще в деревне и выносит свои суждения о старом житье-бытье отчетливо, ухватисто и нелипцеприятно.

На Звенигородском хлебозаводе вкусно выпекают «орловский» хлеб. Особенно отличается одна какая-то смена — получается он у них пышный, с хрустящей корочкой, медовый. И вот Колька, приехав к нам, попал на такой хлеб. Сначала он в задумчивости отрезал от буханки ломоть за ломтем и съедал без ничего, а потом говорит матери: много ли у нее такого хлеба?

— Да вот весь, а что? — отвечала она.

— Иди, мать, в магазин, бери еще буханку, эту я съем всю.

Печальную, мать моя, ты дала мне задачу: оплакивать тебя. Что бы тебе не пожить еще, ну хотя бы с десяток лет? Почему бы не пожить... Но никто не зна-

ет — почему, кроме того Бога, которому ты молилась и которого, как уверяют, на самом деле нет.

Упокоилась на Захаровском кладбище, над высоким обрывом, по склонам упрямо лезет вверх молодой прямехонький ельник, перемешанный с осинником и березняком. Место тебе понравилось бы, ты как-то была тут и сказала тогда что-то похвальное...

Этот берег, слоеный, как песочный торт, — не что иное, как стена выбранного карьера, но природа здесь снова берет свое: облесила разрытый бульдозерами обрывистый склон, задернула травами, непроходимым чертополохом и малянником. Внизу летом блестит сквозь осоку и ряску дремотное око крохотного прудишки, где по вечерам, забывая соловьев, куролесят лягушки, а сверху, по той стороне, над котлованом, дребезжит электричка — в Москву или из Москвы в Звенигород. Интересно смотреть, как она быстро мелькает, еле различимая в зеленой чаще, занятно слушать. Потому что сличаешь две стихии — вечности и сиюминутности, и ни одна из них не одолевает другую. Недалеко — наша платформа Школьная, где можно изредка и белку увидеть, а всяких птиц и дятлов пропасть. Я раз увидел тут дятла, который долбил, как мне показалось, телеграфный столб выше фарфоровых чашечек, и подумал, что этот дятел с ума рехнулся. Но оказалось впоследствии, не дятел сумасшедший, а я ненаблюдательный и нетерпеливый. Оказалось, что у него на верхушке столба собственная кузня, где он разделявает еловые шишки: внизу валялось несколько распотрошенных...

В яру зимой отличная съездная лыжня с небольшим трамплином, в меру крутая и длинная, а в яме такое благодатное загишье, что можно загорать хоть в феврале. И я, когда мать была жива, повадился одной зимой ходить сюда чуть ли не каждый выходной.

Помнится, однажды я запозднился, катаясь на лыжах в окрестностях, которые тоже хороши и сами по себе, а потом решил завернуть на кладбище, чтобы еще раз съехать вниз напоследок. На подходе уже я услышал, что в яру стоит несусветный гвалт, мычание, смех, крики радостные и отчаянные. Я остановился у края как раз там, куда выбегала возвратная пологая тропинка лыжника.

Внизу в начинающих густеть сумерках барахтались в снегу, катались на лыжах и салазках дети, воспитанники соседней лесной школы-санатория для отсталых. Или вечер нынче в самом деле необыкновенный, мягко падал снег и беззвучно с синего неба, или на ребят что-то нашло, но они бесновались так весело, что галдеж их голосов — радостный и жалкий, громкий и мыкающий — вставал, казалось, до самого неба, до невысоких снеговых и серых туч его, шаркался и ударялся о кладбищенские сумрачные сосны и ели. Воспитательница сновала между детьми и, наверное, сама была не рада, что привела их сюда. Но голос ее звучал не зло, а как бы ликующе-требовательно. Дети кричали, что согласны с ней, что пора назад, что они сейчас же пойдут, но — тянули, сопротивлялись. Я подождал, пока воспитательница соберет их в разбродный строй и они нехотя потянулись из котлована вверх, и пошел своей дорогой. На пути я увидел эту их лесную школу в кирпичном здании «под замок», выкрашенном охрой, железные, никогда не запирающиеся ворота, красноватый свет в окнах двух этажей, не считая башенок. И еще раз с благодарностью вспомнил, как мать в то мое далекое детство не пожалела, что не определила меня в детский дом. Наверное, думал я, детям в этом интернате живется неплохо — и сыты они, и обуты-одеты не хуже других, — но дома все равно лучше, как бы ни то, как любила говорить моя бедная мать, которой больше нет и никогда не будет у меня.

ПИСЬМА

В ее письмах — баракы, переезды, суды, лишения и потери. Дети не дослушались при ее жизни до каких-либо чинов и степеней, еле-еле выползли на проторенную дорожку, которой, однако, не похвалиться при случае материнскому ревнивому сердцу. И самый богатый обед в своей жизни она увидела, быть может, на собственных поминках.

И все-таки главное не в том, что я уже сказал и что еще мог бы сказать, — тут много от суесловия и желания говорить и выговориться. Главное — письма, написанные ее рукой.

Их немного. Я не понимал своей матери, думать не думал, что письма ее смогут иметь какую-то ценность для меня, и большую их часть при многочисленных своих переездах с квартиры на квартиру и из города в город утерять или выбросил в мусор. Оттого пробелы.

А тут я как-то прочел одно письмо, прочел второе — и удивился: кроме того, что эти листки, исписанные крупными неровными каракулями, представляют, на мой аршин, интерес как документ времени, я усмотрел в них несомненную если не литературную, то эпистолярную одаренность. Она умела завернуть и подставить к месту меткое словцо не только лишь в обиходной, живой речи, но и на бумаге, что гораздо труднее и ответственнее и требует отваги и дерзости, потому как времена устного творчества ушли в невозвратное и наше время — бумажное время...

Привожу письма все, которые остались.

Я проделал с ними некоторую работу: как мог расположил по хронологии (1958—1969 годы), убрал повторы в зачинах (к примеру, снял во всех случаях повторяющееся «Здравствуй, Володя!», кроме первого раза), расшифровал недописанные слова, исправил грамматические ошибки за исключением тех, где они создают определенную интонацию или колорит. Мне не терпелось убрать из писем многочисленные пени на мою невнимательность, но этого я сделать не смог. Пусть будет как есть: как все или почти все дети, я не всегда принимал на веру жалобы матери — до тех пор, пока она не упала замертво мне на руки.

* * *

Здравствуй, дорогой мой сын Володя, шлю я тебе сердечный привет и желаю тебе от Господа Бога доброго здоровья.

Д². Володя, открытку твою получила и очень была рада, о чем я все время молилась и просила — хотя бы ты мне своей рукой что-нибудь написал, и получила, на всю комнату плакала от радости, потому что Зина меня очень напугала. Она говорила, что ты лежишь в постели и не можешь встать. Напиши, отчего ты заболел и где простудился, ты должен знать причину своей болезни или учебой перегрузился?

Я тебе всегда говорила: Вова, как бы не были тебе стишки эти, которые ты пишешь, в тягость.

Д. Вова, как получила твою открытку, у меня был праздник от радости, я сразу пошла к Ющицыным, они показали мне твоё фото. Немного годя и приходит сам Борис, выглядит полный, а мать ему говорит: вот ты Володе не писал и Володя за тебя заботится, мать свою прислал узнать за тебя.

Борис сдает последний предмет и работает в П. Т. У., зарабатывает по 5 сот. Если сдаст 10-класс, то думает поступать в механический институт в Тулу.

Володя, если тебе там грустно, напиши бабушке Христине. Наверное, она там недалеко живет. Коля мне прислал и пишет, что он тебе помочь хочет, это очень хорошо, а у меня, дорогой Вова, нечем помочь. Когда я послала Зине 100 и заняла 55 р. в доме молитвы, а сей час нужно расплатиться. К Колядиным я часто хожу, теперь наша контора находится — где на Второй Группе базар: как идешь от дворца культуры, на правой руке теперь наша контора. Бабушка Колядина болела еще по зиме. Заводская ул., дом 10, Колядины. Г. Щекино, ул. Шахтостроительная, дом 4, кв. 3, Ющицыны.

Картофель посадила, но здоровье у самой плохое. Если Бог уродит, то копать нужно Марфу звать, одной не выкопать. Маня обещает выслать посылку и на тот год, если будут живы и здоровы, приедут в отпуск и пишут, если понравится, останемся совсем. Все хорошо, выздоравливай.

Бог с тобой доколе свидимся.

² Так в письмах.

19 июня.

*

Вова, когда будешь ехать сюда, заведи все с собой: и плащ и свои серые брюки, я их буду носить зимой. Успроси у Зинки — что она брала ножницы с собой или нет. Я их не нахожу, думала, они у портнихи, спросила, они сказали. нету.

Привет Зине и бабушке Христине и всем близким к вам.

Что-то Коля не шлет мне письма.

Праздник мне придется дежурить — у нас не хватает сторожей.

Привези от Зины тетрадь «Под небом знойного Востока».

Володя, привези хотя бы одну копченую селедочку.

Бог с тобой доколе свидимся.

24 декабря.

*

Всюля, открытку я твою получила, я уже ходила к Василию Васильевичу — долго от тебя не было слуху, а они сказали. и нам тоже не прислал. Коля был у меня был на конституцию 2 дня с Верой и мальчик тоже был. Хорошенький, с ребятишками все бегал. Колька с Афоней Соповым все беседовал.

Хорошо, Вова, что Зина тебе помогает. Вова, когда ты у меня был, и я тебе говорила про Маньку, что она хлопочет, чтобы получить с конторы А. К. З. 2-месячный заработок отца, так как он был арестован неправильно. Мне Маня выслала с Тульского областного суда документ и в нем написано: за недоказанностью обвинения. Маня делала запрос и почтовое ведомление — секретарь А. К. З. Маслакова расписалась на этом ведомлении, а деньги — 2-месячный заработок отца — они не считают нужным Мани прислать и остается короткое время, чтобы охлопотать эти деньги, только один январь месяц, а дальше уже нельзя хлопотать. Так вот они и протянут на пользу себе.

Вова, я была у своего щекинского юриста: он мне ответил — есть ли у тебя сын? Я ему ответила: есть, но он находится в санатории. Он мне ответил: где бы он ни находился, имеет право хлопотать, если есть у него Свидетельство о рождении, что он является сыном Григория Петровича Богатырева.

У меня есть Зинино Свидетельство о рождении. Хотя бы я послала ей, но не знаю ее адреса. Может быть, она бы там охлопотала и эти деньги, они бы тебе пошли.

Маня пишет, чтобы я туда ехала сама, а у меня не сохранилась регистрация о браке, надо устанавливать свидетелями, что я являюсь женой Богатырева Григория Петровича. К Коли на Бобрин ехать, а у него тоже теперь Свидетельство о рождении не сохранилось.

Володя, сходи там к юристу, если есть у тебя Свидетельство о рождении, и хлопочи, как ни можно: как же так они поступают похабно, ведь они идут против Верховной власти и ничего не боятся, значит, надеются, что не будут виноваты.

Володя, дай мне скоро ответ или же телеграмму.

Коля обещался приехать на новый год.

Ты ведь, Володя, небось знаешь, куда на них можно жаловаться, а сталиногорский прокурор за меня ли, что ли, скажет, это ведь одно отродье, дети матери лжи, сыны неправды.

Вова, я не могла получить эти деньги, отца твоего заработок за 2 месяца, у меня нет регистрации о браке. Нужно ехать в Орел в архив, а я вся больная и одежда у меня холодная. Пусть прокиснут эти деньги у директора на А. К. З., чтобы мне сделаться за них калекой, я от печки не прочь.

В Щекине сказал адвокат: остается один январь, а позже не получишь. Мой совет тебе такой. сперва тебе не мешало бы обратиться в Москве в высшие органы, которые написали бы директору: выдать деньги Владимиру Богатыреву немедленно, а заочно не подавай, все равно как Мани не заплатили, так и тебе не заплатят.

Володя, посоветуйся там с директором санатория: отпустит ли он тебя на денек в Москву, чтобы тебе там похлопотать, а если не отпустит, то прежде срока твоего отдыха просись так числа 25 января — после не получишь деньги. Справки все я тебе посылаю. Когда поедешь к директору на А. К. З. подашь

ему от себя заявление, копию о смерти отца и митрическую, а справку с областного суда не отдавай директору в руки, а то он ее припрячет и ты с него не получишь, народ стал очень плохой.

*

Шлю я тебе сердечный привет и желаю тебе всего наилучшего в твоей жизни. Ты, Володя, мне сообщил о гостях. Я сильно радуюсь повидать своих единокровных. Я уже сейчас часто плачу от радости, какую скоро буду видеть, но только тем у меня плохо — из денег в этом месяце необходимо отдавать долг за Зину в молитвенный дом да квартплата и опять останется половина пенсии: как у меня было на май, так будет и на июнь.

Вова, если у тебя будут деньги, то хотя дай мне 50 р., я тебе отдам после, а то надо чем-то угостить, они свои деньги за далекую дорогу истратят, чем-то надо их кормить. Картофель посадить не пришлось, давали немного земли на карьере, а я болела. Картофель хотя у меня вольная и деньгам менее расходу.

Не знаю, Клава хотела Зине написать — писала или нет. Наверное, она там помирает, у ней какая-то крапивница. Когда у меня была, все тело огнем горело, ей там не климат и тут ее не взяли, потому что у ней был карман пустой, а таких теперь никто не любит, потому что истина в преисподней, а ложь на земле...

*

Шлю я тебе привет и желаю всего доброго. Телеграмма мною послана к тебе. Она меня не успокоила, ты собираешься ехать в Щекино... Разве ты не забыл, как прошлый год приезжал в Щекино, бросил в Элисте свою работу? Это для тебя было не благо. Сколько ты пережил скорби, поступил в газету «Знамя коммунизма», где нельзя было работать, а так же в Цареве, пока не забрала тебя милиция в Элисту, а теперь, если ты оттуда возьмешь расчет, на свою работу не поступишь, на которую учился.

Сейчас каждый держится за свою работу, как сатана за грешную душу.

Вова, не делай себе зла, поживи хотя бы до лета. Летом хотя на полевые работы примут куда-нибудь в совхоз, а сейчас никуда. Вспомни прошлый год — ты ведь был как 80-летний дедушка. Еще захотел быть дедушкой? И если ты куда поступишь, тебя не поставят нормальным рабочим, а учеником и заплатят тебе только 30 р. На 80 р., ты пишешь, что плохо живу, а как же ты на 30 будешь жить? Не раз я тебя прошу, а тысячу раз: не делай себе зла. Твоя открытка, где написано «приеду», она мне даже ночью спать не дает, как я прошлый год на твои муки нагляделась, как будто твои те муки сейчас меня мучут.

И из продуктов не так, как у вас в Элисте: мясо свинина на рынке много, а баранины и говядины вплоть до ругани доходит. Посоветуйся с Манькой, даст она тебе совет бросить свою работу? Я знаю, что не даст. Смотри, не наделай зла над собой, все я тебе написала, как с тобой получится, если приедешь.

Зеленая обложка, удостоверение прописное не нашлось, все по бумажке перебирала, все я тебе написала, а то тогда Зинка на меня роптала: ты бы мне сообщила, что у вас в Щекине трудно поступить на работу.

*

Что это за чудо — кончил институт и жить тебе там нельзя? Как приезжает на промкомбинат какой-нибудь ученый, и сразу ему контора идет навстречу, а тебе почему ж жить нельзя? Что, тебе и обчежитие не дали, что ты там по грязи ищешь квартиру? Я удивляюсь этому делу. Что же, в Элисте разве власти нет и тем более для ученых?

Вова, я все по штучки перебрала во всех бумагах и не нашлось. Это ведь похоже на книжечку, свидетельство прописное? Есть книжечка, на ней темнозеленая обложка, там написано «Знамя коммунизма». Это наверно не та, а больше нет нигде.

Что же ты пишешь — хочешь оттуда уезжать, тут у нас страшная безработица. Что же ты хочешь над собой делать, разве это бросить свою работу, на какую ты учился, разве ты здесь на нее поступишь? Тут сейчас зимой и берна сгружать не возьмут. Смотри, не наделай над собой зла. Если приедешь, пропадешь как муха — я тебе зла не желала. Поэтому и тебе сообщаю. не езд.

Ты меня как кувалдой ударил.

Вова, получил ты вещи, которые тебе посланы? Напиши, а то я беспокоюсь. Лена Сопова ходила их посылать, я болела. Вова, еще из союз писателей пришел какой-то пакет, я его не распечатовала, положила в твой чемодан.

Пиши, Вова, как-то веселей бывает, когда получишь известие от своих. Из Сталиногорска за всю зиму ни одного письма не получила, надо самой написать.

Вера мне прислала письмо и писала, что Коля просит твой адрес. Я написала Вере твой адрес. Колин адрес: Архангельская обл. Сев. жел. дор. п/я 233/5 Богатырев Николай Григорьевич.

Здоровье против зимы лучше стала.

Бог с тобой доколе свидимся.

Вова, напиши письмо в «Знамя коммунизма», чтобы они отдали мне твои деньги, я скоро пойду к ним.

*

Я очень беспокоюсь, так как послала тебе письмо, а ответа никак нет. Если болен, должен сообщить.

Хочу еще раз написать о том, что из союз писателей тебе прислали что-то не знаю. Все это я не распечатовала и лежит все в чемодане.

Письмо это пишет Надя. Я приехала помочь копать огород. Меня попросила тетя Елена.

Маня обещается выехать из поселка, не знаю что получится. Письма шлет часто, не забывает.

Вот и все, до свидания.

2.V.62 г.

Вова, почему ты мне не пишешь или за чего обидился на меня, то прости меня.

Бог с тобой доколе свидимся.

Минаевым дали квартиру в каком-то доме на Фенольном заводе, а Марфа у ихней комнате.

*

Ты пишешь, чтобы я тебя простила, я тебя простила еще до твоего письма.

Вот, Вова, из умников ты умник, что остался на месте в сытом краю, а у нас я больная и за свои деньги не купишь пропитания, чтобы было во здравия, а если и что купишь, то больной отравишься, потому что продается у них недоброкачественное. Как я на новый год отравилась колбасой, которую после отравы разносила по чужим кошкам. Я думала, у меня больной желудок, а колбаса здравая, а оказалось, что колбаса горькая. Д. Володя, позаботься обо мне, больной матери, я вышлю тебе деньги, а ты вышли мне посылку. У меня плохой аппетит. Что у меня есть, то я не хочу.

Вышли мне — может, есть у вас — изюм или же свежая рыба или копченая, а самое главное, колбасы, в которой мало свиного сала, а больше говядины, чай китайский первый сорт или же экстру, сосиски смотри не присылай, вышли доброкачественную, которая мне во здравия. Я хотела послать деньги в Сталиногорск, а там у них небось коняхи. Привет от бабушки Храпковой, лечусь от ревматизма, пию витамин Се.

Больше всего меня мучут глаза, другой стал мокнуть, потеплеет, в Тулу поеду лечиться, еще от приступа не отдохнула, как другой приступ от конторы проклятой трахнул — трубы прорвало и вода пошла в комнату, в погреб. Я думала спасти картошку от воды, вылила 40 ведер и на другой день не поднялась. Д. Вова, постарайся для меня, вся моя надежда на тебя.

Мне весело было читать письмо твое, что ты собираешься мне помогать. Большое тебе спасибо. Сейчас на мои деньги вышли, а к маю — будет твоя милость — вышлешь на свои; не согрешишь, если матери своей плохой поможешь.

Бог с тобой доколе свидимся, попроси людей, чтобы они тебе помогли — только постарайся побыстрей.

*

Вова, что же ты не шлешь так долго письма, я уже истомилась ждать от тебя письма и решила тебе написать.

Я жива, но нездорова, лечусь все лето, а болезнь не улутшилась. В конце августа Маня прислала деньги 10 р, а теперь со дня на день жду от них пись-

ма, либо опять там будут зимовать или выедут оттуда. Маня пишет, что они там с Витей стали болеть от тяжелого климата. Вера и Юра были у Коли на свиданки и в это время мне Коля написал письмо и я ему написала и мне от него что-то нет письма уж давно.

Вова, тебе шлюет привет Соповы и Шагаевы и бабушка Храпкова.

Вера мне прислала письмо и пишет за Колю, что его положение хуже да некуда. В Туле ему было неплохо и ему еще сидеть до 64-го года. Пропадет, бедный, здоровье его плохое.

У нас идут дожди все лето ежедневно, картошка посажена на известковом.

Вова, если тебе некогда писать, то хоть напиши адрес на открытке, или ты на меня за что обиделся, то прошу прости мне такую вину, я в такой тоске нахожусь, что не стала одолевая ходить за дровами. Осталась одна больная, если бы я была здорова, я бы не так Маню с Витей ждала.

*

Мне было весело читать твою открытку, что тебе работа нравится. Ты заботишься о моем здоровье. Из умников ты умник, что у тебя есть милосердие до своей матери. Восхваляю я твое поведение.

Здоровье очень плохое, глаз другой побаливает, мокнет, надо в Тулу ехать как потеплеет. Был приступ, всякое питание для меня было все невкусное и нечем у нас подкрепить больной организм, комбалой что ли или хлебом, в котором на половину кукурузы.

От одного приступа еще не выздоровела, как другой пал на меня. От конторы прорвало трубы и вода пошла в комнату, в погреб. Я начала спасать картофель — с позднего завтрака до поздней ночи выливала, ведер 40 вылила и не спасла. На другой день не одолела и вставать. Пирогов насилу банками отходил, даже не одолевала разговаривать и не было надежды, что я выздоровлю, но не рок, чтобы я померла. Бог меня оставил жить, одно яйцо в день съедала и сто грам компота в два дня и решила послать тебе деньги 25 р., чтобы ты мне прислал посылку: колбасы, в которой мало свинины. мне можно есть говядину в пропаренном виде, — сказали медсестры на базе, потому что у меня давление крови, пью витамин Се от ревматизма.

Деньги, наверное, ты мои не получил, потому что перешел на другую работу, но хотя вышли один килограмм колбасы, хотя бандеролью.

Вещи твои постараюсь выслать и по теплу пойду в «Знамя коммунизма». Ты говорил, что из «Знамя коммунизма» мне дадут известие, но они не дали никакого известия.

От давления дебозол пила, а голова все равно болит, потому что больной желудок, лежу почти целыми днями. Лена Сопова спасибо с базара молоко приносит. Осталась я одна больная, беспризорная, если бы в Сталиногорске — все бы Марфа пришла, хотя бы дров и угля из сарая принесла. Не знаю, что в дальнейшем будет, куда деваться. Дети разбрелись по белому свету, худо писать, глаза режут и мокнут, они меня мучут хуже всякой боли.

*

Вова, что же ты долго не пишешь? Деньги Вере не посылай, она к Коли не поедет, она вышла замуж 18 мая, а я еще не выходила на улицу, все глаза берегу, думаю, что их там раздует ветер. Скоро буду выходить.

Давление повысилось, потому что лечилась рецепом, а не лекарствами, благодаря того завезли в магазин обрикосы, которые меня подняли из постели, как начал таять снег, я все день ото дня хуже и хуже ем, еле за собой ходила.

Вова, что же ты долго не пишешь?

Журавлиха привезла от Ксени яиц, сала и 5 р. тайком от дяди Коли только деньги.

Не знаю, с кем буду жить зимой, стала больная пребольная, а Маня наверное с Ягодного не приедет к зиме, там наверно останутся опять зимовать.

Огород посадили и вскопали люди, у меня нет сил, глаза мажу мазью ртутной, Пирогов выписал рецепт, от Верыной мази не прошли и от Пироговой гоже не проходит, скоро пойду в больницу за диагнозом и пришлю к тебе. Шагаев сажал и копал.

Болезнь моих глаз все становится тяжелее и нет мне помочника, кто бы мне помог в такой трудности. Глаза мои ждут нормального лечения, а его все нет. Слезовой мешочек мучит, от давления крови тоже у многих болят глаза и у меня тоже от давления и очки, может, неправильно подобраны, что — врачей учить будешь?

Мане написала, чтоб она прислала лекарство от повышенного давления, от нея ни слуху и ни духу.

Вова, напиши Минаевым, они тебе вышлют адреса, у них они есть. У меня Марфа жила неделю.

г. Новомосковск Финольный завод дом 17 кв 5 Анна Анисимовна Минаева.

Вова, хорошо бы ты приехал, может ты бы оказал моей болезни помоч.

Вот эти лекарства выписал в Москве частный врач Нинки Соповой свекрови, она говорит, что и у нея повышенное давление и она говорит, что у нея болезнь прошла. Сверься там у милицынских и купи тоже для меня. Может и у меня пройдет повышенное давление и глазам легче будет.

*

Вова, ты пишешь, что тебе одному не дают комнату, а со мной дадут, если я с тобой в Элисту поеду. Разве с моим здоровьем ездят в зимнее время, ведь наступает самая лютая зима, я уже боюсь, что меня совсем зимнее время положит в постель.

Лечилась все лето, много потратила денег, а все на ветер — болезнь не улутшелась, глаза меня мучют хуже тела. Думали, Мария приедет к зиме, а оказалось наоборот они там остаются зимовать, а я не знаю, как зимой буду жыть.

Вова, как же так не дают тебе комнату, Зинке без матери дали, не у каждого есть мать. Если человек одинокий, то и жыви целый век на квартире? Я так предполагаю, что полная неправда это, не человечество.

Вова, Витя был у Минаевых, нога у Фомы выздоровела, дедушка умер Меркул. Витя гостинцы привозил и денег дал, я кое-что из питания купила. Маня до Нового года мне не будет высылать. Картошки купила, жыву Слава Богу. Сарай к этому сараю подстроили за 11 р., картошки три мешка накопала, только нет здоровья и сезон тяжелый подходит. Жду тебя и Афоня тоже ждет.

Деньги получила 10 р., спасибо тебе большое, что ты свою мать не забываешь. Что же ты, Вова, ничего не пишешь, как тебе жывется, я тебе приказывала, хотя бы присылай открытку, Марфа была, садила картошку, у ней на обоих глазах которахты, операцию хотит делать.

Я так пока слаба, что к Пирогову лечиться не ходила. Стоит холод, в коридор пока выхожу и то марлей глаза завешываю. Если не удастся полечиться в Туле или в Сталиногорске, то к тебе приеду тогда. Может, болезнь моя излечимая и надо приступить к лечению, пока тепло. Пиши, Вова, не медли, я по тебе соскучилась, мне вся радость от тебя весть.

Бог с тобой доколе свидимся.

*

Вова, я очень рада была твоему письму, потому что я все лето от тебя не получала письма. Я думала, что ты болеешь и мне не хочешь писать.

Когда я была у Минаевых и узнала, что ты находишься в Каменке, то я было затужила: я поняла, что у тебя что-то с работой неловко, но когда приехала домой и мне сказали, что тебя вызвали на работу — я узнала от Лены Соповой — и я была очень рада.

Вова, я жыву не так тяжело, картошку Марфа помогала копать, дрова Виктор попилил, на зиму хватит. Муку на 4 р. купила. Вова, а ты там себя ображивай на зиму, а когда у тебя будет, пришлешь мне питерочку.

Будешь писать Коле и от меня напиши привет, потому что мне всем писать плохо. Скоро поеду к врачу на операцию. Если будет мне одной зимовать невозможно, то перееду к Минаевым — на сей год опять там остануся. Хотя бы Коля образумился и мне больной матери дал уют.

Вова, ты пишешь, что Ксения живет хорошо, а то у бедных и родных и не пообедает. Я тоже радуюсь и молюсь.

У нашей Зины девочка уже ходит, я очень рада, что у ней есть девочка, но Зина не права, что хотела ея привезти к Ксении, чтобы Ксения ея ей воспитывала. Разве это возможно — отдать единого ребенка за глаза? Никакая мать не согласится. Зина наша вся в отца безжалостная.

*

Вова, позаботься насчет очков.

Когда родит Эля, дабы ей было хорошо, пускай разминает свои груди своими руками: у слабососых матерей сама молоко выбегает из груди, а тугососым приходится разминать и раздаивать и как кормить ребенка, сдаивать обе груди до белого молока ежесекундно, молоко перегорает и портится. Вот как.

Вот, Вова, и адрес нового директора.

Когда ты был у меня, контора ремонтировала школу, а теперь ремонтирует детский сад, а нам будут ремонтировать трубы на крыше в семидесятом году.

*

Спасибо за поздравление. Вова, ты мне сказал, возьми тебя к себе лечиться. Вова, разве тут нельзя лечиться, а если у меня болезни не пойдут на излечение, то никто меня не вылечит. Надо мне пока держаться за свое гнездо. Если Колю у тебя не пропишут, то куда же ему деться, как не ко мне.

Маня пишет сажай, мама, картофель.

Вова, я тут посоветовалась со своим народом, они так сказали пускай твой сын закрепляет свою супружескую жизнь, а со временем он и мать свою возьмет. А то у нас тут одна приехала с Архангельска, и сноха ее ея прозвала страшилищем, а сын ей говорит. мать, что я могу поделывать, если она тебя невзлюбила. Ведь нас, баптистов, не любят простолюдные. Вова, сам ты там подумай и делай как лутше. Вова, нельзя так быстро бросать свитое гнездо, нигде нас не ждут.

Из продуктов и у вас тоже плохо, а Коля, он меня к тебе и больную перевезет. Масло посное все скулы проточила. Вова, передавай от меня привет твоим знакомым. Бог с тобой доколе свидимся.

Коле можно жить и у Марфы и у Минаевых, но дело в том, что на работу его не возьмут, но ты, Вова, пришли мне немного денег на дрова, хотя рублей 8 и топлива хватит на зиму.

*

Шлю тебе привет и Эли и Оли. Пожелаю вам всего хорошего в вашей жизни. Вова, если тебе невозможно меня там прописать, то как ни можно делай все быстрее, а то холод меня больную застигнет и я и к Ксении не могу уехать. Пастпорт Коля отдал Машке уже 6 дней и она донине не выписала его и она мне так отвечает. кому выписывать — пастпортистка работает в колхозе, а другой ответ: когда освободим комнату, тогда я тебе выпишу. Ты ведь ея знаешь, как она для нас была.

Вова, я не знаю, зачем ты меня хотишь у себя прописывать? На пользу ты свою — чтобы тебе дали квартиру попросторнее, а так мне можно у Ксении жить. Ксения моя кровная сестра, она меня, я думаю, не обидит да в деревне все хорошее и дешевое.

Машке Кудрявцевой хочется поселить Игнатова. Он свой дом продал. Вот, Вова, какие тут дела. Сообчай мне быстрее, пока затепло. Машка говорит как выпишут тебя, сразу приведу милиционера и он тебя выселит из комнаты. Она любит старух пугать, от Игнатова ей что-нибудь обломится, ты ея знаешь...

*

Вова, я не знаю, почему ты так стараешься меня взять к себе и какую я могу дать тебе пользу. Я очень стала слаба здоровьем, тем более зимний сезон — он меня совсем свалит. Я боюсь, что буду лежать и чем ты будешь у себя кормить? Пенсию я только буду получать до января по доверенности нотариуса. Я просила, чтобы они мне дали доверенность до теплых дней. Они мне сказали: у нас нет таких законов, а с января пенсия, сказали они, не пропадет, будет тепло, приедешь и получишь...

У меня был план уехать на зиму к Ксени в Каменку. У Ксени можно жить и деньги не платить и если приболею — Ксения моя родная сестра, надеюсь я, что она меня не обидит. Вот такие тут у меня дела, смотри сам, делай как лучше. Я ведь для тебя зла никогда не желала. Насколько у меня сил хватит.

Вова, когда я у тебя буду лежать, понравится ли это твоей жене? Она ведь тебя будет ругать — зачем ты такую больную привез сюда.

Похолоднело, глаз стал мокнуть хуже.

Если меня не повезет Журавлиха, то я скоро как-нибудь одна уеду, пока холод не застал. Хотела я тебе послать телеграмму, но раздумала: все деньги надо. Если будешь в отпуске, может в Каменку приедешь. Посмотришь, какая я стала слабая: ты небось думаешь — я такая, какую ты меня видел, когда был у меня. И Коля тоже мне советует ехать в Каменку, там все вольное летом. Буду жива, могу приехать и мне будет тогда виднее где жить и Коля меня берет, и как-то они с Таней ругаются.

Присохло мое тело к костям от недостатка питания, молоко с золотыми пропками, мой желудок получил кровавый запор, а хорошего молока не купишь нигде.

Маня послала посылку: 2 пальта ея поношенные, 5 платьев: 1 — мне, 2 — Нюрке и 2 — Ксени и конбензон Ксени, вернее Ивану. Вова, позаботься обо мне, я для тебя худа не делала, последнюю рубль с тобой делила.

*

Вова, деньги я твои получила 30 р. Большое тебе спасибо, что ты меня не забываешь. В первых числах января приехали к нам Ксения и Ваня, а я им и говорю: от Вовы нет письма, как он был у нас, а Ксения говорит: не горюй, он нам прислал поздравительную. Тогда я успокоилась.

Вова, ты пишешь, что ты хочешь меня взять к себе, я очень рада, что ты мной не гнушаешься. Но дело в том, что Маня хочет летом оттуда выехать — приедет она, тогда будем решать. Все может она Аню взять к себе, а я тогда приеду к тебе, а Зинка без Ани может жить одна или взять кого-нибудь на квартиру. У ней рука одна, а языков у ней тысяча.

Так, Вова, за лето что-нибудь получится. Пиши мне в конверте, крупней пиши, ато я мелкие не разбираю.

Воду у дома пока не дали, на потолок за свои деньги Зинка немного насыпала, было теплее прошлогоднего. Вова, напиши не забудь Колин адрес. Аня девочка умная очень и мне ея очень жалко — от ней уезжать. Она уже читает и пишет. Вова, напиши за свою Олю — где она живет: с вами или у дедушки с бабушкой.

Зиму была слабая здоровьем, но все сама делала. Плохо тут из этого, что пет в деревне магазина, ходи всегда на станцию.

Бог с тобой доколе свидимся, но как бы не так, но скоро лето.

*

Вова, не горюй, что ты расшелся с женой — не ты первый, теперь много таких случаев.

Вова, хорошо, что ты меня берешь к себе, я очень рада, что ты мной не гнушаешься. Но я пока поехать к тебе не могу. Маня обещается выехать совсем в Раменск, приедет Маня, тогда будет все решено. Вова, если у тебя нечем мне помочь, то я обойдусь без твоей помочи, мне Маня всегда помогает и хватит с меня. Вова, ты говоришь, что Коля приедет. Если б он приехал и съездил в Щекино, взял бы мои вещи у Журавлевых и часть твоих книг. Наверно, есть там твои книги хорошие.

Вова, я знаю, что у тебя мне лутше будет жить, но как я могу бросить Зинку безрукую и ея Аню. Аня это ведь ангел, только крыл нет: бабушка, я с тобой буду петь твои стишки, только матери не сказывай, а то она меня набьет, она говорит: нет Бога, нет Бога, а я без ней буду петь с тобой. И если Зинка меня ругает, она начинает орать: не ругай бабушку. Сейчас начали водить в детский сад, а зимой — холодно — не водили.

Зинка бес из бесов, попался ей человек как-будто по ошибке и буду его мучить.

Прошу тебя, Вова, не очень горюй, еще найдется, ты ведь не старый, чтобы тебе оставаться в одиночестве, бери теперь неученую, та была ученая-мученая. Вова, напиши мне Колин адрес, я ему когда-либо напишу. Маулина жена со мной говорила, что жить о н а с Вовой не будет.

*

Вова, пиши, как ты живешь и какая твоя работа на новом месте. Я не пойму, где ты живешь — сталбыть, не в Голицыне?

Вова, самое главное — не утерай мой паспорт, а то он мне будет нужен. Маня прислала мне письмо: в июле будут выезжать с Ягодного. Так что я очень рада Манину приезду. Она всех нас не бросит.

Вова, напиши Коли, пусть и он мне шлет письма, мне весело бывает, когда шлют. Очень давно ты мне не писал: когда я получаю от вас письма, я делаюсь здорова.

Зинка билютенит, они гостят в Каменки с Аней. Аня очень хорошая девочка: бабушка, хотя бы ты дожила до моих питерок. Письма тебе пишет и говорит бабка, полош мою письмо дяди Володи, а то приедет и вафли не привезет.

Бог с тобой доколе свидимся.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

В. И. ВЕРНАДСКИЙ



«ОСНОВОЮ ЖИЗНИ — ИСКАНИЕ ИСТИНЫ»

В наше время нет необходимости много говорить о важности и перспективах разработки гигантского научного наследия Владимира Ивановича Вернадского. Глубоко был прав академик Л. С. Берг, сказавший еще при жизни Владимира Ивановича, что Вернадский принадлежит к числу тех ученых, которые в своем лице представляют всю академию. Я не знаю ни одного ученого, о котором так судили бы при жизни, и думаю, что сегодня мы с полным основанием можем называть Вернадского Ломоносовым XX века.

Все творчество Владимира Ивановича, как мы теперь отчетливо поняли, было устремлено в будущее. С его учением о биосфере и ноосфере, концепцией автотрофности человечества и гуманистического назначения науки связано в наше время осмысление всех глобальных проблем — в частности, тех, которые мы соотносим с понятиями перестройки и нового мышления.

Владимир Иванович был геологом. Считаю большой удачей, что геолог занялся исследованием процессов биосферы: это придало всей концепции Вернадского космический оттенок. Незадолго до смерти, в 1944 году, Вернадский писал: «В геологической истории биосферы перед человеком открывается огромное будущее, если он поймет это и не будет употреблять свой труд и свой разум на самоистребление». Эти слова, по-моему, каждый разумный человек, какой бы он пост ни занимал, должен внести в свою записную книжку и сверять с ними свои поступки. Думаю, что это — завещание Владимира Ивановича не только нам, его соотечественникам, но и всему человечеству.

После Вернадского остался огромный архив. Основная его часть хранится в Архиве Академии наук. Однако немало материалов находится за пределами нашей страны. Предстоит проделать большую работу, чтобы их собрать и изучить. И я считаю, что наша обязанность — полностью, без единого изъятия издать все, что было написано Владимиром Ивановичем, с научными комментариями и примечаниями. Только тогда мы сможем исчерпывающе оценить значение его личности в истории знаний и в философии. Только тогда можно будет понять творчество Вернадского в целом, разобраться в огромной прогностической роли его наследия.

Ниже публикуются фрагменты дневниковых записей Вернадского, относящиеся к тому периоду жизни Владимира Ивановича, когда он перешел на работу в Московский университет. Во многом это записи удивительные. Пишет совсем еще молодой человек. Но обратите внимание, насколько глубоки и зрелы, поистине мудры его размышления, какое богатство личности в них отражено. Идеи, догадки, вопросы — они живые свидетельства неисчерпаемости человеческого ума, который сама Природа озарила даром творчества.

Таким Владимир Иванович оставался всю свою жизнь — вечно юным, постоянно в поиске, на пути к неизведанному.

Б. С. СОКОЛОВ,
академик, первый заместитель председателя Комиссии АН СССР
по разработке научного наследия академика В. И. Вернадского.

УРОКИ ВЫСОКОЙ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ

Владимир Иванович Вернадский (1863 — 1945) — человек нашей исторической эпохи, эпохи крайне противоречивой, переломной и в развитии науки, и в развитии техники, и в развитии человечества в целом. Вернадский по-своему, в

пределах своих возможностей и доступных ему средств, творил, создал эту историческую эпоху и, конечно, отразил ее в своем творчестве — как научном, так и философском.

Великий ученый, как всякий смертный человек, уйдя из жизни, стал достоянием истории. Его жизненный путь мыслится нами категориями прошедшего времени. Однако то, что называют наследием ученого, мы и интеллектуально и эмоционально воспринимаем в категориях не только прошедшего, но настоящего и даже будущего времени.

Не будем перечислять здесь те многочисленные науки, научные концепции, направления, к которым так или иначе был причастен Вернадский. Об этом не раз и достаточно подробно говорилось в общедоступной литературе. Дело тут не только и, пожалуй, не столько в их количестве, сколько в качестве: это науки фундаментальные, непосредственно относящиеся к пониманию окружающего нас мира и нас самих, а значит, оказывающие прямое воздействие на наше мировоззрение.

Сам Владимир Иванович прекрасно отдавал себе в этом отчет. В декабре 1910 года в своей знаменитой речи «Задача дня в области радия», произнесенной на общем собрании Академии наук, он говорил: «Можно и должно различать несколько, рядом и одновременно существующих, идей мира. От абстрактного механического мира энергии или электронов — атомов, физических законов, мы должны отличать конкретный мир видимой Вселенной — природы: мир небесных светил, грозных и тихих явлений земной поверхности, окружающих нас всюду живых организмов, животных и растительных. Но за пределами природы огромная область человеческого сознания, государственных и общественных групп и бесконечных по глубине и силе проявлений человеческой личности — сама по себе представляет новую мировую картину. Эти различные по форме, взаимно проникающие, но независимые картины мира сосуществуют в научной мысли рядом, никогда не могут быть сведены в одно целое, в один абстрактный мир физики или механики... Сведение всего окружающего на стройный или хаотический мир атомов и электронов... никогда не могло бы удовлетворить человеческое сознание... чем ближе к нам картина мира, тем дальше отходит научная ценность абстрактного объяснения»¹.

Выделяемые Вернадским вторая и третья научные картины мира — естественноисторическая и гуманитарная — наиболее полно представлены в его творчестве. Три основные особенности ярко проявились в научных и философских поисках Владимира Ивановича — особенности, глубоко характеризующие процесс развития современной науки и основанного на ее данных диалектико-материалистического мировоззрения. Это, во-первых, всесторонняя космоизация научного познания; во-вторых, синтез естественных и гуманитарных наук, движение к тому идеалу человеческого естествознания, о котором писал еще К. Маркс; в-третьих, превращение науки в глобальном, планетарном масштабе в непосредственную производительную силу.

Наследие Вернадского продолжает сохранять сегодня свою ценность не в последнюю очередь и благодаря тому, что Владимир Иванович был не только теоретиком, мыслителем, философом, но и практиком в широком смысле. Он был человеком действия. Научные учреждения, которыми он руководил и в создании которых принимал участие, существуют и развиваются в наши дни.

В трудах Вернадского представлена наука во всех, так сказать, своих ипостасях — и как система знаний, и как способ деятельности, и как социальный институт. В значительной степени по этой причине наследие Вернадского представляет для нас сегодня огромную гуманитарную ценность.

Именно Вернадский еще в годы первой мировой войны чутко уловил созревание острейшего морального кризиса в среде ученых в связи с античеловеческими применениями научных достижений. Именно он еще в 1915 году со всей остротой поставил вопрос о грозящей человечеству страшной опасности того, что сейчас иногда называют ядерным омницидом — всеобщего самоуничтожения в мировой термоядерной войне, подчеркивая при этом особую социальную и нравственную ответственность ученых. Наконец, не кто иной, как Вернадский в 1938 году предсказал, что возникшее в ученой среде чувство моральной ответственности за про-

¹ «Очерки и речи акад. В. И. Вернадского». Вып. 1. Пг. 1922. стр. 35—36.

исходящее в мире найдет тот или иной практический выход. Действительно, созданная вскоре после окончания второй мировой войны Всемирная федерация научных работников приняла Устав и Хартию, по своей антимилитаристской и социально-этической направленности удивительно созвучные размышлениям Владимира Ивановича. А затем появился знаменитый манифест Рассела — Эйнштейна — Жолио-Кюри, начало набирать силу и приобретает все больший международный авторитет Пагуошское движение ученых...

В этом общечеловеческом, гуманитарном аспекте наследие Вернадского имеет подлинно и т е р н а ц и о н а л ь н о е значение. Не последнюю роль тут сыграли и факты личной биографии ученого. В Чехословакии, Польше, Югославии, Франции, Италии, США, Англии, Германии, Норвегии, Индии, Японии и других странах у него были единомышленники и последователи, с которыми он поддерживал прямые контакты во время зарубежных поездок, переписывался, обменивался идеями в печати.

Виднейший и талантливейший последователь В. В. Докучаева, своего непосредственного учителя и наставника, ученик Д. И. Менделеева, А. Н. Бекетова, А. М. Бутлерова, А. И. Воейкова, лекции которых он слушал в 80-е годы прошлого столетия в Петербургском университете, Вернадский стал основоположником самостоятельной школы в ряде наук о Земле — теоретической геологии, генетической минералогии, геохимии, биогеохимии, радиогеологии, истории природных вод, учении о биосфере и ноосфере. Среди многочисленных учеников Вернадского такие выдающиеся естествоиспытатели, как академики А. Е. Ферсман, В. Г. Хлопин, А. П. Виноградов, Д. И. Щербаков, А. А. Полканов, ставшие в свою очередь основателями новых научных направлений, руководителями крупных исследовательских коллективов. Ныне научная школа Вернадского подобна мощному плодоносящему дереву: она находится в постоянном развитии, проблематика ее обогащается, внутри ее появляются новые ответвления и направления научного поиска (например, сравнительная планетология, основания которой были заложены в классических трудах любимейшего ученика Вернадского — К. П. Флоренского). Достижения этой школы широко используются в мировой науке. Под непосредственным влиянием идей Вернадского в ряде стран (Франции, США и других) интенсивно развиваются исследования в области биогеохимии, учения о биосфере, разрабатываются тесно связанные с ними экологические проблемы.

Время раскрывает все новые аспекты и грани творческого наследия Вернадского. Так, совсем недавно по-новому были прочитаны забытые или почти забытые труды Владимира Ивановича по кристаллографии. Подтвердилась и одновременно наполнилась новым содержанием относящаяся еще к 1912 году замечательная концепция-гипотеза Вернадского о «гелиевом дыхании» Земли. Сам Владимир Иванович в 1922 году писал в этой связи: «Из истории знания — и из своего внутреннего опыта — я знаю, какие неожиданные последствия бывают от случайных, необработанных, отдельно брошенных мыслей, если они коснутся воли и мысли искренней человеческой личности в нужный момент. Один такой случай оправдывает нередко труд жизни»².

Словом, не опасаясь власти в преувеличение, можно сказать, что наше увлекательнейшее путешествие по обширному континенту мысли под названием «Земля Вернадского» продолжается и будет еще долго продолжаться. И нет никакого сомнения в том, что на этом пути нас ожидает еще много открытий.

К разгадке феномена Вернадского особенно интересно подойти «изнутри», проникая в тексты, представляющие собой не систематизированные, не предназначенные для печати наброски. Такими текстами являются, в частности, дневники молодого Вернадского. Знакомясь с ними, мы получаем в свои руки нечто вроде шифра, помогающего разгадать сущностные черты всего творческого наследия великого мыслителя и гражданина.

Первое знакомство читателя с дневниками Вернадского состоялось раньше. Я имею в виду публикацию выдержек из дневника студенческих лет (1884 — 1885) в журнале «Природа» (1967, № 10, 12). Однако особенно важными в биографии Вернадского, этапными в его духовном развитии являются годы перехода от молодости к зрелости, к которым и относятся публикуемые здесь фраг-

² «Очерки и речи акад. В. И. Вернадского» стр. III.

менты его дневниковых записей. Как впоследствии вспоминал сам Вернадский, этот период был подлинно переломным в его судьбе.

Две существенные черты отличают дневник Вернадского 1890 — 1894 годов. Первая — его разнообразие, разноплановость: спектр обсуждаемых в нем вопросов настолько широк и многокрасочен, что в нем находит отражение буквально все — от бытовых мелочей до абстрактных философских систем. И вторая — это явственная, на наших глазах происходящая переориентация с мировоззренческих по преимуществу проблем на проблемы социально-политические, гражданские, смена их несущей конструкции, или, как теперь говорят, парадигмы.

В истории отечественного либерально-буржуазного оппозиционного движения (организационно оформившегося впоследствии в самостоятельную политическую партию — конституционно-демократическую) 1890-е годы стали, по сути, решающими. Об этом можно судить и по дневникам Вернадского этого периода, и по его обширнейшей переписке. На дружеских, продолжавшихся порою далеко за полночь встречах (нередко они проходили на московских квартирах Вернадского и его друзей) оживленно, в острых, но взаимно уважительных столкновениях мнений обсуждались насущнейшие вопросы земского движения и просветительской деятельности, борьба с голодом, издание бесцензурных журналов и газет, отношение к марксизму и идейному наследию 40-х и 60-х годов, будущая политическая программа либералов и многое другое...

Да, Владимир Иванович был либералом и даже играл в либеральном движении России дореволюционного периода немаловажную роль. Это надо принимать как факт, нравится это кому-либо или нет. К сожалению, по отношению к либеральному движению и русским либералам вообще у нас накопилось достаточно много предрассудков и негативных стереотипов, к которым мы обращаемся зачастую просто «по привычке», не затрудняя себя конкретными и проблемами, за которыми стоят конкретные личности. Само слово «либерал», обращенное к истории русского освободительного движения, нередко воспринимается нами с оттенком иронии, как пренебрежительное, если не откровенно ругательное. Между тем конкретность здесь (как, впрочем, и везде) и полезна и необходима. Есть (и были) либералы и либералы. О Вернадском-либерале его многолетний друг и ученик профессор А. М. Фокин (1892 — 1979) в свое время писал:

«...Он смотрел на вершителей судеб старой России со спокойным любопытством естествоиспытателя. Никаких пьедесталов он не признавал, как и сам не старался вскарабкаться на пьедестал. Времена изменились, и он перенес такое же отношение на новых власть имущих...

В наступившие тяжелые годы предвоенного террора, когда ряды независимых людей катастрофически редели и нависла угроза истребления научных кадров, он подал через Президиум Академии наук протестующую записку. Ему ее вернули, указав, что она может произвести обратное действие. Примириться с вынужденным отступлением стоило Вернадскому большого труда, и нанесенная травма у него не зажила. Он не мог себе простить, что не действовал до конца согласно своим убеждениям. К этому же времени относятся его неустанные самоотверженные хлопоты за пострадавших, учеников и лично знакомых ему людей, связанных с наукой... Особенно потрясла Вернадского судьба Н. И. Вавилова.

...Вернадский в течение долгих лет примыкал к русским либералам, являлся одним из руководителей газеты «Русские ведомости», состоял бессменным членом Центрального комитета Конституционно-демократической (кадетской) партии, членом Государственного совета по выборам от Академии наук и от университетов и, наконец, товарищем министра народного просвещения во Временном правительстве. Таковы внешние данные, требующие пояснения. Пора взглянуть на прошлое с достойным спокойствием, а не через призму злободневных политических памфлетов, отрешиться от гипноза фронтов гражданской войны.

Русские либералы конца XIX и начала XX веков не были на одно лицо. Среди мягкотелых интеллигентов и двоедушных собственников, с разными кодексами для духовной и практической жизни, поднимались люди гуманные и принципиальные, стремившиеся делать добро, возможное при существующих условиях... На знамени либералов было требование гражданских свобод, и Вернадский встал под это знамя.

...Он являлся ученым-гуманистом в самом высоком и чистом значении этого понятия. О человечности его свидетельствует его забота об учениках и даже о малоизвестных и знакомых только по своим трудам работниках на научном поприще. Будучи далеким от практической жизни, он добросовестно старался вникнуть в ее нужды, помогая тем, кто попал в беду. Об этом можно было бы написать объемистую книгу...

За свою долгую и богатую жизнь Вернадский не изменился, как многие другие. Верное нравственное чутье, освещаемое разумом и воспитанное напряженным трудом с его высокими озарениями, позволяло ему без околичностей называть зло — злом и добро — добром, осуждать насилие и воздавать должное мужественной стойкости. С особой непреклонностью он восстал против антигуманного тезиса — цель оправдывает средства. Рушились режимы, перекраивалась политическая карта Земли, за немногие десятки лет произошли перемены, которых хватило бы на века прежней истории, а перед глазами нашими стоит спокойный старый человек с пронизательным и в то же время вдумчивым взором, много выдавший, много переживший и еще больше охвативший умом ученого-естествоиспытателя и философа⁸.

Читаешь эти проникновенные строки и, право же, думаешь невольно: побольше бы нам т а к и х либералов да побольше бы дать им реальных возможностей п р а к т и ч е с к и влиять на ход дел в нашей стране за истекшее семидесятилетие — глядишь, кое в чем существенном история наша выглядела бы иначе: чище, лучше, гуманнее...

В заключение о двух, на мой взгляд, важнейших уроках дневника Вернадского.

Первый урок — нравственный, социально-этический: человек формируется как социально активная личность, как г р а ж д а н и н лишь тогда и постольку, когда и поскольку он устремлен к максимальному растворению своего «я» в мире. В этом растворении он получает реальную возможность и выразить себя вовне, и понять себя самого изнутри — «уйти в себя». Показательных и типичнейших записей в русле этого «сюжета» можно найти в дневниках Вернадского (в том числе и 1890-х годов) немало; отмечу, что в дальнейшем эта тенденция в его духовном развитии и практической деятельности развивалась по нарастающей кривой (вообще на темы «Этика Вернадского», «Вернадский-гражданин» и им подобные можно было бы написать отдельные большие исследования). Здесь я ограничусь только одним примером-штрихом.

Вот запись от 28 февраля 1893 года: «Целый день встречи с людьми. Какая обильная почва для наблюдений и сколько мыслей. Утром был Якушкин. Говорили о декабристах, о русской литературе...»

День, так сказать, вполне рядовой. А между тем именно в этот день Вернадскому исполнилось тридцать лет. В дневнике об этом «юбилее» — ни слова, ни намека. Отыщем ли мы сегодня среди нас такого молодого человека, который упустит возможность отметить «должным образом» (так ли, этак ли) свое тридцатилетие? Правда, однажды Вернадский все же поминает этот свой юбилей в дневнике (см. запись от 14 апреля 1893 года), но вот что опять любопытно — как, в каком контексте он это делает: «Отчасти уже чувствуется, что прошла первая пора жизни — уже мне 30 лет, — а между тем, что я сделал, что я могу сделать, так ли построил свою жизнь, как это согласно с основными идеями, которые строят мою личность? Я ясно знаю, как надо многое делать — но не делаю».

Второй урок — социально-исторический: прошлое вновь как бы в о з в р а щ а е т с я к н а м без малого столетие спустя, возвращается в новой обстановке, облаченное в «новые доспехи» (один из образов Вернадского, к которому он питал склонность). Случайно ли это?

Дневниковые записи Вернадского относятся к последнему периоду правления Александра III, периоду, когда, говоря словами поэта, «Победоносцев над Россией простер совиные крыла» (с этим могущественным царским сановником в связи с открытием сельских школ были личные стычки и у Вернадского и у его жены Натальи Егоровны). Казалось бы, нет и не может быть ничего общего у нашего

⁸ А. М. Фокин. Отвага научной мысли (Рукопись). Кабинет-музей В. И. Вернадского при Институте геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского АН СССР.

времени с той эпохой. И все же, вчитываясь в записи Вернадского почти столетней давности, вольно или невольно проецируешь их на наш сегодняшний день, на те проблемы, которыми мы озабочены, и частенько ловишь себя на мысли: а ведь все это уже было, было...

Меня лично дневник Вернадского натолкнул на некоторые размышления относительно содержания переживаемой нами революционной перестройки. Мир велик и история его невообразимо сложна; но в нашей, «домашней» истории в глаза бросается одно обстоятельство: начиная по крайней мере с эпохи петровских реформ, если не ранее, и до наших дней при всех больших или малых, прямых или косвенных, удачных или неудачных, глубинных или верхушечных, мирных или насильственных социальных преобразованиях просматривается общая закономерность — ни одно из этих преобразований не смогло не то что разрушить, но даже сколь-нибудь основательно расшатать некую социальную сверхструктуру, некую авторитарную, э л и т а р н о - б ю р о к р а т и ч е с к у ю по своей природе суперсистему, словно гигантским обручем стягивающую общество. На протяжении столетий Россия была лишена способности к самоорганизации и саморазвитию в силу полного или почти полного отсутствия эффективно функционирующей системы обратных связей, вследствие чего малоподвижное, консервативное «целое» буквально расплющивало «маленького человека». Проникающая во все поры общества, эта суперсистема играла и играет роль своего рода инварианта российской истории — словно сказочная птица феникс, она вновь и вновь возрождалась в новых одеяниях и «доспехах». Устойчивость ее, сопротивляемость внешним воздействиям оказались просто поразительны; терпели поражения классы, партии, государства, армии, личности — она одна оставалась и до сего времени остается непобежденной.

При всей важности и необходимости решения тех экономических, социальных и других частных задач, о которых сейчас так много говорится и пишется в связи с перестройкой, ее сверхзадача видится мне как раз в сокрушении этого инварианта русской истории.

Думаю, что дневник Вернадского 1890-х годов помогает нам высветить и понять этот глубинный смысл переживаемой нами эпохи.

И. МОЧАЛОВ,

доктор философских наук.

ЗАПИСИ 1890—1894 ГОДОВ *

Москва. 26 сент<ября> 1890 Среда.

Хочется вести записи. Забывается многое, недавнее.

Хочется вести не дневник, где бы можно было вдоволь копаться в своей душе, а наброски тех фактов, с которыми приходится сталкиваться, того д е л а, которое видишь кругом и в котором сам принимаешь участие.

Пытаться схватывать отражение известных событий на окружающих и в ряде отдельных мыслей набрасывать отражение их на своей личности.

Записывание есть сильный сдерживающий и сильный побудительный деятель, и важно ежедневно или когда можешь наносить — что в этот день с д е л а л, и работа мысли есть дело, если это «работа».

Я хочу, чтобы Дневник имел и семейное значение, чтобы сын шел по тому же пути, по какому иду я, шел мой отец и дед.

В работе мысли есть радость, захватывающая дух сила, гармония.

Медленно идет приготовление к лекции, к теме, случайно выбранной мною: полиморфизм как общее свойство материи. Чувствую, что чем больше вдумываюсь, тем больше является уверенность в правоте ¹.

Трудно достать книги. В Университетской библиотеке нет самого необходимого, самого важного <...> Целые десятилетия не пополняется библиотека по известному отделу. И так всюду, в таких великих, живых единицах, как Университеты, где сильна традиция, где должно быть царство мысли.

Публикация и примечания *И. И. МОЧАЛОВА*.

* Дневниковые записи 1890—1894 годов велись В И Вернадским в общей тетради среднего формата. Их авторское название: «Дневник. Наброски фактов, мыслей». Тетрадь хранится в Архиве Академии наук СССР (ф. 518, оп. 2, д. 5, лл 1—72).

<...> По немному читаю Дриша: «Психофиз<иологические> типы (М., 1890) — поражает смешение факта с объяснением, незаметное автору и иногда незаметное читателю вследствие интереса фактов².

Если бы не видел случаев ненормальных умственных явлений на близких людях, не поверил бы.

Странно — казалось бы, люди, занимающиеся с сумасшедшими, с эпилептиками, с идиотами и т. п., должны бы наименее верить в дух, как нечто отдельное, а между тем среди них как будто начинается обратное.

Если принимать все, что говорят психиатры, то всюду явятся больные той или иной умственной болезнью — и теряют они сами почву. Если всегда «болезнь», «расстройство», то оно есть, м<ожет> б<ыть>, необходимое условие умственного процесса. Это будет логическим следствием из исследований, и тогда что значит «лечить». Ведь в умственном процессе, в брожении идеи — вся красота.

Говорят, пишут о какой-то нервности нашего века. — Где факты? У старых писателей мы находим ссылки на здоровый, «не нервный» век их отцов, у тех — еще на более ранних, и так до бесконечности. Думается, можно проследить на всей всемирной литературе. А фактов, фактов нет ни у кого.

Хочется прочесть Августина, Бозция и других, которые успокаивались, примирались со смертью.

¹ В И Вернадский имеет в виду свою первую пробную лекцию «О полиморфизме как общем свойстве материи», с которой он выступил 28 сентября 1890 года. Два года спустя лекция вышла отдельным изданием в «Ученых записках» Московского университета.

² Дриш Ганс (1867—1941) — немецкий биолог и философ, основоположник неовиталистического течения в биологии XIX—XX веков. С Дришем Вернадский познакомился в 1888 году в Мюнхене во время заграничной командировки и впоследствии продолжал следить за его творчеством.

Четверг, 27.X.1890.

При вере в богов понятен тип богоненавистника Прометей.

Пятн<ица>. 28.IX.<1890>, утро.

Сегодня в 2 ч<аса> моя лекция. Вчера вечером был <А. П.> Павлов¹, и я ему прочел свою речь; он нашел ее очень интересной. Советовал позже напечатать в каком-нибудь журнале, напр<имер>, «Рус<ская> Мысль». Теперь настойчиво советует диссертацию. Три месяца, 1/4 года — неужели не кончить?

<...> Признание бессмертия души возможно при атеизме. Оно нужнее для человека, чем признание существования Бога. Почему их обычно соединяют вместе?

¹ Павлов Алексей Петрович (1854—1929) — геолог, педагог, историк и популяризатор науки, академик Петербургской Академии наук (с 1916 года). Подробнее о нем см.: В. И. Вернадский. Труды по истории науки в России. М. 1988, стр. 304—314.

Суб<бота>. 29.IX.<1890>, утро.

Прочел вчера лекцию. Народу — и студентов, и профессоров — было много. Читая, чувствовал себя не очень приятно. Говорят, прочел хорошо. И студентам, и Факультету понравилось. Тема и тезисы были новые для большинства, не следящих за развитием кристаллографии и минералогии. («Для нас, не следивших за кристаллографией, Ваша лекция была целое откровение», — сказал мне <К. А.> Тимирязев. А Тимирязев считается здесь одним из наиболее широко образованных и разносторонних ученых. Я думаю, для Любавина¹ здесь было гораздо больше общих мест.)

С Любавиным говорил о получении веществ для исслед<ований>, и я уверен, что это можно будет организовать. Он жалуется сам, что русским химикам почти не к кому обращаться. А сколько вследствие этого пропадает веществ и получается пустот в развитии науки. Деятельность ученых должна быть в сильной степени кооперативная. Это новое живое, жизненное, связывающее Университет в одно целое.

Завтра начну работать в лаборатории. Трудно мне одному без Наташи². Хочется скорее быть вместе с ней — она для меня и поддержка, и с ней моя нестойкая мысль укрепляется и очищается.

Вследствие головной боли и усталости — по-видимому, нервной — вчера заниматься не мог. Долго не мог заснуть и читал. Кончил Дриша — туманно и слабо, и только

наброски, а не доказательства. Интересен матерьял — не его, а факты — выдержки из чужих наблюдений.

<...> Между стремлениями нашими и самодержавным правит<ельством>, в сущности, коренное различие, и скрывать его незачем. Никогда из самодержавного правителя не сделаешь не и з б е ж н о е орудие свободы, мысли, правды.

Где-то читал, что теперь в правительствах всех стран власть находится в руках людей — стариков. Их мнения б<ольшей> ч<астью> — не мнения века. Их физические свойства влияют на ход дел. Должно ли так быть? Замечательнее <то>, что власть часто находится в руках лиц, еще к тому же совсем бездарных и малообразованных. Ближе ли эти лица к толпе?

¹ Л ю б а в и н Николай Николаевич (1845—1918) — химик, с 1886 года работал в Московском университете (с 1890 года — в должности профессора).

² В е р н а д с к а я (Старицкая) Наталья Егоровна (1860—1943) — жена В. И. Вернадского.

30.IX.<1890>. Воскр<есенье>, утро.

Прочел вчера Головкинского¹: «О кремнек<ислых> соед<инениях>» («Зап<иски> Казанск<ого> Универс<итета>», 1861 <год>) — типическая статья для 60-х годов в России, и хотя кажется она иногда смешной, невыдержанной, легкомысленной — много в ней живого, молодого — задорного; прочел статью Модестова: «Русская наука за последние 25 лет» («Рус<ская> Мысль»)². Я думаю, что еще она стоит в общем научном движении выше, чем Модестову представляется.

Иногда, как засядет мысль, так все и возвращается: Если бы в течение языческого периода, без всякого особого искоренения культуры, не возобновлялись бы и не поддерживались бы те памятники искусства, мысли, которые связаны с языч<еским> и «нехристианск<им>» научным мировоззрением — не получилась ли бы та же самая картина гибели Древней цивилизации, какая нам теперь рисуется, а раньше рисовалась еще резче? Просто одним действием времени, случайностей, войн и отсутствием духовного интереса. Как теперь гибнут: недавно сгорела часть Альгамбры (хотя я ее никогда не видел — у меня щемит сердце, как подумаю), сожжена библиотека Тюльери французами или сожжена Москва с массой библиотек и остаток³. Не довольно ли было бы распространения одного д у х а христианства для того, чтобы чисто пассивно вызвать эту картину <?>. Матерьял собираю понемногу давно, и все кажется мне вернее.

Не дает покоя мысль о преемственности высших институтов. Какова связь средневековых универс<итетов> со школами Римской империи<?> Ведь в Византии совсем не прекращалась цепь?

¹ Г о л о в к и н с к и й Николай Алексеевич (1834—1897) — геолог, работал в Казанском университете (с 1868 года — в должности профессора).

² М о д е с т о в Василий Иванович (1839—1907) — историк и филолог. Его статью см.: «Русская мысль», 1890, кн. V.

³ Здесь в смысле памятников, остатков старины.

1 окт<ября> <1890>. Понед<ельник>, утро.

Осматривал богатую старинную коллекцию минералов с Везувия в здешнем Универс<итете>. Есть великолепный матерьял для работы. С Кисл<аковским>¹ обрабатываем «мейониты»², которых тут много сотен превосходно образованных кристаллов! Все запылено и забросано! Один день в неделю буду им посвящать: Коллекция, повид<имому>, куплена у гр<афа> Строганова, но кем составлена и когда?

<...> Просмотрел какую-то повесть из уральской жизни Мамина (в «Рус<ской> Мысли»)³. Берет дрожь, когда подумаешь о крепостном праве и еще более об интеллигентных крепостных — мучениках. Боже мой, сколько теперь в тюрьмах, ссылке томится невинных за мысль, за веру...

¹ К и с л а к о в с к и й Е. Д. — лаборант, исполнял обязанности хранителя Минералогического кабинета Московского университета.

² Минералы, встречающиеся в богатых известью контактно-измененных породах

³ См.: Д С и б и р я к (Д. Н. М а м и н). Три конца (Уральская летопись). Публикация началась в «Русской мысли», 1890, кн. V.

2 окт<ября> <1890>. Вторн<ик>, утро.

Кончил <...> ст<атью> Розанова о русской литер<атуре> по философии («Вопросы философии и психологии», 1890, кн. 3)¹.

Странный это журнал. И странная каша в головах наших философов, желающих сделать из философии науку. Удивительно также, как мысление «философское» отстает от научных данных и вследствие недостатка научной образованности — гл<авным> обр<азом>, в естеств<енных> и математ<ических> науках — часто приходит к самым комичным заявлениям. Я думаю, вышла бы чрезвычайно интересная статья, если собрать перлы подобного верхоглядства — помнится, в этом отношении Грот² дошел до *plus ultra*³ в своей статье о Дж. Бруно.

Если оставить в стороне логику и психологию, то что остается для того, чтобы сделать из «философии» — науку? Философия есть способ и метод. Ее значение в движении науки — это, кроме логики, критика основных понятий, всюду и неизбежно входящих в данные нашей науки. Это есть оценка достоверности знания. Но где же здесь «наука»?

¹ См.: В. Розанов, «Заметки о важнейших течениях русской философской мысли в связи с нашей переводной литературой по философии» («Вопросы философии и психологии», 1890, кн. 3).

² Грот Николай Яковлевич (1852—1899) — философ-идеалист, первый редактор журнала «Вопросы философии и психологии» (с 1889 года).

³ До крайних пределов (*лат.*).

3 окт<ября> <1890>. Среда, утро.

Вчера работал для лекции, хотя немного. Утром был в Институте¹ и пересматривал аппараты. Приборов — полярископов — много, но, очевидно, никто с ними не работал и собраны они иногда неверно. Большое затруднение составляет подыскивание места для практич<еских> занятий При Толстопятове² их никогда не бывало! Профессор приходил, читал лекции и уходил, — кабинет запылился. Теперь ведутся они в зале, где стоит коллекция, но это, конечно, немисливо <...>

Просмотрел июльскую книжку «Рус<ской> Мысли», где прочел статью Крандиевского о библиотеках для сельских учителей³. <...> Сколько томится в тюрьмах, ссылке сил — сил, нужных для работы, нужных для дальнейшего развития. С каким трудом и борьбой сопряжено достижение всякого хорошего (у Крандиевского — история борьбы иных земств за библиотеки для служащих). Еще больше родится энергии. Оставшиеся должны удесятерить силы и энергию.

¹ Имеется в виду Минералогический кабинет Московского университета.

² Толстопятов Михаил Александрович (1836—1890) — профессор Московского университета, предшественник В. И. Вернадского по кафедре минералогии.

³ См.: В. Крандиевский, «К вопросу о библиотеках для народных учителей» («Русская мысль», 1890, кн. VII).

6 окт<ября> <1890>. Суббота.

Вчера прочел лекцию¹. Народу было мало. Читал, говорят, недурно. Только напрасно не описывал геометрич<ескую> форму авгитов и рог<овых> обм<анок>. Но как описывать форму, не показывая<?> Наш ум слишком слаб, чтобы из одних описаний представить себе свойства естеств<енных> тел; есть два способа: один — демонстрация самих тел — кристаллов и их моделей; другой — таблицы математич<еских> отношений. Этот второй путь я и избрал, т<ак> к<ак> на таких лекциях демонстрировать не принято.

¹ Вторая пробная лекция, прочитанная В. И. Вернадским в Московском университете; она была посвящена распространенным пороодообразующим минералам — авгитам и роговым обманкам.

Воскр<есенье>. 7 окт<ября> <1890>.

Читая Фукидида, поражаешься нередко встречаемым у древних авторов мнениям о том, что скажут их потомки. То же самое и в древних памятниках. Служило ли это утешением? Верно, то, что меня так или иначе заставляет задумываться при чтении Фукидида — заставляло задумыв<аться> и других — Бог знает, сколько поколений. Когда он говорит в начале о том, какое бы впечатление произвели разрушен<ные>

Афины (по сравн<ению> с Микенами) — теперь мы это видим. Сделалось избитым указание на возможность того же для тепер<ешних> центров мысли, хотя никто как-то об этом и не думает.

Говорил с Шах<овским>¹ — перебрался словами — об общем настроении, какое вызывается мыслью о смерти близких. Он говорит о легкости «покориться». Но это не решение.

Не думаю, чтобы мысль о продолжении жизни целого «человечества» могла бы упоканывать личность. Ведь все наши интересы, все связано с личностью просто потому, что мы все живем мыслью. Всякий не созерцатель, а деятель, не может успокоиться с мыслью, что его близкие, такие же, <как он>, погибнут с этой жизнью. Он может забиться и, м<ожет> б<ыть>, может покориться.

Далее, ведь если гибнет личность, то гибнет и «человечество», п<отому> ч<то> и его дорогая нам сторона того же характера, что и дорогая сторона личности. Кроме того, совершенно одинаковы условия, указыв<ающие> нам на гибель личности, как и на гибель «человечества» или масс организованных. Все дело лишь в численных отношениях, но они уже теряют значение, раз мысль привыкла орудовать с численными отношениями. Я не думаю, чтобы такой перенос загадки на дальнейшее расстояние мог удовлетворить человека с естественнисторич<еским> образованием.

Указания на бессмертие и бескон<ечность> (относ<ительную>) живой плазмы дела не меняют.

¹ Шаховской Дмитрий Иванович (1861—1939) — общественный деятель и литератор, внук декабриста Ф. П. Шаховского, друг В. И. Вернадского.

Понед<ельник>. 8 окт<ября> <1890>.

Вечером был Фед<ор> Изм<айлович>¹ — разговор общий, интер<есный> — м<ежду> пр<очим>, о политич<еской> программе. Совсем мало традиции в русском обществе и совсем среди самых светлых людей неуменее представления о государств<енном> значении партий. Оттого ли, что никогда определ<енная> партия не имела у нас власти?

Русские «социалисты» всяких оттенков долго не признавали, и не признают иные и теперь, политич<еские> программы, забывая, что ее <программы> требование есть логическое следствие всякой общественной иде<йной> деятельности, всякой деятельности, которая не ограничивает себя идеями господств<ующей> власти.

Теперь либералы, принимая политич<ескую> программу, конечно, рассуждают вне времени и места — забывают о том, что раз они желают выступить как политич<еская> партия, они должны иметь ясную программу внешней политики и ясное представление о традиц<ионных> це<лях> Русского госуд<арства>.

<...> Среди хаоса кремнек<ислых> соед<инений> мысль строит новые ряды, всюду как будто движутся ею, оживляются нестройные кучи. В таком настрое как-то веришь в свои силы. И ум, фантазируя, ясно строит новые соед<инения> <...> Всюду terra incognita², всюду для нас — бесконечное.

¹ Родичев Федор Измайлович (1856—1938) — общественный деятель, друг В. И. Вернадского.

² Неизвестная земля (лат.).

Пятн<ица>. 19.X.1890, утро.

С великим наслаждением прочел работы Берцелиуса, такая в них ясность и простота мысли и такое ее изящество и сила. Как видна личность человека в этих рассуждениях о классификации минералов. При чтении этой книжки не раз у меня захватывало, щемило дух, как когда читаю что-нибудь волнующее, и я бросал чтение, чтобы заняться чем-нибудь иным.

Воскр<есенье>. 21.X.1890.

Вчера подал декану Бугаеву¹ мое распределение предполагаемых лекций с будущего январского семестра. Бугаев встретил меня очень любезно; но разговор с ним был весьма оригинальный. Он зашел <...> о буддизме, о Нирване, и затем он с увлечением начал излагать мне свою теорию живых монад. Она основана на большей простоте физич<еских> законов по сравнению с общест<венными> или биологич<ескими>.

По его теории: обществ<енные> <законы> — in statu nascendi², тогда как физич<еские> и химич<еские> имели время выработаться.

Мне представляется, что большая простота физич<еских> зак<онов> — есть самообман, следствие нашей способности исследования: она позволяет нам видеть предмет с гораздо большими подробностями, чем он ближе к нашей организации.

¹ Бугаев Николай Васильевич (1837—1903) — математик, с 1886 года профессор Московского университета (отец писателя Андрея Белого, слушавшего лекции В. И. Вернадского в Московском университете).

² В состоянии рождения, становления (лат.).

Пятн<ица>. 26.X.1890.

Поражает, бьет ключом, даже при чтении Плавта, страстное желание рабов быть свободными. Рисуетя их тяжелое положение, и выход из этого положения является величайшей целью и стремлением рабов. Как живо комедия переносит в древнюю жизнь.

Как остались рамки жизни тогда и теперь неизменными.

Как чувствуется, что не было перерыва — не было hiatus'a¹ в развитии жизни Европы.

Иногда одновременно при чтении Плавта и при чтении истории Средней Азии (той краткой, что у Мушк<етова>)²) трепетно бьется сердце от чувства единства умственной жизни человечества. Хочется штрихами воссоздать эту цивилизацию — только нет сил.

¹ Пропасть, разрыв (лат.).

² Вероятно, имеется в виду описание истории исследования и освоения Средней Азии в книге И. В. Мушкетова «Туркестан» (т. I, СПб., 1886).

Четверг. 1 ноября 1890.

Вчера или на днях Ив<ан> Ник<олаевич> С.¹, вследствие пустого слуха одного из знакомых, что он слышал, будто его выслали за распространение народных книжек, сжег всю переписку за много лет с деятелями по народному образованию, учителями и т. п. Только в такие эпохи отупения и возможны такие факты. Человек не делает ничего противозаконного, занимается вполне невинной вещью, и вследствие пустого слуха делает такие трусливые поступки! А между тем, так исчезает важный матерьял для объяснения целого явления, происход<ящего> в нашей теперешней жизни — большей интенсивности распространения образования среди народных масс.

¹ О ком конкретно идет речь, установить не удалось.

Суббота. 3.XI.<1890>, веч<ер>.

<...> Нет большей силы, как когда все талант<ивые> люди интеллигенции известн<ой> страны концентр<ируются> в одном движении, в одном течении.

Алюминий должен давать глубоко интер<есные> органич<еские> соед<инения>, и особенно надо изучить кремнеглиноземоорганич<еские> соед<инения> — теперь даже нет и попыток их получать.

Какое значение имеют организмы для распростр<анения> и круговорота солей, можно заключить, собрав статист<ические> данные о потреблении соли человеком.

Среда. 7.XI.<1890>, веч<ер>.

В душе тяжело от мглы, от темного царства, от разгрома. Но энергия этим будится. И желание работать, желание бороться за права человека растет.

Начал собирать матер<ьял> для Ист<орического> очерка образов<ания> при Алекс<андре> III.

Понед<ельник>. 26.XI.1890.

Все более и более мысль проникается <вопросом> о роли и значении, о глубоком смысле понятия температуры Мы привыкли к нему, к этому одному из самых темных, в сущности, и сокровенных понятий. Что такое температура? В ходе развития самых широких научных обобщений ходячие, не научные представления о тем-

пературе накладывают свою печать; подобно — как в космогонических, даже «научных» теориях сквозят странные понятия о тяготении и т. п.

Температура определяет все взаимное соотношение всех свойств окружающих предметов. Если бы мы имели возможность представить себе состояние всей системы наших знаний в среде иной температуры — картина многих законов изменилась бы вполне.

Все признаки только кажущиеся, а меняются симметрически. Строго определенный характер их — есть лишь отвлечение нашего ума.

Я чувствую — больше, чем понимаю, — значение потенциала.

«Кислотность», «основность» — все должно меняться с *t*. Надо брать большие интервалы.

<...> Думается о лекции. Хочется в общей, стройной картине передать современное состояние вопроса о соотношении между составом и свойствами. Это попытки человеческого ума по частям опять складывать <то>, что им при наблюдении искусственно разложено.

Суб<бота>. 1. XII. <18>90, веч<ер>.

Интер<есен> у Таннери¹ страх за будущее науки, вследствие социаль<ных> течений. Он чувствуетея всюду. И безоснователен. Страшно не только простое разрушение или отказ в средствах — но и отвлечение умов. Но смешно было бы не смотреть прямо в глаза опасности. Люди науки должны стараться стать во главе движения.

Прогресса, эвол<юции> в развитии матем<атических> знаний нет. И так всегда в науке². С этой точки зрения развитие чело<веческой> мысли глубоко поучительно. Не варвары и средние века погубили, а началось в глубли Римской империи и за много столетий до ее гибели.

<...> Одно должно остаться: глубокое знакомство с древней классич<еской> жизнью. Я противник средней школы вообще, но едва ли можно радоваться новым узким национальным началам «новой» школы. С этой стороны классики шире и симпатичнее.

Мысль о школе, как орудии борьбы с «социализмом», при обязательном (+ карательные меры заслушание) школь<ном> обуч<ении>, ужасна, и нечему радоваться, как многие радуются.

¹ Таннери Поль (1843—1904) — французский историк науки.

² Впоследствии точка зрения В. И. Вернадского меняется; свою концепцию прогресса естествознания и математики он разрабатывает в ряде историко-научных исследований 1900—1930-х годов.

Среда. 10.IV.1891.

После долгого промежутка снова начинаю записи.

<...> Необходимость «партии борьбы» — возможно, легальной — во имя основных прав человека. Мне кажется, такая партия борьбы возможна лишь <тогда>, когда она будет в руках людей, ясно сознающ<их> либераль<ную> программу и организован<ных>, сговорившихся относительно главного. Нельзя вести борьбу во имя борьбы. Нельзя указывать необходимость ограничить самодержавие во имя ограничения самодержавия. Оно должно быть ограничено для блага России, во имя вечных, незыблемых, бесспорных истин и основных прав человека. Теперь необходимо иметь политич<ескую> программу, где ясно и определенно высказывались бы либеральные принципы в применении к современ<ным> условиям жизни России. Ясно и определенно должна быть набросана картина близкого достижимого, с точки зрения либерализма, строя России. Важно, чтобы подобная программа баллотировалась, обсуждалась повсюду.

Перед русской либер<альной> партией стоят неск<олько> иные задачи, чем на Западе: ее <России> огромная территория и задачи в Азии и необходимость местного самоупр<авления> (федерация?). — Важно еще, что вопросы политического устройства обсуждаются в то время, когда всюду начинается «социальное» движение на Западе.

Необходима свобода мысли в самом человеке. Отсутствие искренности в мысли страшно чувствуется в нашем обществе.

Вчера небольшая статья Дельбефа <...> обратила мое внимание на опыты Мопя над отсутствием бесконечной делимости одноклеточных организмов. Клетка не бессмертна. Сколько подымается, роится вопросов! Не есть ли тогда развитие 200—300 поколений организмов — следствие одного процесса, — одной реакции, длящейся в протоплазме. Ведь наши понятия о времени и пространстве в применении к суждению <о> происходящих процессах слишком антропоморфичны.

20 апр<еля> 1891. Суббота, вечером.

Опять долго не писал. <...> Мысль сильно кружилась около все тех же вечных вопросов.

Диссертация напечатана и вышла ¹. Не чувствую ни радости, никакого особого чувства. Она мне кажется не вполне удачной, но представляется кладущей начало нужной работы. Однако очень недоволен тем, что то, что хочю я доказать, в ней не изложено так полно, чтобы она могла убедить. Она может лишь пробудить мысль. Между тем — главное, ценное — в убедительности и доказательности.

Читал и думал много по историческим вопросам. Мысль постоянно направляется к ясному сознанию чувства общей преемственности в истории человеческой мысли, в истории развития человека <ества>.

Возможно, кажется мне, найти прямую преемственность между древними Греческими философскими и древними школами, Римскими школами (юридическими, медицинскими и т. п.) и возникновением Университетов. Университеты выделялись как необходимое дальнейшее развитие этих школ и т. п. при изменившихся условиях времени и места. Через юридические и медицинские школы можно проследить прямую причинную преемственность — непрерывную — к первым древним университетам (Салерно, Болонья и прочие). Таким образом, все это развитие одного общего непрерывного явления.

Можно убедиться, что погибель древней литературы являлась логическим следствием частью психологических причин, частью причин, всегда существующих вне зависимости от каких бы то ни было политических условий. Эта гибель происходила все время и в течение существования Римского царства.

<...> Множественность (очень неправильно употребление слова «двойственность») личности ужасно важна. Здесь открываются более близкие приближения для понимания природы «сознания», этой, казалось бы, вечной «Ignorabimus»². Так или иначе, входит опытный метод в эту, раньше ему недоступную, область.

В сущности, для полного удовлетворения человека важен один вопрос — вопрос не о божестве, а о бессмертии личности.

Наука не противоречит религии — так же мало опровергает божественность Христа, несуществование христианского Бога, как опровергает существование Аполлона или Венеры. Страшно то, что она не дает опоры для их существования в области подведомственного ее изучению мира. А что ей не подведомственно из понятного нашей личности?

¹ Магистерская диссертация В. И. Вернадского «О группе силлиманита и роли глинозема в силикатах». Опубликовано в 1891 году отдельным изданием Московским обществом испытателей природы. Защита состоялась 27 октября 1891 года в Петербургском университете. Оппонентами на диспуте выступили В. В. Докучаев и Д. П. Коновалов.

² Мы не узнаем (лат.).

24.IV.1891. Среда, вечер.

21.IV, вечером <был> у Ивана Илича¹, — длинный разговор с ним и женой его о разных политических вопросах. В общем, мы очень сходимся. Постараюсь набросать в кратких тезах — набросках.

Вопрос о раздаче земель надо рассматривать с широкой точки зрения. Раздача в Черноморском округе, Западном крае, Уфимской губернии etc.

является таким же расхищением добра государств<енного>, как выкуп земель госуда<рственными> крестьянами. Я очень рад, что мы сошлись во взгляде на национализацию земли: и он не считает ее противоречащей идее либерализма. Надо не помещать ее в программу, но постоянно помнить, что она станет лицом перед будущим правительством России. Следов<ательно>, не предрешая теперь вопроса, является политич<еской> ошибкой теперь раздавать в частные руки государств<енные> земли.

Либералы могут только тогда получить почву и силу, когда они сознательно и ясно поставят себя как государственную партию — как такую, которая должна сделаться правительством. Историч<еские> задачи России являются их историч<ескими> задачами, а требования либерализма являются логическим следствием всей русской истории. <...>

Требования либералов являются исторической необходимостью. Необходимость отмены крепостного права всеми признана. Все либеральные требования являются необходимым ее следствием.

Разговор с Пав<лом> Ив<ановичем> Новгородц<евым>², который мне очень нравится: о религии, о скепсисе, христианстве, Древней Греции, о Боге etc. Я находился в несколько взволнованном состоянии, и мне не хотелось вести цельного разговора. Он считает себя до изв<естной> степени гегельянцем. Не соглашается с моим мнением, что самая существенная сторона религии: вера в личное бессмертие. Его может удовлетворять вера в Бога.

¹ Петрункевич Иван Ильич (1843—1928) — общественный деятель и литератор, друг В. И. Вернадского.

² Новгородцев Павел Иванович (1866—1924) — философ и юрист, друг В. И. Вернадского.

Полтава. 2 июля 1891.

Мне кажется, страшно важно, чтобы никогда из семей не исчезала история семьи. В семьях, где долго длится подобная история, — всегда есть большая возможность выработки сильных характеров в достижении традиционных целей. Ближе связь с землей, с историей родины.

11.VII. <18>91.

Либер<альные> идеи могут только тогда получить силу и значение, могут только тогда поднять к себе общество, когда они ясно и определенно захватят к себе все современные текущие вопросы русской жизни. Одним из таких вопросов является вопрос о голоде, о народном продовольствии.

24.VII.1891. Вернадовка.

Здесь опять захватило известие о голоде, чувство — опасности голодания, которым живет и волнуется теперь значительная часть населения России. Удивительно, как мало это чувствуется в Москве — где, кажется, все обстоит вполне благополучно, и как сильно, как глубоко охватывает всего это чувство в деревне <...> 18-го июля я, под влиянием этих известий, отнес в ред<акцию> «Рус<ских> Вед<омостей>» статью о необходимости организации борьбы против голода — по-видимому, не приняли — я не мог зайти узнать. Необходимо устройство комитетов для сбора пожертвований и для обсуждения мер против голода и всех тяжелых, всех трудных его последствий.

<...> В массе крестьянской чувствуется какая-то покорная отчаянность. Я как-то всем существом сознаю, что мне дорог этот народ, что я неразрывная часть его, и в то же время я ничем не могу помочь ему и делаю все по тому же течению, которое какими-то железными непреложными законами охватывает все теперь.

Москва. 13.IV.1892.

Вернувшись из Полтавы, снова начинаю вести записи.

Всю дорогу читал с глубоким интересом <А.> Рождественского: «Южнорусский штундизм¹. <Исследование>». <СПб.>, 1889. Вечером разговор с Ив<аном> Ил<ьичом> <Петрункевичем> об этой книге и об этом вопросе. Несомненно —

явление серьезное. Теперешние гонения <на> штундистов с точки зрения господств<ующего> правит<ельства> понятны: только — раз создается, что одними гонениями ничего не сделаешь, не готовят ли они такое же течение, только из среды православных в будущем? Совершающееся у нас на глазах изменение характера духовенства весьма важно для будущего.

Народная масса — неужели она такая инертная, как говорят?

Важно набросать и думать о темах для народа: Ознакомить с идейной стороной истории. Дать возможность знать чужие догматы. — А мысль сама станет работать в массах. Гус, Марк Аврелий, Сократ, Лютер, Цвингли. Изложение буддизма. Изложение протестантских вер.

Что есть нового по истории протестантских движений последнего времени?

¹ Религиозно окрашенное крестьянское движение 1860—1870-х годов, возникшее на основе недовольства реформой 1861 года и стоявшее в оппозиции к официальной православной церкви; зародилось в среде крестьян южных и центрально-черноземных губерний, впоследствии стало основой русского баптизма.

Яковцы. 14.VIII.<18>92.

Неуклонно ведет вся жизнь и ее неизбежное и необходимое осложнение к перестройке семьи и семейных отношений. Интересно проследить изменение семьи в связи с изменением общественного и государственного строя. Менялась она, но в каком направлении и в каком отношении стоит она к внутреннему изменению государств<енного> и эконом<ического> быта?

Крупным фактором изменения семьи неизбежно явится все более и более проявляющееся стремление обеспечить в данном государстве существование каждого гражданина. Я думаю, это неизбежно вытекает и из дальнейшего проникновения в жизнь демократич<еских> принципов (н<a>пр<имер>, швейцарские демократы, английские радикалы и пр<очие>) и из большего или меньшего господства и победы социализма. Это будет иметь место: 1) в обеспечении каждому гражданину (с детства) образования, практич<еской> выучки — иначе государству не может обеспечить его существования и 2) в легкой доступности каждому гражданину приложения этих своих знаний.

Раз это будет совсем достигнуто, неизбежно у семьи, какова она есть, будет отнята основная социальная неизбежность ее существования. По мере того, как это будет достигаться, по мере постепенного проведения этих реформ в жизнь — неизбежно должен измениться характер семьи.

Целый ряд других побеждающих или важных ныне течений вызывает совершенно подобное же влияние на семью. Это, во 1-х, неизбежность равноправности всех людей. След<овательно>, и женщины-матери должны явиться полноправными гражданами, и принцип равноправности требует, чтобы они были an equal¹ событий etc. Это невозможно, пока на каждой (моногамической) семье лежит первоначальное воспитание ее детей, а потому неизбежным образом проведение в жизнь этого принципа подрывает моногамическую семью. На иной уклад семьи влияет и другое важное проявление того же самого принципа: значительная свобода молодых людей и их равноправность. В этом случае теряют значение общие рамки, и личность получает весьма значительное право на изменение уклада семьи, а след<овательно>, теряет значительную долю своего исключительного права моногамическая форма семьи нашего времени. На это последнее явление влияют еще два очень важных течения нашего времени. Во-первых, обеспечение граждан уничтожает протестацию, в которой находит исход значительная часть природ, для которых не подходит моногамическая форма брака. Брак — вообще половая жизнь — получает более раннее развитие, и поневоле брак теряет свой нерушимый, на всю жизнь, характер. Наконец, — второе важное течение — это изменение наших представлений о нравственности и наших религиозных учений — причем наша форма семьи и брака теряет свой прежний характер незыблемого и тесно связанного с абсолютным. Уничтожается узда легким (вполне, след<овательно>, нормальным) половым сношениям между здоровыми юношами и девушками, неизбежность для всех натур моногамии и проч. и проч.

Если мы сведем <вместе> все эти причины, колеблющие нашу семью, то увидим, что они являются логическим и неизбежным последствием из основных и самых

дорогих для нас принципов: альтруизма, свободы, истины и сомнения, — и можно думать, что если будет прогресс, то будет и такое расшатывание семьи.

Если в иных случаях, вследствие родового чувства и др<угих> причин, моногамия может существовать в больших родовых союзах, то в громадном большинстве будет существовать «свободная любовь», которая, м<ожет> б<ыть>, тоже вырабатывается в родовые союзы?

В стране с богатым историч<еским> прошлым, когда потомки о нем не подозревают, и, по-видимому, на них вся эта мысль и работа прошлых поколений почти не отразилась и мало помогла им жить легче и лучше, становится жутко. Так здесь — прошло влияние Рима, Византии — классической истории прямо или косвенно, и сколько пережилось потом — и от всего, что осталось?

Важно пытаться сжимать свои мысли в краткие максимы. Не лучшая ли это метода для дисциплинирования ума и способности ясного мышления и ясной речи. Ведь в кратком образе личное понимание ясности имеет на и больше общего с ясностью по мнению современников, а след<овательно>, привыкаешь и им говорить понятно.

¹ В курсе (франц.).

17.VIII 1892.

Какая великолепная вещь «Дон Кихот». Как много гуманного, как много затрагивается таких вопросов, которые вечно юны, т<ак> к<ак> для всех веков и всех народов они одни, т<ак> к<ак> глубоко лежат в натуре человека.

Гармония в природе — как следствие равновесий. Равновесие не есть ли основной механич<еский> принцип в сложных разнородных срединах?

26 авг<уста> <18>92

Накануне отъезда в Вернадовку. Опять ничего не сделал аккуратно и опять тяжелое чувство вследствие неумения серьезно распорядиться со своим временем. Думается, однако, что теперь у меня более глубокое сознание необходимости такого серьезного отношения к своим обязанностям. И я думаю, что могу побороть свою лень и тогда буду сильнее. Здесь чувствую, что начинает помогать более ясное понимание начала Сознания, как необход<имого> повода этики всякого скептика.

ИЗ ЗАПИСОК¹

Авг<уст> <18>92.

Вдумываясь в окружающую будничную жизнь, мы можем наблюдать в ней проявление основных идей и верований текущего и прошлого поколений, можем видеть постоянное стремление человеческой мысли покорить и поработить себе факты совершенно стихийного на вид характера. На этой будничной жизни строится и растет главным образом основная сторона человеческой мысли. Быстро исчезает человеческая личность, недолго относительно хранится любовь окружающих, несколько дольше сохраняется память о ней, но часто чрезвычайно долго в круговороте текущей, будничной жизни сказывается ее мысль и влияние <ее>* труда. Невольно и часто бессознательно она работает над жизнью, потому что для нее эта работа является необходимым и неизбежным элементом существования. Коллективной работой массы людей жизнь человеческих общин и самого человечества получает стройный характер — постоянно на этой жизни мы можем наблюдать проявление сознания, причем сами явления жизни получают характер непреложных законов, слагающихся как под влиянием сознания отдельной личности, так и сознательной однообразной работы массы мелких человек<еских> единиц. Такой законообразный характер сознательной работы народн<ой> жизни приводил многих к отрицанию влияния личности в истории, хотя, в сущности, мы видим во всей истории постоянную борьбу, со-

* В тексте зачеркнуто.

нательных (т. е. «не естественных») укладов жизни против бессознательного строя мертвых законов природы, и в этом напряжении сознания вся красота исторических явлений, их оригинальное положение среди остальных природных процессов. Этим напряжением сознания может оцениваться историческая эпоха.

Влияние идеи и мысли на текущую, будничную жизнь широко и постоянно; оно несколько веков становится сильнее и могущественнее. Этот процесс обещает много вперед; сама * его продолжительность ** зависит от неуклонного к нему стремления отдельных сознательных личностей. В явлениях текущей жизни каждая личность тем более имеет влияние на жизнь, тем более ведет к победе мысли (т. е. гармонии и красоты), чем сознательнее постоянно и серьезно она ищет проявления основных идей в окружающей текущей жизни, чем непреклоннее и яснее оценивает каждое явление со стороны общих, дорогих ей принципов и чем более выясняет себе, что именно с точки зрения Мысли и Идеи значит каждое событие текущей, будничной жизни, что надо делать, чтобы оно шло по пути идеи и мысли. Тогда каждая личность в своей жизни является отдельным борцом проникновения сознания в мировые процессы, она своей волей становится одним из создателей и строителей общего закона, общего изменения, изменения сознательного, тех или иных процессов, и этим путем участвует в глубоком процессе — переработки мировых явлений в целях, выработанных Сознанием. Силы личности и влияние ее, понимание ею жизни (а тут работа над пониманием — есть сама по себе общественное дело великой важности для всякой личности, не живущей на необитаемом острове) увеличиваются по мере вдумывания в процессы будничной жизни.

Вдумывание в эти процессы имеет еще другое значение, т<ак> к<ак> в них сказывается мысль и других сознательных личностей и на них познается, пробуется всякий принцип, всякая идея другими личностями. Понятно поэтому, что многое новое и отсутствующее в остальных естеств<енных> явлениях должно раскрываться и уясняться для всякого человека при вдумывании в совершающуюся вокруг него мелкую, глухую жизнь.

Так ли глуха эта жизнь, как она кажется? Так ли она бесформенна и случайно-бесцельна, как представляется? Так ли бессильна личность противиться уродливым проявлениям жизни, и не есть ли отсутствие ясного понимания и оглашения этой уродливости отдельн<ыми> личностями самая основная причина и главная сила всех уродливых течений жизни?

Общество тем сильнее, чем оно более сознательно, чем более в нем места сознательной работе по сравнению с другим обществом. Всякий его поступок тем более правилен, т. е. находится в гармонии с «общим благом», с «maximum'ом доступного нашей эпохе напряжения сознания в мировой жизни»², чем ярче он является результатом работы большего числа людей, могущих мыслить. Когда есть ряд человеческих обществ и в этих обществах, государствах, в одних широко дана возможность мыслящим единицам высказывать, обсуждать и слагать свое мнение — в других такая возможность доведена до minimum'a — то первые общества гораздо сильнее и счастливее вторых обществ. Если же в первых, сверх того, необходимые коллективные поступки делаются на основании правильно составленного мнения лучших людей, а во вторых <обществах> *** на основании мнения случайного характера людей случайных — то сила первых обществ еще более увеличивается. В таком случае неизбежным образом для вторых обществ ставится на карту вопрос их существования и жизнь в <этих вторых обществах> **** них ***** становится труднее и безобразнее. Между тем, совершенствование первых обществ возможно лишь при обхвате ими всех людей, живущих в условиях необходимости внешних сношений, и возможно лишь при необходимом усложнении всех сторон будничной жизни. Вследствие этого правильность коллективных поступков общин 2-го типа становится меньше, а, следовательно, условия жизни входящих в их состав единиц с каждым годом все менее благоприятны. Жизнь человечества все более усложняется, сношения между людскими общинами увеличиваются, коллективные поступки других общин становятся все правильнее — а потому ошибочность в поступках общин 2-го типа увеличивается и

* Слово «сама» зачеркнуто карандашом

** Над словом «продолжительность» автором надписано карандашом «непрерывность»

*** Вставлено карандашом.

**** Зачеркнуто карандашом.

***** «Них» вставлено карандашом.

ненормальность их устройства становится яснее и серьезнее <Это естественные враги> *.

В таком случае является необходимость найти исход из <такого> ** ненормального положения. Мыслимы три случая. Или такая община или такое государство достаточно физически сильно и может направить данную силу дурно, т. е. противно людскому благу и интересам прогресса; или оно не может победить прочих государств и должно медленно или быстро разрушаться; или в нем достаточно людей с сильной волей и ясным сознанием, и эти люди могут изменить ненормальные условия жизни.

Существование таких людей необходимо во всех случаях. Их количество и качество решают судьбу государства. Между тем, все условия жизни в таких обществах препятствуют, вообще говоря, их образованию — а потому те, которые почему бы то ни было могли образоваться в таком государстве, должны особенно напрягать свои силы и жить особенно интенсивно и вдумчиво.

В типичном подобном положении находится Россия, и перед нами как раз теперь стоят все эти вопросы, перед каждым из нас лежит обязанность уметь дать ответ в тех трудных обстоятельствах, какие ставятся нам жизнью.

Нет кругом талантов или могучих публицистов, которые могли бы являться первыми вождями-борцами и вести всех мыслящих, всех сомневающихся к одной великой, беспощадной борьбе со злом, мраком и несчастьем, охватившими нашу родную землю. Нет людей, которые могли бы растолковать и объяснить пагубное течение русской жизни. Является поэтому обязанностью и делом простых русских граждан пытаться публично разбираться самостоятельно самим в сложных явлениях жизни и растолковывать их, обсуждать сообща, пропагандировать их среди русского общества. Рядом таких случайных писателей заменяется недостаток — очень печальный — в нашей жизни сильных и талантливых публицистов и критиков.

С этой целью попытаюсь и я, простой наблюдатель, изложить в этих отрывках мысли и желания, которые являются у меня под влиянием размышления над нашей характерной русской жизнью.

Мы поставлены в тяжелое положение, у нас завязан рот, заткнуты уши, мы не имеем почти возможности влиять на поступки того государства, гражданами которого являемся, не можем исповедовать веры, какая нам дорога, и проч., и проч.; но есть и характерная сторона в нашей жизни — это то, что для нас особенно дорог, что нам особенно близко и красив тот идеал свободы, который для наших западных соседей является не предметом желания, а предметом обладания. В нашей русской жизни особенно ясна его красота, гармония и сила ***.

¹ Рукопись неоконченного очерка, тесно примыкающего к размышлениям В. И. Вернадского в «Дневнике» этого периода. Хранится в Архиве Академии наук СССР (ф. 518, оп. 1, д. 215, лл. 1—8).

² Здесь неясно, цитирует ли автор некий источник или это его собственные слова, взятые в кавычки.

31.VIII.1892. Вернадовка.

Время быстро идет. Какая-то тоска, недоконченность чувствуется. Куда и для чего возбуждается сознание? Какой смысл деятельности? Легче ли будет, когда станешь настоящим борцом <?> А стать борцом нет сил, нет знания.— Или нет веры, нет желания?

Сегодня кончил книгу «<П. В.> Анненков и его друзья <Литературные воспоминания и переписка 1835—1885 годов>». Т. 1, СПб., 1892. Много мыслей роится. Люди сороковых годов так дороги своей жизн<енной> идеей, своей «пропагандой» — тем, что в жизнь, в искусство — всюду проводили свои идеалы.— А мы? — Лишь в частном кружке да в письмах ¹. Боже мой, хочется скорее писать, прямо жжет потребность в своем печатном органе.

А между тем, ведь мы все не умеем писать и не кончаем. Но много мешает трудность помещения. Мои обе попытки были неудачны: одна — статья, посланная в «Неделю» о народных читальнях, другая в «Рус<ские> Вед<омости>» о необходимости помочь голодающим. Все же хочу снова попытаться — в «Р<усские> В<едомости>» о книге Анненкова. Добиваться помещения статей протекцией — не

* Зачеркнуто карандашом.

** Зачеркнуто карандашом.

*** На этом рукопись обрывается.

хочется. В сущности говоря — это ведь ложный стыд: я хочу высказать свое мнение публике, а иначе не могу?

Читал Дойса: «Осн<овы> госуд<арственного> права Англии», перечел «Электру» Софокла.

Сегодня кончал разные хозяйств<енные> дела. Мысль, однако, упорно мыслит о произволе — и всюду, всюду встречаешь его. Мне кажется, именно на таких житейских делах и надо втолковать правильные правовые понятия. Не смело ли мечтать мне, не юристу, браться за это <?> Но ведь — раз ясны основы — то остальное не что иное, как логический вывод из них; в этом и красота и интерес юрид<ического> мышления.

Как-то нудно.

¹ Накануне этой записи в «Дневнике» В. И. Вернадский писал жене: «Прочел книгу «Анненков и его друзья». Какая масса роится мыслей, сколько интересного в переписке и очерках о <А И> Герцене. Самые интересные — письма В. <П> Боткина, напрасно их не прочла. У меня много аналогий с кружками нашего времени, но есть существенное и печальное для нас отличие, и вот оно. Мы люди более формы, чем они, т<ак> к<ак> для нас в переписке все лучшее не потому, чтобы мы не могли пропагандировать публично наши мнения, а потому, что не хотели (т. е. «не решились» — какое постыдное и мерзкое слово: для меня оно отравляет воспоминания о всем нашем прошлом); переписка же людей сороковых годов глубоко интересна лишь потому, что цензурные условия того времени вполне мешали иному продвижению мысли. И, м<ожет> б<ыть>, во многом нам будет стыдно, что наша лучшая мысль прошла лишь в переписке да в толках с друзьями. Сравни у сороковиков: какая у них всюду страсть к литературе, как ясно сознание ее необходимости — единственного средства влиять на общественное мнение. Мы перед ними формалисты, Мы «чище» их в жизни — мы много болтали о малых тратах, не пили шампанского, когда могли, не ели роскошных ужинов и т. п. Они все это делали, но они много, много выше нас, потому что мы в узком мировоззрении своем истратили слишком много времени на толки о таких вещах, которые не позволили нам заняться другим (забыли о гигиене мысли)» (письмо к Н. Е. Вернадской от 30 августа 1892 года. — Архив АН СССР, ф. 518, оп. 7, д. 39, лл. 122—123).

Москва. 12 сент<ября> <18>92.

Dickens'a Pickwick ¹ — который раз читаю. Он так успокаивает.

Грубая жизнь с ее грубыми радостями — как семья английского директора, и в то же время всюду, всюду сквозит более глубокое, красивое — то, что дает жизнь. И так всюду — в такой среде особенно ясно. Так у Плавта, Аристофана, Сервантеса — в «народных» произведениях. Это, пожалуй, наиболее сильное доказательство неизбежности прогресса.

¹ Роман Ч. Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба».

16 сентября <18>92.

Сегодня в газетах извещение, что Третьяковы подарили Москве свои коллекции картин. Сохранение таких коллекций — великое благо для народа. Большая радость — новый важный фактор развития прибавился.

21.IX.<1892>.

Утром две лекции — кажется мне, что не неудачны, хотя иные слушатели позевывали. В первой изложил цели кристалл<ографии> (истор<ически>) и выяснил понятие однородности, во второй — о симметрии и теории кристаллов.

Ноября 25<-го>.1892.

Я думаю, есть времена, когда без вреда для самого научного знания нельзя стоять в стороне от кипучих вопросов жизни. Особенно теперь, когда вопросы науки тесно связаны со всем мирозозерцанием и даже с самой техникой жизни.

7 фев<аля> 1893. Москва.

Занимает много меня вопрос: Ведь надо выступать с пропагандой своей идеи, надо убеждать людей изложением своих взглядов и критикой с этой точки зрения других — а не стараться втянуть их, не пугая.

Что это значит — пугать? И не ведет ли это к гибели своих взглядов, к цензуре мысли?

<...> Для меня было новое: это всюду проникновение либер<альных> принципов в социал<истические> теч<ения> Лассалья, Маркса и др<угих> Любопытны указания на отражение прусского госуд<арственного> строя в их теориях. Любоп<ытны> указания на иной ход развития капитал<изма> благодаря развитию компаний и т. п.

Мне кажется, основою всего служить должен принцип демократии в самом обширном смысле этого слова.

Ясно, что можно сплотить, можно оживить русское общество лишь пропагандой и деи. Но идеей этой может быть что-нибудь широкое.— Такова демократия.

Сознание и его значение в развитии человечества. Сознание и личность. Един<ственная> форма общественности при свободе личности — демократия. Это высшая форма с точки зрения разв<ития> сознания.

Напр<имер>, в социализме: общность орудий труда — цель, в демократии: частная мера, если этого пожелает демос — все граждане — при сохранении основной идеи: развития и сохранения личности в демосе. Если этого не будет: не может пройти ни одна мера (так, исключается коммунизм, Staatssocial<ism> в прусской форме и т. п.).

28.II.<18>93.

Целый день встречи с людьми. Какая обильная почва для наблюдений и сколько мыслей Утром был Якушкин¹. Говорили о декабр<истах>, о русской литер<атуре>, о «Русских Ведом<остях>». У отца Якушкина² должен быть значит<ельный> материал по декабр<истам> — он нарочно служил в Сибири, чтобы видаться с ними (будучи юристом, поступил в межевые чины), знал очень многих из них. В кассе, кот<орая> была у декабр<истов>, он был главным заведующим. Родился он после ареста своего отца, деда Вяч<еслава> Евг<еньевича>.

¹ Якушкин Вячеслав Евгеньевич (1856—1912) — общественный деятель, историк, литературовед, внук декабриста И. Д. Якушкина, друг В. И. Вернадского.

² Якушкин Евгений Иванович (1826—1905) — этнограф, юрист.

14 апр<еля> 1893.

Среди полной всяким движением зимы и среди рассеянной жизни, какую приходится вести, мало записывал в эту тетрадь. А между тем, мысль много работает и много дум носится. В сущности говоря, они носят в сильной степени характер самокритики. Отчасти уже чувствуется, что прошла первая пора жизни — уже мне 30 лет, — а между тем, что я сделал, что я могу сделать, так ли построил свою жизнь, как это согласно с основными идеями, которые строят мою личность? Я ясно знаю, как надо многое делать — но не делаю. Теперь прошло почти два года после защиты диссертации — я не написал новой; я ясно сознаю необходимость работы в печати — и ничего не написал и пр<очее> и пр<очее>. Всему причиною — дилетантская лень. Или слабость, в сущности говоря, моего ума, лишь скользящего, фантазирующего? Или слабость воли? Недостаток работности?

Как ясен кругом полный, глубокий антропоморфизм всех суждений. Особенно это чувствуется в обсуждении философских учений в обществе. Есть некоторые методы: примеры, аналогия etc., где это особенно ясно.— Я думаю, например, таковы мнения о наследственности etc. Здесь антропоморфизм самого процесса мысли.

29.IV.<18>93.

Был у нас Л. Н. Толстой — с ним продолж<ительный> разговор об идеях, науке etc. Он гов<орил>, что его считают мистиком, но скорее я мистик. И я бы им быть был бы рад, мне мешает скептицизм. Я думаю, что в учении Т<олстого> гораздо более глубокого, чем мне то вначале казалось. И это глубокое заключается: 1) Основою жизни — искание истины и 2) Настоящая задача состоит в высказывании этой истины без всяких уступок. Я думаю, это последнее самое важное, и отрицание всякого лицемерия и фарисейства и составляет основную силу учения, т<ак> к<ак> тогда наиболее сильно проявляется личность и личность получает обществ<енную> силу. Т<олстой> анархист. Науку — искание истины — ценит, но не Уни<верситеты> etc.

<!..> Толстой гов<орил> о Герцене, кот<орого> брал у нас — кот<орый> на него произвел сильное впечатление («Это треть всей русской литер<атуры>», по его словам) ¹.

¹ Сохранилось письмо В. И. Вернадского Л. Н. Толстому, относящееся к началу 1900-х годов, когда писатель опасно заболел. Оно интересно, в частности, тем, что перекликается с дневниковой записью от 29 апреля 1893 года (к тому же, по всей вероятности, это вообще единственное письмо Вернадского Толстому за все время их знакомства). «<!..> Нам редко приходится видеть Вас, — писал Вернадский, — но мы сохраняем самое сильное и дорогое нам впечатление от всякого свидания с Вами и с глубоким, искренним сочувствием всегда следим и считаемся с мнением Вашим и Вашей деятельностью. Хотя мы во многом придерживаемся других взглядов и мнений, чем какие охватывают Вас, — но не бесследно прошли и проходят в нашей духовной жизни Ваши стремления высказать правду, как Вы ее понимаете. <!..> Мы верим и надеемся, что еще долго дано Вам будет жить среди нас — Ваша мысль и Ваша жизнь так нужна всем, желающим искренно понять Истину, которая Вам так дорога. Ваш В. Вернадский (письмо Л. Н. Толстому от 9 июля 1901 года — Отдел рукописей Государственного литературного музея Л. Н. Толстого) Подробнее о встречах В. И. Вернадского с Л. Н. Толстым и их идейных взаимоотношениях см.: И. И. Мочалов, «Л. Н. Толстой и В. И. Вернадский» («Русская литература», 1979, № 3, стр. 193—203).

1 мая <18>93.

Вечер<ом> Петр<ункевич> — разговор о Герцене, Толстом, националь<о-стях>, христианстве

И Ив<ан> Ил<ьич> против националь<ьных> теч<ений>. А по-моему — это логич<еский> вывод демократии. Вообще, из идеи демократии можно многое вывести.

Христианство, по моему мн<ению>, принцип очень сильный и губительный, т<ак> к<ак> оно рушит сознание, ставя ему рамки и убеждая верующих в его законченности.

8 мая <18>93.

Сегодня в «Рус<ских> Вед<омостях>» помещена совсем дикая выдержка из газет о намерении Мин<истерства> Нар<одного> Пр<освещения> и Синода устроить церк<овно>-прих<одские> школы на земский счет. Даже «Р<усские> В<едомости>» решились указать на незаконность этого постановления<ения>. Между тем, Делянов с Победон<осцевым> ¹ так поступили с воскр<есными> шк<олами>. Брошюра Побед<оносцева>, разослан<ая> в прошл<ом> году во все земства об устр<ойстве> школ грамоты и провалившаяся почти во всех собраниях, достаточно указала настроение земств.

В Москве ожидания царя Масса всяких пригот<овлений>. В городе масса слухов самых разноречивых: говорят, созывается съезд губ<ернских> предв<одителей> двор<явства>, царь объявляет бракосоч<етание> наследника или объявит 3-го сына наследн<иком>; объявит войну с Болгарией и т. д. до бесконечности — а пока масса трат. едут конюхи, лошади, царская кухня etc etc.

Интер<есный> разговор с Ал<ександрой> Мих<айловной> ² о книгах для народа. Она думает начать издания, сперва дешевые etc. Ее также сильно интерес<ует> вопрос о библиотеках, и она ему верит. Любоп<ытны> свед<ения> о кружках и положении рабочих СПб Мануф<актур> (в<оскресные> ш<колы>). Они также переживают религ<иозный> кризис при перемене воззрений. Возможен ли христ<ианский> социализм в России?

¹ Делянов Иван Давыдович (1818—1897) — государственный деятель, в 1882—1897 годах министр народного просвещения. Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — государственный деятель, юрист, в 1880—1905 годах обер-прокурор синода.

² Калмыкова Александра Михайловна (1849—1926) — общественная деятельница; сотрудничала с либеральной интеллигенцией в деле просвещения народа, с издательством «Посредник» И. Д. Сытина, была близка к Л. Н. Толстому, оказывала денежную помощь большевикам. Поддержку А. М. Калмыковой высоко ценил В. И. Ленин, о чем свидетельствуют, в частности, его письма к ней и отзывы Н. К. Крупской (см.: В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 7, стр. 391, 559; т. 46, стр. 227—229, 292—295, 300—302). С середины 1880-х годов В. И. Вернадского связывали с А. М. Калмыковой дружеские отношения.

12 мая 1893.

Сегодня приезд царя. Москва разукрашена флагами, построены аляповатые арки, готовится торжественная иллюминация. В городе масса всевозможных, разнообразных

слухов. Даже такие люди, как литераторы, ученые, верят возможности объявления войны (оккупации) Болгарии¹ (напр<имер>, Гольцев²). В то же время подтверждаются слухи об ударе, бывшем у царя. В городе масса стеснений В универ<ситетских> клиниках, где раньше была комиссия из полиции, шпионов и т. п., запечатаны погребка. С лиц, живущих на Театр<альной> площ<ади>, по Моховой и др<угим> улицам, взяли подписку, что они не будут открывать окна во время пребывания царя, а если хотят видеть въезд, то позволяют лишь под<ответств<енность> домохо<зяина и беря подписку, что в их квартирах не будет никого, кроме них и указанных ими заранее знакомых. По некоторым улицам во все время пребывания царя запрещено ходить с чемоданами, и на вокзалы приходится объезжать издалека. Суд закрыт на все время. Масса войск и множество всяких стеснений. Это все заставляет даже смиренных и вполне «благонадежных» людей быть в это время подальше. Приезд царя вносит много неудобств и стоит стране ой как дорого. А затем чувствовать себя рабом, которым помыкают как угодно! Экскурсия геологич<еская>, назнач<енная> на пятницу, отменяется по соображениям, что это опасно и т. д. и т. д.

¹ В 1880-е — первой половине 1890-х годов установившиеся в Болгарии реакционные режимы в своей внешней политике ориентировались в основном на Австро-Венгрию и Германию, что привело к обострению отношений между Россией и Болгарией. В конце 1886 года были разорваны дипломатические связи между двумя странами. В 1896 году они были восстановлены в результате прихода к власти в Болгарии правительства, более дружелюбно расположенного к России.

² Гольцев Виктор Александрович (1850—1906) — общественный деятель, литератор.

15 мая 1893.

Любоп<ытно> наблюдать теперь людей оппозицион<ного> направления. Они как-то борются, не жертвуя. М<ожет> б<ыть>, в этом и сила, в конце концов, нынешнего положения, т<ак> к<ак> значит<ельные> корни в глуби жизни. В сущности, во всяком движении всегда было так.

...Калм<ыкова> рассказывала, что новое издание ее «Сократа» (изд<ание> Посредника) не позволено. Положение Поср<едника> очень трудно, Сытина также, благодаря цензуре. Сытину было в этом году офиц<иальное> внушение, вследствие доклада Победоносцева царю о вреде его деятельности.

22 мая <1893>.

Читаю теперь много по старой жизни юга России <...> Как-то больно щемит сердце, когда вдумываешься в эти остатки старого быта, старой жизни, которая открывается нам в могилах. Куда все это исчезло? Совершенно ли пропала вся эта жизнь, от которой нам остались одни темные памятники <?>

Чем больше вдумываешься, тем более кажется верным, что самые основы нашей морали неверны, ложны и вредны. Мне кажется особенно вредной мораль моногамии. Здесь любопытные встреч<аются> мнения — н<а>пр<имер>, единобрачие (христиане <...>), моногамия лишь при жизни (напр<имер>, компромиссное христ<ианство>) и т. п. Но стоит только всмотреться в то, какая масса лжи и какая тьма несчастий от этого происходит в жизни, чтобы убедиться в невозможности этого принципа. Да и теоретическое его обоснование непонятно. Этика, мне кажется, в этих делах должна быть чисто субъективной. Я допускаю единобрачие, моногамию и т. п., но не как общее правило, не как выражение чего-то истинного и совершенно не считаю их идеалом. Возможно большая свобода в этих обстоятельствах — лучшая вещь. Страстность, чувственность — не страшна и справедлива — она красива, когда молоды. Нет хуже ипокризиса*. Неясно, отчего чувственность лучше в единобрачии, а она ведь должна же быть. При более правильном устройстве общественных условий и при более сильном развитии умственных интересов исчезнут проституция и разврат — но больше разовьется красивая чувственность. Странно, что в этих вопросах и искренние люди боятся думать.

Вернадовка. 4 июля 1893.

Как сильно отражается на всех философских и научных воззрениях ходячий уровень знаний. В этом, м<ожет> б<ыть>, кроется сущность влияния окружающего

* Ханжество, лицемерие.

общества на развитие мысли, т<ак> к<ак> мысль успокаивается, приведя свои положения к известным общепринятым.

Так, напр<имер>, в понятии «разум», поскольку он определяется философами-метафизиками, кроются представления, связанные с древним уровнем знаний человека и с современными общими представлениями.

Исходя из «разума» пытаются дать выводы, которые были бы истинны и не зависели ни от чего преходящего — не имели бы своим началом то знание, которое добывается нами с помощью переработки разумом добытого нашими чувствами.

М<ожет> б<ыть>, такое понятие о разуме и такое более глубокое знание возможно, но, к сожалению, этот самый разум наделяют некоторыми такими свойствами, которые связаны с известными грубыми представлениями о мире.

Так, выведенные из разума знания считаются истинными, считаются единственными и неизменными. Напр<имер>, выводя понятие естественного права, сторонники этого учения придают своим выводам несколько свойств, которые основаны на таком представлении о свойствах знаний, выведенных из разума. Им вменяется в обязанность быть вечными, неизменными, т<ак> к<ак> они узнаны из разума, вечного, априорно существующего. Но что же это за понятие «вечный», неизменный — как не грубый перенос старых ходячих воззрений на совершенство, которое мы видим в представлении о круге как наиболее совершенной фигуре и т. д.?

Отчего какое-нибудь явление, выведенное из разума, из какого-нибудь источника, более глубокого и чистого, чем то смешанное знание, какое является нам результатом взаимодействия между нашей душой и природой, должно непременно выражаться в таком свойстве?

Если, напр<имер>, все наши знания слагаются из (А) — добытого чувствами матерьяла и (В) — переработки их независимым от окружающего нашим духом — то можно допустить, что сам В может дать нам известные знания, независимые от А. Но отчего допускать, что эти знания, полученные из В, — неподвижны, или единообразно подвижны, т. е., напр<имер>, будут выражаться прямой линией, неподвижной фигурой etc., величиной α , а не будут выражаться $\Sigma\alpha$, где α может принимать разнообразные формы и закон ее изменения также может быть выведен из одного В?

Так, в естественном праве понятие о правах может быть не неизменное, а изменяющееся по своему существу и способное принимать известную форму во времени и пространстве. Это лишь гипотеза — неизменность в неподвижность понятия априорного. В основе ее лежит тот уровень знаний и их идеала, когда наши представления о движении и его законах не вошли в плоть и кровь.

6.VII.<18>93.

Говорят, что философия представляет из себя особую форму познания — более глубокого и широкого, чем то дается наукой. В таком случае: 1) <...> научные истины должны быть добываемы и в философских измышлениях помимо науки, 2) не должно быть грубых ошибок философских воззрений и 3) должны быть исходные основы и философии и науки различны. Однако относительно 1 — у нас почти нет ни одного такого примера, и философия, в сущности, представляет из себя ту область человеческой мысли, где всего рельефнее и сильнее сказывается научное мировоззрение толпы и общества определенной эпохи. Мне кажется, в этом ее сила и значение для развития человеческого сознания. 2) История грубых ошибок философии чрезвычайно любопытна. Особенно интересно бы было сравнить невежество современных русских философов. 3) Если основой философских воззрений является разум — и, исходя из него, возможно познавать мир — то этот мир должен был бы подтверждаться лишь при изучении его иным путем — научным. Скорее всего иное. В основе философии лежит дальнейшее развитие отдельным человеком, нередко великой силы ума, доступного ему или распространенного в известном обществе знания. При этом философ исходит а) или из определенных научных дат¹, или 2) из того матерьяла, который сложился из этих научных дат в обществе и вызвал в нем образование определенных понятий, как души, Бога, разума и т. п. Сила философии — в критике основных воззрений, которые нередко людьми науки принимаются без проверки.

Говорят, — теперь возбуждается интерес к философии. Мне кажется, — виден интерес к религии, — а религия и философия, в сущности, враги по сути, и лишь слабость

мысли наших философов и их рабский дух ставят их в их нынешнее положение. В истории человекской мысли философия сыграла и играет великую роль: она исходила из силы человекского разума и человекской личности и выставила их против того затхлого элемента веры и авторитета, какой рисует нам всякая религия. Одна является попыткой из личности познать сущее, другая берет исторически сложившиеся понятия и исторически выработанные желания и привычки и к ним, как Прокруст к ложу, прилагает человекскую личность и сознание.

¹ Здесь в смысле данных, исходного материала.

19 июля 1893. Керчь.

Это лето я так много, много думал, так много выяснялось с разных точек зрения, как почти никогда. И в то же время я так ясно сознаю и сознавал, как мало я в состоянии ясно и определенно выяснить то, что ясно чувствую, и еще меньше могу доказать.

Не спится сегодня, и хочу я без порядка набросать кое-какие мысли из пережитого последние дни.

§ 1. Тяжело у нас живется — тяготит нередко бессилие, тяготит гнев, тоска берет гляючи, как все совершается. И тяжело не потому, что предпринимается ряд мер, которые вредят всему самому дорогому, что мало творится хорошего, — а потому, что мало видишь энергии, мало видишь борьбы за все доброе, хорошее — борьбы не фальшивой, а настоящей.

§ 2. Нередко приходится слышать: Что делать? Как бороться с окружающим мраком? Нельзя бороться — мы бессильны, не на кого опереться, нет таких общественных слоев, а без общестественных слоев не может быть борьбы и т. д. Все это праздные, вредные вопросы, — они пускают общественную мысль на скользкий путь — на путь, который всяческими софизмами приведет нас к разным состояниям: или к состоянию маленького дела, или к состоянию одних экономических благ, или к состоянию художественного наслаждения, к абсолютизму, к чиновничеству, к чревоугодничеству в разных его утончениях и грубостях — как в виде цинического служения нашему правительству с ложью в сердце и на устах, или же в виде более изящного отделения своей умственной жизни от окружающей среды и разделения того, что хотя и истина, но не пригодно «пока еще» плебсу — этот самый злостный, мерзкий аристократизм, ведущий точно так же к разделению окружающей действительности и идеала и этим самым позволяющий в окружающей жизни всю мерзопакость, которой нет места в созданном (хотя и поневоле буржуазном — ведь мысль в оковах жить не может!) себе идеале...

Когда никто ничего не знает, когда кругом колебание и разброд, когда нет ясных и определенных сил и нет общественного стыда и понимания в обществе — бессмысленны все вопросы о том, что делать для прямого принуждения правительства поступать целесообразно в интересах прогресса и России. Первым делом, надо создать общественный стыд и общественное понимание. Главным образом, даже общественное понимание, так как стыд всегда будет, когда видно будет, что все понимают и многие говорят тебе истину о твоём поступке, который не спасают софизмы...

§ 3. Это понимание должно быть создано, к нему должны быть направлены все наши силы. Понимание того, как должна быть устроена жизнь человека, и того, какими последствиями и из каких принципов исходят предлагаемые или совершаемые меры по отношению к человеку. Я нарочно употребляю слово человека, а не людей — так как из последнего более общего понятия (любопытно проследить процесс образования этого еще не вполне выработанного обобщения: «люди») можно сделать любопытный эквилибр<истический> скачок в сферу социально-рабских мнений.

§ 4. Я сразу чувствую, что мне могут возразить, что я предreshаю вопрос, что я 1) допускаю, что наше общество («интеллигенция») сильно и способно привести к улучшению правительства в России и 2) что я как бы придаю основное значение в общественной <жизни> разумным поводам человеческой деятельности, тогда как возможно, что эти самые разумные мнения etc. являются простым следствием известной среды, внешних условий, экономич<еской> жизни и пр<очее> и что течение жизни от них мало или вовсе не зависит. Признаюсь, мне ничего не стоило бы прийти к тому же самому выводу при существовании связи с этими обеими причинами, так как первый довод кажется мне основанным на недоразумении, а второй имеет фактическую силу лишь пока он не применим до конца, а когда его применят до конца,

то он сказывается не чем иным, как пустой тавтологией*. Это есть лишь удобный прием науч<ого> исследования. Но здесь нет надобности в доставлении доказательств этим моим положениям, т<ак> к<ак>, я думаю, можно вывести эту мою мысль из иного общего положения.

Более общо, чем эти два основания, следующее положение: несомненно, мы хотим и говорим о разумной, рассуждающей деятельности человека. Несомненно, такая рассуждающая деятельность возможна лишь тогда, когда есть средства разумом вывести правильное действие человека. А это возможно лишь при условии существования в среде, где он живет, — понимания идеала, постоянного сравнения этого идеала с окружающими мероприятиями. А потому понятно, что это необходимо даже при предположении о бессилии общества и при сознании образования мысли лишь под влиянием «экономических законов». Я думаю, наконец, что только в этом заключалась всегда основная суть всякой политической борьбы, т<ак> к<ак> политическая борьба есть всегда в основе своей стремление сознания строить внешнюю жизнь людей по своему идеалу.

20 июля <1893>. Вторник.

§ 5. Без такого понимания невозможна деятельность правильная ни правительства, ни правильная политическая борьба какой бы то ни было группы лиц, видящих губительность и вред для государства существующей правительственной организации и деятельности. Если в обществе нет такого понимания — то первым делом этой группы лиц должно быть неуклонное стремление вызвать такое понимание.

Это нечто иное, чем организация общественного мнения. Под существованием общественного понимания в стране я разумею такие условия жизни в ней, когда 1) Или существует много граждан, ясно сознающих вред и беды, вызываемые существующим правительственным строением — так что всюду и везде на таких граждан приходится наталкиваться и они на мелочах жизни дают всем и каждому возможность уразуметь правильный выход из существующего положения. В конце концов ими сложится общественное мнение, и 2) Когда в стране существует возможность всякому составить себе правильное понятие о существующем строе и выяснить себе, как<ова> должна быть жизнь человека, каковы меры к улучшению существующей жизни, что делается и к чему приводит то, что делается. Эта возможность легко и всюду составить себе мнение должна заключаться а) в существовании основной литературы, в) в ее общедоступности и с) в постоянно выходящих указаниях того, как те меры, которые принимаются, отразятся на правильном государственном устройстве. В конце концов все это приведет к образованию значительного количества граждан и к образованию общественного мнения. Иногда же этот процесс идет необыкновенно быстро и сама вторая часть общ<ественного> понимания заменяет собою несуществующее общественное мнение, т<ак> к<ак> страх перед возможностью разоблачения, общественный стыд ею вызывается и может служить сильною уздой и сильным поводом к уступкам со стороны власть имущих. Во времена революций, у нас в конце 50, начале 60-х годов и т. д., мы видим примеры подобного рода влияния. Человек с каждым годом получает все большую возможность такого влияния, и небольшая группа лиц в состоянии этим путем достигнуть многого.

§ 6. Рассматривая существующие в России условия, мы видим, что в ней нет ни общественного мнения, ни обществ<енного> понимания. Очевидно, что в ней и не может быть правильной деятельности правительства и настоящей борьбы с ним граждан, понимающих и сознающих, какова должна быть деятельность правительства, каков идеал человека и к чему ведет то, что совершается.

§ 7. Долго было бы доказывать, что без этого невозможна правильная деятельность правительства. Я здесь приведу лишь некоторые соображения, заставляющие так думать. Под правильной деятельностью правительства я буду подразумевать такую деятельность, которая всегда и исключительно исходит из поводов общего блага и которая несет в основе своей сохранение за каждым гражданином права рассуждать и действовать согласно своему разуму, когда эти действия не являются безусловно вредными для общества или других отдельных граждан. Такое определение правильной деятельности правительства может многих не удовлетворить и многие, не приняв его,

* Это очень аналогично решению некот<орых> уравнений, которые приводят к неопред<еленному> решению, если не будет сделана остановка в мысли по дороге. (Прим. В. И. Вернадского.)

не примут, конечно, и всех остальных посылок. Но для меня такое условие правильности правительственной деятельности представляет основное, самое глубокое, положение. Оно исходит из того, что 1) государство существует для граждан, а не граждане для государства. Следовательно, основным мотивом деятельности государства может быть лишь какое-нибудь основное требование человеческой личности (почему я считаю глубоко вредным употребление слов «общее благо» — хотя бы правильный анализ этого понятия и привел бы к тому же, что я говорю. Но правильный анализ обыкновенно не делается, и под общим благом проникают всякие вредные течения). Таким основным требованием являются так называемые права человека, которые, в сущности, все могут быть сведены к одному — к признанию в человеке неотъемлемым основным — сознание и разум его, которые должны развиваться и усиливаться в государстве. Другим основным положением для меня является <то>, что* государство составляет собрание людей, обладающих самой широкой возможностью вырабатывать в себе сознательность к окружающему, развивать свой разум и действовать соответственно своему разуму и что правительство, каково бы то оно ни было — монархическое, республиканское, etc. (очевидно, в конце концов наиболее удобная — республиканская форма) есть лишь ставленник граждан и должно, следовательно, постоянно действовать при их участии и их контроле. Оно не должно выделяться как нечто особенное (помазанник-царь, диктатор, ставленный волею «всего» народа etc.) из среды государства.

Отсюда истекает то определение правильной деятельности правительства, которое мною выставлено в этом §.

§ 8. Очевидно, такая деятельность возможна лишь при существовании в стране общественного понимания. Так, правительство не может исходить из корыстолюбивых каких-нибудь личных (тираны, русское чиновничество etc.), семейных (русский царь) и т. п. мотивов, если граждане понимают или, вне его власти, каждую минуту способны и могут понять его поступок. В этих мотивах правительственных поступков можно различать 2 типа, которые указывают на необходимость разного состояния общественного понимания. Первую группу представляют поступки более благородного характера, которые не оправдываются лишь при нашем понимании государства. Напр<имер>, присвоение государственного добра в царскую личную казну (Мервский оазис, многочисленные удельные имения, устроенные из государств<енных> земель etc., — масса самых разнообразных форм этого общего положения — вроде серебра, валовой доход с которого идет в уделы, а расход по обработке ведет государство и т. п.), царские указы, лишающие добрую часть граждан суда, вызывающие всяческие их стеснения (напр<имер>, при проезде царя etc.). Бесчисленное множество таких поступков правительства мы имеем в религиозной сфере (напр<имер>, отнятие детей у штундистов, лишение возможности открытой проповеди и богослужения у сектантов, недозволение оставлять православие, недозволение совершать протестантское богослужение на русском языке и т. п. и т. п.: в сущности, основное — «государств<енная>» религия есть одно из самых глубоких и ужасных проявлений деспотизма). Вторую группу представляет другая сеть неправильных поступков, которые прикрываются ложными мотивами благодаря отсутствию общественного понимания или которые являются простыми мошенничествами, возможными лишь при отсутствии общественного понимания. К 1-й серии принадлежит, напр<имер>, мера, принятая как бы для блага крестьян (торжеств<енные> меры при ее введении, вроде молебнов, торжеств<енных> речей etc.) — институт земских начальников, объявленная «свобода» академического преподавания в стеснительном и безобразном Университетском уставе 1884 года, — масса таких мелочей — напр<имер>, разоряющая крестьян Землетрясенная жел<езная> дорога¹, сделанная в голодный год на фонд общественных работ, и т. п. и т. п. В нашем строе огромное число таких благовидных мошенничеств возможно очень легко, и едва ли найдется много чистых и честных фамилий среди нашей знати. Почти всякая несет на себе большое количество разных прямых или косвенных мошенничеств**. Наконец, понятна и прямая сеть мошенничеств, — как хорошие примеры — биографии великих князей Николая Николаевича (Рыковские

* Это все может быть, впрочем, логически выведено из 1-го допущения (сознание). (Прим. В. И. Вернадского.)

** То же общее почти везде. Но вот отличие: в Англии в общем знают из-за этого себя не продавала — а у нас они низкие слуги и только часто это и делают. (Прим. В. И. Вернадского.)

векселя), Константина Никол<евича> (флот)², Вышнеградского³, Коцебу⁴, расхищение Уфимских и Черноморских земель etc. etc.

§ 9. Очевидно, общественное понимание должно иначе относиться к этим различного рода поступкам и должно иначе бороться против всего этого.

Первая группа неправильных поступков правительства основана на борьбе принципов. И против нее надо бороться, борясь против самого принципа, который ее оправдывает. Но важно в общественном понимании иметь перед глазами другое, а именно то, во что обходится режим при другом принципе народу и каждому отдельному гражданину. Для этого надо ясно помнить, что это все не случайность, а есть прямой и необходимый вывод из управления при таком основном принципе. Дело граждан, зная все это, стоять «за» или стоять «против» такого принципа.

Совершенно иное при борьбе с простыми и прикрытыми мошенничествами — никаких различий в принципах тут нет, а надо лишь раскрывать ложь и делать явным тайное.

Но пока общественного понимания нет, деятельность правительства или вследствие принципиальных различий, или вследствие мошенничеств — тайных и явных — всегда будет неправильной, т<ак> к<ак> единственной уздой ему может явиться общественное понимание.

Уже не говоря о том, что вред вследствие принципов устройства правительств<енной> власти только этим путем может быть создан — существование обществ<енного> понимания заставит и скверную общественную машину работать лучше, выбросив простые и скрытые мошенничества. Оно заставит также реже пользоваться такими средствами и допускать такие действия, которые оправдываются в правительстве принципом его существования, но вредны для государства. Так сложилось глубокое различие между правами и их использованием в Англии.

Когда же общественного понимания нет — немислима и правильная деятельность правительства.

§ 10. Так же мало мыслима при этом и правильная борьба с правительством и замена его правительством, устроенным на другом принципе.

¹ Дорога получила свое наименование по названию поселка Земетчино, расположенного на железнодорожной линии Кустарёвна — Вернадовна.

² Романов (Старший) Николай Николаевич (1831—1891), Романов Константин Николаевич (1827—1891) — сыновья Николая I, занимали ряд высших постов в армии и государственном аппарате.

³ Вышнеградский Иван Алексеевич (1832—1895) — ученый-механик, почетный член Петербургской Академии наук (с 1888 года). В 1888—1892 годах занимал пост министра финансов; проводил политику усиления налогового гнета и форсирования разорительного для крестьян хлебного экспорта, ставшего одной из причин голода начала 1890-х годов.

⁴ Вероятно, имеется в виду Павел Августович Коцебу, один из двенадцати сыновей неизвестного Августа Коцебу (1761—1819); занимал должность генерал-губернатора в Одессе и Варшаве, в 1874 году удостоен графского титула.

Пароход между Керчью и Ялтой. 20.VII.<18>93.

Это мне кажется так ясно, что, м<ожет> б<ыть>, не стоило бы и писать. Однако, с другой стороны, обыкновенно это все самое ясное и служит источником всяческих софизмов, т<ак> к<ак> мысль людей мало задумывается над такими вопросами по их кажущейся ясности.

Очевидно, всякая борьба с правительством возможна лишь в среде, которая является сочувствующей и сознающей то, что происходит. Это и есть такая среда, в которой существует общественное понимание.

Сама борьба в сильной степени состоит в критике всего, что делается, с точки зрения основных принципов борющейся группы.

Карабаг. Июля 22<-го> 1893.

Очевидно, не может быть никакого результата, если количество лиц, идущих на известное дело, будет постоянно уменьшаться. Необходимо или чтобы число их увеличивалось, или чтобы оно сохранялось неизменным. А то и другое возможно лишь при том условии, чтобы в обществе была ясна происходящая борьба, шло постоянное и неуклонное понимание вечных истин в их применении к обстоятельствам жизни.

Только при явном и определенном выражении основ политичес<кой> деятельности возможна преемственная борьба с правительством. И только тогда выбывшие из строя могут замещаться новыми.

Поэтому, когда дело идет о борьбе не на один год и когда ставится целью не только достижение известного внешнего события, а установление определенного направления в управлении, строго ясной новой политики — является первым и самым необходимым организация в стране общественного понимания.

Без этого всякая деятельность отдельного лица может явиться бесцельной и люди будут гибнуть даром.

§ 11. Итак, без общественного понимания невозможна ни борьба с правительством, ни правильная деятельность правительства. Если в стране нет общественного понимания, оно должно быть создано.

Является вопрос, в каких формах выражается общественное понимание в России? Находится ли оно в таком положении, что позволяет правительству действовать правильно и борьбу с действующим неправильно правительством, или общественное понимание должно быть создано.

Если оно должно быть создано, то, очевидно, именно создание общественного понимания в России и есть то дело, которое представляется <первоочередным> всем мыслящим людям.

Важно уяснить, что именно для создания общественного понимания должно быть сделано.

§ 12. Среди разнообразных течений и довольно богатой литературы о России мы находим относительно мало крупного и ясного.

Движение 18<-го> и начала 19 века — выразившиеся даже в таком прямом событии, как бунт декабристов, — могут дать нам очень мало. Надо обратиться к более новым временам — после и во время реформ Александра II, которые легли сильно и глубоко на нашу жизнь.

15 авг<уста> <18>93.

<...> Наблюдая морскую жизнь, находишь гораздо больше, точно присматриваясь. Здесь ее удивительно много. Особенно ясно чувствуешь установившееся равновесие в этой жизни и как-то больно чувствуешь свое незнание. Вчера поймал целый ряд самых разнообр<азных> раков, рыбок и — не знаешь, не знаешь.

Я никогда не думал, чтобы на берегу была такая обильная жизнь. Здесь берег покрыт сплошь огромными и мелкими валунами, камнями. В большое волнение <моря> (так <было> и недавно) они перекатываются, изменяются. Слышишь тогда, кроме шума волн, грохот от движущейся громады камней. В зимние бури передвигаются камни в сотни пудов весом. И среди этих камней богатая жизнь водорослей, среди них многочисленные моллюски, <...> раки — крабы, креветки, раки-отшельники, актинии, нередки медузы; два сорта мелких рыбок — одни присасываются к нижней поверхности камней, другие держатся на плавниках по камням и ползают по ним. А приплывают посторонние пришельцы — камса, кефаль, медузы — <появляется> масса бакланов на камнях, вдающихся в море. А мелочи сколько!

Так страстно хочется одно какое-нибудь лето посвятить изучению жизни моря, пожить около какой-нибудь станции. Так сильно чувствуешь недостаток этого образования. В жизни Земли орган<ическая> жизнь моря — самое важное¹.

¹ Проблемам минералогии, геохимии, биогеохимии, живого вещества Азовского и Черного морей, Мирового океана в целом В. И. Вернадский впоследствии посвятил большую серию исследований.

17 авг<уста> 1893.

Я думаю, что социализм строит свои теории на основании изучения тех явлений, какие произошли в экономич<еской> жизни за последние 70—80 лет. Он исходит из предположения, что так же будет и дальше. Между тем, такой вывод совершенно не обуславливается наблюдаемыми фактами. Расширение капиталист<ического> производства является до известной степени следствием введения пара etc. Что будет, когда легко будет применять даровые огромные очаги энергии, как ветер, морской прибой, когда разовьется электричество, когда передача силы на расстояние станет чрезвычайно доступной. Мне кажется, что очень многое из ближайших социал<истических> реформ проводится логически и правильно демократическими радикальными партиями, но отличие их от социализма то, что они исходят из признания значения личности, неприкосновенности свободы. А социализм основан всегда на подчинении личности благополучию (эконом<ическому>) большинства.

В мелочах жизни проявляется идея, которой живет масса. В эпохи религиозных волнений или широко развитой демократии идея гармонической красоты своеобразно проявляется во всей обстановке (Возрождение в Зап<адной> Евр<опе>, готический стиль, греческая жизнь). В меньшей степени то же происходит всегда. Это вполне аналогично созданию народной песни, музыки, сказки.

Прочел очень малосимпат<ичную> статью Фаресова об Энгельгардте («В<естник> Е<вропы>», 1893¹). Как в тумане у меня мелькает воспоминание о знакомстве с ним, когда я изучал Рославльские фосфориты. Работа эта была сделана мною плохо².

В общем, оригин<альная> личность А<лександра> Н<иколаевича> верно выражается у Фаресова — с ее гордостью, самомнением, остроумием и житейским умом, с болезненной надломленностью. Энг<ельгардт> — большая сила, погибшая среди русских политич<еских> условий, — он не дал и малой доли того, что он мог и что должен был дать. И он постоянно жалел об этом прошлом. Даже его эконо<мическая> деятельность сложилась печально: иное бы сказал и иное бы сделал он, если бы его судьба дала ему имение не в Смоленской <губернии>, а в черноземной полосе России.

Я думаю, — он был прекрас<ым> профессором. Я помню до сих пор иные простые приемы исследования фосфоритов, какие он мне показывал. Помню его самоу<веренность>, огонь, блеск его демонстраций и сравнений в простой, незатейливой обстановке Батищева.

Он любил и постоянно много о себе рассказывал. Из его рассказов припоминается мне, что он говорил, что «Письма из деревни» много обязаны <М. Е.> Салтыкову <-Щедрину> — что тот массу вычеркивал и перечеркивал, и по этим исправлениям Энгельг<ардт> учился писать. Он с горечью сравнивал отношение к нему «В<естника> Е<вропы>» (даже в ден<ежном> отн<ошении>).

Я помню его в СПб. в 1887 или 1888 г<оду>, когда он был в СПб. Он тогда надеялся на многое — перед ним, казалось, открывалось блестящее поприще, но так же безжалостно и грубо русская бюрократия была его. Все эти Ермоловы и tutti quanti³ ухаживали за ним, боялись его и старались, в сущности, не дать ему настоящей возможности делать дела. Он хотел быть агроном<ическим> инсп<ектором> в Смол<енской> губ<ернии> — но оказался для этого неблагонадежным.

Я думаю, что для такого самолюбивого человека никогда нельзя было оправиться от того, что дали посл<едние> годы <его жизни>: он был поставлен в известные рамки и должен был пойти по колею, чтобы быть в состоянии делать немногое. А все мечты <...> разлетелись. Он стал пить больше, чем раньше.

После долгих лет уединения он получил еще большую славу, чем своими «Письмами из деревни». Он затронул тот вопрос, который, казалось, являлось выгодным знать и всем русским помещикам. Он, следовательно, являлся как бы нужным государству, в котором на первом месте правительство ставит интересы дворянского землевладения; но даже и здесь политич<еская> неблагонад<ежность> явилась камнем преткновения. Энгельгардт — тип политич<еской> и обществ<енной> л и ч н о с т и, — а таким личностям нет места в нашей жизни.

Вспомнился мелкий рассказ его из жит<ейской> его практики. Рабочие стали говорить о святой воде, которой поп усмирал разъярен<ного> быка. В известный день скотину кропят святой водой — поп решался входить в помещение, где помещался бык, не подпускаящий <к себе> людей, и благополучно кропил его, указывая на силу святой воды. Словам Энг<ельгардта>, что тут дело не в святости воды, не верили. А<лександр> Н<иколаевич> велел принести лохань помоев, несмотря на увещания — велел открыть помещение быка и три раза окропил его. Бык не двинулся с места: он был поражен неожиданным прикосновением холодной воды — поп знал это и этим пользовался.

Этот грубоватый анекдот несколько рисует личность А. Н. Энг<ельгардта>.

У меня всегда больно на душе, когда вспоминаешь, как много сил губится на Руси, — как мало личность дает того, что в ней есть. Какой мартиролог — наше время!

Энг<ельгардт> рассказывал, что его выслали в 1871 <году> за то, чего он не делал. И это особенно приводило его в негодование.

¹ Энгельгардт Александр Николаевич (1832—1893) — публицист, химик, агроном, автор известных «Писем из деревни». Статья А. Фаресова «Воспоминания об А. Н. Энгельгардте» была опубликована в седьмой—восьмой книгах «Вестника Европы» за 1893 год.

² С А. Н. Энгельгардтом и его сыном В. И. Вернадский познакомился летом 1887 года во время командировки от Вольного экономического общества в Рославльский уезд Смоленской губернии с целью изучения залежей фосфоритов.

³ Прочие (лат.).

Москва. 17 сент<ября> <18>93.

Сегодня две лекции. Много вдумывался в основы кристаллогр<афии> — особенно в то, что вносится в наши представл<ения> о материи путем классификации физических сил.

13 окт<ября> 1893.

До сих пор наст<оящим> образ<ом> лабораторно не занимался, но все выясняется больше и больше план работы, которую надо произвести для решения вопроса о полиморфизме. Хочется написать, и много думаю и над статьей о Coll<ege> de Ft<ance>, и вообще <о> высшем образовании. Болезненно чувствуется ненормальность постан<овки> образ<ования>, и мысли о нем в наших Универс<итетах>¹. Я ясно чувствую, что и в этой области я буду иметь настоящий авторитет и правильно образуется мое суждение, лишь когда я сам стану больше на ноги в эксперим<ентальной> обл<асти>.

Мысль давно так не работала в научн<ой> обл<асти>, как в этом году. Неужели опять ничего не сделаю! Много читаю и старат<ельно> пополняю пробелы своего образования во всех областях физ<ико>-хим<ических> знаний.

¹ Впоследствии проблемам высшего, университетского в том числе, образования в России В. И. Вернадский посвятил много статей и очерков.

Москва. 5 янв<аря> 1894.

Разговор с Ник<олоем> Вас<ильевичем> Ковал<евским>.

<...> На меня произвело сильное впечатление указание на роль веч — этой Plattform необходимой демократич<еской> основы. Я глубоко верю в то, что русский — великорусский и украинский — мужик даст настоящую, цельную демократию. Вече — это Plattform среди коренного крестьянского населения.

19 янв<аря> 1894.

Утром свел счета по благотвор<ительному> (голод<яющим>) кружку с Ф. <Ф.> Эрисманом¹.

Осматривал клинику Эрисм<ана>. Меня поразила прикладная сторона всех этих работ: м<ожет> б<ыть>, это свойство гигиены, которая представл<яет> скорее не науку, а свод разнообразных сведений по текущей жизни в связи со здоровьем. Любоп<ытны> были термостаты, кот<орые> думаю завести для кристаллизаций: в прошлом году по незнанию этого простого аппарата много потерял я времени. У Эрисм<ана> интересна коллекция голодн<ого> хлеба за 1842—<184>3 <годы>. Она была на выставке в СПб.: при посещении ее царем эти хлебы приказано было убрать!

<...> Миклаш<евский>² окончил свою диссертацию. Как картина нравов: он не решился привести некоторых актов, где упоминалось о мощах Иисуса Навина, Ильи Пророка и пр<очих> <...> Цензура в этом отношении очень сильна. Сборник Токмакова — описание монастырей etc. — задержан года два назад, т<ак> к<ак> в нем упоминается о разных несуществ<ующих> иконах и т<ому> под<обное>. Я помню разговор с Милоковым³, кот<орый> указывал на чрезвычай<айные> трудности научно излагать историю церкви в России. Одно время в Акад<емии> <наук> бы-

ло течение более относительно критическое — но теперь вновь наблюдается обратное, и один из самых видных (Голубинский⁴) представителей этого направления отрекся.

¹ Эрисман Федор Федорович (1842—1915) — ученый-гигиенист и организатор санитарной службы в России; в 1879—1896 годах работал в Москве.

² Миклашевский Александр Николаевич (1864—1911) — экономист, в первой половине 90-х годов приват-доцент Московского университета.

³ Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — общественный деятель, историк и публицист, с 1886 по 1894 год приват-доцент Московского университета.

⁴ Голубинский Евгений Евстигнеевич (1834—1912) — историк русской церкви, академик Петербургской Академии наук (с 1903 года; член-корреспондент с 1882 года).

25 янв<аря> <18>94.

С Наташей был на выставке картин Моск<овского> Общ<ества> Худ<ожников> — пейзажи, да еще весна и осень ранняя преобладают. Сил на одновременное развитие всех сторон живописи у нас, верно, не хватает, т<ак> к<ак> публика слишком мала для художников. Мало кто покупает хорошие картины. Иные стыдятся, как роскоши вредной и для народа разорительной. А между тем, только этим путем пока может развиваться художественный гений народа и только так неизмеримо много может создаваться. Я глубоко убежден, что одна Третьяковская Галерея сделает больше для развития свободного человека, чем тысячи людей. Среди картин преобладает еще nature morte <...>. Мне иной раз кажется, что сюда начинают идти девушки Достаточных семей, т<ак> к<ак> вообще у нас наблюдается усиление художеств<енного> образования (в ущерб идейному?) среди достаточного «консерв<ативного>» класса русского общества. Художниц много. Из картин мне понравились некоторые пейзажи Левитана (который мне кажется удивительно неровным художником — то высокоталантливым, то сильно шокирующим), Киселева, Поленова. Но выходящегося нет ничего. Наташе, любительнице осени, понравился очень Поленов.

7 июня 1894. Вернадовка.

В последнее время у меня был целый ряд споров, связанных с коренными вопросами мирозерцания. Я попытаюсь набросать ту точку зрения, которой я придерживаюсь, которая мне кажется правильной. Сделать это страшно трудно, потому что как только начинаешь приводить свою мысль в словах, тотчас же она теряет часть того, что в ней заключалось, т<ак> к<ак> словами нельзя передать всех оттенков мысли, часто очень важных и очень существенных. Иногда даже кажется, что все главное заключается в этих оттенках, т<ак> к<ак>, поняв оттенки, поймешь и то, что сказано логическими символами.

Очевидно, исходя из основного положения: cogito ergo sum¹ — можно сказать, что основным определяющим моментом является сознание своей личности, выражающееся в чувствах, в мысли. Старый вопрос о существовании окружающего нас мира может быть поставлен различным образом: 1) действительно ли существует что-нибудь вне меня и 2) та правильность, которая открывается в природных процессах, есть ли действительное доказательство цельности мира, вселенной.

¹ Я мыслю, следовательно, я существую (лат.).

26.IX.<18>94.

Письмо от Федора¹ об экон<омических> меропр<иятиях>. Опасность устройства и усиления бюрократии несомненна. Людей на местах нет. <Это происходит> лишь благодаря устройству госуд<арства>, которое состоит в том, что многие остаются в стороне. Сила местности у нас сведена до minimum'a благодаря госуд<арственной> политике своего рода: в земстве права minim<um> — то же везде и всюду. Можно добиваться лучшего устройства, только исходя из идеи самоуправления и уверенности, что раз народ исторически силен — люди есть.

<...> Янж<ул>² рассказ<ывал> о синдик<атах>, которым предсказывает великую будущность и считает <их> необход<имым> и важным фактором прогресса. Любоп<ытно> с этой стороны заблуждение многих наших социал<истов>: легче-де потом отобрать государство. Точно не будет изменения по существу! Очень

многие довольствуются подобными дешевыми формулами. Я слышу этот взгляд постоянно — <от> Корнилова³, Кауфмана⁴ и т. д.

¹ Ольденбург Федор Федорович (1861—1914) — общественный деятель, педагог, брат С. Ф. Ольденбурга, друг В. И. Вернадского.

² Янжул Иван Иванович (1846—1914) — экономист и статистик, с 1876 года профессор Московского университета, академик Петербургской Академии наук (с 1895 года).

³ Корнилов Александр Александрович (1862—1925) — общественный деятель, историк, друг В. И. Вернадского.

⁴ Кауфман Александр Аркадьевич (1864—1919) — общественный деятель, экономист и статистик.

28.IX.<18>94.

Странная Москва. Несмотря на всю непривлекательность здешнего литер<атурного> и обществ<енного> мира, в теперешнем историч<еском> моменте здесь сила интеллигенции: т<ак> к<ак> здесь нет канцелярий и департаментов, которые захватывают в свои щипцы молодежь знания и труда и заставляют ее работать для своих гаденьких и вредных «государств<енных>» делишек. Здесь интелл<игенция> стоит в стороне — или в связи с оппозиционными течениями, или в связи с провинциальным бюрократизмом, который если <и> идеен, <то> менее вреден, чем идейный бюрократизм С.-Петербург<а>.

Предлагал и Кауфману вопрос, который я ставил Струве¹: есть ли хотя бы одна реформа в царствование Алек<сандра> III, которая оправдывала бы работу хороших людей (<...> Туган-Барановский² и прочие) и прочие. Он ничего не мог привести. Говорит, что сильно теперь колеблется — не уйти ли. Думает, что погибнет в борьбе против водворения частного землевладения в Сибири. (А это посла<ежнее> несомненно, т<ак> к<ак> в числе чающих являются Уделы и кто-то из великих князей.)

Как-то всей душой чувствуешь весь ужас бюрократии и опасность работы там и для нее.

У нас много людей, но вся жизнь поставлена так, чтобы люди не могли, по возможности, в ней работать (земство, город и т. д.). Оно и понятно, т<ак> к<ак> в нем, в этом основа и суть регресса в живо й стране.

Кауфман указал на плюсы при работе в канцеляриях: не допускать некоторых гаостей. Так, он назвал: лесное дело в Сибири, меры против общины и тому подобное.

С Батюшковым³ длинный разговор о задачах ист<ории> литер<атуры>. Любопытен теперь скепсис в позитивном методе в истории — со стороны историков литер<атуры> и филологов, и восторги в позитивном методе со стороны историков-материалистов.

Очень интересно письмо Федора <Ольденбурга> о задачах: нар<одно> обр<азование>, а не эконо<омические> реформы. Те создадут лишь чиновничество. Много верного, но основная мысль едва ли <верна>: он основывается <на том>, что людей у нас нет, а я считаю, что людей у нас не пускают.

¹ Струве Петр Бернгардович (1870—1944) — общественный деятель, экономист и философ, академик Российской Академии наук (с 1917 года).

² Туган-Барановский Михаил Иванович (1865—1919) — экономист, историк.

³ Батюшков Федор Дмитриевич (1857—1920) — историк литературы и критик.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. РОДНЯНСКАЯ



НАЗАД — К ОРФЕЮ!

Еще не готовые к встрече,
но годные к убыли мерной...
Иван Жданов.

Неужели на этот же берег
когда-то ступил Орфей...
Николай Кононов.

В литературе, как и в жизни, есть области болезненные, воспаленные, вторжение в них мучительно и для пишущего и для тех, кто становится предметом описания. На мой взгляд, такую именно зону — чуть ли не самую обширную — представляет поэзия дебютантов последних пяти — семи лет. Это огромная пересеченная местность, это сумма нескольких поколений сразу, начиная с тех, кому сильно за тридцать, и кончая теми, кому едва исполнилось двадцать, — так что между людьми единой литературной отливки возможны, кажется, возрастные отношения родителей и детей. Это, наконец, литераторы различного статуса, среди них — и прочно вошедшие, и входящие, и протискивающиеся, и все еще стучащиеся в закрытую дверь, читающие свои стихи где и когда придется. Но это именно одна поэтическая генерация, с общностью социальной судьбы и духовного строения.

Итак, поэты-«восьмидесятники». Люди сейсмографической (ведь поэты же!) чувствительности, сформированные пересечением двух кризисных исторических линий: застоём, приходящимся на годы их юности (когда-то было в ходу слово «безвременье»), и изломом художественного сознания, начавшимся вместе с нашим веком и отнюдь не залеченным к его концу. Первый процесс разлучил их с самими собой; ведь главная печать безвременья на человеческой душе — утрата чувства самостояния, внутренней власти над обстоятельствами, даже если оказываешься в положении их жертвы. А второй процесс часто разлучает их с читателями, то усыпляет

мыми подделкой под прошлое, то ускорбляемыми скандалезностью вывертов, то недоумевающими ввиду замысловатости, которой облечено даже искреннее слово. Не знаю, вполне ли понимают сами наши «восьмидесятники», на каком историческом перекрестке распяты их дарования; они иногда думают, что все зло — в издательских планах, тиражах, в бюрократических препонах на пути к ожидаемой профессионализации, в равнодушии старших поколений, ответственных за организацию литературной жизни, в беззвучии, которое окружает их по вине общества. Вина, конечно, есть. Но характерно: даже когда тем или иным из новой волны удается с помощью критических звукоусилителей сильно напуметь, ощущение беззвучия, заговора молчания все равно их не покидает. Звук гасится изнутри, а не снаружи.

Кстати, о звукоусилителях. Критика идет впереди новейшей поэзии с плещущими стягами, медноголосыми трубами, устрашающим громом трещоток (об этом уже писалось в статье А. Шаталова под метким названием «Война мирков» — «Литературная Россия», 1987, 20 ноября). Между критическими группами «авангардистов» и «традиционалистов», возглавляющих соответственные поэтические отряды, завязываются схватки, способные развлечь любителей происшествий куда больше, чем чтение стихов. Имена, репутации передвигаются и сталкиваются наподобие оловянных солдатиков: Карпец против Коркия, Поздняков против Поздняева, Лапшин против Жданова, Н. Дмитриев против Еременко, Ханадеева против Кудимовой (или наоборот, если, к примеру, глядеть не со стороны Л. Баранова).

вой-Гонченко, высказавшейся в журнале «Москва», а со стороны В. Шохиной в журнале «Октябрь»). Когда новое лицо не встраивается в чей-то боевой порядок, оно попадает в разряд неупоминаемых, рискуя стигнуть в нетях. Нас приучают реагировать на козыри имен, на препариованные ключья цитат, а не на поэтическую речь.

Можно бы вступить в эту войну поименных списков с собственной грамоткой в руках — ну хотя бы вписав в нее тех, кто печатался последнее время на страницах «Нового мира», а в «чужие» обоймы, кажется, не попадает: имена Ольги Постниковой, Марии Аввакумовой, Сергея Надеева, Валерия Трофимова, Алексея Машевского, Юрия Кашука. Но меня нимало не прельщает роль третьей силы в литературно-критической «геополитике». Скорее укрепляется желание взглянуть на ситуацию со стороны. И вот что тогда замечаешь. Если двадцать пять — тридцать лет назад громкие репутации, зарождавшиеся, скажем, под сводами Политехнического, создавались при прямом противодействии критики (что, конечно, тоже не сахар), то сегодняшние именная фавориты прямо-таки спущены критиками враждующих направлений на читательские головы. Сколько ни проводи аналогий между «эстрадной» славой «шестидесятников» и предполагаемой известностью сегодняшних «ироников» или «метафористов», в последней, если она действительно имеет место, доля стихийности минимальна, доля рекламы и антерпризы весьма высока. То же — на другом краю литературной диспозиции: слава Николая Рубцова слагалась как читательская, ненаправляемая (хотя критика много и достойно потрудились над истолкованием и посмертным собиранием его стихов); известность же Виктора Лапшина, от которого, как уверяют нас, веет духом «древних славянских пророков», — насквозь организованная, внедряемая в читателей извне.

Что дебютантами манипулируют, лишая их художественной сосредоточенности, затрудняя им уразумение собственного пути, — это еще полбеды. Беда в том, что подобные военные действия в своей совокупности создают иллюзию богатой и бурной литературно-поэтической жизни на новом ее витке. Дескать, крылатый конь поэзии резв и бодр, вопрос лишь, в чью сторону направляет он полет. Одна из противных сторон всегда в распадае, зато другая — в седле, а вместе с нею и новейшая поэзия в целом. Здесь разница позиций только подчеркивает их симметрию.

Скажем, «тоталитарии» поэтической кри-

тики вроде Барановой-Гонченко норовят всюду расставить запретительные знаки и даже появление в стихотворной строке «стирального порошка» обличают как недозволённый эксперимент не только в эстетике, но и в морали. Напомню, однако, «Стирку белья» Заболоцкого с неестественными упоминаниями о «мыльной воде» и «потном теле» и с ее знаменитым финалом; «Благо жем, кто смятенную душу здесь омоет до самого дна, чтобы вновь из корыта на сушу Афродитою вышла она!» Ну, а если теперь в том же корыте вместо мыла «стиральный порошок», что экологически, конечно, хуже, но житейски уже привычнее? Стоит ли объяснять, что поэзия повернута к жизни людей, в том числе к непрезентабельной «второй природе» вплоть до помянутого порошка, и вся суть в том, удался ли ей в каждом данном случае акт творческого преображения?

Положим, с другой стороны, один из «плюралистов» и «демократов» в лоне той же критики, С. Чупринин (я имею в виду его статью «Настоящее настоящее» в № 42 «Огонька» за 1987 год), сводя идейную полемику к разнице во вкусах и даже по аналогии к различию в «фасоне брюк или причесок», ратует за равное представительство в парламенте «линейной логики» и алогизма, «золотой середины», соответствующей, по его словам, нормам «национальной классики» и «эпатирующей» экстравагантности поэтов-нонконформистов. (Зачем, кстати, делать вид, что у «брюк или причесок» нет своей идейной, знаковой наполненности? А фурнитура и шевелюра панков?) Но часто, стоит поскоблить «плюралиста» — и обнаружишь «тоталитария», поэтому неудивительно, что за спиной у терпимого Чупринина поэт его подзащитной группы торопливо накладывает «вето на соловьев» — так называется статья Юрия Беликова в «Юности» (1987, № 8). По мне, это куда хуже, чем вето, наложенное на «стиральный порошок»: ежели первый запрет нелеп, то второй убийствен. Повторяю, обе стороны равно отличаются наступательностью интонаций и бодрими обещаниями.

Однако если после шума, произведенного критиками-антрепренерами, вслушаться в новые стихи, до ушей донесутся совсем иные звуки. С тревогой, не лишённой оттенка торжественности (как это бывает, когда присутствуешь при переломном моменте), мы ощутим, что неприметно смещаются и оползают самые основания поэтического творчества, грозит измениться взгляд на назначение поэзии.

II

В связи с частыми нынче сопоставлениями эпохи после 1956 года и сегодняшних дней предамся недолгим воспоминаниям и я. Тридцать лет назад я вместе с однокашницей сочиняла статью на тему примерно ту же, что и теперь. Из нее, в ту пору не напечатанной, я приведу идущий к делу эпизод. В тогдашнем молодежном поэтическом море мы быстро обнаружили многоводные течения, рожденные элементарным социальным заказом «на романтику», — эта поэзия сплошь «звала в путь» и «боролась с мещанством». Сами собой у нас слепились из разных поэтов два «лоскутных» среднестатистических стихотворения (не стану перечислять авторов-«участников», надеясь вдобавок на чувство юмора у тех из них, кто за это время закрепились в литературе и даже стал метром).

Итак, «Дорожное»: «Отодвинул ветер занавеску, глянул в дом и в липах погнул шум. Это за спокойствие в отместку мне веселость не идет на ум. — Весна, что ни день, нам приносит подарки: то трели ручьев, то грачей в колеях. А я загрустил, как верблюд в зоопарке, о жарких степях и галекх путях.— Туда хотелось мне бы, где не такие люди, где не такое небо, где все иначе будет.— Когда засидишься так долго, тогда забирай, тогда в попутчики синие елки и струнные провода. Свое замени оконце на неба голубизну. Билет покупай до солнца, до солнца — во всю длину.— В двадцать пять лет домоседами делаться рано. Что ж ты, товарищ, боишься ступить за порог? Что же в графах твоего пятилетнего плана мало намечено гальных и трудных дорог?— Ты скажешь — легко рассуждать о Памире на мягком диване в московской квартире со всеми удобствами: ванной, балконом, железным диктатором — телефоном.— Нет, я не останусь! Пусть душно и пыльно в вагоне,— нет, я не устану за ветром бросаться в погоню! Пусть жребий мне выпал без сна обходиться помногу, но если есть выбор, то я выбираю — дорогу!— Вот так, товарищи, я живу, ветра о горах поют... Мне бы еще непоседу жену — вот это был бы уют! — Сидишь, босые ноги кусают муравьи... А впереди горы, и все они — твои».

И следом — «Антимещанское»: «Вот он, дом с огорожей, где за мною следит благодушная рожа — я узнал тебя, быт! Ты не скуп на усилья, и у столких орлят смял широкие крылья твой ползучий уклад.— Там юность умерла и не воскресла. Там

все мои движенья стеснены. Там уникимы — вешалки и кресла. Там стулья — памятники старины.—...Спрашивает мама об одном и том же. Говорит, что прямо я ответить должен, требует ответа, радость излучая:— Правда, что поэты много получают? — Ну, скажи мне по чести: в институте твоём принесешь ли невесте обстановочку в дом?— И явился другой, автор могого вальса, макинтош на руке, а в общем солидный оклад. Золотою улыбкой он тебе улыбался. Не вздыхал о планетах — покупал шоколад.— Мальчишки, выросшие карьеристами, я их встречаю с болью в душе! Они еще гач себе не выстроили, они мечтают о них уже!— Жить не хочу, о покое мечтаю, жить, накапливая добро, жить, делом счастья считая столовое серебро...»

Зачем я это вспомнила? Ну, во-первых, захотелось дать нынешним тридцатилетним, что называется, фору. Воображаю, с каким законным высокомерием пробегут они эти обструганные стоерики, как укрепятся в сознании своей поэтической подлинности и расвобожденности. При этом жаль, если забудут, что и допустимость «экспериментов», и право на независимый от плоской злободневности «традиционализм», и беспрепятственное погружение в «жизнь как она есть», и, главное, возможность приникать к глубинным, духовноличным источникам поэтического — все это не их приобретения, а стартовая черта, на которую их поставила поэзия предшествующего пятнадцатилетия, как «тихая», так и «громкая». Впрочем, и старшим не следует забывать, что у «поколения дворников и сторожей», как кто-то назвал наших малопечатных поэтов новейшего призыва, тоже есть свой, биографический вклад в эту трудно полученную независимость.

Во-вторых, по контрасту легче пойдем, на какой стержень все нанизывается теперь, когда над поэтическими головами уже не тяготеет дежурный «заказ времени», толковавшийся столь по-журналистски.

Да, нынче таких лоскутно-коллективных сочинений с прежней легкостью уже, видно, не сошьешь. Это не значит, что у поэтов последней генерации нет сквозных, повторяющихся, даже типовых тем. Такие темы есть, но по большей части их наперед не угадаешь, заранее не считаешь с газетного листа. Полагаю, что эта косвенность и окольность, даже прихотливость связей с общезначимой тематикой ценна: свернув с освещенных магистралей, лирическая поэзия возвращается к себе самой.

Но что же это за темы, пересекающие границы стилистических направлений и да-

же идейных размежеваний? В основном они элегические. Все исходные темы традиционной элегии вернулись в это десятилетие, притом с такой настойчивостью и остротой, что независимо от большей или меньшей близости к литературным образцам они вместе воспринимаются как самоновейший признак жизненного состояния.

Время — утекающее, ускользающее, уносящее дни, годы, молодость, дробимое и рассекаемое стрелками на циферблате в ночные часы «бессоницы» (мне попалось не одно и не два стихотворения с таким названием); сам таинственный часовой механизм, его коварное нутро, словно бы ответственное за «мерную убыль».

Новый сумрак — мощный, многоликий —
 В октябре глядит из-под руки.
 Дни ночам почти равновелики,
 В равновесье дремлют рычаги.

Но сейчас, сейчас оно сместится,
 Развернется, вспухнет и пойдет
 Разливаться тьмою и слиться.
 Кто нас крепко за руку берет?

.....

Темнотою исцеленный тяжелой,
 вижу, как механика трудна:
 Шестеренки, молоточки, пружинки...
 Или жизнь дается без натяжки,
 Или выпил всю ее до дна.

(Николай Кононов)

«Мне не понять войны меж вечностью и годом, меня копчили те, кто канули на ней, и вот уже вегут по темным коридорам, здесь жизнь моя течет — и старший крикнул: «Пей!» Столетие мое, я жизни не покину, пусть факельщики тьмы и выстроят конвой. Два миллиона лет я пробивал плотину небытия. И что? Уже пришли за мной...» (Виталий Кальпиди).

Жесть, латунь да стекло о семи драгоценных ^{каменных,}
 Что внутри у него? Я, с недетским уже ^{любопытством,}
 Наблюдаю, как время течет и толчется.
 Впотьмах
 Так, должно быть, летейские воды дробятся ^{о пристань.}

Шестеренка цветет в глубине механизма ^{часов,}
 От ружейного масла лоснится лоскутная ^{чашка,}
 От ствола молоточка на тонкий стальной ^{волосок}
 Слюдяная минута сползает — слепая ^{букашка.}

(Андрей Ваутин)*

«Вот четверть заходит за риск девятого часа, и вдох, казалось бы, можно без риска держать до без четверти трех,— но нет милосердия в Кроне: он через какой-нибудь миг ребром ударяет лагони туда, где наладила стык» (Из стихотворения Ильи Кутика «Сердце-часы»).

И, наконец, поэма Алексея Парщикова «Новогодние строчки» — ее начало, где выпущенные из часов потроха знаменуют космический перелом времени, впрочем, ничего, по сути, не сулящий:

Я, снегурочка и петух на цепочке — такая ^{бригада —}
 за малую плату обходим народы по ободку ^{разомкнутого циферблата,}
 лодка-сегмент отплывает и больше не держит ^{округу. К Новому году}
 часы выходят из корпуса,
 висясь горошком по небосводу.

Популярна в кругу новых имен и другая каноническая тема элегии — смена времен года. Но если народную и письменную поэзию всегда волновало сходство природных сезонов и фаз человеческой жизни, то новых поэтов больше, чем эта неоскудевающая аналогия, занимает, по-видимому, сама цикличность времени. Исследователям культурных символов хорошо известно, что круговое время — это время бездвижное в его противоположности времени «линейному» или «спиральному» — историческому.

И все-таки в этом круговращении выделен один, как выразился бы Парщиков, «сегмент»: изгнание из лета в осень, в «сумрак многоликий». С ним связана мысль не столько о старости (как, скажем, в народной песне), сколько об обреченности на иссякание любого горячего чувства: «О, зачем мы с тобой опускали штрихи и детали, в забинтованный сад в виноградную арку вступали, собирали совком червоточинной битые сливы, и казалось, что мы и рачительны, и терпеливы!.. В те минуты судьба нам казалась угачей невиданной, бесконечной, как сон в обступающей жизни обыденной, и совсем не хотелось гадать, поступаясь привычками, о начале зимы с уходящими в ночь электричками... Но зима, подступив, тяжело оползает с откоса, и горят на снегу обведенные жирно колеса, и автобус знобит у шлагбаума за переездом, электричка трубит, громяхая промерзшим железом...» (Сергей Надеев). Так сжимается сердце в предчувствии холода внутреннего...

...Даже успев привыкнуть к тому, что современная муза питается больше ощущениями, нежели размышлениями, и научившись находить в этом хорошую сторону (мол, «чувств простая пятерница» не даст

* Здесь и далее звездочкой обозначены еще не публикованные стихи, к которым в редких случаях позволяю себе обращаться, разумеется, избегая допечатной их критики.

ни солгать, ни впасть в выпренность), я все-таки была удивлена, когда обнаружила у дебютантов упорное повторение темы совсем как будто случайной и частной: купанье, пляж и в особенности ночное купанье. Ну, что за совпадения! «Нелепо мочить купальник в такую темную ночь», — сообщает Алексей Пурин:

Часы отстегнув и плавки
сняв, в лунную воду нырнуть и плавать.
Ах, как хорош,
особенно ночью, мир! Такая лафа — под
кровом,
безличным и черным, звездным, что
пробирает дрожь.
И здорово полотенцем вытереться
махровым!

Он же — во второй раз: *«Только госки купальни, купальниц тела и купальщиков... И босые касанья травы о стопу. И мурашки. Нафталин мошкеры и созвездий на бархате черном. А потом по дороге лесной возвращенье в рубашке, отсыревшей в росе и пропахшей смолою и герном. Еле видно. И грудь расpiraет желанья огромность: вот бы в смутном краю, для которого нет и названья, тоже озеро было бы, лес, ну хотя бы способность вспомнить юность, и жизнь, и грузей, и ночное купанье»*. Открываю книжку Геннадия Калашникова «Ладонь» — и у него «Купание в озере»: «Вода причудлива и каждый миг иная... секундою и вечностью живет». Есть «Ночные купания» у Ирины Васильковой (с захваченностью «космическим» чувством), есть они и у Михаила Попова, тонкого, но несколько расплывчатого лирика, выпустившего книжку «Знак»: *«Как будто из мира иного внезапно являешься ты, весь ужас купанья ночного и запах озерной воды на миг водворяются в доме, твою покрывают кровать, и к этой бесследной истоме напрасней всего ревновать»*.

Я поняла, так сказать, психологию темы, прочитав другое стихотворение того же автора, где купаются уже не ночью, а днем:

Мы с тобою не одиноки,
мы лежим и не видим дна,
обволакивает наши ноги
подползающая волна.

.....

Время больше уже не кара,
не сжимает своих клешней,
в тонкой равнине загара
твое тело еще нежней.

«Время больше уже не кара». Вот в чем дело. (А не в том лишь, что отпускные радости, став доступнее, чаще теперь попа-

дают на перо.) Жизненное время карает — тем, что иссякает («Уже пришли за мной...»); выпадение из времени, даруемое простейшей и невиннейшей физической услугой, чем-то схоже с предполагаемым на авось загробным блаженством «в смутном краю, для которого нет и названья». Обделенность историческим временем рождает желание скинуть ношу времени личного, возрастного, «забыться и заснуть» — «но не тем холодным сном могилы».

Впрочем, старость и смерть все равно входят в эти стихи — чужая старость и смерть от старости. В потерю деда, бабки, в старческое одиночество и угасанье соседа, земляка, встречного всматриваются не только с естественным сочувствием и родственным состраданием, но и с выслеживающей пристальностью, словно примериваются к собственному концу. Тревога по поводу неблагоприятного итога жизни, его мизерности, бесследности — вот что движет нашими авторами и усугубляет для них «метафизическую» загадку смерти. Иногда они показывают «правильное» расставание с жизнью (подразумевается: «как нам с вами уже не дано»). У Михаила Попова это выглядит так: *«В масленке пожелтело масло, сирень глядит из-за угла, услышав, что свеча погасла, в дому старуха умерла... В сагу с кустов сорвалась стая пернатых воробьиных брызг, там ангел, душу поджидая, присев, тайком крыжовник грыз»*. Этот слегка бестактный эффект с ангелом заостряется Николаем Александровым почти до пародии, невольной, конечно: *«Помирала бабушка Фоминишна... Перемыла избу и мостки, проворвав коту: «У этих нынешних все не тем путем, не по-людски». Повязав лицо платочком клетчатым, ковыляя на сухих ногах, прополоча грядку с луком репчатым и лукошки прибрала в сенях»*. После других предсмертных забот бабушки — о семье, о живности — «и взирал на бабушку с почтением хмурым Спас из темного угла. Бабушка вздохнула с облегчением — и спокойно к ночи отошла...» Опять-таки у Виктора Лапшина «благополучная» смерть ранним весенним днем написана серьезней, умней, но с тем же заключительным нажимом — себе и «этим нынешним» в поучение: *«Ласковой розовой ранью, раги здорового духа, тяжкую пыльную раму выставила старуха... Глаза-то... поголубели! Радешенька бабка солнцу. Внучонка — из колыбели — и поднесла к оконцу... Занавес лихо вздулась, стронулась дверь глухо. Ахнула, пошатнулась... И померла старуха.*

Крепче прижала внука
И донесла до кровати;

Без стука
Рухнула на лопатки»:

Михаил Шелехов дает «старушечью», старческую тему общим и беглым планом, не смущаясь умильностью тона: «Я люблю вас, старушки-болтушки! Добродушная стража погъезда...— восклицает он.— Безназорная память народа, милый эпос, госужие слухи. В Красной книге любви и природы я нашел бы вам место, старухи!» А вот план крупный, ближний — ближе не бывает:

Спрятана кровать, на которой дед умирал,
только на этом месте
До сих пор чуточку холоднее и поётому
слегка тревожно:
Бесконечные лекарства, ночные вызовы
«скорой», неосознанные жесты
Сухих рук, перебирающих простыню, как
клавиши, осторожно.

Или перед тем, как умереть, надо терпеливо
разучивать гаммы,
Агонизировать часами под наблюдением
участкового терапевта,
Усталого, безучастного? А потом я открою
двойные рамы,
Опрокинув кастрюльку. Что-то внутри
сорвалось или просто допето.

Иногда наткнусь случайно на пожелтевший
листок рецепта
На ломкой хлипкой бумаге самого
последнего сорта.
Ни слова не разобрать. Буквы латинские
стянуты цепко.
Или дед нам письма оттуда пишет рукою
своей нетвердой?
(Николай Кононов)

Так и у Сергея Надеева — портрет пустеющей памяти, жизни, сходящей на нет, старости, оставляющей после себя пачку ненужных бумажек:

Прислушайся: иглоу патефона
свистит октябрь по склону небосклона:
пружина, диск, короткие щелчки...
Безлюден двор. Лишь на сырой скамейке
сидит старик в собачьей душегрейке
и тербит железные очки.

.....

Он пережил ответы и вопросы —
пять-шесть имен осталось, папиросы
да невопад досадные звонки,
квитанции на стершейся булавке,
размытый контур полусгнившей лавки,
воспоминаний щучьи позвонки...

«И мы будем такими», — с грустью читается здесь между строк, и уже не между, а напрямую звучит этот вздох опять-таки в стихотворении Кононова — «Продают единые карточки»: «Видно, и я стану когда-нибудь тихим распространителем карточек,

абонентов, слов, словечек, стригалем зимних газонов, стоять себе переминаясь в пальто невразумительном... Или еще лучше — звать приезжих на экскурсии, маленький-маленький микрофон обнимать губами, посторонним голосом говорить всякие безобидные глупости. О, как жить мало осталось,— вдруг понимаю ночами...»

Можно затеять спор, чьи старики и старухи лучше: те, образцовые, что в виде укора нам останутся «в Красной книге любви и природы», или те никчемные, жалкие, на кого мы со временем, должно быть, станем похожи сами. Мне, признаюсь, симпатичнее приведенные стихи Кононова и Надеева. Хотя бы потому, что в них переживается реальная беззащитность старости и наряду со страхом перед маячащей печальной перспективой присутствуют нежность, забота, гуманный долг опеки.

Но, как говорилось с самого начала, общий знаменатель волнует меня больше очевидных размежеваний. Обилие стариков и старух — заметная черта всей нашей литературы последнего двадцатилетия. Помимо идейных мотивов — возвращения к истокам, к памяти, тревоги по поводу разъединенности поколений и ожесточения нравов — здесь играют роль и более простые обстоятельства: люди собираются жить долго и проявляют к долгожительству понятный интерес. Поэты, будучи людьми, тоже рассчитывают не на метеорную судьбу Эвфориона, а на обычный ход лет и дней. Между тем в поэзии с этим связан не просто перекос одних сюжетов над другими, но трезвая антиромантическая линия. Впервые, кажется, за весь двадцатый век набравшая такую силу. Романтические поэты подчеркивали свою принципиальную, так сказать, молодость, свою неразменную жизненную силу: «У меня в душе ни одного седого волоса, и старческой нежности нет в ней!»; «Не возмешь моего румянца — сильного — как разливы рек! Ты охотник, но я не дамся...» Они за эту вечно-мгновенную молодость и платили — известно как. Многие из нынешней поэтической генерации воспринимает жизнь как заранее исчисленный маршрут к старости, они ощущают первые кристаллики старения в костях, в крови. Упрекать их за это не приходится, тем более что прежний культ молодости, лишившись к настоящему времени творчески дееспособных фигур и влившись в массовую «молодежную» культуру, стал смотреться если не безобразно, то жалко. И все же: преданность своему назначению и его непредвиденным требованиям, верность

Музе, которая, в сущности, одна определяет человеческую судьбу поэта, не позволяя рассчитать ее наперед ни в бурном, ни в размеренном варианте, — куда делось это чувство, это обязательство?

Вместе с разрывом этих уз, с утратой опыта призванности и невместимости творческих состояний в любую житейскую схему, короче, вместе с утерей представления о служении поэта затерялась и дорога к подлинной новизне.

III

Тут, думается, мы попадаем в ахиллесову пятау новопришедших поэтов. Нет сейчас упрека, который встречался бы таким яростным затыканием ушей и топаньем ног, как упрек в несамостоятельности и подражательности. «Авангардисты» как к боевым наградам относятся к тумакам и заушениям, получаемым в ответ на очередные «пощечины общественному вкусу», но не дай бог сказать, что все это «уже было». На страницах «Юности» Виктор Коркия, один из лидеров группы, иронически выписывая в столбик предъявлявшиеся ей в печати укоризны, располагает в знаменательной близости пункты «отсутствие новизны» и «нетерпимость к предшественникам»: Дескать, до чего абсурдные претензии — сами видите, одна перечеркивает другую... Ну, а «традиционалисты» — те квалифицируют подобные упреки как подрыв классического искусства, к которому они себя приписали; коли для кого-то они не новы и не свежи, значит, отработавшей свое признается в их лице сама классика!

Между тем Большая Традиция — это русло потока, а не стоячий водоем, в воды ее, как и в воды жизни, нельзя одинаковым образом ступить дважды, хотя неразмытые берега обеспечивают ее определенность и ограждают ее чистоту. Не каждому таланту дано сказать «новое слово» в том эпохальном смысле, какой придавал этому выражению Достоевский, однако новизна — не черта «передовых» или «экспериментальных» направлений искусства в их отличии от всех остальных, а неотъемлемый признак любой состоявшейся творческой судьбы и даже любого состоятельного поэтического высказывания. Новизна в поэзии — это жизненное, душевное событие, встретившееся с вдохновением. Подлинно значительное внутреннее событие всегда дает о себе знать, включая и те случаи, когда ищет традиционные, более того — канонические способы выражения.

Не так давно поэт «семидесятник» Юрий Ряшенцев упрекал на страницах «Литературной газеты» младших собратьев за то, что у них в плоть стиха никак не включены их индивидуальные «телесные» меты — походка, рост, жестикуляция, например В этом замечании — часть правды, вернее, правда, криво, на мой взгляд, выраженная. Даже для того чтобы наложить на стих печать своей физической индивидуальности — этой наипростейшей новизны, — поэту нужно выбрать и построить себя духовно, как личность. Бас и шаг Маяковского («Мир огромный мощью голоса, иду...») — не только природные краски, но и духовные тона. «Трагический тенор эпохи» — сказано о Блоке жестко, быть может, узко, но опять-таки сказано это о духовном тембре его природного голоса, о совокупности внутренних событий.

Обновление искусства никогда не происходило и не происходит из ресурсов самого искусства, из стирания и смены приемов, как в свое время утверждали теоретики ОПОЯза. Здесь источником даже малого сдвига всегда является некое духовное сотрясение. Именно поэтому художественная культура бывает полна предчувствий, предвестий, невидимых событий, которые лишь погодя обретают осязаемые социальные формы.

Подражательность свидетельствует о бессобытийности, сколько ни напрягай при этом «задействованные» лирические сюжеты. Впрочем, у искусства есть и свои правила, они не позволяют открытого и наивного повторения пройденного, даже если источники вдохновенной новизны перекрыты. Тут уж в ход идут средства, помогающие выдать повтор за новинку. Пожалуй, главное из них — коллаж, такое объединение обрывков старого, чтобы композиция из вторсырья своими резкими диссонансирующими эффектами внушала впечатление фантастичности и небывалости. Чаще коллаж ироничен, но сейчас я хочу привести примеры коллажа не совсем сознательного, претендующего не только и не столько на иронию, сколько на патетику, грандиозность.

Вот «спорный» поэт — Алексей Парщиков. Противники обвиняют его в безнравственном разложении и попрании тайны живого. Апологеты находят у него новый мифологический образ вселенной, где первобытная вера в безграничные метаморфозы вещей («все во всем») поднята на современную ступень научно-«всеземного» сознания. Лукавый интеллект способен вычитать из стихов, тем более неразбор-

чивых,— разное. Поэтому доверюсь сначала слуху. На слух же первым делом обнаруживается великое множество заимствований, иногда интонационных, нередко — почти буквальных. Листая страницы публикаций Парщикова в коллективных сборниках, в «Юности», привожу попадающиеся примеры без нарочитого порядка:

Я обольщен жарой. Север спокоен, как
на ботинке узел,—

это — узнаете? — реплика из Маяковского, их найдется много.

Как впечатленный светом хлорофилл,
от солнца образуется искусство,
произрастая письменно и устно
и в женщине и в крике между крыл,—

это, рядышком, непроизвольно спародированная Ахмадулина, и как она сюда залетела?

А через воздух бесконечный
был виден сломанный лесок,
как мир наскальных человечков,
как хромосомы в микроскоп,—

это, конечно, наиболее повлиявший Вознесенский, это его «фактурные» уподобления, его красные словечки сравнений, не щадящие ни живого, ни мертвого.

В этой дохлой воде, что колышется, словно
носилки,
не найти ни моста, ни горы, ни звезды,
ни развилки.

Только камень, похожий на тучку, и оба
похожи
на любую из точек Вселенной, известной
до дрожи,—

здесь отпечатался Иосиф Бродский, его романтический скепсис, его жесткая интонация.

Описание хоккея: «А там — в альбомном повороте,— как зебры юные,— на льду арбитры шайбу на излете зачерпывают на ходу. Стоит дремучая игра. Членистоногие ребята снуют и злятся...» — это калька «Футбола» из «Столбцов» Заболоцкого. Что источник другой образной цитаты: «Бегун размножит веером легко от бедер дополнительные ноги», — нужно искать опять-таки в «Столбцах», было уже замечено до меня. На той же, однако, странице мелькает антипод раннего Заболоцкого — ранний Пастернак:

Гонят в глазницы стеклам —
разбиться наверняка —
встревоженная и мокрая
зебра березняка.

(Напомню: «Ты в ветре, веткой пробуешь, не время ль птицам петь, намокшая воровышком сиреневая ветвь» — как стихийен, подвижен оригинал, как грузна, косяноязычна копия!)

«Корова, сойдя с околоземной орбиты, а мыслями — там еще; осел — впереди голова, а гальше — спина на ножках.. коза — золотые зрачки, а сама неприглядна...» — тут Хлебников, его «детское» и «дикарское» мышление, разумеется, тоже — в зеркале поверхностной имитации.

Сквозит и Мандельштам:

Пока базары в ягодной ветрянке,
где можно прыгать сквозь кружочки пен,
где у прилавков в пышной перебранке
ты — как на сцене, среди сцен! —

особенно мандельштамовские — эти как бы непредсказуемые (и тем не менее скопированные Парщиковым как прием) мостки ассоциаций: «ягодная ветрянка», «пышная перебранка».

Напоследок приведу из Парщикова еще кое-что прихваченное у юноши Маяковского: «Звенят погремушки рябин после встряски, и кляксы каштанов разломятся звонко — из равных скорлупок, из круглых колясок вдруг выпадут два загорелых ребенка... Пробуйте концентрический город, как в тире, багровый и желтый в надежде — на синий» («Осень в Киеве»). Конечно, на ум приходит: «Багровый и белый отброшен и скомкан, в зеленый бросали горстями дукаты, а черным ладоням сбежавшихся окон раздали горящие желтые карты». Почему исходный образец — всего лишь проба пера тогдашнего дебютанта! — так яркое, интересное, а подражание — так утомительно, хотя в нем есть свои находки, высмотренные с неоспоримой точностью (узнаваемы и подсохшие рябиновые грозди, и почерневшие колочки на плодах каштана)? Неужели все дело в том, что одно сказано в первый раз, а другое — отнюдь не в первый? Нет, не только в том. Маяковский в своем раннем опыте (если угодно, эксперименте) хотел сбросить груз тех идейно-философских отвлеченностей, которые ему как интеллигенту ставило в наследство начало века (прежде всего символизм), и взглянуть на конкретность мира свободным оком практика-живописца. Этот поворот, как бы к нему ни относиться, был духовной акцией, внутренним событием, отсюда темпераментность и свежесть порожденной им новой поэтики, новой изобразительности. Или еще более известное: «Я сразу смазал карту будня, плеснувши крас-

ку из стакана; я показал на блюде студня косые скулы океана. На чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ. А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?» Здесь опять-таки виден духовно значимый порыв, задор: в плоском увидеть глубину, в ограниченном — безмерное, в заведомо грубом — высшую нежность. Стихи, построенные на чувственных, фактурных сближениях, живут и волнуются своим надчувственным заданием. А когда Парщиков пишет: *«Чтоб доказать речную синь, как апельсиновая корка плывет оранжевый буксир, для глаз отчаянный и колкий»*, — он ничего не «доказывает», кроме того, что ему доступна нехитрая техническая задача — передать словом цветовой контраст.

Кто бывал на новейших молодежных художественных выставках, тот с грустью отмечал, как густо мельтешат перед глазами десятки — двадцатые годы, но в бледных, анемичных отражениях. Неужто и поэзия конца века будет с таким же усердием воспроизводить первую его четверть, представленную «левыми» направлениями?

Необычность подражательного Парщикова имеет два слагаемых. Первое — это всезнайство современного потребителя «научной смеси», энергично пущенное в стихотворческий оборот. Он сам же уверяет: «...мы должны уметь вообразить пространство... внутри бактерии! У нас: мегагалактики, современная политика, формализация информации...» Действительно, мы найдем у него вдоволь и кибернетики, и генетики, и агробиологии, и археологии, ведь о чем только не пишут нынче газеты и журналы. Особенно везет в поэзии такого толка хлорофиллу, дрозofiлам и хромосомам. Не жалею я места, я могла бы развернуть «хлорофилловый» цитатник из разных авторов, за комическое впечатление от которого ручаюсь. Или что может быть современнее, чем представить себя не каким-то там фигуральным «заводом, вырабатывающим счастье», а самым настоящим компьютером с воспринимающим устройством на входе и печатающим на выходе: *«Все, что я вижу, вилку дает от хрусталика — в сердце и мози и, скрестившись на кончиках пальцев, сыпается в лязг — машинописи»*. (Продолжатель Марк Шатуновский переносит образ ЭВМ уже на все мироздание и пишет «ночной пейзаж»: *«Потрескивало небо, как экран дисплея, помехи рвали звезды с телестрок...»*) Кто-то непременно примет (или выдаст) эту накипь сведений за небывалое, всесвязующее техноантропокосмическое (уф!) чув-

ство жизни. Вольному воля. Хочу только предупредить, что иной раз знания, полученные из седьмых рук, подводят, и тогда, например, в фантазии об «Иване Мазепе и Марфе Кочубей» (я-то думала, веря пушкинским автопримечаниям к «Полтаве», что звали ее Матреной) читаем: «Марфа, виновница, имя, в которой вставлена Ф — буква-мужчина...» Между тем имя это писалось не через «ферта», а через «фиту» (букву-женщину?). Впрочем, такая обмолвка скорее должна заинтересовать психоаналитика.

Не забудем и про второе слагаемое — повышенную в сравнении с копируемыми образцами громкость: как «тяжелый металл» в дискотеке, поэт берет свое децибелами. Семейное он усиливает до брутального, брутальное до отталкивающего. Вот пример. У Вознесенского была когда-то жанровая сценка осенней изобильной торговли арбузами, исполненная той «цветастой грубостью», к которой он призывал в 60-е годы («Долой Рафаэля, да здравствует Рубенс!»). В ее финале с веселой, размашистой фамильярностью спелому арбузу уподоблялся земной шар: «Земля мотается в авоське меридианов и широт!» Переписав тот же сюжет («Базар. Азы торговли. Бессарабка...»), Парщиков включает свои усилители: *«Здесь кошки притворяются арбузами, скатавшись в полосатые клубки; лишив сердец, их сортируют с кузова — котят и взрослых — в сетки и мешки»*. Обратите зрелище изобилия в картину живодерни — вот это ход! Дальше не легче: *«Там белый кафель масла на лотках, из пенопласта — творог, сыр и брынза...»*

Думаю, не стоит подозревать Парщикова в идеологической ненависти ко всему натуральному, удобоваримому, пышноцветному, доброплодному. Это просто способ бить по чувствам, как раньше никто не решился, хоть здесь оказаться первым. Наряду с искромсанными «кошками» мы найдем в его метафорическом и неметафорическом арсенале искалеченных насекомых («степь ворочалась, как пчела без крыльев»), трепыхающегося сома, хитро уподобленного железу («Царь-рыба на песке барахтается гулко и стынет, словно ключ в густеющем замке»); тела и тулова, всячески сочетаемые и рассекаемые (немолодая любовная пара на пляже — «то ли боги неканонические, то ли таблицы анатомические», тень от деревьев «выуживает части тела», а сам пляж — «мясная лавка, где нас вода ошпиляет и разрежет, чтоб разграничить голову и плавки», особенно же смачная картинка — «Марфа

Кочубей», подцепленная в тайных покаях гетмана на какие-то крючья); наконец, найдем травяную медным купоросом, пусть и зловредную, издыхающую живность («первыми выключаются мухи... через час валится разом весь колорадский жук вверх каблуками... следом — личинки коралло-вые» и т. д.— и это в любовном стихотворении!). «Глупая лоза» (?) и «куклы сов», прищипленные взглядом автора, довершают эту панораму механического садизма, развернутую, как мне представляется, в силу духовной неоригинальности и желания показать себя.

Однако несправедливо было бы отводить глаза от коллажа, организованного на совсем другом, чем у Парщикова, материале. Речь пойдет о Викторе Лапшине, который, казалось, мог бы петь и собственным голосом, довольствоваться собственным достатком. В его сборниках «Поздняя весна» и «Воля» найдутся, конечно, стихи, где он так и поступает. Там есть и подвижность настроений («Утро ветренное, черное, гождевой струи глиняной, верченое и крученое. вечера не мудреней»), и реалистическое умение заглянуть в человеческое лицо, схватить его суть (стихотворение «Красава»), дать сценку с живыми, близкими душе рассказчика участниками («Прощание», «Озорник», «Бабушка»), и «космическое», «шестое» чувство жизненной тайны («Ах, как солнце палит — головы не поднять! Это я — и не я, и везде — и нигде, и догадка томит — и не хочется знать: отражение мое — или кто-то в воде...»). То вспомнит он, даже сердце зайдет, детскую драму — как спустили из кадупки для осенних солений воду с целым мирком лелеемых ребенком головастиков («Кады»: сюжетный повод скромный, а стихотворение крупное, гулкое), то драму юношескую — разлуку: «Где дивились мы великолепью славы звездной — в сумятице трав, нашей старой колодезной цепью гребезжит пожилой волкодав». Тут тоже — «все было», всякому придут на ум и Иван Никитин и Сергей Есенин. Однако за каждым приступом к теме стоит живое внутреннее побуждение, и, скажем, строчку «Дребезжит пожилой волкодав» с ее звуковой и словесной слитностью нельзя «выудить» из чужой стиховой музыки, ее можно только расслышать в себе.

Но вокруг чего собрать эти и подобные блестящие лирического чувства, где поэту взять единство духовного задания, «общую идею», которая, как мы убедились на других примерах, дефицитна? Для Лапшина нашелся выход в принятии на себя

некой роли из заготовленного сценария: он стал ведущим поэтом «поздней тютчевской плеяды» (если позволительно перефразировать тут Давида Самойлова, причислившего себя к «поздней пушкинской плеяде»).

В самом деле:

Звук бестелесный, луч незримый
мне вняты в чаще нелюдимой;
и в сумраке безмолвном есть
благословение и весть.

Но думою неизреченной
их лад, как дымкою, повит...
Все тайны — в нас, а мир нетленный
загадкою не дорожит.

«Прямо-таки Тютчев!» — готовы воскликнуть вы; но погодите, одумайтесь. Здесь нет тютчевской мысли, в этом клубке невразумительности нет мысли вообще. Где находится «мир нетленный» — в «чаще нелюдимой» или где-то над ней? А ежели в «чаще», то почему он «нетленный»? А если он полон «думою неизреченной», то отчего же «не дорожит» загадкой — разве неизреченность не загадочна? И так далее. Ясно, что имитируется внешняя оболочка мысли — с помощью почтенных звучаний, к которым заведомо чувствительны уши ценителей русского лирического любомудрия.

Истины ради приведу образец более высокого порядка, на сей раз не совсем в «тютчевском», а скорей в «антологическом» духе Ап. Майкова или Щербины:

Когда на западе затмилась жизнь моя,
Искал Звезду любви в пустынном небе я
С усталой верою, в надежде боязливой,—
Зеркальным пламенем и вязью прихотливой
Играло озеро; и молнией-струей
По-над мерцающей прозрачной чешуей,
Волной ленивою иль гладыю безучастной
Незримый свет любви и лик Звезды

прекрасной,
Глазам не явленной,— воспринят был давно:
Сияло озеро, и вечный свет оно
Носило бережно, и близко, и длило,
И безглагольностью, как небеса, томило.

(«Белая ночь»)

А теперь, возвратившись в круг философствующих романтиков, послушайте, каков у Лапшина Бенедиктов! Лучше подлинного, которому, может, так и не написать: «Что не жаждет воплотиться глазу радостно явиться, звуком ухо обласкать, ноздри запахом забавить, кожу нежиться заставить, мысль — в чудесное вникать! Выдает себя иное величавой тишиною, искупительною тьмой и отсутствием лукавым. На вниманье смутным правом, зыбкой властью наго мной! Звук

немой, глухое имя! Им навеки быть моими знаками торжеств моих, благо чувствую за ними их носителей живых!» Разве не бенедиктовская здесь Дразнящая безвкусица — соседство «кожи» и «мысли»?

Да простят мне резкость, но есть что-то беззащитное в эксплуатации старых гармоний — все равно как в наводнении художественного рынка поддельными Рембрандтами и Ван Дейками. Сомнительность задачи несколько извиняется пробелами в литературной культуре, искренним непониманием того, что возвращать в свой стих чужое, прежде можно только под определенным углом преломления, сигнализируя о моменте стилизации, порой иронической (так поступал поздний Заболоцкий). К тому же когда воспроизводится чуждый философский язык, оторванный от тех вопрошаний, которым он когда-то служил, то недалеко и до конфуза: «Зрим сквозь зыбкое лоно земное преисподней предвечный огонь». В старину сочли бы каким-нибудь богумильством или манихейством именовать «огонь преисподней» даже не вечным, а предвечным наряду с божественным светом. Но Лапшину сегодня грозит скорей укор в неосведомленности, чем в ереси.

Стоит всмотреться в суммарный, так сказать, образ этого имитационного искусства, где заимствования неопределенны: «Вот стезею неисповедимую в славе торжествующей своей снова на березу на родимую прилетел из рая соловей. За сараем с гревнею скворешнею дремлющими листьями укрыт, неказанной песнею нездешнюю он глубоко память беретит. Встрепенется вещее, далекое, но понятной мукою не вдруг отзовется сердце одинокое на таинственно знакомый звук...» Конечно, и тут различимы отдельные «доноры»: Тютчев («в славе торжествующей...»), Некрасов («на березу на родимую...»), Заболоцкий («за сараем с Древнею скворешнею...»), Блок («встрепенется вещее, далекое...»). Но не в том суть. Здесь и в целом — жизнь взаимности, на обеспечении поэтически престижных слов, чей авторитет не только не завоеван, но даже не подкреплён собственным творческим усилием. Только не рвись накладывать «вето на соловьев», в любви к ним поэтов нет и не будет ничего банального. Винават метод коллажа. И если у Парщикова средством объединить лоскутки чужого под собственным, новым и заметным, именем служит преувеличенная грубость, то у Лапшина та же цель достигается при помощи предельной зали-

занности, глянцеvitости, что очевидно в таких вещах, как «Соловей» или «Белая ночь».

Неловко и грустно наблюдать, как по мере вживания в свою «классическую» роль он все явственней переходит от интонаций задумчивого созерцателя к тону уверенного ментора, изрекателя апофегм и максим: «Желанье бездну не томит, и просветлеть она не может», «Дано друг в друга воплотиться,— а большего нам не дано». «Пушай не станет слово чудом, но будет эхом бытия», «Когда б страданье обожгло его целительной отравой — не искупало б нас число гармонией своей лукавой...» Тут недалеко еще до одного «поэта тютчевской плеяды» — Козьмы Пруткова, пародийно отразившего совокупные особенности (и слабости) этого примерно поэтического круга.

Добавлю, что у Лапшина можно встретить перепевы и посланий Языкова («Тебе я старым добрым слогом хочу сказать еще о многом, как повелоса на Руси...»), и лермонтовской мелодии («На гордое слово, на взгляд отчужденно-надменный ответить бы снова улыбкой любви откровенной...»), и гумилевской ритмики («Встревожу безликий камень, глухое огня жильце,— и вздрогнет он под руками, и явит лицо свое»). Не говорю уж о подавляющем воздействии Юрия Кузнецова на длинные лапшинские повествования в стихах. Вопрос об отсутствии воли к самостоятельности встает во весь рост.

Но если б это была проблема одного Лапшина (или Парщикова), а не нынешних талантливых людей вообще! Особенно беспокоит, что вопреки привычным закономерностям внутрিলитературной динамики это поэтическое поколение никак не может оторваться от предыдущего. Принято со времен исследований Тынянова считать, что в искусстве последняя генерация обыкновенно отталкивается от предпоследней, ища опоры у «дедушек» — родных или, чаще, двоюродных. Между тем в сегодняшнем случае влияние Александра Кушнера на одних, Юрия Кузнецова — на других по интенсивности может поспорить с заимствованиями из высокой классики или раннего авангарда. Не просится ли под эти вот стихи Алексея Пурина:

Таинственная жизнь, туманный сад
в Форосе,
безлюдный и глухой, в один из влажных
дней...
Мне кажется, но здесь сквозит незнание,
в прозе
я справится бы мог увереннее с ней.

Пленительный ее, какой-то женский, сложно организованный и неподдельный вид рифмованной скрепить застежкой невозможно, в ней строчку вычленишь... —

подпись его ленинградского метра?

А в «Солдатском жите» пером Михаила Шелехова:

...Но однажды труба запоет под землей!
И очнутся в могилах полки.
И потянутся руки за отчей сохей —
Да истлели в земле сошники.

.

И распашут они, чтоб дышалось корням,
И железное жито взойдет.
И споет оно славу крестьянским полкам
Через все небеса напролет —

не водила ли рука, написавшая «Отца космонавта» и поэму «Четыреста»? И та же рука вывела многие-многое строки Михаила Попова, Юрия Кабанкова.

Никогда прежде, кажется, не могло сопутствовать свежему молодому голосу столько подголосков из ближнего, старшего окружения. Открываю одну из наиболее оригинальных новинок последнего времени — книжку Олеси Николаевой «На корабле зимы» (о ней уже писала А. Марченко в № 12 «Нового мира» за прошлый год). И натываюсь с ходу — на Слуцкого: «Тетя Алла была из деревни родом. Дядя Саша работал в радиокомитете. Он водил знакомство с популярными артистами и певцами. У тети Аллы и дяди Саши были взрослые дети. Дядя Саша их звал орлами, тетя Алла называла птенцами»;

на Чухонцева: «Вот так и мы, твержу я, так и мы: греха не знаем, не боимся тьмы, но, высмотрев высокие холмы, их занимаем для победной ловли. Не любим слушать не отводим глаз, твердим набор одних и тех же фраз, и оттого так долго после нас мягутся тени, вздрагивают кровли»;

опять же на Кушнера: «Стоя пред вечностью с глинной свечой золотой, пахнувшей воском и медом и летом измятым, всю ее вспомнишь — со всюю ее красотой — гурочку-жизнь перед зеркальцем подслеповатым!»

В чем дело? Впечатление такое, будто в лице очередного поколения сама поэзия подошла к какому-то неуступчивому рубежу, когда все уже перепробовано, когда целая формация поэтов стала, можно сказать, жертвой трагичнейшей заминки на путях поэтического искусства как такового. Чтобы выжить, поэзия бежит от себя

в прозу, где она (как сказал Пурин за очень многих) «справиться могла б увереннее» — с жизнью. Пока это самое честное.

IV

Я уже говорила, что романтизм в поэзии сникает. Вижу, как трудно приходится сегодня Михаилу Шелехову, рожденному поэтом романтическим, как не находит он в существующей художественной ситуации точки опоры для своих природных данных. Он пытался было примерить к себе угрюмый титанизм Ю. Кузнецова, размахивал его скропанальными иносказаниями, прилаживался к стилизациям другого запоздалого романтика, когда-то тоже застигнутого неромантическим временем, — Алексея Толстого. («И людей посмотрел, и себя показал! Весел пир, и гружина — что наго. И по кругу я пил, и с ножа я едал, и певал соловьем среди сага», — сочиняет вслед ему Шелехов), к есенинскому стихийному изяществу («Приходи на синюю заставу в молодые гордые поля, где в потемках, сторожа державу, голубые дремлют тополя... Жизнь проста, когда ее не гонишь, а идешь, идешь себе, как дождь...»); воображал себя посланцем древесно-травяной глуши, задышающимся в городе; потом (а может, одновременно) перешел к гротескному социальному обличительству с сильной примесью Владимира Высоцкого. При всей амплитуде метаний, они не случайны. Шелехов упорно сопротивляется «прозе жизни» и, стремясь остаться верным себе, ищет у разнокалиберных романтиков-предшественников руку помощи.

Еще труднее, насколько мне видно, складывается судьба даровитого ростовчанина Геннадия Жукова, не только внешняя (не печатают!), но и внутренняя. Старые, вечные романтические темы, к которым он причастен всем своим душевным естеством: поэт и женщина, спасаемая и губимая; поэт и космос; поэт и утилитарное царство вещей-товаров — никак не обретут под его пером действенных стили и формы, несмотря на множество ярких проб.

У молодого романтического поэта оказываются порой как бы два лица, трудно совместимые в одном «словесном портрете»: мечтательное и язвительное. «Когда бы не юность — мы жили бы вечно. Смертельную дозу любви и печали мы жадно, с восторгом глотаем вначале», — восклицает горьковчанка Марина Кулакова в своей первой тоненькой книжке, а в рукописном

сборнике, мало похожем на печатный, с сатирическим замахом воспроизводит невзгоды «воробьиного сычка», посаженного в экспериментальную вольеру. В сущности, это две стороны одного настроения, но уравновесить их в границах единого личного стиля пока не удается.

Соответственно, островом «черной романтики» в прозаическом море трезвости мне видится наша «ироническая поэзия». Здесь скопилось много самого дешевого нигилизма (типичная оборотная сторона романтической экстремы), всякого разрушительства слога и смысла, всевозможных «простых мычаний», претендующих на ученое звание «неопрIMITива», и прочих антикультурных форм несогласия, более или менее известных по западному опыту (хотя я, конечно, не считаю, что все подобное механически занесено к нам с Запада). Мое литературное поколение получило еще в конце 50-х — начале 60-х годов сходные впечатления, знакомясь по случаю с не имевшей печатных выходов «антипоэзией» Г. Сапгира, И. Холина, В. Уфлянда, в своем роде куда более значительной, чем, скажем, нынешние изобретения Нины Искренко (см. на «испытательном стенде» в № 4 «Юности» за 1987 год). Но даже отвлекаясь от наиболее крайних проявлений недовольства житейским укладом и «академической» культурой, нельзя не заметить, как популярна сегодня линия, продолжающая предреволюционных поэтов «Нового Сатирикона» (П. Потемкин, Саша Черный) или горькое и по-своему утонченное пересмешничество обэриутов — Д. Хармса и в особенности Н. Олейникова. У продолжателей — Игоря Иргеньева, Александра Еременко, Вадима Степанцова, Юрия Арабова — это, боюсь, слишком легкий способ быть не похожим на «мещанина» (того же «бухгалтера Иванова» или «металлистку»), не предлагая ничего взамен; заодно и в стихе быть свежим и неординарным в силу одних лишь насмешек над залежалыми шаблонами. Опять коллаж! — правда, используемый по назначению. И хотя как своеобразный «детектор лжи» стихи романтических ироников освежительны, их непропорциональное изобилие возвращает к мысли о том, что поэзия начинает кусать себя за хвост.

Итак, путь лежит к прозе.

Речь, конечно, пойдет не о прозе, а о «стихпрозе»; этому полусерьезному слову-кентавру, уже получившему хождение, я готава придать значение расширительное, — такой большой круг новых явлений требует себе имени.

Каково самосознание создателей прозаизированной лирики? О нем можно судить по извлечениям из письма ленинградского дебютанта Алексея Машевского (сделанным с разрешения автора): «..Поэзия обретает новые возможности, овладевает открытиями великой прозы XIX—XX веков.... Происходит расширение поля нашего зрения, нашего пристального внимания и восхищения (пусть перемежаемого иногда недоумением и горечью) к человеку, к его миру во всех бытовых и вещных его обусловленностях...» «Экзистенциальные ценности бытия, — продолжает мой корреспондент, — скрываются во всем, даже в мытье посуды, даже в сидении в парикмахерской. Это ли не задача поэзии — освоить, одушевить, наполнить содержанием гигантский и все разрастающийся пласт нашей жизни?! Вот и демократизм, вот и обращение к самому обычному, отнюдь не героическому человеку, придавленному монотонной работой, убийственным общественным транспортом, бытовой рутинной, пошлой массовой культурой. Вот духовность! От теперешних условий бытия не уйти, никуда не деться... это следует из самой нашей численности — четырехмиллиардного человеческого общежития. Остается быть людьми несмотря на все это, то есть освоить, объять, найти содержание в самом элементарном бытовом акте... Сообразно стилю жизни перестраиваются и стихи, утрачивая самостоятельное значение и вливаясь в единый нерасчлененный контекст... Сейчас время устроено так. Нет ни избранности, ни демонизма, ни героической миссии, ни нового подключения к теме «поэт — пророк»... Нет ничего проще ругать, жаловаться, поучать, и ничего сложнее — попытаться отыскать содержание, научиться быть счастливым... при тех обстоятельствах, которые невозможно переменить и которые установились надолго».

Несмотря на ровный, психологически благополучный тон, чувствуется, что автор этих строк все-таки усиленно обороняется. Оборона возводится не просто против узких рутинеров, которых раздражает всякое расширение поэтического словаря, всякое упоминание в стихе о делах житейских, — а против тех, кто ждет и не получает от нынешней поэзии того, что поэзия давала веками. Оборона плотная, ибо рассчитана не только на наглядную доказательность, но и на человеческое сочувствие. И все же есть в стене две щелки, две проговорки, достойные выделения жирным шрифтом: «перестраиваются и сти-

хи, утрачивая самостоятельное значение» — «при тех обстоятельствах, которые невозможно переменить». Истинная правда! Поэзия, исходящая «из обстоятельств», утрачивает «самостоятельное значение». Ибо поэт — дитя свободы и входит в контакт с обстоятельствами как преобразующая их (пусть неосозаемым, «знаковым» образом) сила, а не как их подданный. Растворяя себя в потоке обстоятельств, поэзия не вливается в «контекст» какого-то более широкого и всеохватного искусства, а попросту размагничивается: видит-то она больше прежнего, но что об этом сказать — не знает.

Впрочем, как уже было замечено, наша «стихопроза» честна. В ней нет той бесстремительной закругленности, которая заметна в подволимой под нее теории. Прежде всего именно она отразила новое жизненное положение поэта в людской массе. Перед нами городская лирика, но не та, что когда-то начинал Брюсов. Урбанизму в поэзии немало десятилетий, но прежде поэт в городе был немного фланером, это старое свойство еще сохранилось у Кушнера: «Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки». Теперь, разделив общую судьбу, наш поэт — узник многосложного городского транспорта, он не прогуливается, а движется по неуклонному точному маршруту — икринка в потоке. Всего менее волен он в своих впечатлениях: «Схожу на переполненный перрон безропотно, с трудом, не понимая...» — не он любопытствует, а его обступают. Человеческие лица он запечатлевает в самой неудобной позе, повиснув на поручнях, следя из вагонного или автобусного окошка за фигурами, быстро удаляющимися вместе с бегом насыпи, парашета. Эти лица незнакомцев, которых больше уже не встретишь, оставаясь навсегда гайной, дают летучую пищу воображению — штрих, догадка, ассоциация. Можно назвать немало стихотворений, чей сюжет определен такой гуманностью беглого взгляда: вот «курсантик обнимается с кралей у Тучкова моста», и от мелькнувшей парочки тянется нитка к собственной памяти (Кононов); вот попал на миг в поле зрения упорный рыболов-отставник, и мысленный взор успевает пробежать, как целлулоидную ленточку кадров, всю судьбу этого незнакомца (Надеев). Но ведь тайна другого «я» не пережита же, лишь извне обведена контуром.

Нынешний урбанизм загипнотизирован еще одной чертой современной городской

жизни: это загадочные массивы новых застройек, это быт на вечной стройплощадке. В теории как раз эту среду обитания предстоит поэтически утеплить, обжить, очеловечить и «объять», ведь она-то наверняка относится к тем обстоятельствам, которые «изменить невозможно». Действительно, немало бодрых строк прочитаем мы у Алексея Пурина об этом «неприбранном мире» с «заплатами на асфальте»:

На желтоватый гравий солдаты кладут гудрон,
их азиатские торсы блестят от пота и пара.

• • • • •
Я чернорабочий город, его перманентный ремонт люблю!

Правда, любит он скорее свою молодость и свою подругу, с кем ему хорошо в каком удобном месте: «Как будто идем по цеху! Дождатый свежий настил укладывают на мосту. И наши с тобой объятья и поцелуи в саду смущают треск бензопил. Вернувшись домой, удивимся: откуда мажут на платье?» Схожую попытку написать любовь среди «тележного грохота новостройки» предпринимает Надеев и извлекает отсюда эффект блее тонкий и отвечающий простому человеческому чутью, а потому и более обеспеченный поэзией — впечатление временности, бездомности, хрупкости отношений: «Не нас ли видели с тобой у позаброшенных бараков, перед остывшею трубой и опустевших нефтебаков? Не мы ли — возле пустыря — за жизнью собственной гонялись и, сквозь пары нашатыря, неизъяснимо изменялись?»

Как она навязчива, настойчива, эта тема вечно недовершенного индустриального ландшафта! Не только агрессивна (попробуй отвернись от того, что само лезет в глаза, уши, ноздри), но и загадочна, непостижима. Кононов остроумно и изобретательно описывает, как строится дорога над Волгой: тяжелолобые катки, жирный асфальт, «надтреснутый альта» компрессора в хоре машин, расплывшийся запах густого гудрона. И в этом лабиринте — снова прощальная прогулка, рука в руке. Но в чем смысл окружающего, по аду ли бродит неприкаянная пара, по черновику ли новой жизни? Неведомо. Разве что мелькает смутная догадка:

Ни стекло, ни железобетонный каркас,
Ни костяк новостроек, ленивым жильем
не обросших,
Не виновны, а дело, наверное, в нас,
Потерявших рецепты, как дети.

Так и Машевский, «потерявший рецепт», который сам себе прописал, не знает, благословить или ужаснуться. Высекает искру радости, дивится затрапезной экзотике:

Эти первые дни, когда март подражает
во всем февралю,
Когда тени короче становятся
и ослепительней снег..
Я люблю новостройки, похожесть
и молодость их безотчетно
люблю,
Одинаковый строй и ритмичный уступчатый
бег.
Чешую оконной на солнце засветится
вдруг
Дом девятиэтажный... Автобус везет
до кольца,
Вот и круг замыкается — вспомни Лагаш
и Урук,
На воротах Иштар лазуритовый блеск
израца,
Зиккурат кинотеатра и плоские контуры
крыш —
Снег, как белый песок, Хаммурапи,
Ниневия, Киш,
Арамейская речь, голубой глазированный
сон...
Вот и я возвращаюсь в уступчивый свой
Вавилон*.

И внутри того же фактически ландшафта, на сей раз прикинувшегося «марсианским», в испуге закрывает лицо руками: «Гаражи — целый город молчания. Пятна ржавчины — кровоподтеки на плоскостях стен. Торжествует железо. И чувство отчаяния нарстает в душе: впереди никаких перемен... Лишь мелькнет силуэт настороженной вкрадливой кошки, лишь случайно найдешь воробья на фонарном столбе но опасно искать приоткрытые двери, окошки — ни окна, ни крыльца и никто не ответит тебе»*.

Конечно, нельзя привыкнуть к этому хаосу из четырехгранников, расставленных безумным доминошником; эти новые декорации поражают своим несходством с идеей дома, идеей города и, значит, своей непонятностью. Но дело еще и в другом. У наших урбанистов нет в распоряжении абсолютной внутренней меры, соотносится с которой таинственную повседневность можно было бы объяснить и оценить. Их зрение, все их пять чувств крайне обострены и крайне правдивы, но у этой правдивости есть свой предел. Органы ощущений, даже изощренные, не заменяют восприимчивости к извальному плану бытия. Поэты словно бы пишут отчеты о командировках, в которые отправила их жизнь: у Машевского циклы стихов о хождении на работу, о свадебном путешествии, летнем отпуске, рождении ребенка; у Коно-

нова — «В тесном кабинете стоматолога...», «Сдаю книги», «Открывая двери». Чутко, тонко, с марсель-прустовским расщеплением и уловением мигов описывается, как рассказчика стригут в парикмахерской и он, спеленатый в этом кресле, чувствует себя пленником, разлученным с собой; или как он открывает собственным ключом дверь в то жилье, где раньше бывал гостем у милой, а теперь вот стал хозяином, и дивится, вспоминая начало любви, быстро нажитым уютным привычкам. Но даже та жизнь, которая, как своя рубашка, ближе всего к телу, отзывается в этих стихах какой-то экскурсионной чуждостью, словно сознание пишущих останавливается в столбняке перед непроницаемой завесой. «...Нет сущности, кругом один дизайн», — как сказал по другому поводу другой молодой ленинградец Владимир Шалыт. Когда Блок в своей городской лирике писал о «пошлости гаинственной», он соотносил два мира — мир пошлости и мир тайны, — ища между ними соответствий. Он мог оценить пошлость как пошлость и тут же опозитизировать ее как нечто причастное к тайне красоты и безобразия. Ныне из стихов неизвестно, с чем имеешь дело, с пошлостью или с красотой.

И пусть в теории эти поэты думают, что в таком отказе от старых оценочных координат, от сопоставления реального с идеальным и состоит новизна, свежесть их ощущения жизни. На практике они предпринимают массу усилий, чтобы приподнять, верней, укрупнить окружающий их непостижимый быт, повысить его в ранге посредством посторонних добавок. Мне кажется, здесь надо искать главное объяснение того, почему в этих стихах так много культурного, искусствоведческого, я бы сказала, антуража. Цеховая высоколобость, беспочвенное высокомерие книжников-эрудитов — эти сердитые укоры к делу не идут. Причина глубже и похожа скорей на беду, чем на вину. Культурные сокровища теперь стали заместителями ценностей абсолютных; культура становится божеством, и думают, что приравнять какой-нибудь сегодняшней обиходный предмет к музейному изделию значит наделять этот предмет смыслом несопоставимо более высоким, чем его ближайшее назначение и функция. Это современная форма освящения взамен прежних. Но смысла наделяние и освящение здесь, конечно, мнимые. Сравним современное здание с вавилонским зиккуратом, мы лишь мнимо повысим его поэтический статус, ибо еще неизвестно, как отнестись к самому зик-

куру, чем, помимо древности своей, он хорош или плох.

Подыскивание «культурных двойников», ничего, по существу, не говорящих ни о предмете стихов, ни о себе самих, превращается последнее время в эпидемию, в шаблон. Достаточно перелистать книжку одного только Алексея Пурина (в ленинградском сборнике «Дебют», где участником выступает и Николай Кононов), чтобы наткнуться на «критскую бронзу» загорающих тел. на «картину Ван Дейка в Дрездене» в связи с армейским дежурством, графику Чехонина — при виде деревьев в инее, «смерть Пети Ростова», прозрачную, как проведенный поэтом вечер, Спарту — в соседстве со спортгородком, Пергамский алтарь — в бане, где сгрудившиеся тела образуют подобие фриза. Потребность в сублимации, в «возгонке» впечатлений удовлетворяется из случайного запасника... У Кононова то же самое выглядит остроумней и содержательней: лежание скрючившись в малогабаритной ванне приводит на память известную картину Давида, живописующую убийство Марата, и побуждает к мысленному сочинению «маратовских» инвектив, адресуемых нашему серийно-панельному «строительному конструктивизму». Но и это немногим больше, чем шутка, вне условий которой неудобная ванна остается ванной, а убитый Марат — Маратом. Культура — как багаж, склад ценных вещей, а не историческая колея, ведущая к сегодняшнему дню и проникнутая смыслом. Недаром в стихотворении Пурина «Зеркало» просто-напросто перечисляется, что из минувшего успела огрызнуть эта «чистая гладь»: «трехсотлетие царской династии», «перелет Блерио над Ла-Маншем», «в шелестящих газетах — Стаханов, станки и Утесов с Любовью Орловой», «ночные звонки» арестов, «лютый холод» блокады, «сиянье победных медалей». Но ведь отражение-то бессознательное, механическая цепочка событий!

Примеры гораздо более резкой и никак уж не сублимированной «стихопрозы» дали сегодня женские перья. Фонарь реалистического повествования имеет свойство освещать все закоулки социального быта, ни один запрет здесь не вечен, и то же можно сказать о зарисовках и заметках, на которые отважились молодые поэтессы. Это «женские стихи», но не в том одиозно-уничжительном смысле, на каком настаивает в ряде своих отзывов Юрий Кузнецов. В силу самой темы стихи эти могли быть написаны только женщинами, но в

них дается столь обнаженная картина нравов, что сам собой отпадает вопрос о традиционной разнице между мужской и женской писательской рукой. Следуя за Татьяной Поляченко (поэма «Бабы слезки», напечатанная в 1987 году в литинститутском сборнике «Тверской бульвар, 25») и Инной Кабыш (автором еще не опубликованного цикла «Постельный режим»), попадаешь в мир женской клиники, мир нерожденных детей, искалеченных судеб, запекшихся сердец, цинической трезвости и отчаянной лихости. (Конечно, тут дана в специфическом развороте социальная модель более общего содержания.) Все-таки, подумав, скажу, что стихи эти женские в силу не одной лишь, женщинам доподлинно ведомой, темы, но и по внутренней сути. В них против «обстоятельств» протестует сама природа, само естество, отличающее без философских подпорок добро от зла. Тут, в кругу этих сюжетов, стихотворная речь отказывается от иносказаний как неуместных приправ, и когда еще одна дебютантка, Наталья Лясковская, пишет, прикрываясь метафорой и все равно впадая в натурализм: *«Ты проплываешь, как бумажный змей... Во мне пятнадцать маленьких детей, лучистые, как маленькие солнца, глядят в мои глаза, как в два оконца, на небо, где плывет бумажный змей... и, кроме этого, им ничего не надо, поскольку я их не рожу живьем...»* — она сильно проигрывает в сравнении с жесткими вешами своих «соперниц» Поляченко и Кабыш.

Новизна у них достигнута средствами, присущими прозе, даже беллетристике. Так стихи ли это? — спросят меня. Да, отвечу, и стихи тоже. Стремительность рассказа, песенность монологов, условность, вносимая самим размером и неизбежно смягчающая натуралистическое начало, — все это от стихотворной речи, использованной по назначению. Но поэзия ли все-таки? Не знаю. Не более и не менее чем переживания в связи с ездой в городском транспорте или прокладкой дороги. Одним словом, все та же «стихопроза», чей радиус обзора больше, чем вертикаль глубины или высоты.

Читать ее в «женском» варианте, быть может, даже интереснее, чем в «мужском»: меньше импрессионизма и утонченности, больше социального и нравописательного элемента, грубой правды и простых чувств. Говорят, что правда такая нецеломудренна, бесстыдна, что вовлекаются покровы с тайны любви, тайны рождения. Однако многое в современной жизни (включая, коль об этом пошла речь, ту же больницу или род-

дом) ставит тайну на фабричный конвейер, обнажает и прозаизирует ее; эти сравнительно новые для мира поэзии условия существования быют в глаза, быют по чувствам, и немало надо юмора, такта и верности природе, чтобы переварить их литературно, ни словом при этом не солгав. Некоторых читателей или, точнее, критиков шокировал «родильный пикл» в первой книжке Марины Кудимовой «Перечень причин». Но вот, вникая в ее вторую книжку «Чуть что», я снова нахожу самым интересным не ее «пастернакопись», чтобы не повторить: «пастернакипь» («Даже у иволг некто, порывшись в листве, все-таки выволк певчее мнение на свет»), — не бабги на историю, не экскурсионные тбилисские пейзажи, а то, что связано с браком и материнством в их нынешнем виде.

Александра, младенец женского полу,
Насыщалась из материнной груди,
Опустила она глаза свои долу
И подумала: — Что там ждет впереди?

Молока у матери было мало:
Подсосеешь чуток — и в кулак свисти,
Ибо мать ее долго себя ломала,
Прежде чем Александру произвести.

Но, лицом румянее палисандра,
Улыбнувшись, вновь за сосок взялась:
— Буду жить, — подумала Александра, —
Потому хотя бы, что родилась.

После этого сурового эквивалента традиционной колыбельной, где негладкость материнской и младенческой жизни смягчается только юмором, не без сочувствия читаешь такие вот строки Кудимовой: «...уведомляю, что люблю кино. Кино, где не беременеют жены и не прелюбодействуют мужья... Где необременительные дети обожествляют детские сады, оставшись дома, в сутках спят две трети и не психуют из-за ерунды... Оно совсем без запаха и плоско, как суповой удобный концентрат».

Объемная и с запахом «прозаическая» поэзия привлекает наиболее демократического читателя, который подчас не воспринимает ее и возмущается ею, ибо глух как раз к артистической стороне «стихопрозы». Небольшой цикл Марии Аввакумовой (автора книжек «Северные реки» и «Зимующие птицы») «Поздняя гостья», опубликованный в «Новом мире» в прошлом году, вызвал обширную почту, по преимуществу женскую. Одна из корреспонденток с пониманием пишет: «...Десятый, а может, пятнадцатый раз перечитываю Марию Аввакумову. Непроизвольно почти все выучила наизусть, хотя поэзией особенно не увлекаюсь... Такой пронзительной бсли, такой ду-

шевной тонкости и ранимости давно не приходилось видеть и ощущать». Или — из письма другой: «С первой строки перехватывает горло. Почти без дыхания — до конца. И опять сначала... Откуда Вы?!» Но для большой доли откликов характерно другое: «Кто же такая М. Аввакумова? Кто эта — не знаю, что написать? Поэтесса? Ну, конечно же, нет. Ибо это не поэзия. Женщина? Тоже нет, ибо какая женщина напишет о других женщинах столь злобно и пренебрежительно: «Вы, женщины с мужскими лицами»? Даже «плоские грудешки» не поленилась разглядеть...»

В моих глазах такие отклики указывают — от противного — на собственно-поэтическую сторону невеселых зарисовок Аввакумовой и ее негромких причитаний, спорящих с «железными песнями» века, куда убедительней, чем слова признательности из писем другого рода. Зарифмованный публицистический текст о тяготах женской доли, вероятно, мало бы кого смутил. Но тут не «публицистика», тут именно поэзия на прозаическом, житейски «неприбранном» материале, когда в самой интонации, в освещении деталей читателю можно и нужно расслышать много больше, чем сказано. И личную причастность автора к этому тягловому женскому миру, дающую моральное право изображать его без заискивания и приглаживания. И, уже извне выраженную, сочувственную оценку родных нравов, надежности и самостоятельности, простодушия и беспечности. И, наконец, точность этической, когда любовь к обрисованному здесь женскому характеру ни на миг не переходит в снисходительность к неутожительным обстоятельствам, в каких он сложился. В этих стихах можно и нужно проследить все тонкие, чисто художественные переходы от компанейского, с юмором мы к объективному, со скорбью о ни, и обратно, чтобы понять, что поэт — он и тот, «кто пришел и послушал одинокую душу», и сам — познавшая одиночество душа. В общем, уселись читать стихи, оказалось — проза; нацелились на «прямую» прозу, оказалось — стихи. Вот и не поняли.

Говоря о «стихопрозе» как о центральном потоке новой поэзии, о преобладании объективных портретов, жанровых сцен (если не количественно, то по уровню письма), не забуду указать и на особенно яркую разновидность — нравоучительную, душевоспитательную, принадлежащую изящному и уверенному перу Олеся Николаевой. Вот это имя я, поспорив с А. Марченко, как раз исключила бы из разряда су-

губо «женских», а если уж нужен тут женский прообраз лирического «я», то любитель старины мог бы сослаться на традиционную в фольклоре и древней книжности фигуру «мудрой девы».

Стихи Олеси Николаевой, важнейшие в ее книге, учат жить, учат правильной постановке души, ее самопознанию; притом слово «учат» прошу понять буквально, ибо поучение есть не только их цель, но и их жанр, давний, как сама словесность, пришедший еще из тех времен, когда в ней собственно-художественное, поэтическое начало сливалось с началом ораторским, риторическим и было подчинено задачам, стоявшим над искусством. Даже прекрасное стихотворение «Перед зеркалом» (приведенное в статье Марченко) представляет собой именно притчу. В ней речь идет о том, что мгновенное дуновение жизни — красота женщины, которая долго наводила марафет и не то что через десять лет, а не далее как завтра утратит эту свою тщательно подготовленную прелесть, — перед лицом вечности не менее драгоценно, но и не менее эфемерно, чем создания культуры, запечатленные в прочном материале. Неповторимость и ценность жизненного мига, его прикосновенность к вечному бытию продемонстрированы как бы на предельном, крайнем примере: что может быть суетнее женщины перед зеркалом? Но самый портрет этой «Дурочки-жизни» — не что иное, как прекраснейшая аллегория в средневековом вкусе, а все ее перечисленные в стихотворении атрибуты: «щипчики, пилочки, кремы, помады» — играют здесь ту же отвлеченную роль, что весы в руке олицетворений Правосудия или орудия перенесенной казни, придаваемые изображениям мучеников.

В таких вещах Николаевой, как «Слепой», «Боль», «От себя», «Возлюбленный», «Утро», «Гимн свету», «Похвала Ольге», замечательно воспроизведена и варьирована традиционная духовно-этическая проповедь, а от последних двух можно без натяжек сделать отсылку даже к поэтике Франциска Ассизского или Епифания Премудрого. Советую в особенности прочитать «Похвалу Ольге», где известный эпизод предания (месть княгини Ольги древлянам) используется как отправной момент аллегорической, по-своему величавой картины из жизни «внутреннего человека»: низкие побуждения и страсти, подобно обидчикам-древлянам, сгорают в очистительном огне, зажженном «жертвенными птицами» рассказяя, но прежней цельности и радости уже не вернуть — «будет Ольга до смерти расхлебыв-

ать со слезами судьбину вдовью». Здесь с большим тактом стилизованы приемы древнерусского духовного красноречия, в свое время нашедшего выражение в многочисленных «акафистах» и «канонах» — характерные параллелизмы, отглагольные «предрифмы»: *«Ты, горделивое мое око, любящее себя во всех отраженьях, во всех одеженьях; ты, тщеславное мое дыхание, кричащее о добрых своих помышленьях, благородных деяньях; ты, немилосердное мое сердце, не прощающее обиды, не спешащее на подмогу...»*

А в чем свежесть таких стихов Николаевой, что в них от современной души? Прежде всего юмор, обращенный на себя столько же, сколько на других, и парадокс, выбивающий мысль из ряда привычных представлений. В самом деле, до чего смешно и узнаваемо утреннее пробуждение человека, живущего кое-как: *«Грешник, вроде меня, пятернею чешет ключицу, сон гурной вспоминает; тяжело дышит, недобро воет его существо; скулят, как волчата, ребра... Ох, какое неспражничное у него настроенье! Муха прилипла к блюцу, где оставалось варенье...»* И как неожиданно в стихотворении «Слепой» нашими наставниками, поводырями названы не те, кто оказывает помощь (по сюжету — школьники, навещающие больных стариков и старух), а те, кому она оказывается, кто, живя среди нас, самой своей беззащитностью обучает нас добру и состраданию: *«И лишь слепой — уже совсем старик — идет среди людей, как проводник, и наизусть твердит свою дорогу»*. Поклонники Честертона (чи эссе в большом объеме уже изданы у нас), его современной проповеди, защищенной от скептиков латами юмора и парадокса, конечно, найдут переклички между нею и стихами Олеси Николаевой.

Но почему же все-таки и такую тонкую, одушевленную литературную работу я продолжаю называть «стихотворением», не торопясь произнести слово «поэзия»?

V

В европейско-американской поэзии наших дней до недавнего времени укрепляла свои позиции и претендовал едва ли не на господство верлибр — безрифменный «свободный стих», отличающийся от прозаического высказывания подчеркнутым членением фразы, особой сгущенностью, фантазийностью, афористичностью мысли и остротой рисунка. Сначала это был как бы мостик между стихами и прозой, он привлекал к себе внимание, как всякая граница, и, казалось, без этого контраста с тради-

ционными формами не мог бы существовать. Как, скажем, потеряли бы свое значение «свободные стихи» Блока, если б не соседство с остальной блоковской лирикой. Но вот мерным и рифмованным стихам, этому высочайшему достижению культуры нашего арела, стало, что называется, не хватать жизненного пространства. Прозаичность жизни, ее техницистская «расколдованность», ее неупорядоченность будто бы потребовали от поэта, чтобы он отложил в сторону свой музыкальный инструмент, лиру, старый символ гармонии, согласия, и заговорил с миром на одышливом языке рассогласованности, аритмии. Некоторые умы рано поняли все мирозерцательное значение такого сдвига, всю несводимость его к поискам непривычных средств поэтической речи — в частности, только что помянутый Честертон еще в начале века писал в защиту «романтики рифмованных стихов». В популярности верлибра отразилась новая роль, новый образ действий поэта: именно то, что он не «пророк», не «заключитель стихий», не «сын гармонии», а взамен собеседник, даже меньше: разговорщик. Азартный, ироничный, меланхоличный, но во всех случаях не пересоздающий мир, а нечто о нем сообщающий. Утратив «магию», такой собеседник стремится вознаградить слушателей игрой интеллекта, виртуозностью наблюдений. Но от этого он прозаичен вдвойне.

Русская поэзия — настоящая твердыня «прежнего» стиха, а значит, и прежнего образа поэта: согласителя противоречий, укротителя хаоса, Орфея. Верлибр, располагающий сейчас недюжинными дарованиями, все-таки продолжает восприниматься у нас как явление окраинное, дополнительное по отношению к остальному массиву поэзии, как сколок с какого-то иноязычного, возможно, интересного подлинника. Но глубинная тенденция, породившая на Западе эпидемию верлибров, действует, конечно, и у нас. Русская «стихопроза» нашла для себя компромиссный эквивалент верлибру — рифмованную, но ритмически расшатанную длинную строку.

Переход А. Кушнера от короткой строки к длинной (совпавший с его переходом на позицию чуть сентенциозного собеседника) явился как бы сигналом для поэтов следующего поколения. Длинной строке (у Кушнера она еще высокоорганизованна, поделена надвое классической цезурой) отдают почти абсолютное предпочтение и Кононов, и Олеся Николаева, и, на свой судорожно-шумливый лад, Паршиков, к ней движутся Пурин и Надеев. В этой длинной

строке все меньше остается признаков мерности, даже акцентная основа (до Маяковского отчасти уже найденная поэтами-сатириками) сохраняется не всегда, и лишь «застежки» рифм свидетельствуют о том, что это речь складная. В такой «длинной строке», приближающейся к раешнику, слова живут отдельно, не вступая между собой в особо тесные, над-смысловые, сверхрациональные связи, справедливо считающиеся свойством исключительно поэтической речи («единство и теснота» «стихового ряда», по сухому, но точному определению Ю. Гынянова).

Поэт до сих пор мыслит словесными целостностями, сращениями. Это касается не только таких великих, поразительных строк, как пушкинское, например: «...и дольней лозы прозябанье», где Л неотделимо от З, З от Н, рвущееся из-под земли О расцветает широким А — и все вместе не только дает чудесный образ произрастания (тут была бы просто звуковая аналогия, иллюстрация), но, главное, образует одно сверхслово с новым неисчерпаемым смыслом. Это верно и по отношению к обычным строкам больших поэтов, подходящих к стихии слова по-старому — «со властью». Один из литературных друзей Ходасевича восхищался ударными А, придающими трагедийное дыхание «больному» стиху о самоубийце: «Счастлив, кто падает вниз головой...» Или у Пастернака в стихах о Блоке: «Он не изгтовлен руками и нам не навязан никем» — последняя строка с ее сплошными начальными Н словно нерушимая печать. В том-то и дело, что такие строки рождаются целиком и даже как бы всегда существовали в мироздании, в языке, а поэтом бывают только обнаружены и явлены.

Когда по контрасту обратимся к «растянутым строкам» (он их сам так называет) Кононова:

...сухо поскрипывают шаткие сходни
Над оловянной тяжелой водой, зеленеющей
глухо и столь
Непрозрачной и вязкой, что как-то не хочется
уезжать сегодня, —

увидим, что он работает со словом как прозаик, как хороший прозаик. Связками эпитетов, непрерывными уточнениями он передает не только внешние обстоятельства, но и настроение: тугостное ожидание «ночного парохода» (так называется эта вещь), когда на душе, бог весть почему, беспокойно, мутно. Здесь налицо достижения психологической прозы, вогнанные в какой ни есть стих. Но поэтического сверхслова — нет.

Можно ли на этом фоне прозаической экспансии в поэзию не заслушаться такими (невнятными?— ну и пусть!) стихами?

Я поймал больную птицу,
но боюсь ее лечить.
Что-то к смерти в ней стремится,
что-то рвет живую нить.
Опускает в сердце крылья,
между ребер шелестит,
надрываясь от бессилья,
под ладонью верещит.

А что дальше? Дальше — еще туманнее: поэт дышит воздухом из клюва этой больной птицы, как видно, свидетельницы страшного события. И вот мерещатся ему, надыхавшемуся воздухом смерти, какие-то семеро в степи, шестеро из них пущены враспыл, седьмой неубитым призраком уходит вдале. Стихотворение называется «Баллада» и взято из маленькой книжечки Ивана Жданова «Портрет».

Раз уж я занималась здесь неоднократноными сопоставлениями давней и нынешней поэзии, замечу, что эти и некоторые другие стихи Жданова напоминают «Элегию» поэта-обэриута А. Введенского (см. «Новый мир», 1987, № 5). Нечего и говорить о прямом влиянии. Просто в современной русской поэзии нет более выразительного примера записи смутных, почти подсознательных образов на всескрепляющей музыкальной основе и в русле единой темы, исходного порыва, завладевшего душой поэта. У Введенского это трагическая тема внутренней, духовной гибели людей его формации, за чем неизбежно должна последовать и гибель физическая. Несмотря на трагизм смысла, а может быть, благодаря ему, череда мысленных картин рождает на прощанье какую-то зачарованную гармонию. Можно назвать это сюрреализмом или автоматическим письмом — как бы при выключенном контроле рассудка. Но как ни назови, самый факт поэтического свершения, достигнутого на столь странных и исключительных путях, остается несомненным.

Иван Жданов позволяет себе писать, отдаваясь тем же бессознательным психическим силам, вглядываясь в такие же неясные и текущие видения. Он тоже поэт глубокой, выпестованной грусти, которая иногда претворяется в поминальную песнь по живому существу (замечательно стихотворение «Прощай», обращенное к ушедшему в небытие, переселившемуся в «небесный табун» спутнику людей — коню), по жертвам целых эпох (стихи в «Дружбе народов», 1987, № 7).

Но беда в том, что такой тип творчества,

несомненно, стихийный и «поэтический» (хотя и недемократичный в силу зашифрованности), таит в себе и величайший соблазн. Поскольку поток этих наитий не выведен в светлое поле сознания, читатель лишен твердой возможности отделить подлинное от искусственного, вдохновенное от натужного. Тут — как с абстрактной живописью: наверняка есть и хорошие полотна, и плохие, но разница между ними слишком зыбка, определима лишь через прихотливые ощущения. В книжке Жданова наряду с неподдельными сновидениями имеется множество фокусов и вычур, но по вышеуказанной причине не стану отделять плевелы от добрых злаков: пограничную черту то и дело заволакивает туманом.

Напомню прелестный юмористический рассказ Карела Чапека «Поэт», к которому уже не раз обращались наши критики Полицейский комиссар, расследуя дорожное происшествие — мчавшейся машиной сбита пьяная нищенка, — вынужден опираться на свидетельство молодого поэта новейшей школы, запечатленное в его невразумительных стихах: «В дальний Сингапур вы уносились в гоночной машине. Повержен в пыль надомленный тюльпан. Умокла страсть. Безволие... Забвение. О шея лебеда! О груди! О барабан и эти палочки — трагедии знаменье!» «Поэзия — это внутренняя реальность», — поясняет молодой человек, оправдывая свою невнимательность к «внешним фактам, сырой действительности» (в момент инцидента он был под мухой); «...поэзия — это свободные сюрреалистические образы, рожденные в подсознании поэта, понимаете? Это те зрительные и слуховые ассоциации, которыми должен проникнуться читатель. И тогда он поймет». По добродушному убеждению Чапека (и вопреки мнению мудреца Платона, полагавшего, что «много глут певцы»), поэты всегда правдивы, так что инспектору Мейзлику удалось раскрыть преступление, когда он перевел «внутреннюю реальность» на язык внешней: машина преступников оказалась коричневой (ведь в «дальнем Сингапуре» живут шоколадные малайцы!), а «шея лебеда», «грудь» и «барабан» по сходству начертаний означали номер 235 на скрывшемся авто.

Не только по поводу Жданова, но и по поводу широкого веера нашей «метафорической» лирики часто хочется воскликнуть: «О шея лебеда!» Перед ней мы виноваты, видимо, в том, что отказываемся идти по стопам инспектора Мейзлика и вдаваться в увлекательные расследования. Для такой

лености у нас, читателей, есть, однако, изрядные основания. Новейшая критика — я имею прежде всего в виду всеми замеченную статью М. Эпштейна в «Вопросах литературы» о «поколении, нашедшем себя», — так вот, новейшая критика закрепила в головах «метафористов» губительный и многократно уже опровергавшийся предрассудок: что поэзия, материя ее — это «образная ткань». Эпштейн с одобрением пишет: «...выработан некий стиль поколения: образная ткань такой плотности, что ее невозможно растворить в эмоциональном порыве, лирическом вздохе, той песенной — романсовой или частушечной интонации, которой держались многие стихи поэтов предыдущего поколения. Здесь приходится распутывать сложнейшую вязь ассоциаций, восходящих к разным пластам культуры.. здесь каждый образ имеет не одну, а целый «перечень причин», за которыми часто не поспевает чувство, жаждущее молниеносной и безошибочной подсказки» (разрядка моя.— И. Р.). «Вязь ассоциаций» — это сказано точно. Не только у пифического Жданова, но и у аналитического Кононова, который хотел бы совместить заземленную иронию Саши Черного с воздушными бросками Мандельштама, жизнь превращается в какой-то нефигуративный узор, в ячеистую ткань гобелена, вплотную поднесенную к глазу. От инфузорий в чашке Петри мы переносимся в новые кварталы с той же, что и в чашке, скученностью, а потом опять — под микроскоп, в «хрящевидную густую питательную среду», и так взад-вперед, случается, по нескольку раз. Тут я совершенно запутываюсь. «Распутывать» же — увольте! Пусть кому-то другому «приходится».

Почему не хочу? Потому что раз «не поспевает чувство», значит, перед нами все-таки не-поэзия. Ибо поэзия — то самое «божье чудо», о котором Пастернак в стихах из «Доктора Живаго» обмолвился, что «оно настагает мгновенно, врасплох». Оно, это чудо, воздействует не «образами» (распутывая которые рискуешь обнаружить за «шеей лебедя» какую-нибудь тривиальность), а той молниеносной слитностью словесного акта, той магией сверхслов, о которой говорилось выше. И адресуется оно не «чувству» (сентиментальность и вздохи здесь ни при чем), а всему человеческому существу, откликающемуся на поэтиче-

скую речь не только умом и сердцем, но даже мускулами и мимикой. Древние, создавая миф об Орфее, верили, что поэзия вовлекает в поле своей власти всю поднебесную с ее обитателями, откуда и родилась утопическая, но захватывающая мечта о «богодейственности» поэта-художника, доступности для него преобразовать и гармонизировать жизнь не только символически, но и физически.

Что такое «плотная образная ткань»? В лучшем случае шаг в направлении особо украшенной прозы, так как «образы» — даже скручиваясь в путанку пепелку взаимопревращений, «метаморфоз» — дробят цельнорожденный стих на частности, утяжеляют его полет. В худшем случае (по поводу западных элитарных течений в искусстве это уже не раз говорилось, притом и самим Эпштейном) — перед нами рассудочное, как всякий шифр, сырье для критических интерпретаций, пища для высоколобного журнализма. Поэт запутывает, критик распутывает, они плотно стыкуются друг с другом, не оставляя ни малейшего зазора для читателя и его непосредственных впечатлений. Так на глазах у «непопевающей» публики могут создаваться очень громкие репутации..

Я назвала эти заметки «Назад — к Орфею!». Следовало бы, наверное, сказать: в п е р е д. Назначение поэзии не может измениться, ибо ее нечем заменить. «Поэт — величина неизменная», как сказал в переломное время Александр Блок. Поэтическая гармония есть одоление звуком, словом и смыслом заданных жизнью обстоятельств. Поэзии не пристало их игнорировать, выскомерно или трусливо от них отворачиваясь, но не пристало и принимать их как единственную и всевластную данность. И для такого акта одоления поэт черпает силу не в этих житейски обуславливающих его обстоятельствах, а в том, что зовется вдохновением (оставляю слово без объяснений). Сколько бы ни терялся по-человечески поэт в потоках рутинного быта и массовой цивилизации, как бы тягостно ни влияли на него полосы общественного анабиоза, вся эта растерянность, наденось, дело временное. В его руках все равно останется лира. Каков будет новый ее лад, предугадать нельзя. Но мы всегда узнаем ее характерные очертания и услышим «натянутые струны между небом и землей» На этом стихе А. К. Толстого можно и закончить.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Камянов. Задача на сложение.— **Андрей Василевский.** Чувство в своем естестве.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Александр Гангнус. «Он никогда не терял надежды».

Литература и искусство

ЗАДАЧА НА СЛОЖЕНИЕ

Владимир Маканин. Один и одна. Повесть. «Октябрь», 1987, № 2.

Владимир Маканин. Отставший. Повесть. «Знамя», 1987, № 9.

По ходу действия повести «Один и она» вдруг включается невидимый кинопроектор, вспыхивает воображаемый экран, и на нем возникают фигурки военных разведчиков. Их двое — он и она. У каждого припрятана серебристая полурыбка — парольный знак. Путь к месту встречи многотруден: нужно обходить западни, ускользать от погони, нестись по грохочущим крышам. Наконец оба на месте явки. Крупно — его и ее руки с зажатými в них полурыбками. Но, увы, линии надрыва не совпадают; разведчики, установив свою непарность, спешат разойтись. Экран гаснет, и мы видим при свете дня двух одиноких людей, с жизнью которых в порядке «примерки» соотнесен промелькнувший киносюжет.

Нет в них ничего романтического. Люди как люди. Из среднеинтеллигентного служилого слоя. Бессемейные, хотя и в годах. Им бы не мыкаться врозь, поменять свои постылые одиночества на любовный союз. Шаги к такому союзу предпринимались, но дело кончилось ничем — не совпали по линии надрыва полурыбки. Значит, спросим мы, киноставки с участием разведчиков нужны автору для наглядного пояснения: совсем было вошли в контакт, опознали друг друга люди, но не получилось гармонии при обмене заветным «парольным» сигналом? Нет,

маканинской манере чуждо громоздкое разъяснительство. И микросюжет из жизни разведчиков прежде всего важен как беглое напоминание об иной реальности, где очередная минута непредсказуема, а участник событий не обременен самим собой, внутренней своей разногласицей.

В мирно текущее историческое время человек поневоле затверживает установленную разбивку дня, недельные, квартальные, годовые циклы, а затвердив, способен почувствовать себя их пленником, которому предназначено кружить по своему же следу, пока не иссякнет завод. При этом вовсе не исключено, что незатребованная энергия человека ищет, где бы ей перехлестнуть через край. И всякому ли просто с нею сладить? Предусмотреть сюрпризы своей натуры?..

Прежде подобные вопросы читались у В. Маканина несколько иначе: «Каким внезапным коленцем удивит мир вот этот обыкновенный с виду гражданин, закусив однажды удила?»

Маканинскому человеку не дает покоя его собственная натура. Тайком от рассудка она ищет, где бы ей развернуться во всю ширь, какого конька оседать. Способен ли персонаж сладить с ее капризами, да еще в одиночку?

Слово «отставший», вынесенное в заголовок второй повести, не дает нам от-

злечься от тревог персонажей, которых буквально дрожь бьет при мысли, что им суждено отстать от других, куда-то уходящих тесной группой без оглядки на тех, кто замешкался. Геннадия Павловичу Голощеккову из повести «Один и одна» забывателем от внутренних сложностей видится, а еще вернее — грезится, людской «рой» («...особенного не ищи, ни о чем особенном не думай, войди в рой, прилепись и будешь спасен»). Извлечена на свет давняя мечта затворников, увязших в собственной противоречивости, — уйти, убежать от себя, опроститься, исчезнуть в массе. Надежды, разумеется, несбыточные, ибо от себя не убежишь. Да и где он теперь, людской монолит, «рой», способный учредить контроль над всем укладом личности, расписав наперед каждый ее шаг?

Монолиты, как правило, образуются «во дни торжеств и бед народных». Центральным героям повести это известно. Не оттого ли из глубины исторического фона и раз и другой выдвигается пара военных разведчиков, что их одиночество фиктивно? Отдаленные от монолита секретной задачей, они намагничены его токами, собой распорядиться не вольны.

По ряду примет эти картинки-кинокадры общие, всплывают в воображении героя и героини. Только ли? Ведь повествование ведется от лица их доброго знакомого — Игоря Петровича, литератора по профессии. Переходить от описания реальных обстоятельств к условным допущениям, фантазиям о несбывшемся, но возможном (в судьбах персонажей) — это в его власти. И нас вряд ли удивит прихотливая структура повествования с чередованием разновременных планов, когда календарь пролистывается то вперед, то назад, возвратами к пройденному ради более пристального освещения деталей, промельками утопических сюжетов, которыми тешит себя одинокое сознание. Самим построением повести «Один и одна» передана прихотливость душевных процессов, далеко упрятанных от внешнего наблюдения.

Но психологизм тут особого рода. Сквозь подробности или метаморфозы чувств нам дано разглядеть перспективу человеческой судьбы. Герой-повествователь, встречаясь со своими добрыми знакомыми Геннадием Павловичем и Нинелью Николаевной (так зовут героиню), всякий раз зорко отмечает признаки их физического увядания: у него на глазах развертываются (и уже готовы свернуться!) упорядоченные судьбы, которые почти целиком располагаются в пределах мирных десятилетий. Судьбы пожилых

людей, некогда принадлежавших к послевоенной молодежи. Тут — плавный переток от фазы к фазе, молодость и зрелость почти неприметно сменяются порой подведения итогов.

Такого у нас не случалось. По крайней мере в двадцатом веке. У тех, кто старше, либо юность пришла на пору великой ломки и сдвигов 20—30-х, либо детство с отрочеством остались по ту сторону войны.

Персонажи В. Маканина, освобожденные от авральных заданий на каждый день, от жесткого контроля со стороны все того же «роя», вынуждены принять на свои плечи заботу о самоорганизации, воспитывать, развлекать и трудоустраивать собственную душу, а та на редкость строптивая, мало считается с авторитетом рассудка, подвержена неупорядоченной смене тонов. При объяснении такой неупорядоченности прозаика прежде случалось прибегать к аналогиям из технической сферы, писать о «выбросе и выхлопе» психической энергии, как если бы дело шло о двигателе внутреннего сгорания.

Критики, немало шокированные подобными техницизмами, признали маканинский психологизм жестким. И вряд ли ошиблись. В. Маканин и впрямь несколько отстраненно, с веселым любопытством следит за персонажем, когда тот набирает разгон под действием неподконтрольных ему энергий.

И в повествовании о двух одиноких, улавливая трудноуловимое, прислушиваясь к внутренней речи героев, писатель производит: «психоизгибы». Или — «переброс чувства». Или — «саморазгон». Насмешливое слово стилизовано под рабочий термин и бегом очерчивает стереотипы внутреннего поведения, состояния-дубли, о которых вовсе не грех отозваться фамильярно.

Следует ли отсюда, будто тон рассказа об одной и другой судьбе по преимуществу ироничен? Нет. Главный объект авторской иронии — затверженность, автоматизм чувств, или, по выражению прозаика, «повторяемость один к одному» психологических состояний. Не изменяя своему обыкновенно насмешливо подмечать стереотипы душевных движений, автор на сей раз не скрывает сердечного расположения к героям. Если он и отстраняется от них для наблюдения издали, то совсем не так, как еще недавно отстранялся от антиллера, человека свиты или гражданина убегающего.

Тогда шла работа социального портретирования. Была взята на заметку типиче-

ская фигура. Ее предстояло обрисовать, рисунок заключить в рамку. Дистанция наблюдения (иронического) не менялась. Теперь меняется. Художник то поближе подойдет к своей модели, то отступит от нее, сочетает подробную диалектику чувств с широкими планами двух человеческих судеб, не вздыбленных и не расколотых на части никаким историческим потрясением.

Дом — служба — дом (холостяцкая жилая площадь с книгами) — таков маршрут каждодневных перемещений Геннадия Павловича, его, скажем так, кругосветное плавание. В отличие от одинокой Нинели Николаевны, верной правду «близок отпуск — бери путевку», он и отпускные недели проводит у себя на диване: раз отмеренный ему удел ясен, нечего замутнять ясное! Определенность так определенность. Пусть колесо фортуны катится не выхляя. И оно катится — под уклон.

Кажется, В. Маканин с его интересом к самоуправствам развинченной психики только того и ждал, когда мирно текущая реальность вырастит своих ветеранов, чья живая, не книжная память лишь ее и помнит — мирно текущую реальность. И они добрались до седин, юнoshi рубежа 50—60-х.

Цикл готов замкнуться. Утешителен ли конечный итог? Ревизия расчисленного пути велась без задержек, да еще с опережением хода; и как отчитаться перед собою за перекипевшие впустую, едва отчерпнутые запасы энергии, которая ждала экстренных заданий? Подобные вопросы явились, конечно, души героя и героини. И что же? Оба продолжают угнетаться предсказуемостью непрожитых лет и визионерствовать.

Геннадий Павлович и среди шума городского, пересекая проезжую часть улицы, мало что замечает вокруг, ибо захвачен думой, и сильно нервнрует шоферов (по одной из предложенных нам сюжетных версий он и гибнет под колесами). Нинель Николаевна — более дисциплинированный пешеход; ее верность привязчивой мысли-недоумению находит другую форму: свободные часы героиня проводит в углу дивана, равномерно снуя спицами, словно пропуская меж пальцев нить собственной судьбы. («Вязание как образ жизни», — формулирует повествователь.)

У иного горячего читателя, чье терпение, быть может, истощено попятными ходами сюжета, обилием «психоизгибов», уже готов сорваться с языка совет: «Да встряхнитесь вы наконец, созерцатели эдакие, хватит вам смаковать свое одиночество!»

Но линия поступков маканинских персонажей обычно вытягивается из такого тесного переплетения причинно-следственных связей, что для доброхотных советов со стороны тут не остается зазоров. Приходится распутывать крепко затянутые узлы.

В повести «Один и одна» особенно много весит вот какое обстоятельство: прежде чем сникнуть и самоутлуться, герой и героиня горели огнем неподдельного гражданского энтузиазма, в кругу студенчества слыли чуть ли не трибунами. К ним подстраивались шеренги ведомых, готовые подхватить зажигающее слово. Шла вторая половина 50-х, пора смелых надежд, бодрящих общественных веяний. Однако истекли совсем недолгие сроки, волна возбуждения пошла на убыль, и маканинские энтузиасты-застрельщики оказались наедине со своей пылкостью, спрос на которую резко упал. Строй последователей рассыпался. Лидеры лишились ведомых. Пролог к патетическому действию оборвался на полуслове.

Потянулась полоса будней, которым герой и героиня пробуют придать черты своеобразного мемориала, возводящего в честь их окрыленной, звонкой молодости. Они уже охотно оперируют стереотипом: «Вот мы в нашу пору, а вы, нынешние...» Предполагается, что им, тогдашним, ярко светил идеал, а новая смена, увы, погрязла в делячестве.

Подобные штампы и впрямь позывные сигналы старости. Но герой и героиня, оглядываясь на звездные свои часы и дни, не просто ищут там бальзам для души. Они стараются не ронять достоинства, содержать опрятно свою душу, дабы не совестно было перед прошлым. А прошлое этим одиноком необходимо растянуть на всю жизнь — так путники, потерпевшие бедствие, растягивают остатки провизии.

В повести «Один и одна» есть персонаж, о котором сказано, что он «тоже был опрокинут в юность». Формула примечательная. Речь идет о том случае, когда человек очень неохотно глядит вперед, ибо пора его наивысшего самораскрытия позади.

Впрочем, опрокинуты или накрепко впаяны в свою пламенную юность были многие герои литературы 20—30-х годов, познавшие азарт и окрыленность атаки, воители, которым противопоказан перепад исторических ритмов и ровная колея грозит крушением. Значит, у В. Маканина возобновляется дзвняя ситуация и его занимают характеры, больше приспособленные к бегу, чем к шагу? Не совсем так.

В отличие от старших братьев, отцов и дедов герои повести «Один и одна», не получая от Истории властных целеуказаний, вынуждены сами строить собственные биографии. А навыка нет. И с материалом для фундамента туго: под руку опять же попадают триумфы студенческих лет, а дальше хоть шаром покати. Вот тут и действуй, отзывайся на доброхотные советы, как одолеть апатию, избавиться от одиночества.

Затворникам претит меркантилизм новой смены, героине «Отставшего» Лере — слишком гладкое, расчисленное наперед существование ее сверстников, институтской молодежи конца 50-х. Но тут разница: затворники держат дистанцию между собой и меркантилистами теперь, в наши дни. Лера не жаловала своего же брата студента («слоняные студенты») три десятилетия назад.

А у самой, спросим мы, какие козыри на руках? Приобщенность к трагедии неисчислимых жертв сталинского режима. В ту именно пору приоткрылась правда о них. И тяжелым грузом легла на души. Как уменьшить груз? Увеличить его! — таким окажется ответ, если вникнуть в логику юной героини, которая оставила институт, ринулась из Москвы в Зауралье к свежей еще могиле своего репрессированного отца, тут же нашла себе кавалера среди ссыльных уголовников («он хлебнул жизни»), разорвав дружбу с московским однокурсником.

Лера не строит — встраивает свою биографию в барачный быт зеков, уже полусвободных, выведенных из зоны на поселение, — пусть ей, Лере, будет хуже, но ее не ждет гладенький путь за чертой грагедий!..

Угар, надсадная жертвенность. Зато не оставание, а какая ни есть приобщенность к сонму, к «рою» пострадавших.

Мы бы желали чего попримгладней? Но, знаете ли, как аукнулось, так и откликнулось; послесловие к трагедии не дано звучать благостно.

А кто в таком случае отстал от плотно сдвинутых людских судеб? Да хотя бы отвергнутый Лерой друг-однокурсник (ему досталась роль героя-повествователя), который пробует сладить с постылым одиночеством и, занявшись литературой, «приобщить свое чувство к чувствам других и тем себя обезболить».

Раньше были «саморазгон» или «перевос чувства». Теперь — «приобщить... чувство к чувствам». Тональность иная. На страницах «Отставшего» маканинский хо-

лодноватый аналитизм напоминает о себе слабым веянием. Не больше. Авторское участие к персонажам не прячется за усмешку. Что ж, ведь тут — чистота и незащищенность юности, увидевшей тяжелую правду в упор...

Одиноким, или отставшим, по В. Маканину, вовсе не отрезанный ломоть. У одиночества свои преимущества. Эта тема настойчиво звучит на страницах «Отставшего» в легенде о Леше-подростке, которого гнала от себя прочь артель золотискателей. Лешу избивали, увечили, а он плохо сросшимися руками чуял золотонные жилы. И кто же от кого отстал, если Леша плелся за артелью, а та, не теряя его из виду, сворачивала на Лешин след? Вырисовывается круговая зависимость одиночки от «роя» и наоборот.

Критик Наталья Иванова в отклике на повесть «Один и одна» («Иллюзия обретения» — «Литературная газета», 1987, № 14) не без остроумия пишет о ее центральных персонажах как о бесплодных Адаме и Еве, «не могущих обрести, познать друг друга, дать потомство», но тут же принимается корить прозаика за покушение на светлую репутацию поколения бывших «шестидесятников», которые-де и в театре нынче лидируют и в кино, ломают отжившие «стереотипы 70-х». До сих пор Маканину ставили в упрек «непроясненность» авторской позиции. Теперь получается, будто он наотмашь судит о целом поколении, обнаруживая крайнюю неосмотрительность в оценках.

Значит, скрытничал, скрытничал да и раскрылся? Но разве трудно допустить, что «талантливый прозаик», которого отличает «сдержанная манера» (признания Н. Ивановой), в дебатах о заслугах или банкротстве целых поколений не участник, что о жизни он мыслит в иных категориях, больше отвечающих достоинству искусства?

Отводя от Маканина упреки в том, будто он послынул на репутацию «шестидесятников», критик А. Латынина подает резонную реплику: «Не скомпрометирована ли историей литературы эта логика, согласно которой первоначальной реакцией на Раскольникова является негодующий вопль: «Оклеветал наше передовое студенчество»...» («Аутсайдеры» — «Октябрь», 1987, № 7). Да, у такой логики и реакции длинная предыстория...

Напомним: все подробности о маканинских ветеранах «шестидесятниках» мы узнаем от героя-повествователя Игоря Петровича, который годами моложе обоих, принадлежит к смежному с ними поколению.

Но помимо профессионально-писательского интереса к двум одиноким искателям внутреннего лада Игоря влечет к ним некое душевное сродство, глубоко запрятанная тревога и чувство неприкаянности, которым удобно делиться с теми, кому оно хорошо знакомо.

Эти трое по-особому сплоченны, дружно держатся за версии и допущения, ибо такая уж выпала им работа — уяснять самих себя, решать «задачу на сложение» своих разрозненных сил.

Заметьте: повествователь Игорь Петрович, вступив в содружество с героем и героиней, ни разу не козырнул главным преимуществом — писательством, хотя по давней традиции союз с музами — залог высшей свободы, по крайней мере свободы от тех блужданий, на какие обречены одинокие искатели гармонии, если им не дается в руки духоподъемное творческое дело. Повествователю, напротив, ничто не мешает взбираться на крутизну творческих задач, созидать небывалые миры. Но, как видно, на дворе такая пора, что и в творчество от себя не убежишь. Не случайно всплывает мотив зависти тем двоим из легенды-экспромта, молодым разведчикам, которые и знать не знали, что сущим наказанием может стать для человека его психологическая избыточность.

Подобно нездоровой полноте, она вызывает одышку, давит на сердце. Значит, нужны меры. Какие? Покрепче взять себя в руки, поставить, что называется, под ружье, сдружившись с путеводной идеей? Пробовали, не помогает. Идеи, кстати, отлично взнуздывают рассудок, горячат кровь, но их дисциплинирующая власть не беспредельна, особенно если наступил, по выражению В. Маканина, «сезон души», для которой одна лишь умственная диалектика — голодный паек.

Обо всем этом В. Маканин писал и раньше, смущая критику странной широкоад-

реской иронией, усмешками по поводу «выбросов», «выхлопов», самоуправств нашей психики.

Теперь острое авторской иронии не так задевает достоинство персонажей. Да и грех взял бы писатель на душу, насмешничая над теми, кому переломившееся послеавральное время подбросило задачу-новинку — учиться искусству самоорганизации и духовного самообеспечения. Собственно, центральным героям ничто иное нейдет на ум, кроме неподъемной для них задачи. Да ведь и персонажи-рассказчики в обеих повестях недалеко продвинулись в ее решении. Так над каким же из послевоенных поколений жестоко трунит прозаик?..

Человеческому духу не прикажешь: ищи свой центр, восполняй за счет своих же ресурсов дефицит веры в разумность миропорядка, опирайся на себя и при этом будь общителен, контактен, избегай тупиков! Рекомендации удобно адресовать нашему сознанию, а не духу или душе, для которых естественнее всего жить на началах самоуправления.

Верность этим началам, разумеется, еще не гарантия ярких завоеваний или наград. Тот, кто вдруг с разбегу налетает на громаду духовных вопросов и намерен уяснить, как распорядиться собой на отмеренном ему пути, может отступить или оступить в одиночество, может, не разрешив духовной задачи, впасть в затяжную озадаченность.

Так оно и случилось с маканинскими персонажами, которым на пороге тягучего («застойного») двадцатилетия досталась роль первоозаданных. Не кивая на окружение («Почему именно мы?»), эти герои приняли ее условия. А приняв, ни разу не сбились. На первое место поставили духовную заботу.

Так стоит ли за них краснеть славной когорте «шестидесятников»?

В. КАМЯНОВ.



ЧУВСТВО В СВОЕМ ЕСТЕСТВЕ

- Николай Тряпкин. Излучи. Стихотворения. М. «Молодая гвардия». 1987. 159 стр.
 Николай Тряпкин. Огненные ясли Стихи. М. «Советский писатель». 1985. 174 стр.
 Николай Тряпкин. Земное житие. Стихи разных лет. «Литературная Россия», 1987. № 32.

Что Николай Тряпкин интересный и своеобразный современный поэт, было известно и прежде; некоторые, впрочем, относились к нему несколько снисходительно, другие же, напротив, отводили ему почетное место в пантеоне самых замеча-

тельных явлений отечественной поэзии. Репутация его долгое время была примерно такова: поэт, работающий с фольклором, сочинитель, как он сам выражается, «песенок», которым «даже делать нечего» в бетонном мире, где «горит за городом

атомный закат и стоит над городом атомный солдат» (строки эти написаны задолго до чернобыльской трагедии), поэт, последовательно и неустало творящий хронику деревенского детства, своей семьи, самой русской деревни, пополняющий хронику все новыми (кому-то они покажутся однообразными) стихотворениями, словно не в силах избыть видение, как

...цветет на отцовской избе
Сновиденья Тридцатого года.

Не пахарь по судьбе, как отмечает сам поэт, он утверждает свою причастность судьбам русской деревни — и до «великого перелома» и после него. Самому же «перелому» посвящено одно из лучших его стихотворений — «Не искал ты, Никита, муравскую землю...» (стихотворение в своем роде классическое, и, думаю, оно со временем будет признано таковым). В первом приближении он поэт, что называется, совершенно «деревенский», однозначно и безраздельно связанный с тысячелетней устной народной культурой. Связь эта очевидна. Но, как мне кажется, более точен оказался молодой критик А. Архангельский, показавший, как в поэзии Тряпкина (поэзии пригорода, окраины, а вовсе не города или деревни) взаимодействуют две равновеликие традиции — песенно-народная и книжно-литературная. Поэт работает то в одной, то в другой традиции, то пытается дать их синтез, что не всегда оборачивается удачей; причем, подчеркивает критик, пребывая в одной из традиций, поэт каждый раз остается самим собой («Как пригород смыкает собой город и деревню, будучи причастным к ним обоим, но ни к одному из них не сводимым, так и эта поэзия сложно преломляет в себе фольклорное и литературное, книжное начала»). Так или иначе в поэзии Тряпкина присутствует и мир русских поговорок, и городской романс, и клюевская мифология, и «высокая» философская лирика... И все важно, и все нужно.

А за окнами скрип, а за окнами бег,
А над срубами — снег, снег...
Сколько всяких там гор! Сколько всяких
там рек!
А над ними все — снег, снег...

Затопляется печь, приближается ночь.
И смешаются печь, ночь.
А в душе моей свет. И врази мои — прочь.
И тоска моя — прочь, прочь.

Загорается дух. Занимается дых.
(А на улице — снег, снег.)
Только шорох страниц. Да свечи этой вспых.
(А за окнами — снег, снег.)

А в кости моей хруст. А на жердочке —
дрозд.
Ах, по жердочкам — дрозд, дрозд.
И слова мои — в рост. И страда моя — в рост.
И цветы мои — в рост, в рост.

Это, конечно, не фольклор, но это и немислямо без фольклора и вне фольклора. И в «Старинной притче» 1979 года нет прямых фольклорных заимствований, но своей лукавой мудростью она вытягивается в стихию устного народного творчества:

Ох, и слава тебе, Государев Слуга!
Никогда наперед ты не ел пирога,

Ты за море ходил и тачал сапоги,
Чтобы ел Государь прежде всех пироги.

Ты и славы себе и почета искал,
Чтобы Царь-Государь натошак не страдал,

И весь мир за тобой повторяет урок:
Да святится всегда Государев Пирог!

Подборка «Земное житие» в «Литературной России», откуда взята «Старинная притча», и новомирская подборка (1987, № 4) стали, по сути, открытием нового Тряпкина как социально острого поэта (часть произведений которого не могла быть напечатана в предыдущие годы). Сборник «Излуки» укрепляет это впечатление. Но о том, что Николай Тряпкин хороший поэт (мало сказать, что я разделяю это мнение, некоторые его лирические стихотворения уже нераздельно вошли в состав моего внутреннего мира), еще много будут писать в связи с его приближающимся семидесятилетием. Но я сейчас (нарушая неписаное правило: хвалишь — так хвали, ругаешь — так ругай) хочу говорить о другом. Всякий непредвзятый читатель сразу отметит один из сквозных мотивов его творчества, особенно ясно проявившийся в «Излуках». Я имею в виду какую-то неутолимую, «агрессивную» и одновременно простоудушно-детскую обиду на былое непризнание. Известно, нет пророка в своем отечестве...

Ах вы, злыдни мои! Забросать бы гнильем
ваши двери,
Что за черные кошки всегда вас, бродяги,
скребут?..
Пронесутся года, заиграют ночные свирели,
И не ваши ли внуки те песни мои запоют?

Неутоленность этой обиды тем более удивительна, что Тряпкин ныне — признанный писатель, а критик В. Кожин, наиболее последовательно поддерживавший поэта, уже печатно провозгласил его творчество одним из самых живых поэтических явлений века — куда уж выше (неза-

висимо от нашего согласия или несогласия с такой оценкой)... Впечатляет эта непосредственность (но совсем не наивность), принимающая у Тряпкина форму то обаятельной творческой дерзости, то разочаровывающей грубости и безвкусицы. Я говорю вовсе не о той искренности художника, которая является неременным условием всякого истинного, а не имитированного художественного создания. Тут иное. «Предметы в природе своей — вот высшая проба искусства, и чувства в своем естестве — вот радость для истинных муз!» — такова сознательная авторская установка. Звучит хорошо. Но как понимать эти «чувства в своем естестве»? Сами по себе они, я убежден, еще не образуют произведения искусства, и, главное, не всякое «чувство в своем естестве» может лечь в основу поэтического произведения (когда Рубцов в ранних стихах признавался, что «так порою хочется ножом... кого-нибудь», это была несомненная психологическая правда, но еще не поэзия). У Тряпкина много нежности к тому, что ему близко и дорого, но в целом поэтический мир Тряпкина — мир без милосердия. (Эта его черта открылась в полной мере в «Излуках».) Поэт, бродящий в тоске по руинам русского храма, справедливо противопоставляющий его бывшее величие нынешним «вымпелам на шестах да реклам из ярких фанер» (см. «Песнь о российском храме»), сам глубоко чужд именно новозаветной нравственной традиции с ее идеями прощения, милосердия, искупительной жертвы за чужие грехи. В «Излуках» торжествует ветхозаветное — око за око. Что ж, поэта не миловали, и он не милует. Называются гонители в его стихах по-разному: «мазурики», «злыдни», «критиканы», «серенькие соседи», «кастры», «долбуны», «прохвосты», «паскуды», «книжники и уроды, искалеченные враньем»... Традиционное романтическое противопоставление художника и обывателя получает в стихах Тряпкина особую окраску (цитирую стихотворение середины 60-х годов, перепечатываемое из книги в книгу, — оно программно):

Пускай они при дьяволах,
При ангелах живут.
И все-таки,
И все-таки,
И все-таки мы — тут.

И все-таки мы шумствуем
Облавой озорной:
Ату, ату мазуриков!
Достать их под полой!

Достать их из-под должности,
Ползучих раскоряк!..

Пусть лагерь наш — под выстрелом,
А те — среди коряг.

И все-таки мы шумствуем,
Гарцуем над землей.
А Лермонтов,
А Лермонтов —
С горластою трубой.

В сборнике «Огненные ясли» эта часть стихотворного триптиха о «мазуриках» озаглавлена «Марш веселой кавалерии» Сочувствовать «мазурикам» трудно, но отчего же нам (или только мне?) так неадекватно от озорной облавы? Ненависть поэта понимаю (хотя, возможно, что под обобщенными «мазуриками» мы разумеем разные жизненные явления), а вот радость от облавы разделить не могу. Не должна облава, даже озорная, даже с Лермонтовым во главе, быть предметом поэтического воспевания; в жизни есть много такого, о чем поэт может и должен писать, но что он не имеет права воспевать, чему нельзя радоваться.

И ведь это в творчестве Тряпкина не казус, а сквозной мотив Прочтем еще одно стихотворение, послушаем «голос певца-златоуста, гуслезвонца всяя Руси»:

Не сумели меня прокрусты
Уложить на свою доску...
Эй вы, гусельники-златоусты!
Для начала хлебом кваску, —

Да не стильного (?), не баскова,
Не того, что из «гой еси»,
А всамделешного, такого,
Что для здравья пьют на Руси.

И не примем цветных кафтанов,
Ни сафьяновых сапогов,

(внимание, читатель!)

И на стрелках подъемных
кранов
Мы повесим любых шутов.

(Здесь и далее разрядка моя. — А. В.)

Да замрет кутерьма в столицах!
Да развеется дым и прах!
И по солнечным половицам
Мы пройдемся в лихих дробях.

Ради веры такой хорошей
Не запремся в своей избе
И любую крестную ношу
Понесем на своем горбе.

Нельзя сказать, что это просто плохие стихи (а у Тряпкина, чего лицемерить, такие встречаются). И нельзя сказать, что это голос не Тряпкина Это тоже его голос. Резкий, даже «дикий» голос стихотворца, в принципе обладающего истинным поэтическим даром (стихотворений, свидетельствующих об этом, очень много). Владельцы тран

зисторных приемников с коротковолновым диапазоном знают, как порой чистый и ясный голос певицы вдруг искажается от ворвавшихся в эфир шумов, помех или соседней станции: музыка превращается в скрежет — но это та же самая музыка, тот же самый голос. Не это ли случается с Тряпкиным?

Свет ты мой робкий! Тайственный свет!
Нет тебе слов и названия нет —

и вдруг чистейший лирический дар искажается ворвавшимися шумами и помехами, блуждающими в общественной атмосфере (да не подумают, что это выпад против вторжения общественных сгростей в поэзию).

Конечно, искусство не есть жизнь, но только очень наивный человек может предположить, что строки о «шутах», повешенных на стрелах подъемных кранов, будут читаться вне их жизненного смысла. Когда лирический герой Юрия Кузнецова обещает хлопнуть-перехлопнуть запад о восток, что тут скажешь? Пусть забавляется... А подъемные краны — слишком уж реально. Для поэта они, наверно, только образ, только слово, но для других (вовсе не поэтов), пожалуй, и дело. Переход же от таких слов к такому делу бывает весьма быстротечен. Достоевский писал в «Дневнике писателя» за 1877 год, что «если не сдирают здесь на Невском кожу с отцов в глазах их детей, то разве только случайно, так сказать, «по не зависящим от публики обстоятельствам», ну и, разумеется, потому еще, что городовые стоят... и, главное, потому, что пока еще запрещено, а что за нами, может быть, дело бы и не стало, несмотря на всю нашу цивилизацию... если б заговорил кто-нибудь в этом смысле, компетентным слогом и при компетентных обстоятельствах, то, поверьте, тотчас же явились бы исполнители, да еще из самых веселых». Какое точное определение — «веселых»! О этот дух веселого погрома!.. Только провозгласи «по совести», что-де это прогрессивно, или патриотично, или это хорошая вера,— и пойдет дело. Ведь у каждого — свои «мазурики», «соседи», «критиканы», «шуты»... Ату!.. Воистину: «и себя не найдем», как сказано в одном из стихотворений сборника «Излуки». «Бог знает чем чреват еще мир и что мо-

жет дальше случиться, даже и в ближайшем будущем»,— предупреждал Достоевский. И тревога его вечно актуальна.

Скажут: дескать, критик просто не умеет читать стихи как стихи; я же отвечаю: не во мне дело — именно так сегодня стихи читаются. И более того: стихи, далекие от злобы дня, могут сегодня, что называется, не прозвучать рядом вот с таким:

С похвальнейшею привычкою
Хлопчете о всемирном,
А сами — пред каждой лычкой
Встаете по стойке «смирно».

И пусть там венчают славами
И ставят вас напоказ,—
И все-таки вы перед завами
Всегда говорите: «Да-с».

Или — с таким:

А ты, забыв все выдохи и вдохи,
Кричишь: «Даешь!» (и никаких гвоздей!)
И все поешь, как сын своей эпохи,
Что нет счастливей участи твоей.

А между тем, лишь погляди спокойней,—
Вот он — итог свершений мировых:
Все тот же пресс, все та же маслобойня,
А ты в конце — все тот же самый жмых.

И вот он — круг призвания земного,
И вот он — круг истории людской,
И нет пока что выхода другого,
И нет пока истории другой.

Да, я неравнодушен к поэзии Тряпкина. И чувства мои противоречивы. Люблю его лирику — несмотря ни на что (и не пытаюсь выставлять его недостатки проявлением «своеобразия»). Думаю, что нам нет нужды отречься от нашей любви ради необходимой критики или отказываться от возможности критического анализа ради нашей любви (поскольку и то и другое было бы изменой самому себе). Да, жизнь зачастую требует прямой борьбы, открытой схватки, последовательного и полного отрицания, но не менее часто возникает необходимость в том, что Бахтин обозначил как благожелательное размежевание — без драк на меже (он имел в виду открытую борьбу научных «партий», но его слова вполне можно отнести и к искусству, к общественной жизни). Думаю, что это как раз тот случай.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.

Политика и наука**«ОН НИКОГДА НЕ ТЕРЯЛ НАДЕЖДЫ»**

П. П. Черкасов. Генерал Лафайет. Исторический портрет.
М. «Наука». 1987. 176 стр.

Что нужно, чтобы извлечь из прошлого максимально полезный урок? Прежде всего преодолеть искушение его ретроидеализации, снять розовые ностальгические очки. Отсюда, издалека, не видно многого... Вино в XVIII веке считается лекарством, его пьют даже дети. Кстати, по сравнению с другими тогдашними лекарствами это еще ничего. От всех болезней лечат, к примеру, кровопусканиями, успешно отправляя на тот свет людей вполне жизнеспособных. Даже молодые люди часто шамкают беззубыми ртами. Более половины членов французского конвента рябые — оспа все еще царствует. Полно вдов и вдовцов, люди часто умирают молодыми. Детская смертность, приемлемая по сравнению, скажем, с XI или XII веком, по сегодняшним меркам катастрофическая. Борьба с ней, по сути, ведется только одним способом: женщины рожают и рожают — кто-нибудь да выживет!..

Так что, если без розовых очков, нам сегодня может показаться просто диким, что в этой обстановке ненадежности и гибельности существования люди смеют думать и мечтать о каком-то счастье человечества и даже воображать его достаточно близким... Мало того, позволяют себе ненавидеть другого, если тот, другой, представляет себе это грядущее счастье немного не таким.

В понимании истории нам мешают сложившиеся в разное время стереотипы. На примере отношения к Лафайету П. Черкасов раскрывает один из них. Что знаем мы о деятелях Великой французской революции, ее героях? Попросите нашего студента или преподавателя истории перечислить ее главных участников в порядке убывания их значения и привлекательности — ряд будет примерно такой: Марат — Робеспьер — Сен-Жюст... Ну, Дантон, Демулен — попутчики, путаники. Мало кто вспомнит Мирабо. Почти никто — Наполеона, он в нашем сознании на отдельном пьедестале, от революции отчужден. Лафайета если и вспоминают, то лишь в качестве предателя и врага революции. А вот результаты опроса, проводившегося в наши дни во Франции (между прочим, французы чтут свою революцию, гордятся ею) На вопрос французского института по изучению общественного мнения: «Кто из участников революции внушает вам наибольшую

симпатию?» — 43 процента опрошенных назвали Лафайета! Бонапарта — 39 процентов, Дантона — 21, Сен-Жюста — 21, Робеспьера — 19, Мирабо — 17, Марата — лишь 8 процентов.

Если отношение к Наполеону легко обогнать известными общечеловеческими слабостями — мелкобуржуазной тягой к «сильной руке», синдромом великодержавности, то с Лафайетом, обстоятельно доказывает П. Черкасов, такие простые объяснения не проходят. Как бы ни оценивать те или иные поступки, приказы, декларации генерала национальной гвардии Парижа, его искренность, честность и неподкупность вне подозрений. Современник Лафайета Г. Гейне писал: «Что бы ни говорили ослепленные друзья и лицемерные враги, Лафайет наряду с Робеспьером — самый чистый характер во всей французской революции и, после Наполеона (тогда было так! — А. Г.), самый популярный ее герой».

Но неподкупность еще не все, сегодня неподкупный Робеспьер ценится своими соотечественниками лишь чуть выше совершенно продажного (но и более яркого) Мирабо Лафайет не был оратором, как Дантон и Мирабо. Таких великих побед, как за Наполеоном или Моро, за ним не числится. И вообще последняя фаза революции обходилась без него, враждующие фракции якобинцев и жирондистов соревновались между собой (и с роялистами), кто покрепче втопчет в грязь имя Лафайета.

Революция вытекает не только из конкретной местной ситуации, но и из мирового революционного опыта, из предыдущей революции. Каждая последующая соразмеряет лозунги и практику с ближайшей предшественницей. Трехсотлетняя цепь революций неразрывно тянется от майских тезисов Лютера до Апрельских тезисов Ленина (1517 — 1640 — 1775 — 1789 — 1830 — 1848 — 1870 — 1905 — 1917). Лафайет своей жизнью и решающим участием охватывает три звена этой цепи. Революционер-долгожитель — чрезвычайно редкое явление. Циничное высказывание Клима Самгина: «Революции нужны, чтобы уничтожать революционеров» — слишком часто, увы, подтверждается на практике, чтобы быть просто зловещей шуткой. Много раз обвиненный в измене и роялистами и революционерами, Лафайет, как по-

казано в книге, на деле оказался поразительно стойким и постоянным в своих убеждениях и никогда не шел на сомнительные компромиссы. «Среди современников Лафайета,— писал Ш.-О. де Сент-Бёв,— среди тех, кто вместе с ним первым устремился на штурм старого режима, как мало среди них сохранили веру в их дело! Мирабо и Сиейес — эти два самых мощных ума — очень скоро разочаровались, примерно через год открытой революции Мирабо перешел в стан консерваторов, а Сиейес замкнулся в ироничном молчании. О Талейране вообще говорить не приходится... (Добавим: признаки усталости и разочарования проявили перед смертью и Дантон и даже Робеспьер.— А. Г.) Лафайет же никогда не переставал верить в совершенство избранных идеалов, в их триумф. Он никогда не терял надежды».

Один из самых богатых и знатных людей Франции, королевский мушкетер, кавалерийский капитан, маркиз де Лафайет мог запросто беседовать с такими людьми своего круга, как брат английского короля герцог Глостер. От него в 1775 году он и узнал о начавшемся в Северной Америке восстании. Уже через два года он, счастливо разминувшись с королевской полицией и английскими патрульными судами, появляется в Чарлстоне на купленном им судне во главе небольшой группы соотечественников — ревнителей свободы и искателей славы. Вместе с Вашингтоном ему предстоит в войне за независимость изведать горечь поражений и славу побед...

Лафайета — вот парадоксальность «вольтерьянской» эпохи! — одинаково пылко чувствовали и коронованные особы (в том числе Екатерина II) и простолюдины. И чувствовали именно как революционера. Черкасов напоминает, что Лафайет стал предтечей революции, заранее легализовав ее, приучив к ней умы. И, надо отдать ему должное, не использовал приобретенный политический капитал для собственной карьеры, не забыл первоначального порыва к общему благу. Не сделал даже попытки вернуть ту часть своего состояния, которую вложил в американскую революцию. Материальный аспект в подобных случаях обычно опускают — мол, экая мелочь... Не мелочь! И автор не забывает еще и еще раз отметить: Лафайет не только не брал положенного ему жалованья, но сам экипировал и кормил свои отряды, и поступал так всю жизнь, умер практически в бедности. Он не продавал хлеб крестьянам в голодные годы, как это делали аристократы, а раздавал его бесплатно. Он тратил большие деньги на освобождение

черных рабов в Гвиане (а ведь мало кто даже из якобинцев спешил распространить понятие о естественных правах на колонию). Боролся за верогерпимость, за возобновление действия Нантского эдикта — гугеноты все еще были французами второго сорта. На военном смотре шокировал короля эмблемой, которую носил на перевязи: дерево свободы, стоящее на короне и сломанном скипетре.

Французская революция (как, впрочем, и все остальные) началась с экономического краха режима, основанного на безумно расточительных привилегиях двора и правящего класса. Толпы высокооплачиваемых бездельников съедали все доходы государства. Попытки Тюрго и Неккера произвести перестройку финансов кончились отставками обоих министров. Самый либеральный из всех королей Франции Людовик XVI не выносил ни малейшей гласности в финансовых вопросах — Неккер был уволен за опубликование реестра государственных доходов и расходов, а сменившего его Калонна, красная и лизоблюда, сместили за то, что он не мог не назвать перед, созванной королем ассамблеей нотаблей хоть какой-нибудь суммы государственного дефицита. И хотя Калонн приукрасил положение более чем вдвое, это его не спасло.

В ассамблее нотаблей Лафайет был единственным, кто открыто бросил вызов власти, заявив 16 апреля 1787 года: «Все эти безудержно расточаемые миллионы, политые потом, слезами и, быть может, кровью народа, не должны тратиться столь легкомысленно».

Король был не прочь отправить Лафайета в Бастилию, но уже не посмел. Нотаблей распустили, но власть пошла на ряд уступок. Сняли ограничения на торговлю зерном. Летом последовал указ, воплотивший предложение Лафайета, принятое вначале в штыки, о созыве выборных провинциальных ассамблей. Наступила некоторая оттепель по отношению к религиозным диссидентам-гугенотам. На последнем заседании ассамблеи нотаблей Лафайет произнес исторические слова о необходимости созыва Национального собрания.

«— Что же вы предлагаете, месье,— ошеломленно спросил граф д'Артуа (брат короля, будущий король Карл X.— А. Г.),— созвать Генеральные штаты?»

— Да, монсеньор,— лукаво улыбаясь, ответил Лафайет,— и, может быть, даже нечто большее».

На другой день весь Париж повторял эти слова, одни со страхом, другие с надеж-

дой. Провинциальные ассамблеи стали центрами оппозиции, а созыв (после стасемидесятипятителетнего перерыва) Генеральных штатов, ставших-таки Национальным собранием, был преюдией революции.

Интересно, что сам Лафайет в это время думал все еще о мирной перестройке: «Постепенно, понемногу, без великих потрясений...» Не потому, что боялся революции, а потому, что не верил в революционность забитого народа. «В этой стране, мой генерал,— писал он Вашингтону в 1788 году,— народ столь апатичен, что я нуждаюсь в кровопускании, чтобы развеять мою тоску».

Финансовая проблема не развеялась сама собой, а стала еще острее. Без собрания сословий банкротство стало неизбежным. Начались выборы в Генеральные штаты. Решающим для дальнейших событий оказалось расширение вдвое представительства третьего сословия. И опять это была идея Лафайета! В критический для революции миг, когда депутаты третьего сословия объявили себя Национальным собранием, а король попытался его распустить, Лафайет первым из дворян присоединился к депутатам третьего сословия, за ним потянулись другие дворяне, духовенство. Двор оказался в изоляции.

Как известно, восстание 14 июля имело своим непосредственным поводом указ о новой отставке и высылке Неккера. Перед этим произошел ряд важных событий, где опять-таки велика роль Лафайета. Именно он 12 июля предложил проект Декларации прав человека и гражданина, написанный, конечно, под влиянием американской Декларации независимости, которую Лафайет знал назубок. Невозможно передать то впечатление, которое произвел тон и дух этого текста на всю Европу. Они стали тоном и духом всех документов Французской революции: «Каждый человек должен быть подвластен только законам, которые он признает сам и через своих представителей...»

В ночь с 13 на 14 июля Лафайет был избран вице-председателем Национального собрания. А на другой день после взятия Бастилии — главнокомандующим национальной гвардией, вооруженной силы революции. В кризисных условиях этот пост был очень удобен для захвата власти. Но Лафайет всем своим поведением доказал, что притязания на личную диктатуру ему чужды. Он мечтал о введении порядка и законности, как он, конституционалист, их понимал, и поневоле вступил в противоречие с закономерностями продолжающейся революции. Его деятельность с какого-то

момента объективно оказалась направленной против революционного творчества масс. 17 июля 1791 года, выполнив приказ мэра (одобренный Учредительным собранием) о расстреле демонстрации санкюотов на Марсовом поле, он сразу потерял большую часть своей популярности. Но даже Робеспьер, впоследствии много говоривший об «окровавленных руках» Лафайета, не выступил в те дни против расстрела.

Лафайет был против смертной казни — и не нашел поддержки. Позднее против нее высказался и Робеспьер, но довольно скоро «временно» отказался от своего предложения...

П. Черкасов заново прослеживает поведение Лафайета в дни кризиса, вызванного бегством короля к восточной границе (лето 1791 года). Лафайет не был виновен в победе королевского семейства (впоследствии ему в числе прочего ставили в вину и это) и принял энергичные меры к его поимке и возвращению. Но сделал все, чтобы обелить пойманного короля считая, что страна не готова к республиканской форме правления. Так в то время думали многие...

В 1792 году Лафайет (как вначале и якобинцы) был против войны. Войны добились герои революционной фразы — жирондисты, а также король. Первые отчасти надеялись на получение таким путем власти, а отчасти искренне верили в «войну народов против королей». Король же твердо рассчитывал на скорый разгром революции коалиционными войсками. И те и другой жестоко ошибались. Война, почти четверть века истреблявшая народы Европы, привела к Реставрации. Те, кто был против войны, возможно, все это предвидели...

Не понимая смысла войны и преодолевая необыкновенные трудности 1792 года — отсутствие офицеров, продовольствия, обмундирования и фуража, развал старой дисциплины и отсутствие новой, революционной,— Лафайет вынужден был вести военные действия. Он открыто выступил против жирондистов и якобинцев, считая их виновниками всех бед революции, обвиняя в бесконечных и бессмысленных сварах (глубинная суть этих разногласий была тогда ясна далеко не всем даже в самих спорящих партиях). После взятия народом Тюильри и ареста королевского семейства Лафайет тоже не смолчал — высказал твердое убеждение, что это происки иностранных держав. В ответ новое правительство отстранило Лафайета от командования, а через два дня объявило его изменником. Это означало смертный приговор. Выбор был прост — явиться на казнь или бежать.

Лафайет бежал, призвав войска сохранять спокойствие и порядок Толки о попытках его двинуть армию на Париж — чисто полемический домысел, проликийший в исторические сочинения.

Лафайет держал путь в Америку к Вашингтону, но наткнулся на французов-роялистов и австрийцев. Его узнали и арестовали. Генерал вел себя мужественно и с достоинством, как военнопленный он отказался давать показания о состоянии французской армии. Затем — пять лет сурового одиночного заключения, постоянная угроза казни, которой требовали роялисты. Скудные и ужасные для него сведения из Парижа — казни, смерть близких друзей, в том числе Ларошфуко. Мучительная тревога за жизнь жены и дочерей, которых спасла от казни только постоянная бдительность американского посольства. Жена Лафайета добилась, чтоб ее с дочерьми поместили в ту же тюрьму, что и мужа, предвосхитив на тридцать лет подвиг жен декабристов. Но и в этих условиях Лафайет продолжал хранить верность идеалам юности: «Народное дело не стало для меня менее священо, чем прежде; я готов отдать за него всю мою кровь, но очарование исчезло»... Освободили их успехи французского оружия — Бонапарт на переговорах с австрийцами проявил настойчивость.

Потом была бескомпромиссная оппозиция власти Бонапарта. Есть основания думать, что Лафайет был причастен к заговору Мале — генерала, чуть не захватившего власть в Париже в 1812 году. «Я мечтал о национальном восстании против внутреннего деспотизма», — писал Лафайет. Узнав, что Наполеон после Ватерлоо хочет распустить парламент, он собрал палату представителей и предложил объявить изменником всякого, кто попытается разогнать избранных народа. Это был грозный тон 1789 года. Через час после получения письма от Лафайета о решении палаты Наполеон отрекся от престола. «Поднятое им восстание палаты было причиной полного провала», — вспоминал Бонапарт на острове Святой Елены.

После этого — долгая и упорная борьба с реакцией. Лафайет бесстрашно и без каких-либо умолчаний говорил с трибуны парламента все, что он думал. О Реставрации: «Роялисты хотят окончательно покончить с началом свободы и равенства. С ними может быть только один способ разговора — из дула ружья». О революции: «Революция есть победа права над привилегией; революция — это эмансипация и

развитие человеческих способностей, это возрождение народов...»

И революция грянула. В 1830 году Лафайет возглавил восстание парижан.

П. Черкасов поднимает в своей книге важный вопрос о справедливости исторических оценок. Да, Лафайет был революционером-конституционалистом, революционером-либералом, но именно в этом качестве при своем бескорыстии, своих талантах, своей твердости и бесстрашии он сыграл выдающуюся роль в трех буржуазных революциях. Он переставал поддерживать революционный процесс, когда тот выходил за пределы его убеждений и понимания. Он играл только свою роль. Требовать от него, скажем, убеждений и поступков Бабефа, утописта, стремившегося предвосхитить отдаленное будущее, — неисторично. Лафайет — обаятельный, доброжелательный, умеренный, терпимый — был в гармонии со своим временем, не готовым к более радикальным социальным преобразованиям. Сам факт, что он был противником Марата и Робеспьера, нисколько не умаляет его исторической роли. В цепи развития он был столь же необходимым звеном, как и они. Но в нашей историографии Лафайет оказался как бы вне закона — в отличие от беспринципного честолюбца Наполеона, которому нашлось-таки подобающее место...

28 января 1831 года Лафайет сказал в парламенте: «Я уже говорил с этой трибуны, что дело мир только на две категории — угнетателей и угнетаемых; сегодня я хочу к этому добавить, что Европу разделяют два принципа — суверенное право народов и божественное право королей: с одной стороны — свобода, равенство; с другой — деспотизм и привилегии». До последнего вздоха он тратил и силы и деньги, помогая революционерам всего мира — карбонариям Италии, инсургентам Бельгии и Польши... Дом великого старика был полон свободолюбивой молодежи.. Последнее его письмо — о запрещении рабства и работорговли.

Близится двухсотлетие Великой французской революции. Похоже, что лишь теперь настает время судить о ней здраво и спокойно. Можно ожидать, что поток публикаций к этой дате начнет стремительно возрастать и во Франции, и у нас, и во всем мире. Хорошо, что книга П. Черкасова о Лафайете, обладающая всеми достоинствами научного труда, написана просто, ярко, с уважением к интересам и «неотчуждаемым правам» самого массового читателя.

Александр ГАНГУС.

РАНИМЫЕ КОРНИ

Как лихо мы еще недавно расправлялись с нашими деревнями, деля их на перспективные и неперспективные и вряд ли задумываясь при этом, насколько такое деление чудовищно в своем антидемократизме и безнравственности! Вот что значит привычка к бездумной безответственности. Все можно, все оправдано, стоит кому-то предъявить вышестоящее предписание. Как будто бумажка способна заменить элементарное чувство человечности и здравый смысл. А ведь заменяет. И позволяет спокойно — или беспокойно, но бездейтельно — взирать, как рушат памятники культуры, рубят вековые деревья, захламливают водоемы.

Самое страшное, что совершают все это, в общем-то, неплохие, честные и порядочные люди. Ни один из них, к примеру, не смог бы по своему разумению приговорить к смерти безвинного. Ни один не подтолкнет стоящего на краю пропасти, тем более старого, немощного. Но стоит призвать сделать это во имя каких-то «высших соображений», и сразу как заклинивает — задумываются честные и порядочные. А ведь не над чем. Не над чем! Ничто не может быть выше или первостепенней человечности и здравого смысла.

Обречь на уничтожение, на мучительное вымирание многие тысячи малых деревень — несомненно явление этого же порядка. Непостижимо, как могло кого бы то ни было коснуться затмение, что ведь из них, из этих бесчисленных Круглиц, Юшиных, Лукиных, сложилось, воздвиглось и навеки стало наше государство, что там самые глубокие наши корни! Да и населены-то малые деревни преимущественно престарелыми людьми, не очень здоровыми, чьими-то матерями и отцами, бабушками и дедушками. Каждый из которых — живая наша история.

Вот почему нельзя не радоваться тому, что признано непозволительным само понятие бесперспективности в отношении многовековых человеческих поселений.

Однако, радуясь, нельзя и забывать, что малым деревням как таковым радости от этого пока еще не прибавилось. Живется им по-прежнему трудно, порой до безысходности. Как ни крути, а ситуацию во многих из них иначе чем медленное, мучительное вымирание не назовешь. Преобразования, как то: подведение хороших дорог, возвращение каких-то производств, объектов соцкультбыта и т. д., — коснулись весьма незначительной части деревень, главным образом в экономически прогрессирующих хозяйствах.

В подавляющем же большинстве малых деревень, к сожалению, не теряют актуальности и остроты самые элементарные социально-бытовые проблемы. Там хлеб завозят не чаще одного раза в неделю, тут месяцами молчит радио. В магазинах перебой с товарами первой необходимости. Практически не торгуют по заказам населения, очень мало продают комбикормов. Постоянны трудности со сбытом излишков производимой в личных подсобных хозяйствах продукции. Крайне не упорядочена помощь даже в таких жизненно необходимых делах, как обработка приусадебных участков, перевозка сена, соломы, топлива. Практически не существует торговля стройматериалами... Сплошь и рядом к больному не дозовешься ни врача, ни фельдшера.

Увлечлись глобальными экономическими задачами, организационной перестройкой, наращиванием сельскохозяйственного производства, а малые деревни на втором, если не на третьем плане, до них ни у кого не доходят руки — ни у районных организаций, ни у колхозов и совхозов, ни у сельских Советов.

Примером, если он нужен, может служить совхоз «Первомайский», что на территории Архангельского сельсовета Урицкого района Орловской области. От райцентра — поселка Нарышкино — он вытянулся на добрых 15 километров узкой трехпятикилометровой полосой. По характеру и качеству сельхозугодий хозяйство во многом типичное. Те же небольшие поля и пашни, неухоженные лужки и выпасы, ручьи и речушки, кое-где с запрудами, овражки, перелески.

«Первомайский» — это почти два десятка весьма малонаселенных деревенок, ни одну из которых не отнесешь к благополучным. В отличие от большинства других хозяйств крупного населенного пункта, своего рода экономического центра, до последнего времени здесь не было. Пенсионеров в деревнях значительно больше, чем работающих. Много и работающих пенсионеров. А детей дошкольного и школьного возраста на 500 с лишним человек не больше четырех десятков, из них половина живет в центре, во вновь построенных домах. Не больше и тех, кто моложе пятидесяти.

«Первомайский» на редкость плохо обустроен. Ни одного современного животноводческого сооружения, ни одного километра внутривосхозяйственных дорог с твердым покрытием, если не считать пересекающий совхоз асфальтированный большак, который связывает с ближайшей трассой соседнее хозяйство.

На все про все в «Первомайском» два более чем скромных магазинчика и два почти бездействующих клуба отнюдь не современной постройки. Один детсадик — в приспособленном помещении. Ни библиотеки, ни бани, ни приемного пункта бытового обслуживания. Медпункт, почта — в соседнем совхозе.

Разумеется, без конца так быть не может. В настоящее время «Первомайский» в числе 100 колхозов и совхозов Орловской области развивается по целевой программе. Уже развернуто в невиданных прежде масштабах жилищное строительство, намечено сооружение животноводческого комплекса и целого ряда объектов соцкультбыта. Но все это предполагается разместить в центре совхоза, вблизи деревни Юшино, тогда как основное нынешнее производство, фермы, телятники и подавляющая часть населения — на отдаленных, в тех самых многочисленных деревеньках.

Как же скажутся намечающиеся перемены на их судьбе? Надо сказать, что информация на этот счет очень скудная. Сколько-нибудь серьезного обсуждения в коллективе совхоза, непосредственно в деревнях, не ведется. В результате неосведомленности появляются всевозможные слухи. Вроде того что, как только заселят возведенные трехэтажки, неочищаемыми стоками из коллектора-отстойника близ поселка Ленинский сразу же будет загублена речка Сухая Орлица, приток Орлика, а через него Ока. Право, нетрудно поверить, что это и в самом деле запланировано.

Это, конечно, никакое не решение проблемы малых деревень. Более того, это полное непонимание, бездумное отрицание самого факта, что она существует. Никто не спорит, экономика совхоза нуждается в решительном обновлении. Тут без нового подхода, без сильнодействующего рычага не обойтись. Но не менее важно и создание условий для наиболее полного жизнеобеспечения малых деревень. Не может быть и речи о том, чтобы хоть одна из них исчезла с лица земли прежде, чем будут исчерпаны все возможные средства для их сохранения и возрождения. Не должны больше сбавлять ничьи отговорки, ссылки на нехватку средств, мощностей, ресурсов. Это неправда. При желании возможности всегда находятся. Беда совсем в другом. Мы слишком свыклись с бедственным положением наших малых деревень. Всем кажется, что иначе и быть не может, что единственный их удел — исчезнуть рано или поздно. Что за страшный рок, что за проклятье лежит на малых деревнях?! Когда наше общество повернется к ним лицом? Когда научится смотреть на их судьбу с позиции исторической перспективы и с такой же исторической ответственностью? Когда дело помощи малым деревням, воссоздание их в нормальном современном виде будет наконец признано неотложным и переведено в практическое русло?

Все знают о недавно созданном Фонде культуры, призванном собирать, восстанавливать и сохранять ценности отечественной культуры. В этой области накопилось слишком много проблем. А не нужна ли столь же масштабная общественная инициатива и в отношении малых деревень, такой же общенародный Фонд малой родины?

Во всяком случае проблемы здесь так огромны и так запущены, что их решение мыслимо только через реализацию особой, чрезвычайной программы, предполагающей создание в кратчайшие сроки определенной инфраструктуры для социально-бытового и культурного обслуживания малых деревень с учетом возрастной и иной специфики. Очевидно, что такая программа по каждому сельскому Совету должна быть разработана и запущена немедленно. С той же, если не с большей, настойчивостью, с какой поднимаются до городского уровня условия жизни на центральных усадьбах колхозов и совхозов, следует поднимать и уровень благоустройства малых деревень.

Конкретно чрезвычайная программа помощи малым деревням представляется в виде целого ряда непростых, взаимосвязанных задач.

Первая задача. Это, конечно, надежное сообщение. Все деревни необходимо связать дорогами с твердым покрытием, по которым могут курсировать микроавтобусы и спецтранспорт, исполняющий заказы населения.

Вторая задача. Преобладающей потребностью жителей малых деревень несомненно остается ежедневный труд. Это свойство их природы, во многом утраченное более молодыми сельчанами. Но сейчас это больше труд для себя и детей-горожан. Деревня, таким образом, утрачивает важнейший стимул своей жизнедеятельности. Снижается ее отдача и сам ее экономический потенциал, не находящий должного употребления. Экономическая роль малых деревень может возрасти многократно, если каждую из них рассматривать как производственную единицу, если труд буквально каждого их жителя будет соответственно организован и оплачен.

Третья задача. В малых деревнях как нигде производственная деятельность может и должна быть организована на основе семейного подряда. Успешных примеров на этот счет множество. Только эту форму организации следует расширить, в частности, не обязательно ограничивать подряд рамками и нуждами конкретного хозяйства. Широкое распространение может и должно получить в деревне надомничество.

Четвертая задача. На семейной основе в малых деревнях наиболее эффективно можно развивать и торговлю, и сферу услуг, и даже культурную и спортивную жизнь. Помещения в большинстве случаев можно не строить, а арендовать. Это сулит и немалую экономию и, что еще важнее, выигрыш во времени.

Пятая задача. В малых деревнях, таким образом, можно возродить и развить многие отрасли, находящиеся в большом и длительном запоне. Такие, как пчеловодство, рыбоводство в прудах и реках, старинные крестьянские и художественные промыслы, цветоводство, овощеводство, в том числе тепличное, и др.

Закономерен вопрос: насколько это реально и возможно для того же совхоза «Первомайский»? Само собой разумеется, что далеко не во всем интересы и потребности развития малых деревень будут совпадать с основными экономическими интересами и нуждами местных колхозов и совхозов. Будь иначе, не оказались бы малые деревни в такой беде. Особенно эти противоречия скажутся в условиях утверждающегося всеобщего хозрасчета.

В результате колхоз или совхоз как хозрасчетная экономическая система объективно будет заинтересован в том, чтобы саботировать развитие малых деревень и даже способствовать их самоликвидации. Рычагов у колхозов и совхозов предостаточно: в их руках земля, машины, денежные средства и материальные ресурсы (захотят — выделят, не захотят — придержат даже положенное).

Отсюда следует еще одна задача. С целью лучшей координации усилий всех организаций, задействованных в создании и надежном функционировании инфраструктуры жизнеобеспечения малых деревень, судя по всему, придется создать специальные подразделения при сельских Советах, совершенно самостоятельные по отношению к местным колхозам и совхозам.

Создание специального организующего подразделения не сможет не повлечь за собой перераспределения руководящих ролей в сельской жизни. Для сельских Советов тут откроется реальнейшая возможность, которой они лишены сейчас: действительно стать во главе работы по социально-бытовому обновлению наших деревень. Конечно, потребуется и соответствующее юридическое обеспечение.

А пока суд да дело, в каждом хозяйстве и сельском Совете уже сейчас следовало бы создать своеобразную патронажную, шефскую службу — для оказания элементарных житейских услуг наиболее престарелой и немощной части населения малых деревень на основе семейного подряда или молодежных кооперативов.

Сейчас много говорят об экологии, о борьбе за чистоту окружающей среды. Немало в этом плане делают. Помощь малым деревням, их спасение и возрождение — та же защита окружающей среды, та же борьба — за экологическую чистоту самих основ народной жизни, народного самосознания... Большой Рог, Круглица, Галкино, Грачевка, Старомарково, Щелкановка, Гуляево, Сенькино, Лукино, Шахово. Останутся ли эти названия в народной памяти, будут ли жить сами эти деревни через несколько десятилетий? Трудно сегодня в это поверить. И все же так хочется верить!

А. КУЗЬМИН.

Орловская область,
поселок Нарышкино.

КОРОТКО О КНИГАХ



И. МЕТТЕР. Будни. Рассказы. Повесть. Очерки. Воспоминания. Л. «Советский писатель». 1987. 367 стр.

Не знаю, у кого как, а у меня к хорошим книгам чувство повышенной ревности — читательски-эгоистической, почти хозрайской: хочется запоздало вмешаться, что-то там перекроить, может быть, выбросить... Хотя, вероятно, дело в том, что сама книга отторгает нечто необязательное для нее своей живой плотью Живой!

Из этой, будь моя воля, я изъял бы киноповесть. Рецензию, в общем, случайную И... Да все, пожалуй. Остальное сопротивляется, не дается, потому что книга на удивление цельная — для такого-то разножанрового сборника.

«Будни» — название, сказал бы, вызывающее, если б это не противоречило спокойному достоинству меттеровской манеры. Скажу: принципиальное. В рассказах как бы ничего не происходит — во всяком случае ничего такого, что напрямую спешило бы подтвердить мысль автора из «Исповеди рассказчика»: «...для меня предвестием необходимости сочинить рассказ является изумление». Вот рассказ «На коммутаторе»: сердце щемит, до того желаешь взаимного счастья поселковой телефонистке-дурнушке и неказистому солдатику — нет, писатель не оставит нам надежды, ибо чересчур уж опошлен героями ритуал близости. «Сноха» — мучительный семейный клубок, из которого вроде бы наметился выход, — увы... «Хворь» — и тут финал, было приготовивший экстраординарное для поселка объяснение странности персонажа, отменяется: «Извините меня, дуру, наши девчата интересуются... Может, он в бога верует?» «Не Думаю, — сказал старичок. — Вряд ли он верит в бога...»

Даже в рассказе «Рябов и Кожин», где сын оклеветанного и погибшего человека отыскивает отставного следователя — нет, не мстить, куда там, просто приезжает, по-русски, с поллитрой, неизвестно зачем взглянуть на того и спросить, как погубитель его отца может носить в себе это даже тут выхода да, кажется, и вывода нет. Тот просто не помнит погубленного, одного из множества, а сам оборотился в благостного дедулю, меняющего внуку закатанные портки, и все, что может бесцельно страдающий гость (тоже — зачем?), это плеснуть недопитой водкой в лысину сморившегося старикашки...

«Нет выхода», — говорю я. Стало быть, безысходность?.. Впору, защищая автора и себя, вскрикнуть в испуге: нет, нет, ни в коем случае, ибо... Но среди многих жупелов освободимся и от этого. Да, безысходность. Та, что не дает художникам утешаться частными удачами судеб и происшествий. Вопросы, порождающие вопросы, болевая память, печаль — это непреходящее. Значит, и безысходно.

Однако ежели «ничего не происходит», почему все это именно рассказы, и, смею думать, образцовые? Вообще — почему вот этот кусочек прозы не обрывок романа, отличающийся большей или меньшей законченностью, а рассказ? Почему я, читатель, ощущаю, что мне здесь ничего не нужно добавлять, но и я же остро почувствую незавершенность, сбормись рассказ двумя-тремя фразами раньше?

«Оптика рассказа резкая», — формулирует, объясняя, автор. Может быть. Хотя у меня другое сравнение. В любом настоящем рассказе не договорить словно бы даже стыдно, как стыдно всякое умолчание, всякая дозировка истины, а выложив концентрированную правду, не остановиться вовремя — опасно, как опасна сердечная перегрузка. Потому хороших рассказов в русской словесности, кажется, ненамного больше, чем хороших романов и повестей.

Меттер — поселковый писатель. Говорю, понятно, не о тематике или тем паче месте проживания, но так же, как говорят: «деревенская проза», «городская повесть». Поселок, где в отличие от города все и всё на виду, но в противоположность селу нет укоренившихся связей и зависимости от соседа («перед людьми стыдно»), где социальные отношения, нравы, характеры беззащитно обнажены, этот новообразованный плод всесоюзной миграции, как ни удивительно, слабо отражен литературой и даже, по-моему, мало исследован социологией (хотя что она исследовала много?). Но я сейчас не о типах сознания и не о людских судьбах, воплощенных в рассказах Меттера и голо, с безжалостностью и мукой выставленных напоказ в полудневниковых «Поселковых заметках», из литературы того рода, про которую вчера мы говорили с грустной уверенностью: не для печати, в стол. Нет, поселковость словно бы стала частью сознания и самого автора — в том необходимом для любого писателя смысле, в каком вообще определяется точка его зрения. Точка — буквально. Место, с которо-

го резко видно одно и, конечно, не может быть видно многое иное, — лишь бы понять и использовать выгоды доставшегося тебе пункта обзора.

Мне кажется, срединность положения, существование в гуще, но и на некоем — впрочем, очень определенном — социальном рубеже, когда жизнь видна вплотную, однако без обвораживающих иллюзий, эта, условно говоря, поселковость и сформировала в конце концов — точнее, доформировала — взгляд и манеру писателя Меттера. То, что отличает уже не только рассказы или заметки, но воспоминания об Ахматовой, Зоценко, Кроне, Гвардовском, где и долгая душевная близость (с Кроном, с Ахматовой) подразумевает сдержанность даже в излияниях любви, расстояние, позволяющее наблюдать и анализировать. «Резкую оптику».

В поселковости ли, однако, дело, в этом ли доморощенном термине? Может, просто в складе таланта, ума, нрава? Но я потому и поправился, уточнив: доформировала...

Ст. Рассадин.



ВОДЫ КЛАЙДА. Английские и шотландские народные баллады и песни. Л. Лениздат. 1987. 207 стр.

Новый сборник английской и шотландской народной поэзии — продолжение старого доброго знакомства; баллады и песни Англии и Шотландии у нас переводят, пересказывают, черпают из них вдохновение уже более двух столетий. Хорошо известны имена их замечательных переводчиков: В. Жуковский, М. Михайлов, М. Цветаева, С. Маршак и другие. Новый сборник в отличие от известных нам, и это очень важно, переведен одной рукой, одним почерком — Игнатия Ивановского. В мировой поэзии есть заповедные луга и рощи, куда лучше приходиться в одиночку. Как в театре не поставят «Гамлета», если нет актера на заглавную роль, так нельзя издать зарубежного поэта (или сборник народной поэзии), если нет переводчика, характер дарования которого соответствует духу подлинника.

Игн. Ивановский многие годы переводит народную поэзию Англии, Шотландии, а в последнее время и Скандинавии и свободно владеет всеми разновидностями балладной интонации. Вот, например, неторопливая речь старой крестьянки из баллады «Старый плащ» — одной из лучших в книге: «Корова наша хоть куда, все молоко всегда отдаст. А ты в жару и в холода хлебать молочное горазд. Корми коровушку сенцом да напоить не забывай. Не будь упрямым гордецом, хороший плащ не надевай».

Для тех, кому дело перевода стихов представляется лишенным собственных, ча-

сто драматических, внутренних сюжетов, приведем только один пример. В известнейшем переводе баллады «Король и пастух» (в подлиннике «Король и архиепископ Кентерберийский») С. Маршак пишет:

Пастух королю
Отвечает с поклоном:
— Цены я не знаю
Коронам и тронам.
А сколько ты стоишь,
Спроси свою знать,
Которой случалось
Тебя продавать!

Четыре великолепные последние строчки — вымысел Маршака. Он не имел возможности передать содержание подлинника: перевод был впервые напечатан в 1919 году, и упоминание о Христе и тридцати сребренниках было тогда попросту невозможно. Время требовало от переводчика волевого редактирования подлинника. Переводчику наших дней легче: он может объективно передать и те места подлинника, которые пребывали под запретом:

Спаситель был продан за тридцать монет,
И здесь поношения, думаю нет,
Что я, о король, справедливость любя,
Отдам двадцать девять монет за тебя.

Так английская баллада проявляет свой независимый от прежних детгизовских канонов характер, и мы видим историю народа в ее неприглаженной сложности.

В книгу «Воды Клайда» вошли лучшие народные баллады и песни. Ее открывает цикл баллад о Робине Гуде, прочно вошедший в круг чтения наших детей да и взрослых читателей тоже. Справедливость, которой герой добивается в открытой борьбе, не теряя присутствия духа и юмора даже в самые трудные минуты, — это идеал любого народа.

Четверть века назад А. Ахматова написала для ленинградского Детгиза короткую рецензию на рукопись книги переводов Игн. Ивановского «Дерево свободы». В ней говорилось, что переводчик «достиг замечательного успеха. Все переводы исполнены на высоком поэтическом уровне, а такие из них, как баллада «Воды Клайда», стихотворения Бернса «Любовь — как роза красная», «Пегги Монтомери», «Эпитафия», все включенные в сборник стихи Китса и некоторые другие стихотворения, песни «Китобой», «Русалка», представляют собой большие достижения всей переводческой школы нашего времени.

Достигнута более чем достаточная степень точности перевода. Во всем сборнике нет ни одного случая существенного расхождения перевода с подлинником. Но при этом переводы воспринимаются как природные русские стихи». Переводчик продолжает традицию, которую следует всячески беречь, приумножать и поддерживать.

А. Александрова.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Последние письма и статьи 62 стр. Цена 10 к

М. С. Горбачев. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. 271 стр. Цена 75 к.

Нравственный идеал коммунистов. Сборник. 303 стр. Цена 70 к.

Стратегия спасения человечества. XXVII съезд КПСС и борьба за мир 398 стр. Цена 1 р. 70 к

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

И. Вольнов. Избранные произведения. Повесть о днях моей жизни. Рассказы. Очерки 510 стр. Цена 2 р. 50 к.

А. Герцен. Избранные сочинения. 542 стр с илл. Цена 4 р. 10 к.

Н. Гилевич. Избранное. Стихотворения. Поэмы. Перевод с белорусского. 414 стр. Цена 1 р. 60 к.

Н. Помяловский. Мещанское счастье. Моменты. Очерки бурсы. («Классики и современники») 415 стр. Цена 1 р. 90 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

И. Авижиос. Дягмай Роман. Перевод с литовского. 471 стр. Цена 2 р.

Год 1917. Россия. Петроград. Очерки, статьи, воспоминания 367 стр. Цена 7 р. 10 к.

День поэзии. 1987. 223 стр. Цена 1 р. 70 к.

А. Жуков. Избранное. Повести, рассказы. 635 стр. Цена 2 р. 50 к

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

С. Алексеев. Октябрь шагает по стране. Повесть, рассказы. 222 стр. Цена 90 к.

Бессмертный лотос. Слово об Индии 382 стр. Цена 2 р.

Первые люди. Сборник научно фантастических произведений американских и английских писателей. 224 стр. Цена 1 р. 70 к.

В. Петров. Кугамай Повести, рассказы. Перевод с чувашского 253 стр. Цена 70 к.

«РАДУГА»

А. Андерш. Винтерспельт. Роман. Отец убийцы. Повесть. Рассказы. Перевод с немецкого («Мастера современной прозы. ФРГ») 624 стр. Цена 4 р. 10 к.

Г. Панас. Евангелие от Иуды. Апокриф. Перевод с польского 246 стр. Цена 1 р. 40 к.

М. Пруст. В поисках утраченного времени. Содом и Гоморра. Перевод с французского. («Зарубежный роман XX в») 559 стр. Цена 3 р. 10 к.

Р. Трифнович. Сараевская fuga. Рассказы. Перевод с сербскохорватского 254 стр. Цена 1 р. 90 к

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. Погорельский. Черная курица, или Подземные жители 64 стр. Цена 1 р. 30 к.

М. Пришвин. Желанная книга. («Библиотека русской художественной публицистики») 413 стр. Цена 2 р. 10 к.

А. Тарковский. Быть самим собой. Стихотворения 253 стр. Цена 95 к

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Афанасьев. Ахилл, или Жизнь Батюшкова. Документальная повесть. 254 стр. Цена 85 к.

П. Мериме. Кармен. Новеллы. Перевод с французского 220 стр. Цена 70 к.

К. Симонов. Третий адъютант. Рассказы. 128 стр. Цена 50 к

С. Соловейчик. Педагогика для всех. Книга для будущих родителей. 367 стр. Цена 1 р. 10 к

«ИСКУССТВО»

Л. Бояджиева. Рейнгарт. («Жизнь в искусстве») 222 стр. Цена 1 р. 80 к.

А. Виньи. Избранное. Перевод с французского 606 стр. Цена 2 р. 40 к.

А. Герцен. Эстетика. Критика. Проблемы культуры («История эстетики в памятниках и документах») 603 стр. Цена 3 р.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Дом под чинарами — 1986. Сборник. Тбилиси. «Мерани». 301 стр. Цена 1 р. 80 к.

Мы. Рассказы молодых эстонских писателей. Таллин. «Ээсти раамат». 351 стр. Цена 1 р. 30 к.

Ф. Шаляпин. Страницы из моей жизни. Киев. «Музыкальная Украина». 326 стр. Цена 1 р. 10 к.

В. Шефнер. В этом веке. Стихи разных лет. Л. Лениздат. 319 стр. Цена 1 р. 10 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103798, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов, Д. А. Гранин, И. А. Дедков, И. Я. Зиедонис, В. А. Костров** (зам. главного редактора), **В. Н. Крупин, Д. С. Лихачев, М. Д. Львов**, **Д. Мулдагалиев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахин, М. В. Тимофеева, О. Г. Чухонцев**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2 Тел. 200-08 29.

Сдано в набор 18.12.87 г. Подписано к печати 04.02.88 г. А 41500.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Высокая печать Объем 17 п. л (23,8 усл. печ. л.)
27,02 уч. изд л

Тираж 1 150 000 экз. (5-й завод 950.001 — 1 150.000 экз.) Зак 3562.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР» Москва Пушкинская пл., 5.
Отпечатано в типографии ордена Ленина «Красный пролетарий», 103473, Москва, Краснопролетарская, 16

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1988, № 3, 1 — 272.